

А.И. КУПРИН



А. И. КУПРИН

СОЧИНЕНИЯ

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ ТРЕТИЙ

1720.
инв-3045-



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА—1954

Подготовка текста и примечания
П. Л. Вячеславова и И. В. Мыльцовой

ЛИСТРИГОНЫ

I

ТИШИНА

В конце октября или в начале ноября Балаклава — этот оригинальнейший уголок пестрой русской империи — начинает жить своеобразной жизнью. Дни еще теплы и по-осеннему ласковы, но по ночам стоят холода, и земля гулко звенит под ногами. Последние курортные гости потянулись в Севастополь со своими узлами, чемоданами, корзинами, баулами, золотушными детьми и декадентскими девицами. Как воспоминание о гостях остались только виноградные ошкурки, которые, в видах своего драгоценного здоровья, разбросали больные повсюду — на набережной и по узким улицам — в противном изобилии, да еще тот бумажный сор в виде окурков, клочков писем и газет, что всегда остается после дачников.

И сразу в Балаклаве становится просторно, свежо, уютно и по-домашнему деловито, точно в комнатах после отъезда нашумевших, накуривших, насоривших непрощенных гостей. Выползает на улицу исконное, древнегреческое население, до сих пор прятавшееся по каким-то щелям и задним каморкам.

На набережной, поперек ее, во всю ширину, расстилаются сети. На грубых камнях мостовой они кажутся нежными и тонкими, как паутина, а рыбаки ползают по

ним на четвереньках, подобно большим черным паукам, сплетающим разорванную воздушную западню. Другие сучат бечевку на белугу и на камбалу и для этого с серьезным, деловитым видом бегают взад и вперед по мостовой с веревкой через плечи, беспрерывно суча перед собой клубок ниток.

Атаманы баркасов оттачивают белужьи крючки — иступившиеся медные крючки, на которые, по рыбацкому поверью, рыба идет гораздо охотнее, чем на современные, английские, стальные. На той стороне залива конопатят, смолят и красят лодки, перевернутые вверх килем.

У каменных колодцев, где беспрерывно тонкой струйкой бежит и лепечет вода, подолгу, часами, судачат о своих маленьких хозяйских делах худые, темнолицые, большеглазые, длинноносые гречанки, так странно и трогательно похожие на изображение богородицы на старинных византийских иконах.

И все это совершается неторопливо, по-домашнему, по-соседски, с вековой привычной ловкостью и красотой, под нежарким осенним солнцем на берегах синего, веселого залива, под ясным осенним небом, которое спокойно лежит над развалиной покатых плешивых гор, окаймляющих залив.

О дачниках нет и помину. Их точно и не было. Два-три хороших дождя — и смыта с улиц последняя память о них. И все это бесполое и суетливое лето с духовой музыкой по вечерам и с пылью от дамских юбок, и с жалким флиртом, и спорами на политические темы — все становится далеким и забытым сном. Весь интерес рыбацкого поселка теперь сосредоточен только на рыбе.

В кофейнях у Ивана Юрьича и у Ивана Адамовича под стук костяшек домино рыбаки собираются в артели; избирается атаман. Разговор идет о паях, о половинках паев, о сетях, о крючках, о наживке, о макрели, о кефали, о лобане, о камсе и султанке, о камбале, белуге и морском петухе. В девять часов весь город погружается в глубокий сон.

Нигде во всей России, — а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, — нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве.

Выходишь на балкон — и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные

горы. Вода так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражаются в ней, не рябась и не мигая. Тишина не нарушается ни одним звуком человеческого жилья. Изредка, раз в минуту, едва расслышишь, как хлюпнет маленькая волна о камень набережной. И этот одинокий мелодичный звук еще больше углубляет, еще больше настораживает тишину. Слышишь, как размеренными толчками шумит кровь у тебя в ушах. Скрипнула лодка на своем канате. И опять тихо. Чувствуешь, как ночь и молчание слились в одном черном объятии.

Гляжу налево, туда, где узкое горло залива исчезает, сужившись между двумя горами.

Там лежит длинная, пологая гора, увенчанная старыми развалинами. Если приглядишься внимательно, то ясно увидишь всю ее, подобную сказочному гигантскому чудовищу, которое, припав грудью к заливу и глубоко всунув в воду свою темную морду с настороженным ухом, жадно пьет и не может напиться.

На том месте, где у чудовища должен приходиться глаз, светится крошечной красной точкой фонарь таможенного кордона. Я знаю этот фонарь, я сотни раз проходил мимо него, прикасался к нему рукой. Но в странной тишине и в глубокой черноте этой осенней ночи я все яснее вижу и спину и морду древнего чудовища, и я чувствую, что его хитрый и злобный маленький раскаленный глаз следит за мною с затаенным чувством ненависти.

В уме моем быстро проносится стих Гомера об узкогорлой черноморской бухте, в которой Одиссей видел кровожадных листригонов. Я думаю также о предприимчивых, гибких, красивых генуэзцах, воздвигавших здесь, на челе горы, свои колоссальные крепостные сооружения. Думаю также о том, как однажды бурной зимней ночью разбилась о грудь старого чудовища целая английская флотилия, вместе с гордым щеголеватым кораблем «Black Prince»¹, который теперь покоится на морском дне, вот здесь, совсем близко около меня, со своими миллионами золотых слитков и сотнями жизней.

Старое чудовище в полусне шурит на меня свой маленький, острый, красный глаз. Оно представляется мне теперь старым-старым, забытым божеством, которое в этой

¹ «Черный принц» (англ.).

черной тишине грезит своими тысячелетними снами. И чувство странной неловкости овладевает мною.

Раздаются замедленные, ленивые шаги ночного сторожа, и я различаю не только каждый удар его кованых, тяжелых рыбацких сапогов о камни тротуара, но слышу также, как между двумя шагами он чиркает каблуками. Так ясны эти звуки среди ночной тиши, что мне кажется, будто я иду вместе с ним, хотя до него — я знаю наверное — более целой версты. Но вот он завернул куда-то вбок, в мощный переулок или, может быть, присел на скамейку: шаги его смолкли. Тишина. Мрак.

II

МАКРЕЛЬ

Идет осень. Вода холодеет. Пока ловится только маленькая рыба в мережки, в эти большие вазы из сетки, которые прямо с лодки сбрасываются на дно. Но вот раздается слух о том, что Юра Паратино оснастил свой баркас и отправил его на место между мысом Айя и Ласпи, туда, где стоит его макрельный завод.

Конечно, Юра Паратино — не германский император, не знаменитый бас, не модный писатель, не исполнительница цыганских романсов, но когда я думаю о том, каким весом и уважением окружено его имя на всем побережье Черного моря, — я с удовольствием и с гордостью вспоминаю его дружбу ко мне.

Юра Паратино вот каков: это невысокий, крепкий, просоленный и просмоленный грек, лет сорока. У него бычачья шея, темный цвет лица, курчавые черные волосы, усы, бритый подбородок квадратной формы, с животным угибом посредине — подбородок, говорящий о страшной воле и большой жестокости, тонкие, твердые, энергично опускающиеся углами вниз губы. Нет ни одного человека среди рыбаков ловче, хитрее, сильнее и смелее Юры Паратино. Никто еще не мог перепить Юру, и никто не видал его пьяным. Никто не сравнится с Юрой удачливостью — даже сам знаменитый Федор из Олеиза.

Ни в ком так сильно не развито, как в нем, то специально морское рыбацье равнодушие к несправедливым

ударам судьбы, которое так высоко ценится этими солеными людьми.

Когда Юре говорят о том, что буря порвала его снасти или что его баркас, наполненный доверху дорогой рыбой, захлестнуло волной и он пошел ко дну, Юра только заметит вскользь:

— А туда его, к чертовой матери! — И тотчас же точно забудет об этом.

Про Юру рыбаки говорят так:

— Еще макрель только думает из Керчи итти сюда, а уже Юра знает, где поставить завод.

Завод — это сделанная из сети западня в десять сажен длиною и сажений пять в ширину. Подробности мало кому интересны. Достаточно только сказать, что рыба, идущая ночью большой массой вдоль берега, попадает благодаря наклону сети в эту западню и выбраться оттуда уже не может без помощи рыбаков, которые поднимают завод из воды и выпрастывают рыбу в свои баркасы. Важно только во-время заметить тот момент, когда вода на поверхности завода начнет кипеть, как каша в котле. Если упустить этот момент, рыба прорвет сеть и уйдет.

И вот, когда таинственное предчувствие уведомило Юру о рыбьих намерениях, вся Балаклава переживает несколько тревожных, томительно напряженных дней. Дежурные мальчишки день и ночь следят с высоты гор за заводами, баркасы держатся наготове. Из Севастополя приехали скупщики рыбы. Местный завод консервов приготовляет сарай для огромных партий.

Однажды ранним утром повсюду — по домам, по кофейням, по улицам — разносится, как молния, слух:

— Рыба пошла, рыба идет! Макрель зашла в заводы к Ивану Егоровичу, к Коте, к Христо, к Спиро и к Капитанаки. И уж, конечно, к Юре Паратино.

Все артели уходят на своих баркасах в море.

Остальные жители поголовно на берегу: старики, женщины, дети, и оба толстых трактирщика, и седой кофейщик Иван Адамович, и аптекарь, занятой человек, прибежавший впопыхах на минутку, и добродушный фельдшер Евсей Маркович, и оба местных доктора.

Особенно важно то обстоятельство, что первый баркас, пришедший в залив, продает свою добычу по самой дорогой цене, — таким образом для ожидающих на берегу

соединяются вместе и интерес, и спорт, и самолюбие, и расчет.

Наконец в том месте, где горло бухты сужается за горами, показывается, круто огибая берег, первая лодка.

— Это Юра.

— Нет, Коля.

— Конечно, это Генали.

У рыбаков есть свой особенный шик. Когда улов особенно богат, надо не войти в залив, а прямо влететь на веслах, и трое гребцов мерно и часто, все, как один, напрягая спину и мышцы рук, нагнув сильно шеи, почти запрокидываясь назад, заставляют лодку быстрыми, короткими толчками мчаться по тихой глади залива. Атаман, лицом к ним, гребет стоя; он руководит направлением баркаса.

Конечно, это Юра Паратино!

До самых бортов лодка наполнена белой, серебряной рыбой, так что ноги гребцов лежат на ней вытянуты прямо и попирают ее. Небрежно, на ходу, в то время когда гребцы почти еще не замедляют разгона лодки, Юра соскакивает на деревянную пристань.

Тотчас начинается торг со скупщиками.

— Тридцать! — говорит Юра и хлопает с размаху о ладонь длинной костлявой руки высокого грека.

Это значит, что он хочет отдать рыбу по тридцать рублей за тысячу.

— Пятнадцать! — кричит грек и в свою очередь, высвободив руку из-под низу, хлопает Юру по ладони.

— Двадцать восемь!

— Восемнадцать!

Хлоп-хлоп...

— Двадцать шесть!

— Двадцать!

— Двадцать пять! — говорит хрипло Юра. — И у меня там еще идет один баркас.

А в это время из-за горла бухты показывается еще один баркас, другой, третий, еще два сразу. Они стараются перегнать друг друга, потому что цены на рыбу все падают и падают. Через полчаса за тысячу уже платят пятнадцать рублей, через час десять и наконец пять и даже три рубля.

К вечеру вся Балаклава нестерпимо воняет рыбой. В каждом доме жарится или маринуется скумбрия. Широкие устья печей в булочных заставлены глиняной черепицей, на которой рыба жарится в собственном соку. Это называется: макрель на шкаре — самое изысканное кушанье местных гастрономов. И все кофейные и трактиры наполнены дымом и запахом жареной рыбы.

А Юра Паратино — самый широкий человек во всей Балаклаве — заходит в кофейную, где сгрудились в табачном дыму и рыбьем чаду все балаклавские рыбаки, и, покрывая общий гам, кричит повелительно кофейщику:

— Всем по чашке кофе!

Момент всеобщего молчания, изумления и восторга.

— С сахаром или без сахара? — спрашивает почтиительно хозяин кофейни, огромный, черномазый Иван Юрьич.

Юра в продолжение одной секунды колеблется: чашка кофе стоит три копейки, а с сахаром пять. Но он чужд мелочности. Сегодня последний пайщик на его баркасе заработал не меньше десяти рублей. И он бросает пренебрежительно:

— С сахаром. И музыку!..

Появляется музыка: кларнет и бубен. Они бубнят и дудят до самой поздней ночи однообразные, унылые татарские песни. На столах появляется молодое вино — розовое вино, пахнущее свежераздавленным виноградом; от него страшно скоро пьянеешь, и на другой день болит голова.

А на пристани в это время до поздней ночи разгружаются последние баркасы. Присев на корточки в лодке, двое или трое греков быстро, с привычной ловкостью хватают правой рукой две, а левой три рыбы и швыряют их в корзину, ведя точный, скорый, ни на секунду не прекращающийся счет.

И на другой день еще приходят баркасы с моря.

Кажется, вся Балаклава переполнилась рыбой.

Ленивые, объевшиеся рыбой коты с распухнувшими животами валяются поперек тротуаров, и когда их толкнешь ногой, то они нехотя приоткрывают один глаз и опять засыпают. И домашние гуси, тоже сонные, качаются посредине залива, и из клювов у них торчат хвосты недоеденной рыбы.

В воздухе еще много дней стоит крепкий запах свежей рыбы и чадный запах жареной рыбы. И легкой, клейкой рыбьей чешуей осыпаны деревянные пристани, и камни мостовой, и руки и платья счастливых хозяек, и синие воды залива, лениво колышущегося под осенним солнцем.

III

ВОРОВСТВО

Вечер. Мы сидим в кофейне Ивана Юрьича, освещенной двумя висячими лампами «молиния». Густо накурено. Все столики заняты. Кое-кто играет в домино, другие в карты, третьи пьют кофе, иные просто, так себе, сидят в тепле и свете, перекидываясь разговорами и замечаниями. Длинная, ленивая, уютная, приятная вечерняя скука овладела всей кофейной.

Понемногу мы затеваем довольно странную игру, которой увлекаются все рыбаки. Несмотря на скромность, должен сознаться, что честь изобретения этой игры принадлежит мне. Она состоит в том, что поочередно каждому из участников завязываются глаза платком, завязываются плотно, морским узлом, потом на голову ему накидывается куртка, и затем двое других игроков, взяв его под руки, водят по всем углам кофейни, несколько раз переворачивают на месте вокруг самого себя, выводят на двор, опять приводят в кофейню и опять водят его между столами, всячески стараясь запутать его. Когда, по общему мнению, испытуемый достаточно сбит с толку, его останавливают и спрашивают:

— Показывай, где север?

Каждый подвергается такому экзамену по три раза, и тот, у кого способность ориентироваться оказалась хуже, чем у других, ставит всем остальным по чашке кофе или соответствующее количество полубутылок молодого вина. Надо сказать, что в большинстве случаев проигрываю я. Но Юра Паратино показывает всегда на N с точностью магнитной стрелки. Этаким зверь!

Но вдруг я невольно оборачиваюсь назад и замечаю, что Христо Амбарзаки подзывает меня к себе глазами. Он не один, с ним сидит мой атаман и учитель Яни,

Я подхожу. Христо для виду требует домино, и в то время когда мы притворяемся, что играем, он, гремя костяшками, говорит вполголоса:

— Берите ваши дифаны и вместе с Яни приходите тихонько к пристани. Бухта вся полна кефалью, как банка маслинами. Это ее загнали свиньи.

Дифаны — это очень тонкие сети, в сажень вышиной, сажень шестьдесят длины. Они о трех полотнищах. Два крайние с широкими ячейками, среднее с узкими. Маленькая скумбрия пройдет сквозь широкие стены, но запутается во внутренних; наоборот, большая и крупная кефаль или лобан, который только стукнулся бы мордой о среднюю стену и повернулся бы назад, запутывается в широких наружных ячейках. Только у меня одного в Балаклаве есть такие сети.

Потихоньку, избегая встретиться с кем-либо, мы выносим вместе с Яни сети на берег. Ночь так темна, что мы с трудом различаем Христо, который ждет уже нас в лодке. Какое-то фыркание, хрюканье, тяжелые вздохи слышатся в заливе. Эти звуки производят дельфины, или морские свиньи, как их называют рыбаки. Многотысячную, громадную стаю рыбы они загнали в узкую бухту и теперь носятся по заливу, беспощадно пожирая ее на ходу.

То, что мы сейчас собираемся сделать, — без сомнения, преступление. По своеобразному старинному обычаю, позволяется ловить в бухте рыбу только на удочку и в мережки. Лишь однажды в год, и то не больше как в продолжение трех дней, ловят ее всей Балаклавой в общественные сети. Это — неписанный закон, своего рода историческое рыбацье табу.

Но ночь так черна, вздохи и хрюканье дельфинов так возбуждают страстное охотничье любопытство, что, подавив в себе невольный вздох раскаяния, я осторожно прыгаю в лодку, и в то время как Христо беззвучно гребет, я помогаю Яни приводить сети в порядок. Он перебирает нижний край, отягощенный большими свинцовыми грузилами, а я быстро и враз с ним передаю ему верхний край, оснащенный пробковыми поплавками.

Но чудесное, никогда не виданное зрелище вдруг очаровывает меня. Где-то невдалеке, у левого борта, раздается хрюканье дельфина, и я внезапно вижу, как вокруг

лодки и под лодкой со страшной быстротой проносятся множество извилистых серебристых струек, похожих на следы тающего фейерверка. Это бежат сотни и тысячи испуганных рыб, спасающихся от преследования прожорливого хищника. Тут я замечаю, что все море горит огнями. На гребнях маленьких, чуть плещущих волн играют голубые драгоценные камни. В тех местах, где весла трогают воду, загораются волшебным блеском глубокие блестящие полосы. Я прикасаюсь к воде рукой, и когда вынимаю ее обратно, то горсть светящихся бриллиантов падает вниз, и на моих пальцах долго горят нежные синеватые фосфорические огоньки. Сегодня — одна из тех волшебных ночей, про которые рыбаки говорят:

— Море горит!..

Другой косяк рыбы со страшной быстротой проносится под лодкой, бороздя воду короткими серебряными стрелками. И вот я слышу фыркание дельфина совсем близко. Наконец вот и он! Он показывается с одной стороны лодки, исчезает на секунду под килем и тотчас же проносится дальше. Он идет глубоко под водой, но я с необыкновенной ясностью различаю весь его мощный бег и все его могучее тело, осеребренное игрой инфузорий, обведенное, точно контуром, миллиардом блесков, похожее на сияющий стеклянный бегущий скелет.

Христо гребет совершенно беззвучно, и Яни всего-навсего только один раз ударил свинцовыми грузилами о дерево. Мы перебрали уже всю сеть, и теперь можно начинать.

Мы подходим к противоположному берегу. Яни прочно устанавливается на носу, широко расставив ноги. Большой плоский камень, привязанный к веревке, тихо скользит у него из рук, чуть слышно плещет об воду и погружается на дно. Большой пробковый буюк всплывает наверх, едва заметно чернея на поверхности залива. Теперь совершенно беззвучно мы описываем лодкой полукруг во всю длину нашей сети и опять причаливаем к берегу и бросаем другой буюк. Мы внутри замкнутого полукруга.

Если бы мы не занимались браконьерством, а работали на открытом, свободном месте, то теперь мы начали бы *коладить*, или, вернее, шантажировать, то есть мы заставили бы шумом и плеском весел всю захваченную нашим полукругом рыбу кинуться в расставленные для нее сети,

где она должна застрять головами и жабрами в ячейках. Но наше дело требует тайны, а поэтому мы только проезжаем от буйка до буйка, туда и обратно, два раза, причем Христо беззвучно бурлит веслом воду, заставляя ее вскипать прекрасными голубыми электрическими буграми. Потом мы возвращаемся к первому буйку. Яни попрежнему осторожно вытягивает камень, служивший якорем, и без малейшего стука опускает его на дно. Потом, стоя на носу, выставив вперед левую ногу и опершись на нее, он ритмическими движениями поднимает то одну, то другую руку, вытягивая вверх сеть. Наклонившись немного через борт, я вижу, как сеть бежит из воды, и каждая ячейка ее, каждая ниточка глубоко видны мне, точно восхитительное огненное плетение. С пальцев Яни стремятся вниз и падают маленькие дрожащие огоньки.

И я уже слышу, как мокро и тяжело шлепается большая живая рыба о дно лодки, как она жирно трепещет, ударяя хвостом о дерево. Мы постепенно приближаемся ко второму буйку и с прежними предосторожностями вытаскиваем его из воды.

Теперь моя очередь садиться на весла. Христо и Яни снова перебирают всю сеть и выпрастывают из ее ячеек кефаль. Христо не может сдержать себя и с счастливым сдавленным смехом кидает через голову Коли к моим ногам большую толстую серебряную кефаль.

— Вот так рыба! — шепчет он мне.

Яни тихо останавливает его.

Когда их работа кончена и мокрая сеть вновь лежит на носовой площадке баркаса, я вижу, что все дно застлано живой, еще шевелящейся рыбой. Но нам нужно торопиться. Мы делаем еще круг, еще и еще, хотя благодарное давно уже велит нам вернуться в город. Наконец мы подходим к берегу в самом глухом месте. Яни приносит корзину, и с вкусным чмоканьем летят в нее охапки большой мясистой рыбы, от которой так свежо и возбуждающе пахнет.

А через десять минут мы возвращаемся обратно в кофейню один за другим. Каждый выдумывает какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Но штаны и куртки у нас мокры, а у Яни запуталась в усах и бороде рыба чешуя, и от нас еще идет запах моря и сырой рыбы. И Христо,

который не может справиться с недавним охотничьим возбуждением, нет-нет, да и намекнет на наше предприятие.

— А я сейчас шел по набережной... Сколько свиней зашло в бухту. Ужас! — И метнет на нас лукавым, горящим черным глазом.

Яни, который вместе с ним относил и прятал корзину, сидит около меня и едва слышно бормочет в чашку с кофе:

— Тысячи две, и все самые крупные. Я вам снес три десятка.

Это моя доля в общей добыче. Я потихоньку киваю головой. Но теперь мне немного совестно за мое недавнее преступление. Впрочем, я ловлю несколько чужих быстрых плутоватых взглядов. Кажется, что не мы одни занимались в эту ночь браконьерством!

IV

БЕЛУГА

Наступает зима. Как-то вечером пошел снег, и все стало среди ночи белым: набережная, лодки у берега, крыши домов, деревья. Только вода в заливе остается жутко черной и беспокойно плещется в этой белой, тихой раме.

На всем Крымском побережье — в Анапе, Судаке, Керчи, Феодосии, Ялте, Балаклаве и Севастополе — рыбаки готовятся на белугу. Чистятся рыбацьи сапоги, огромные до бедер сапоги из конской кожи, весом по полпуду каждый, подновляются непромокаемые, крашенные желтой масляной краской плащи и кожаные штаны, штопаются паруса, вяжутся переметы.

Набожный рыбак Федор из Оленза задолго до белужьей ловли теплит в своем шалаше перед образом Николая угодника, Мир Ликийских чудотворца и покровителя всех моряков, восковые свечи и лампадки с лучшим оливковым маслом. Когда он поедет в море со своей артелью, состоящей из татар, морской святитель будет прибит на корме как руководитель и податель счастья. Об этом знают все крымские рыбаки, потому что это повторяется из года в год, и потому еще, что за Федором установилась слава очень смелого и удачливого рыбалки.

И вот однажды, с первым попутным ветром, на исходе ночи, но еще в глубокой тьме, сотни лодок отплывают от Крымского полуострова под парусами в море.

Как красив момент отплытия! Сели все пятеро на кормовую часть баркаса. «С богом! Дай бог! С богом!» Падает вниз освобожденный парус и, похлопав нерешительно в воздухе, вдруг надувается, как выпуклое, острое, торчащее концом вверх белое птичье крыло. Лодка, вся наклонившись на один бок, плавно выносится из устья бухты в открытое море. Вода шипит и пенится за бортом и брызжет внутрь, а на самом борту, временами моча нижний край своей куртки в воде, сидит небрежно какой-нибудь молодой рыбак и с хвастливой небрежностью раскуривает верченую папиросу. Под кормовой решеткой хранится небольшой запас крепкой водки, немного хлеба, десяток копченых рыб и бочонок с водой.

Уплывают в открытое море за тридцать и более верст от берега. За этот длинный путь атаман и его помощник успевают изготовить снасть. А белужья снасть представляет собою вот что такое: вообразите себе, что по морскому дну, на глубине сорока сажен, лежит крепкая веревка в версту длиной, а к ней привязаны через каждые три-четыре аршина короткие саженные куски шпагата, а на концах этих концов наживлена на крючки мелкая рыбешка. Два плоских камня на обеих оконечностях главной веревки служат якорями, затопляющими ее, а два буйка, плавающих на этих якорях, на поверхности моря, указывают их положение. Буйки круглые, пробковые (сотня бутылочных пробок, обвернутых сеткой), с красными флажками наверху.

Помощник с непостижимой ловкостью и быстротой насаживает приманку на крючки, а атаман тщательно укладывает всю снасть в круглую корзину, вдоль ее стен, правильной спиралью, наживкой внутрь. В темноте, почти ошупью, вовсе не так легко исполнить эту кропотливую работу, как кажется с первого взгляда. Когда придет время опускать снасть в море, то один неудачно насаженный крючок может зацепиться за веревку и жестоко перепутать всю систему.

На рассвете приходят на место. У каждого атамана есть свои излюбленные счастливые пункты, и он их находит в открытом море, за десятки верст от берега, так же

легко, как мы находим коробку с перьями на своем письменном столе. Надо только стать таким образом, чтобы Полярная звезда очутилась как раз над колокольной монастыря св. Георгия, и двигаться, не нарушая этого направления, на восток до тех пор, пока не откроется Форосский маяк. У каждого атамана имеются свои тайные вехи в виде маяков, домов, крупных прибрежных камней, одиноких сосен на горах или звезд.

Определили место. Выбрасывают на веревке в море первый камень, устанавливают глубину, привязывают буюк и от него идут на веслах вперед на всю длину перемета, который атаман с необычайной быстротой выматывает из корзины. Опускают второй камень, пускают на воду второй буюк — и дело окончено. Возвращаются домой на веслах или, если ветер позволяет лавировать, под парусом. На другой день, или через день, идут опять в море и вытаскивают снасть. Если богу или случаю будет угодно, на крючьях окажется белуга, проглотившая приманку — огромная остроносая рыба, вес которой достигает десяти — двадцати, а в редких случаях даже тридцати и более пудов.

Так-то вот и вышел однажды ночью из бухты Ваня Андруцаки на своем баркасе. По правде сказать, никто не ожидал добра от такого предприятия. Старый Андруцаки умер прошлой весной, а Ваня был слишком молод, и, по мнению опытных рыбаков, ему следовало бы еще года два побыть простым гребцом да еще год помощником атамана. Но он набрал свою артель из самой зеленой и самой отчаянной молодежи, сурово прикрикнул, как настоящий хозяин, на занывшую было старуху мать, изругал ворчливых стариков соседей гнусными матерными словами и вышел в море пьяный, с пьяной командой, стоя на корме со сбитой лихо на затылок барашковой шапкой, из-под которой буйно выбивались на загорелый лоб курчавые, черные, как у пуделя, волосы.

В эту ночь на море дул крепкий береговой и шел снег. Некоторые баркасы, выйдя из бухты, вскоре вернулись назад, потому что греческие рыбаки, несмотря на свою многовековую опытность, отличаются чрезвычайным благоразумием, чтобы не сказать трусостью. «Погода не пускает», — говорили они.

Но Ваня Андруцаки возвратился домой около полудня с баркасом, наполненным самой крупной белугой, да, кроме того, еще приволок на буксире огромную рыбину, чудовище в двадцать пудов весом, которое артель долго добывала деревянными колотушками и веслами.

С этим великаном пришлось порядочно-таки помучиться. Про белугу рыбаки вообще говорят, что надо только подтянуть ее голову в уровень с бортом, а там уж рыба сама вскочит в лодку. Правда, иногда при этом она могучим всплеском хвоста сбивает в воду неосторожного ловца. Но бывают изредка при белужьей ловле и более серьезные моменты, грозящие настоящей опасностью для рыбаков. Так и случилось с Ваней Андруцаки.

Стоя на самом носу, который то взлетал на пенистые бугры широких волн, то стремительно падал в гладкие водяные зеленые ямы, Ваня размеренными движениями рук и спины выбирал из моря перемет. Пять белужонков, попавшихся с самого начала, почти один за другим, уже лежали неподвижно на дне баркаса, но потом ловля пошла хуже: сто или полтора ста крючков подряд оказались пустыми, с нетронутой наживкой.

Артель молча гребла, не спуская глаз с двух точек на берегу, указанных атаманом. Помощник сидел у ног Вани, освобождая крючки от наживки и складывая веревку в корзину правильным бунтом. Вдруг одна из пойманных рыб судорожно встрепенулась.

— Бьет хвостом, поджидает подругу,— сказал молодой рыбак Павел, повторяя старую рыбацью примету.

И в ту же секунду Ваня Андруцаки почувствовал, что огромная живая тяжесть, вздрагивая и сопротивляясь, повисла у него на натянувшемся вкось перемете, в самой глубине моря. Когда же, позднее, наклонившись за борт, он увидел под водой и все длинное, серебряное, волнующееся, рябщее тело чудовища, он не удержался и, обернувшись назад к артели, прошептал с сияющими от восторга глазами:

— Здоровая!.. Как бык!.. Пудов на сорок...

Этого уж никак не следовало делать! Спаси бог, будучи в море, предупреждать события или радоваться успеху, не дойдя до берега. И старая таинственная примета тотчас же оправдалась на Ване Андруцаки. Он уже видел не более как в полуаршине от поверхности воды острую,

утлую костистую морду и, сдерживая бурное трепетание сердца, уже готовился подвести ее к борту, как вдруг... могучий хвост рыбы плеснул сверх волны и белуга стремительно понеслась вниз, увлекая за собою веревку и крючки.

Ваня не растерялся. Он крикнул рыбакам: «Табань!» — скверно и очень длинно выругался и принялся травить перемет вслед убежавшей рыбе. Крючки так и мелькали в воздухе из-под его рук, шлепаясь в воду. Помощник пособлял ему, выпрастывая снасть из корзины. Гребцы налегли на весла, стараясь ходом лодки опередить подводное движение рыбы. Это была страшно быстрая и точная работа, которая не всегда кончается благополучно. У помощника запуталось несколько крючков. Он крикнул Ване: «Стоп травить!» — и принялся распутывать снасть с той быстротой и тщательностью, которая в минуты опасности свойственна только морским людям. В эти несколько секунд перемет в руке Вани натянулся, как струна, и лодка скакала, точно бешеная, с волны на волну, увлекаемая ужасным бегом рыбы и подгоняемая вслед за ней усилиями гребцов.

«Трави!» — крикнул, наконец, помощник. Веревка с необычайной быстротой вновь побежала из ловких рук атamana, но вдруг лодку дернуло, и Ваня с глухим стоном выругался: медный крючок с размаха вонзился ему в мякоть ладони под мизинцем и засел там во всю глубину извива. И тут-то Ваня показал себя настоящим соленым рыбаком. Обмотав перемет вокруг пальцев раненой руки, он задержал на секунду бег веревки, а другой рукой достал нож и перерезал шпагат. Крючок крепко держался в руке своим жалом, но Ваня вырвал его с мясом и бросил в море. И хотя обе его руки и веревка перемета сплошь окрасились кровью и борт лодки и вода в баркасе покраснели от его крови, он все-таки довел свою работу до конца и сам нанес первый оглушающий удар колотушкой по башке упрямой рыбе.

Его улов был первым белужьим уловом этой осени. Артель продала рыбу по очень высокой цене, так что на каждый пай пришлось почти до сорока рублей. По этому случаю было выпито страшное количество молодого вина, а под вечер весь экипаж «Георгия Победоносца» — так назывался Ванин баркас — отправился на двухконном фэ-этоне с музыкой в Севастополь. Там храбрые балаклав-

ские рыбаки вместе с флотскими матросами разнесли на мелкие кусочки фортепиано, двери, кровати, стулья и окна в публичном доме, потом передрались между собою и только к свету вернулись домой пьяные, в синяках, но с песнями. И только что вылезли из коляски, как тотчас же свалились в лодку, подняли парус и пошли в море забрасывать крючья.

С этого самого дня за Ваней Андруцаки установилась слава как за настоящим соленым атаманом.

У

ГОСПОДНЯ РЫБА

Апокрифическое сказание

Эту прелестную древнюю легенду рассказал мне в Балаклаве атаман рыбацкого баркаса Коля Констанди, настоящий соленый грек, отличный моряк и большой пьяница.

Он в то время учил меня всем премудрым и странным вещам, составляющим рыбацью науку.

Он показывал мне, как вязать морские узлы и чинить прорванные сети, как наживлять крючки на белугу, забрасывать и промывать мережки, кидать наметку на камсу, выпрастывать кефаль из трехстенных сетей, жарить лобана на шкаре, отковыривать ножом петалиди, приросших к скале, и есть сырыми креветок, узнавать ночную погоду по дневному прибою, ставить парус, выбирать якорь и измерять глубину дна.

Он терпеливо объяснял мне разницу между направлением и свойствами ветров: леванти, греба-леванти, широко, тремонтана, страшного бора, благоприятного морского и капризного берегового.

Ему же я обязан знанием рыбацких обычаев и суеверий во время ловли: нельзя свистать на баркасе; плевать позволено только за борт; нельзя упоминать чорта, хотя можно проклинать при неудаче: веру, могилу, гроб, душу, предков, глаза, печенки, селезенки и так далее; хорошо оставлять в снасти как будто нечаянно забытую рыбешку — это приносит счастье; спаси бог выбросить за борт что-нибудь съестное, когда баркас еще в море, но всего

ужаснее, непростительнее и злобнее — это спросить рыбака: «Куда?» За такой вопрос бьют.

От него я узнал о ядовитой рыбке дракус, похожей на мелкую скумбрию, и о том, как ее снимать с крючка, о свойстве морского ерша причинять нарывы уколом плавников, о страшном двойном хвосте электрического ската и о том, как искусно выедает морской краб устрицу, вставив сначала в ее створку маленький камешек.

Но немало также я слышал от Коли диких и таинственных морских рассказов, слышал в те сладкие, тихие ночные часы ранней осени, когда наш ялик нежно покачивался среди моря, вдали от невидимых берегов, а мы, вдвоем или втроем, при желтом свете ручного фонаря, не торопясь, попивали молодое розовое местное вино, пахнувшее свежераздавленным виноградом.

«Среди океана живет морской змей в версту длиною. Редко, не более раза в десять лет, он подымается со дна на поверхность и дышит. Он одинок. Прежде их было много, самцов и самок, но столько они делали зла мелкой рыбешке, что бог осудил их на вымирание, и теперь только один старый, тысячулетний змей-самец сиротливо доживает свои последние годы. Прежние моряки видели его — то здесь, то там — во всех странах света и во всех океанах.

Живет где-то среди моря, на безлюдном острове, в глубокой подводной пещере царь морских раков. Когда он ударяет клешней о клешню, то на поверхности воды вскипает великое волнение.

Рыбы говорят между собой — это всякий рыбак знает. Они сообщают друг другу о разных опасностях и человеческих ловушках, и неопытный, неловкий рыбак может надолго испортить счастливое место, если выпустит из сетей рыбу».

Слышал я также от Коли о Летучем Голландце, об этом вечном скитальце морей, с черными парусами и мертвым экипажем. Впрочем, эту страшную легенду знают и ей верят на всех морских побережьях Европы.

Но одно далекое предание, рассказанное им, особенно тронуло меня своей наивной рыбацкой простотой.

Однажды на заре, когда солнце еще не всходило, но небо было цвета апельсина и по морю бродили розовые

туманы, я и Коля вытягивали сеть, поставленную с вечера поперек берега на скумбрию. Улов был совсем плохой. В ячейке сети запутались около сотни скумбрии, пять-шесть ершей, несколько десятков золотых толстых карасиков и очень много студенистой перламутровой медузы, похожей на огромные бесцветные шляпки грибов со множеством ножек.

Но попалась также одна очень странная, не виданная мною доселе рыбка. Она была овальной, плоской формы и уместилась бы свободно на женской ладони. Весь ее контур был окружен частыми, мелкими, прозрачными ворсинками. Маленькая голова, и на ней совсем не рыбьи глаза — черные, с золотыми ободками, необыкновенно подвижные. Тело ровного золотистого цвета. Всего же поразительнее были в этой рыбке два пятна, по одному с каждого бока, посредине, величиною с гривенник, но неправильной формы и чрезвычайно яркого небесно-голубого цвета, какого нет в распоряжении художника.

— Посмотрите,— сказал Коля,— вот господня рыба. Она редко попадается.

Мы поместили ее сначала в лодочный черпак, а потом, возвращаясь домой, я налил морской воды в большой эмалированный таз и пустил туда господнюю рыбу. Она быстро заплывала по окружности таза, касаясь его стенок, и все в одном и том же направлении. Если ее трогали, она издавала чуть слышный, короткий, храпящий звук и усиливала беспрестанный бег. Черные глаза ее вращались, а от мерцающих бесчисленных ворсинок быстро дрожала и струилась вода.

Я хотел сохранить ее, чтобы отвезти живой в Севастополь, в аквариум биологической станции, но Коля сказал, махнув рукой:

— Не стоит и трудиться. Все равно не выживет. Это такая рыба. Если ее хоть на секунду вытащить из моря — ей уже не жить. Это господня рыба.

К вечеру она умерла. А ночью, сидя в ялике, далеко от берега, я вспомнил и спросил:

— Коля, а почему же эта рыба — господня?

— А вот почему,— ответил Коля с глубокой верой.— Старые греки у нас рассказывают так. Когда Иисус Христос, господь наш, воскрес на третий день после своего погребения, то никто ему не хотел верить. Видели много

чудес от него при его жизни, но этому чуду не могли поверить и боялись.

Отказались от него ученики, отказались апостолы, отказались жены-мироносицы. Тогда приходит он к своей матери. А она в это время стояла у очага и жарила на сковороде рыбу, приготовляя обед себе и близким. Господь говорит ей:

— Здравствуй! Вот я, твой сын, воскресший, как было сказано в писании. Мир с тобою.

Но она задрожала и воскликнула в испуге:

— Если ты подлинно сын мой Иисус, сотвори чудо, чтобы я уверовала.

Улыбнулся господь, что она не верит ему, и сказал:

— Вот, я возьму рыбу, лежащую на огне, и она оживет. Поверишь ли ты мне тогда?

И едва он, прикоснувшись своими двумя пальцами к рыбе, поднял ее на воздух, как она затрепыхалась и ожила.

Тогда уверовала мать господа в чудо и радостно поклонилась сыну воскресшему. А на этой рыбе с тех пор так и остались два небесных пятна. Это следы господних пальцев.

Так рассказывал простой, немудрый рыбак наивное давнее сказание. Спустя же несколько дней я узнал, что у господней рыбы есть еще другое название — зевсова рыба. Кто скажет: до какой глубины времен восходит тот апокриф?

VI

БОРА

О, милые простые люди, мужественные сердца, наивные первобытные души, крепкие тела, обвеянные соленым морским ветром, мозолистые руки, зоркие глаза, которые столько раз глядели в лицо смерти, в самые ее зрачки!

Третьи сутки дует бора. Бора — иначе норд-ост — это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опроки-

дывает с рельсов груженные товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни.

Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать — это самый капризный ветер на самом капризном из морей.

Старые рыбаки говорят, что единственное средство спастись от него — это «удирать в открытое море». И бываю́т случаи, что бора уносит какой-нибудь четырехгребный баркас или голубую, разукрашенную серебряными звездами турецкую фелюгу через все Черное море, за триста пятьдесят верст, на Анатолийский берег.

Третьи сутки дует бора. Новолуние. Молодой месяц, как и всегда, рождается с большими мучениями и трудом. Опытные рыбаки не только не думают о том, чтобы пуститься в море, но даже вытащили свои баркасы подалее и понадежнее на берег.

Один лишь отчаянный Федор из Оленза, который за много дней перед этим теплил свечу перед образом Николая чудотворца, решился выйти, чтобы поднять белужью снасть.

Три раза со своей артелью, состоявшей исключительно из татар, отплывал он от берега и три раза возвращался обратно на веслах с большими усилиями, проклятиями и богохульствами, делая в час не более одной десятой морского узла. В бешенстве, которое может быть понятно только моряку, он срывал прикрепленный на носу образ Николая, Мир Ликийских чудотворца, швырял его на дно лодки, топтал ногами и мерзко ругался, а в это время его команда шапками и горстями вычерпывала воду, хлеставшую через борт.

В эти дни старые, хитрые балаклавские листригоны сидели по кофейням, крутили самодельные папиросы, пили крепкий бобковый кофе с гущей, играли в домино, жало-

вались на то, что погода не пускает, и в уютном тепле, при свете висячих ламп, вспоминали древние легендарные случаи, наследие отцов и дедов, о том, как в таком-то и в таком-то году морской прибой достигал сотни саженей вверх и брызги от него долетали до самого подножия полуразрушенной гемузской крепости.

Пропал без вести один баркас из Фороса, на котором работала артель пришлых русопетов, восьмеро каких-то белобрых Иванов, приехавших откуда-то, не то с Ильменя, не то с Волги искать удачи на Черном море. В кофейнях никто о них не пожалел и не потревожился. Почмокали языком, посмеялись и сказали презрительно и просто: «Тц... тц... тц... конечно, дураки, разве можно в такую погоду? Известно — русские». В предутренний час темной ревушей ночи пошли они все, как камни, на дно в своих коневых сапогах до поясницы, в кожаных куртках, в крашенных желтых непромокаемых плащах.

Совсем другое дело было, когда перед борой вышел в море Ваня Андруцаки, наплевав на все предостережения и уговоры старых людей. Бог его знает, зачем он это сделал? Вернее всего из мальчишеского задора, из буйного молодого самолюбия, немножко под пьяную руку. А может быть, на него любовалась в эту минуту красногубая, черноглазая гречанка?

Поднял парус,— а ветер уже и в то время был очень свежий — и только его и видели! Со скоростью хорошего призового рысака вынеслась лодка из бухты, помаячила минут пять своим белым парусом в морской синеве, и сейчас же нельзя было разобрать, что там вдали белеет: парус или белые барашки, скакавшие с волны на волну?

А вернулся он домой только через трое суток...

Трое суток без сна, без еды и питья, днем и ночью, и опять днем и ночью, и еще сутки, в крошечной скорлупке, среди обезумевшего моря — и вокруг ни берега, ни паруса, ни маячного огня, ни пароходного дыма! А вернулся Ваня Андруцаки домой — и точно забыл обо всем, точно ничего с ним и не было, точно он съездил на мальпосте в Севастополь и купил там десяток папирос.

Были, правда, некоторые подробности, которые я с трудом выдавил из Ваниной памяти. Например, с Юрой Липиади случилось на исходе вторых суток нечто вроде исте-

рического припадка, когда он начал вдруг ни с того, ни с сего плакать и хохотать и совсем уже было выпрыгнул за борт, если бы Ваня Андруцаки во-время не успел ударить его рулевым веслом по голове. Был также момент, когда артель, напуганная бешеным ходом лодки, захотела убрать парус, и Ване стоило, должно быть, больших усилий, чтобы сжать в кулак волю этих пяти человек и, перед дыханием смерти, заставить их подчиниться себе. Кое-что я узнал и о том, как кровь выступала у гребцов из-под ногтей от непомерной работы. Но все это было рассказано мне отрывками, нехотя, вскользь. Да! Конечно, в эти трое суток напряженной, судорожной борьбы со смертью было много сказано и сделано такого, о чем артель «Георгия Победоносца» не расскажет никому, ни за какие блага, до конца дней своих!

В эти трое суток ни один человек не сомкнул глаз в Балаклаве, кроме толстого Петалиди, хозяина гостиницы «Париж». И все тревожно бродили по набережной, лазили на скалы, взбирались на генуэзскую крепость, которая высится своими двумя древними зубцами над городом,— все: старики, молодые, женщины и дети. Полетели во все концы света телеграммы: начальнику черноморских портов, местному архиерею, на маяки, на спасательные станции, морскому министру, министру путей сообщения, в Ялту, в Севастополь, в Константинополь и Одессу, греческому патриарху, губернатору и даже почему-то русскому консулу в Дамаске, который случайно оказался знакомым одному балаклавскому греку-аристократу, торгующему мукой и цементом.

Проснулась древняя, многовековая спайка между людьми, кровное товарищеское чувство, так мало заметное в будничные дни средн мелких расчетов и житейского сора, заговорили в душах тысячелетние голоса пра-пра-пращуров, которые задолго до времен Одиссея вместе отстаивались от бory в такие же дни и такие же ночи.

Никто не спал. Ночью развели огромный костер на верху горы, и все ходили по берегу с огнями, точно на пасху. Но никто не смеялся, не пел, и опустели все кофейни.

Ах, какой это был восхитительный момент, когда утром, часов около восьми, Юра Паратино, стоявший на верху скалы над Белыми Камнями, прищурился, нагнулся

вперед, вцепился своими зоркими глазами в пространство и вдруг крикнул:

— Есть! Идут!

Кроме Юры Паратино, никто не разглядел бы лодки в этой черно-синей морской дали, которая колыхалась тяжело и еще злобно, медленно утихая от недавнего гнева. Но прошло пять, десять минут, и уже любой мальчишка мог удостовериться в том, что «Георгий Победоносец» идет, лавируя под парусом, к бухте. Была большая радость, соединившая сотню людей в одно тело и в одну душу!

Перед бухтой они опустили парус и вошли на веслах, вошли как стрела, весело напрягая последние силы, вошли, как входят рыбаки в залив после отличного улова белуги. Кругом плакали от счастья: матери, жены, невесты, сестры, братишки. Вы думаете, что хоть один рыбак из артели «Георгия Победоносца» размяк, расплакался, полез целоваться или рыдать на чьей-нибудь груди? Ничуть! Они все шестеро, еще мокрые, осипшие и обветренные, ввалились в кофейную Юру, потребовали вина, оралли песни, заказали музыку и плясали, как сумасшедшие, оставая на полу лужи воды. И только поздно вечером товарищи разнесли их, пьяных и усталых, по домам; и спали они беспросыпу по двадцати часов каждый. А когда проснулись, то глядели на свою поездку в море ну вот так, как будто бы они съездили на мальпосте в Севастополь на полчаса, чуть-чуть кутнули там и вернулись домой.

VII

ВОДОЛАЗЫ

1

В балаклавскую бухту, узкогорлую, извилистую и длинную, кажется, со времен крымской кампании не заходил ни один пароход, кроме разве миноносек на маневрах. Да и что, по правде сказать, делать пароходам в этом глухом рыбацьем полупоселке-полугородке? Единственный груз — рыбу — скупают на месте перекупщики и везут на продажу за тринадцать верст, в Севастополь; из

того же Севастополя приезжают сюда немногие дачники на мальпосте за пятьдесят копеек. Маленький, но отчаянной храбрости паровой катеришка «Герой», который ежедневно бегает между Ялтой и Алупкой, пытаясь, как зарывшая собака, и треплясь, точно в урагане, в самую легкую зыбь, пробовал было установить пассажирское сообщение и с Балаклавой. Но из этой попытки, повторенной раза три-четыре, ничего путного не вышло: только лишняя трата угля и времени. В каждый рейс «Герой» приходил пустым и возвращался пустым. А балаклавские греки, отдаленные потомки кровожадных гомеровских листригонов, встречали и провожали его, стоя на пристани и заложив руки в карманы штанов, меткими словечками, двусмысленными советами и язвительными пожеланиями.

Зато во время севастопольской осады голубая прелестная бухта Балаклавы вмещала в себе чуть ли не четверть всей союзной флотилии. От этой героической эпохи остались и до сих пор кое-какие достоверные следы: крутая дорога в балке Кефало-Врисси, проведенная английскими саперами, итальянское кладбище наверху балаклавских гор между виноградниками, да еще при плантаже земли под виноград время от времени откапывают короткие гипсовые и костяные трубочки, из которых более чем полвека тому назад курили табак союзные солдаты.

Но легенда цветет пышнее. До сих пор балаклавские греки убеждены, что только благодаря стойкости их собственного балаклавского батальона смог так долго продержаться Севастополь. Да! В старину населяли Балаклаву железные и гордые люди. Об их гордости устное предание удержало замечательный случай.

Не знаю, бывал ли когда-нибудь покойный император Николай I в Балаклаве. Думаю всячески, что во время крымской войны он вряд ли, за недостатком времени, заезжал туда. Однако живая история уверенно повествует о том, как на смотру, подъехав на белом коне к славному балаклавскому батальону, грозный государь, пораженный воинственным видом, огненными глазами и черными усищами балаклавцев, воскликнул громовым и радостным голосом:

— Здорово, ребята!

Но батальон молчал.

Царь повторил несколько раз свое приветствие, все в более и более гневном тоне. То же молчание! Наконец совсем уже рассерженный, император наскочил на батальонного начальника и воскликнул своим ужасным голосом:

— Отчего же они, черт их побери, не отвечают? Кажется, я по-русски сказал: «Здорово, ребята!»

— Здесь нет ребята,— ответил кротко начальник.— Здесь сё капитаны...

Тогда Николай I рассмеялся — что же ему оставалось еще делать? — и вновь крикнул:

— Здравствуйте, капитаны!

И храбрые листригоны весело заорали в ответ:

— Кáли мэра (добрый день), ваше величество!

Так ли происходило это событие, или не так, и вообще происходило ли оно в действительности, судить трудно, за неимением веских и убедительных исторических данных. Но и до сих пор добрая треть отважных балаклавских жителей носит фамилию Капитанаки, и если вы встретите когда-нибудь грека с фамилией Капитанаки, будьте уверены, что он сам или его недалекие предки — родом из Балаклавы.

2

Но самыми яркими и соблазнительными цветами украшено сказание о затонувшей у Балаклавы английской эскадре. Темной зимней ночью несколько английских судов направлялись к балаклавской бухте, ища спасения от бури. Между ними был прекрасный трехмачтовый фрегат «Black Prince», везший деньги для уплаты жалованья союзным войскам. Шестьдесят миллионов рублей звонким английским золотом! Старикам даже и цифра известна с точностью.

Те же старики говорят, что таких ураганов теперь уже не бывает, как тот, что свирепствовал в эту страшную ночь! Громадные волны, ударяясь об отвесные скалы, всплескивали наверх до подножия Генуэзской башни — двадцать сажен высоты! — и омывали ее серые старые стены. Эскадра не сумела найти узкого входа в бухту или, может быть, найдя, не смогла войти в него. Она вся разбилась об утесы и вместе с великолепным кораблем «Black Prince» и с английским золотом пошла ко дну

около Белых Камней, которые и теперь еще внушительно торчат из воды там, где узкое горло бухты расширяется к морю, с правой стороны, если выходишь из Балаклавы.

Теперешние пароходы совершают свои рейсы далеко от бухты, верстах в пятнадцати — двадцати. С генуэзской крепости едва различишь кажущийся неподвижным темный корпус парохода, длинный хвост серого тающего дымка и две мачты, стройно наклоненные назад. Зоркий рыбацкий глаз, однако, почти безошибочно разбирает эти суда по каким-то приметам, не понятным нашему опыту и зрению. «Вот идет грузовой из Евпатории... Это Русского общества, а это Российский... это — Кошкинский... А это валяет по мертвой зыби «Пушкина» — его и в тихую погоду валяет...»

3

И вот однажды, совсем неожиданно, в бухту вошел огромный, старинной конструкции, необыкновенно грязный итальянский пароход «Genova»¹. Случилось это поздним вечером, в ту пору осени, когда почти все курортные жильцы уже разъехались на север, но море еще настолько тепло, что настоящая рыбная ловля пока не начиналась, когда рыбаки, не торопясь, чинят сети и готовят крючки, играют в домино по кофейням, пьют молодое вино и вообще предаются временному легкому кейфу.

Вечер был тихий и темный, с большими спокойными звездами на небе и в спящей воде залива. Вдоль набережной зажигалась желтыми точками цепь фонарей. Закрывались светлые четырехугольники магазинов. Легкими черными силуэтами медленно двигались по улицам и по тротуару люди...

И вот, не знаю кто, кажется мальчишки, игравшие наверху у Генуэзской башни, принесли известие, что о моря завернул и идет к бухте какой-то пароход.

Через несколько минут все коренное мужское население было на набережной. Известно, что грек — всегда грек и, значит, прежде всего любопытен. Правда, в балакла-

¹ «Генуя» (итал.).

ских греках чувствуется, кроме примеси позднейшей генуэзской крови, и еще какая-то таинственная, древняя, — почем знать, — может быть, даже скифская кровь — кровь первобытных обитателей этого разбойничьего и рыбацкого гнезда. Среди них увидишь много рослых, сильных и самоуверенных фигур; попадаются правильные, благородные лица; нередко встречаются блондины и даже голубоглазые; балаклавцы не жадны, не услужливы, держатся с достоинством, в море отважны, хотя и без нелепого риска, хорошие товарищи и крепко исполняют данное слово. Положительно — это особая исключительная порода греков, сохранившаяся главным образом потому, что их предки чуть не сотнями поколений родились, жили и умирали в своем городишке, заключая браки лишь между соседями. Однако надо сознаться, что греки-колонизаторы оставили в их душах самую свою типичную черту, которой они отличались еще при Перикле, — любопытство и страсть к новостям.

Медленно, сначала показавшись лишь передовым крошечным огоньком из-за крутого загиба бухты, вплывал пароход в залив. Издали в густой теплой темноте ночи не было видно его очертаний, но высокие огни на мачтах, сигнальные огни на мостике и ряд круглых светящихся иллюминаторов вдоль борта позволяли догадываться о его размерах и формах. В виду сотен лодок и баркасов, стоявших вдоль набережной, он едва заметно подвигался к берегу, с той внимательной и громоздкой осторожностью, с какой большой и сильный человек проходит сквозь детскую комнату, заставленную хрупкими игрушками.

Рыбаки делали предположения. Многие из них плавали раньше на судах коммерческого, а чаще военного флота.

— Что ты мне будешь говорить? Разве я не вижу? Конечно, — грузовой Русского общества.

— Нет, это не русский пароход.

— Верно, испортилось что-нибудь в машине, зашел чиниться.

— Может быть, военное судно?

— Скажешь!

Один Коля Констанди, долго плававший на канонерской лодке по Черному и Средиземному морям, угадал

верно, сказав, что пароход итальянский. И то угадал он это только тогда, когда пароход совсем близко, сажень на десять, подошел к берегу и можно было рассмотреть его облинявшие, облупленные борта, с грязными потеками из люков, и разношерстную команду на палубе.

С парохода взвился спиралью конец каната и, змеей развертываясь в воздухе, полетел на головы зрителей. Всем известно, что ловко забросить конец с судна и ловко поймать его на берегу считается первым условием своеобразного морского шика. Молодой Апостолиди, не выпуская изо рта папироски, с таким видом, точно он сегодня проделывает это в сотый раз, поймал конец на лету и тут же небрежно, но уверенно замотал его вокруг одной из двух чугунных пушек, которые с незапамятных времен стоят на набережной, врытые стоймя в землю.

От парохода отошла лодка. Три итальянца выскочили из нее на берег и завозились около канатов. На одном из них был суконный берет, на другом — картуз с прямым четырехугольным козырьком, на третьем — какой-то вязаный колпак. Все они были маленькие крепыши, проворные, цепкие и ловкие, как обезьяны. Они бесцеремонно расталкивали плечами толпу, тараторили что-то на своем быстром, певучем и нежном генуэзском наречии и перекрикивались с пароходом. Все время на их загорелых лицах смеялись дружелюбно и фамильярно большие черные глаза и сверкали белые молодые зубы.

— Бона сера... итальяно... маринаро! ¹ — одобрительно сказал Коля.

— Oh! Buona sera, signore! ² — весело, разом отозвались итальянцы.

Загремела с визгом якорная цепь. Забурлило и заглохотало что-то внутри парохода. Погасли огни в иллюминаторах. Через полчаса итальянских матросов спустили на берег.

Итальянцы — все как на подбор, низкорослые, чернотыпа и молодые — оказались общительными и веселыми молодцами. С какой-то легкой, пленительной развязностью

¹ Привет... итальянцы моряки! (итал.)

² О привет, господин! (итал.)

заигрывали они в этот вечер в пивных залах и в винных погребках с рыбаками. Но балаклавцы встретили их сухо и сдержанно. Может быть, они хотели дать понять этим чужим морякам, что заход иностранного судна в бухту вовсе был для них не в редкость, что это случается ежедневно, и, стало быть, нечего тут особенно удивляться и радоваться. Может быть, в них говорил маленький местный патриотизм?

И — ах! — нехорошо они в этот вечер подшутили над славными, веселыми итальянцами, когда те, в своей милой международной доверчивости, тыкали пальцами в хлеб, вино, сыр и в другие предметы и спрашивали их названия по-русски, скаля ласково свои чудные зубы. Таким словам научили хозяева своих гостей, что каждый раз потом, когда генуэзцы в магазине или на базаре пробовали объясняться по-русски, то приказчики падали от хохота на свои прилавки, а женщины стремглав бросались бежать куда попало, закрывая от стыда головы платками.

И в тот же вечер — бог весть каким путем, точно по невидимым электрическим проводам — облетел весь город слух, что итальянцы пришли нарочно для того, чтобы поднять затонувший фрегат «Black Prince» вместе с его золотом и что их работа продолжится целую зиму.

4

В успешность такого предприятия никто в Балаклаве не верил. Прежде всего, конечно, над морским кладом лежало таинственное заклятие. Замшелые, древние, белые, согбенные старцы рассказывали о том, что и прежде делались попытки добыть со дна английское золото; приезжали и сами англичане и какие-то фантастические американцы, ухлопывали пропасть денег и уезжали из Балаклавы ни с чем. Да и что могли поделать какие-нибудь англичане или американцы, если даже легендарные, прежние, героические балаклавцы потерпели здесь неудачу? Само собой разумеется, что прежде и погоды были не такие, и уловы рыбы, и баркасы, и паруса, и люди были совсем не такие, как теперешняя мелюзга. Был некогда мифический Спиро. Он мог опуститься на любую глубину и пробыть под водой четверть часа. Так вот этот Спиро,

зажав между ногами камень в три пуда весом, опускался у Белых Камней на глубину сорока сажен, на дно, где покоятся останки затонувшей эскадры. И Спиро все видел: и корабль и золото, но взять оттуда с собой не мог... *не пускает.*

— Вот бы Сашка Комиссионер попробовал, — лукаво замечал кто-нибудь из слушателей. — Он у нас первый ныряльщик.

И все кругом смеялись, и более других смеялся во весь свой гордый, прекрасный рот сам Сашка Аргириди, или Сашка Комиссионер, как его называют.

Этот парень — голубоглазый красавец с твердым античным профилем — в сущности первый лентяй, плут и шут на всем крымском побережье. Его прозвали комиссионером за то, что иногда в разгаре сезона он возьмет и пришьет себе на ободок картуза пару золотых позументов и самовольно усядется на стуле где-нибудь поблизости гостиницы, прямо на улице. Случается, что к нему обратятся с вопросом какие-нибудь легкомысленные туристы, и тут уж им никак не отлепиться от Сашки. Он мыкает их по горам, по задворкам, по виноградникам, по кладбищам, врет им с невероятной дерзостью, забежит на минуту в чей-нибудь двор, наскоро разобьет в мелкие куски обломок старого печного горшка и потом «как слонов» уговаривает ошалевших путешественников купить по случаю эти черепки — остаток древней греческой вазы, которая была сделана еще до рождества Христова... или сует им в нос обыкновенный овальный и тонкий голыш с повернутой вверх дыркой, из тех, что рыбаки употребляют как грузило для сетей, и уверяет, что ни один греческий моряк не выйдет в море без такого талисмана, освященного у раки Николая угодника и спасающего от бури.

Но самый лучший его номер — подводный. Катая простодушную публику по заливу и наслушавшись вдоволь, как она поет «Нелюдимо наше море» и «Вниз по матушке по Волге», он искусно и незаметно заводит речь о затонувшей эскадре, о сказочном Спиро и вообще о нырянии. Но четверть часа под водой — это даже самым доверчивым пассажирам кажется враньем, да еще при этом специально греческим враньем. Ну, две-три минуты это еще куда ни шло, это можно, пожалуй, допустить... но пятна-

дцать!.. Сашка задет за живое... Сашка обижен в своем национальном самолюбии... Сашка хмурится... Наконец, если ему не верят, он сам лично может доказать, и даже сейчас, сию минуту, что он, Сашка, нырнет и пробудет под водой ровно десять минут.

— Правда, это трудно,— говорит он не без мрачности.— Вечером у меня будет итти кровь из ушей и из глаз... Но я никому не позволю говорить, что Сашка Аргириди хвастун.

Его уговаривают, удерживают, но ничто уж теперь не помогает, раз человек оскорблен в своих лучших чувствах. Он быстро, сердито срывает с себя пиджак и панталоны, мгновенно раздевается, заставляя дам отворачиваться и заслоняться зонтиками, и — бух — с шумом и брызгами летит вниз головой в воду, не забыв, однако, предварительно одним углом глаза рассчитать расстояние до недалекой мужской купальни.

Сашка действительно прекрасный пловец и нырок. Бросившись на одну сторону лодки, он тотчас же глубоко в воде заворачивает под килем и по дну плывет прямо-хонько в купальню. И в то время, когда на лодке подымается общая тревога, взаимные упреки, аханье и всякая бестолочь, он сидит в купальне на ступеньке и торопливо докуривает чей-нибудь папиросный окурочок. И таким же путем совершенно неожиданно Сашка выскакивает из воды у самой лодки, искусственно выпучив глаза и задыхаясь, к общему облегчению и восторгу.

Конечно, ему перепадает за эти фокусы кое-какая мелочишка. Но надо сказать, что руководит Сашкой в его проделках вовсе не алчность к деньгам, а мальчишеская, безумная, веселая проказливость.

5

Итальянцы ни от кого не скрывали цели своего приезда: они действительно пришли в Балаклаву с тем, чтобы попытаться исследовать место крушения и — если обстоятельства позволят — поднять со дна все наиболее ценное,— главным образом, конечно, легендарное золото. Всей экспедицией руководил инженер Джузеппе Рестуччи — изобретатель особого подводного аппарата, высокий пожилой молчаливый человек, всегда одетый в серое,

с серым длинным лицом и почти седыми волосами, с бельмом на одном глазу,— в общем гораздо больше похожий на англичанина, чем на итальянца. Он поселился в гостинице на набережной и по вечерам, когда к нему кое-кто приходил посидеть, гостеприимно угощал вином кианти и стихами своего любимого поэта Стекетти.

«Женская любовь, точно уголь, который, когда пламенеет, то жжется, а холодный — грязнит!»

И хотя он это все говорил по-итальянски, своим сладким и певучим генуэзским акцентом, но и без перевода смысл стихов был ясен благодаря его необыкновенно выразительным жестам: с таким видом внезапной боли он отдергивал руку, обожженную воображаемым огнем,— и с такой гримасой брезгливого отвращения он отбрасывал от себя холодный уголь.

Был еще на судне капитан и двое его младших помощников. Но самым замечательным лицом из экипажа был, конечно, водолаз — il palambago — славный генуэзец, по имени Сальваторе Трама.

На его большом круглом темнобронзовом лице, испещренном, точно от обжога порохом, черными крапинками, проступали синими змейками напряженные вены. Он был невысок ростом, но благодаря необычайному объему грудной клетки, ширине плеч и массивности могучей шеи производил впечатление чрезмерно толстого человека. Когда он своей ленивой походкой, заложив руки в брючные карманы и широко расставляя короткие ноги, проходил серединой набережной улицы, то издали казался совсем одинаковых размеров как в высоту, так и в ширину.

Сальваторе Трама был приветливый, лениво-веселый, доверчивый человек, с склонностью к апоплексическому удару. Станные, дикие вещи рассказывал он иногда о своих подводных впечатлениях.

Однажды, во время работы в Бискайском заливе, ему пришлось опуститься на дно, на глубину более двадцати сажен. Внезапно он заметил, что на него среди зеленоватого подводного сумрака надвинулась сверху какая-то огромная, медленно плывущая тень. Потом тень остановилась. Сквозь круглое стекло водолазного шлема Сальваторе увидел, что над ним, в аршине над его головой, стоит, шевеля волнообразно краями своего круглого и

плоского, как у камбалы, тела, гигантский электрический скат сажени в две диаметром,— вот в эту комнату! — как сказал Трама. Одного прикосновения его двойного хвоста к телу водолаза достаточно было бы для того, чтобы умертвить храброго Трама электрическим разрядом страшной силы. И эти две минуты ожидания, пока чудовище, точно раздумав, медленно поплыло дальше, колыхаясь извилисто своими тонкими боками, Трама считает самыми жуткими во всей своей тяжелой и опасной жизни.

Рассказывал он также о своих встречах под водой с мертвыми матросами, брошенными за борт с корабля. Вопреки тяжести, привязанной к их ногам, они, вследствие разложения тела, попадают неизбежно в полосу воды такой плотности, что не идут уже больше ко дну, но и не поднимаются вверх, а, стоя, странствуют в воде, влекомые тихим течением, с ядром, висющим на ногах.

Еще передавал Трама о таинственном случае, приключившемся с другим водолазом, его родственником и учителем. Это был старый, крепкий, хладнокровный и отважный человек, обшаривший морское дно на побережьях чуть ли не всего земного шара. Свое исключительное и опасное ремесло он любил всей душой, как, впрочем, любит его каждый настоящий водолаз.

Однажды этот человек, работая над прокладкой телеграфного подводного кабеля, должен был опуститься на дно, на сравнительно небольшую глубину. Но едва только он достиг ногами почвы и сигнализировал об этом наверх веревкой, как сейчас же на лодке уловили его новый тревожный сигнал: «Подымайте наверх! Нахожусь в опасности!»

Когда его поспешно вытащили и быстро отвинтили медный шлем от скафандра, то всех поразило выражение ужаса, исказившее его бледное лицо и заставившее побелеть его глаза.

Водолаза раздели, напоили коньяком, старались его успокоить. Он долго не мог выговорить ни слова, так сильно стучали его челюсти одна о другую. Наконец, придя в себя, он сказал:

— Баста! Больше никогда не опускаюсь. Я видел...

Но так до конца своих дней он никому не сказал, какое впечатление или какая галлюцинация так сильно

потрясла его душу. Если об этом начинали разговаривать, он сердито замолкал и тотчас же покидал компанию. И в море он действительно больше не опускался ни одного раза...

6

Матросов на «Genova» было человек пятнадцать. Жили они все на пароходе, а на берег съезжали сравнительно редко. С балаклавскими рыбаками отношения у них так и остались отдаленными и вежливо холодными. Только изредка Коля Констанди бросал им добродушное приветствие:

— Бона джиорна, синьоры. Вино росссо...¹

Должно быть, очень скучно приходилось в Балаклаве этим молодым, веселым южным молодчикам, которые раньше побывали и в Рио-Жанейро, и на Мадагаскаре, и в Ирландии, и у берегов Африки, и во многих шумных портах европейского материка. В море — постоянная опасность и напряжение всех сил, а на суше — вино, женщины, песня, танцы и хорошая драка — вот жизнь настоящего матроса. А Балаклава всего-навсего маленький, тихонький уголок, узенькая щелочка голубого залива среди голых скал, облепленных несколькими десятками домишек. Вино здесь кислое и крепкое, а женщин и совсем нет для развлечения бравого матроса. Балаклавские жены и дочери ведут замкнутый и целомудренный образ жизни, позволяя себе только одно невинное развлечение — посудачить с соседками у фонтана в то время, когда их кувшины наполняются водою. Даже свои, близкие мужчины как-то избегают ходить в гости в знакомые семьи, а предпочитают видаться в кофейне или на пристани.

Однажды, впрочем, рыбаки оказали итальянцам небольшую услугу. При пароходе «Genova» был маленький паровой катер со старенькой, очень слабосильной машиной. Несколько матросов под командой помощника капитана вышли как-то в открытое море на этом катере. Но, как это часто бывает на Черном море, внезапно сорвавшийся бог весть откуда ветер подул от берега и стал уносить катер в море с постепенно возрастающей скоростью.

¹ Добрый день, сеньоры. Красное вино... (итал.)

Итальянцы долго не хотели сдаваться: около часа они боролись с ветром и волной, и, правда, страшно было в это время смотреть со скалы, как маленькая дымящаяся скорлупка то показывалась на белых гребнях, то совсем исчезала, точно проваливалась между волн. Катер не мог одолеть ветра, и его относило все дальше и дальше от берега. Наконец-то сверху, с генуэзской крепости, заметили белую тряпку, поднятую на дымовой трубе,— сигнал: «Терплю бедствие». Тотчас же два лучших балаклавских баркаса, «Слава России» и «Светлана», подняли паруса и вышли на помощь катеру.

Через два часа они привели его на буксире. Итальянцы были немного сконфужены и довольно принужденно шутили над своим положением. Шутили и рыбаки, но вид у них был все-таки покровительственный.

Иногда при ловле камбалы или белуги рыбакам случалось вытаскивать на крючке морского кота — тоже вид электрического ската. Прежде рыбак, соблюдая все меры предосторожности, отцеплял эту гадину от крючка и выбрасывал за борт. Но кто-то — должно быть, тот же знаток итальянского языка, Коля — пустил слух, что для итальянцев вообще морской кот составляет первое лакомство. И с тех пор часто, возвращаясь с ловли и проходя мимо парохода, какой-нибудь рыбак кричал:

— Эй, итальяно, синьоро! Вот вам на закуску!..

И круглый плоский скат летел темным кругом по воздуху и сочно шлепался о палубу. Итальянцы смеялись, показывая свои великолепные зубы, добродушно кивали головами и что-то бормотали по-своему. Почем знать, может быть они сами думали, что морской кот считается лучшим местным деликатесом, и не хотели обижать добрых балаклавцев отказом...

7

Недели через две по приезде итальянцы собрали и спустили на воду большой паром, на котором установили паровую и воздуходувные машины. Длинный кран лебедки, как гигантское удище, наклонно воздвигался над паромом. В одно из воскресений Сальваторе Трама впервые спускался под воду в заливе. На нем был обыкновенный

серый резиновый водолазный костюм, делавший его еще шире, чем обыкновенно, башмаки с свинцовыми подметками на ногах, железная манишка на груди, круглый медный шар, скрывавший голову. С полчаса он ходил по дну бухты, и путь его отмечался массой воздушных пузырьков, которые вскипали над ним на поверхности воды. А спустя неделю вся Балаклава узнала, что завтра водолаз будет опускаться уже у самых Белых Камней, на глубину сорока сажен. И когда на другой день маленький жалкий катер повел паром к выходу из бухты, то у Белых Камней уже дожидались почти все рыбацьи баркасы, стоявшие в бухте.

Сущность изобретения господина Рестуччи именно в том и заключалась, чтобы дать возможность водолазу опускаться на такую глубину, на которой человека в обыкновенном скафандре сплющило бы страшным давлением воды. И, надо отдать справедливость балаклавцам, они не без волнения и во всяком случае с чувством настоящего мужественного уважения глядели на приготовления к спуску, которые совершались перед их глазами. Прежде всего паровой кран поднял и поставил стоймя странный футляр, отдаленно напоминавший человеческую фигуру, без головы и без рук, футляр, сделанный из толстой красной меди, покрытой снаружи голубой эмалью. Потом этот футляр раскрыли, как раскрыли бы гигантский портсигар, в который нужно поместить, точно сигару, человеческое тело. Сальваторе Трама, покуривая папиросу, спокойно глядел на эти приготовления, лениво посмеивался, изредка бросал небрежные замечания. Потом швырнул окурок за борт, с развалыцем подошел к футляру и боком втиснулся в него. Над водолазом довольно долго возились, устанавливая всевозможные приспособления, и надо сказать, что когда все было окончено, то он представлял собою довольно-таки страшное зрелище. Снаружи свободными оставались только руки, все тело вместе с неподвижными ногами было заключено в сплошной голубой эмалевый гроб громадной тяжести; голубой огромный шар, с тремя стеклами — передним и двумя боковыми — и с электрическим фонарем на лбу, скрывал его голову; подъемный канат, каучуковая трубка для воздуха, сигнальная веревка, телефонная проволока и осветительный провод, казалось, опутывали весь снаряд и делали еще более необы-

чайной и жуткой эту мертвую голубую массивную мумию с живыми человеческими руками.

Раздался сигнал паровой машины, послышался грохот цепей. Странный голубой предмет отделился от палубы парома, потом плавно, слегка закручиваясь по вертикальной оси, проплыл в воздухе и медленно, страшно медленно, стал опускаться за борт. Вот он коснулся поверхности воды, погрузился по колена, до пояса, по плечи... Вот скрылась голова, наконец ничего не видно, кроме медленно ползущего вниз стального каната. Балаклавские рыбаки переглядываются и молча, с серьезным видом покачивают головами...

Инженер Рестуччи у телефонного аппарата. Время от времени он бросает короткие приказания машинисту, регулирующему ход каната. Кругом на лодках полная, глубокая тишина — слышен только свист машины, накачивающей воздух, погромыхивание шестерен, визг стального троса на блоке и отрывистые слова инженера. Все глаза устремлены на то место, где недавно исчезла уродливая шарообразная страшная голова.

Спуск продолжался мучительно долго. Больше часа. Но вот Рестуччи оживляется, несколько раз переспрашивает что-то в телефонную трубку и вдруг кидает короткую команду:

— Стоп!..

Теперь все зрители понимают, что водолаз дошел до дна, и все вздыхают, точно с облегчением. Самое страшное окончилось...

Втиснутый в металлический футляр, имея свободными только руки, Трама был лишен возможности передвигаться по дну собственными средствами. Он только приказывал по телефону, чтобы его перемещали вместе с паромом вперед, передвигали лебедкой в стороны, поднимали вверх и опускали. Не отрываясь от телефонной трубки, Рестуччи повторял его приказания спокойно и повелительно, и казалось, что паром, лебедка и все машины приводились в движение волей невидимого, таинственного подводного человека.

Через двадцать минут Сальваторе Трама дал сигнал к подниманию. Так же медленно его вытащили на поверхность, и когда он опять повис в воздухе, то производил странное впечатление какого-то грозного и беспомощного

голубого животного, извлеченного чудом из морской бездны.

Установили аппарат на палубе. Матросы быстрыми привычными движениями сняли шлем и распаковали футляр. Трама вышел из него в поту, задыхаясь, с лицом почти черным от прилива крови. Видно было, что он хотел улыбнуться, но у него вышла только страдальческая, измученная гримаса. Рыбаки в лодках почтительно молчали и только в знак удивления покачивали головами и, по греческому обычаю, значительно почмокивали языком.

Через час всей Балаклаве стало известно все, что видел водолаз на дне моря, у Белых Камней. Большинство кораблей было так занесено илом и всяким сором, что не было надежды на их поднятие, а от трехмачтового фрегата с золотом, засосанного дном, торчит наружу только кусочек кормы с остатком медной позеленевшей надписи: ...sk Pг...

Трама рассказывал также, что вокруг затонувшей эскадры он видел множество оборванных рыбацких якорей, и это известие умилило рыбаков, потому что каждому из них, наверное, хоть раз в жизни пришлось оставить здесь свой якорь, который заело в камнях и обломках...

8

Но и балаклавским рыбакам удалось однажды поразить итальянцев необыкновенным и в своем роде великолепным зрелищем. Это было 6 января, в день крещения господня,— день, который справляется в Балаклаве совсем особенным образом.

К этому времени итальянские водолазы уже окончательно убедились в бесплодности дальнейших работ по поднятию эскадры. Им оставалось всего лишь несколько дней до отплытия домой, в милую, родную, веселую Геную, и они торопливо приводили в порядок пароход, чистили и мыли палубу, разбирали машины.

Вид церковной процессии, духовенство в золотых ризах, хоругви, кресты и образа, церковное пение — все это привлекло их внимание, и они стояли вдоль борта, облокотившись на перила.

Духовенство вошло на помост деревянной пристани.

Сзади густо теснились женщины, старики и дети, а молодежь в лодках на заливе тесным полукругом опоясала пристань.

Был солнечный, прозрачный и холодный день; выпавший за ночь снег нежно лежал на улицах, на крышах и на плешивых бурых горах, а вода в заливе синела, как аметист, и небо было голубое, праздничное, улыбающееся. Молодые рыбаки в лодках были одеты только для приличия в одно исподнее белье, иные же были голы до пояса. Все они дрожали от холода, ежились, потирали озябшие руки и груди. Стройно и необычно сладостно несло пение хора по неподвижной глади воды.

«Во Иордане крещающуся...» — тонко и фальшиво запел священник, и высоко поднятый крест заблестел в его руках белым металлом... Наступил самый серьезный момент. Молодые рыбаки стояли каждый на носу своего баркаса, все полураздетые, наклоняясь вперед в нетерпеливом ожидании.

Во второй раз пропел священник, и хор подхватил стройно и радостно «Во Иордане». Наконец в третий раз поднялся крест над толпой и вдруг, брошенный рукой священника, полетел, описывая блестящую дугу в воздухе, и звонко упал в море.

В тот же момент со всех баркасов с плеском и криками ринулись в воду вниз головами десятки крепких, мускулистых тел. Прошло секунды три-четыре. Пустые лодки покачивались, кланяясь. Вздурораженная вода ходила взад и вперед... Потом одна за другой начали показываться над водой мотающиеся фыркающие головы, с волосами, падающими на глаза. Позднее других вынырнул с крестом в руке молодой Яни Липиади.

Веселые итальянцы не могли сохранить надлежащей серьезности при виде этого необыкновенного, освященного седой древностью, полуспортивного, полурелигиозного обряда. Они встретили победителя такими дружными аплодисментами, что даже добродушный батюшка укоризненно покачал головою:

— Нехорошо... И очень плохо. Что это им — театральное представление?..

Ослепительно блестел снег, ласково синела вода, золотом солнце обливало залив, горы и людей. И крепко, густо, могущественно пахло морем. Хорошо!

VIII

БЕШЕНОЕ ВИНО

В Балаклаве конец сентября просто очарователен. Вода в заливе похолодела, дни стоят ясные, тихие, с чудесной свежестью и крепким морским запахом по утрам, с синим безоблачным небом, уходящим бог знает в какую высоту, с золотом и пурпуром на деревьях, с безмолвными черными ночами. Курортные гости — шумные, больные, эгоистичные, праздные и вздорные — разъехались кто куда — на север, к себе по домам. Виноградный сезон окончился.

К этому-то сроку и поспевают бешеное вино.

Почти у каждого грека, славного капитана-листригона, есть хоть крошечный кусочек виноградника, — там, наверху, в горах, в окрестностях итальянского кладбища, где скромным белым памятником увенчаны могилы нескольких сотен безвестных иноземных храбрецов. Виноградники запущены, одичали, разрослись, ягоды выродились, измельчали. Пять-шесть хозяев, правда, выводят и поддерживают дорогие сорта вроде «чаус», «шашля» или «Наполеон», продавая их за целебные курортной публике (впрочем, в Крыму в летний и осенний сезоны — все целебное: целебный виноград, целебные цыплята, целебные чадры, целебные туфли, кизилевые палки и раковины, продаваемые морщинистыми лукавыми татарами и важными, бронзовыми, грязными персами). Остальные владельцы ходят в свой виноградник — или, как здесь говорят, «в сад» — только два раза в год: в начале осени — для сбора ягод, а в конце — для обрезки, производимой самым варварским образом.

Теперь времена изменились: нравы пали, и люди обеднели, рыба ушла куда-то в Трапезонд, оскудела природа. Теперь потомки отважных листригонов, легендарных разбойников-рыболовов, катают за пятак по заливу детей и нянек и живут сдачей своих домиков внаймы приезжим. Прежде виноград родился — вот какой! — величиною в детский кулак, и гроздья были по пуду весом, а нынче и поглядеть не на что — ягоды чуть-чуть побольше черной смородины, и нет в них прежней силы. Так рассуждают между собой старики, сидя в спокойные осенние сумерки

около своих побеленных оград, на каменных скамьях, вросших в течение столетий в землю. Но старый обычай все-таки сохранился до наших дней. Всякий, кто может, поодиночке или в складчину, жмут и давят виноград теми первобытными способами, к которым, вероятно, прибегал наш прародитель Ной или хитроумный Улисс, опивший такого крепкого мужика, как Полифем. Давят прямо ногами, и когда давитьщик выходит из чана, то его голые ноги выше колен кажутся вымазанными и забрызганными свежей кровью. И это делается под открытым небом в горах, среди древнего виноградника, обсаженного вокруг миндальными деревьями и трехстолетними грецкими орехами.

Часто я гляжу на это зрелище, и необычайная, волнующая мечта охватывает мою душу. Вот на этих самых горах три, четыре, а может и пять тысяч лет тому назад, под тем же высоким синим небом и под тем же милым красным солнцем справлялся всенародно великолепный праздник Вакха, и там, где теперь слышится гнусавый тенориска слабогрудого дачника, уныло скрипящий:

И на могилу приноси
Хоть трижды в день мне хризанте-е-мы,—

там раздавались безумно радостные, божественно-пьяные возгласы:

Эвое! Эван! Эвое!

Ведь всего в четырнадцать верстах от Балаклавы грозно возвышаются из моря красно-коричневые острые обломки мыса Фиолент, на которых когда-то стоял храм богини, требовавшей себе человеческих жертв! Ах, какую странную, глубокую и сладкую власть имеют над нашим воображением эти опустелые, изуродованные места, где когда-то так радостно и легко жили люди, веселые, радостные, свободные и мудрые, как звери.

Но молодому вину не дают не только улежаться, а даже просто осесть.

Да его и добывается так мало, что оно не стоит настоящих забот. Оно и месяца не постоит в бочке, как его уже разливают в бутылки и несут в город. Оно еще бродит, оно еще не успело *опомниться*, как характерно выражаются виноделы: оно мутно и грязновато на свет, со слабым

розовым или яблочным оттенком; но все равно пить его легко и приятно. Оно пахнет свежераздавленным виноградом и оставляет на зубах терпкую, кислотоватую оскомину.

Зато оно замечательно по своим последствиям. Выпитое в большом количестве, молодое вино не хочет опомниться и в желудке и продолжает там таинственный процесс брожения, начатый еще в бочке. Оно заставляет людей танцевать, прыгать, болтать безудержу, кататься по земле, пробовать силу, подымать невероятные тяжести, целоваться, плакать, хохотать, врать чудовищные небывлицы. У него есть и еще одно удивительное свойство, какое присуще и китайской водке ханджин: если на другой день после попойки выпить поутру стакан простой холодной воды, то молодое вино опять начинает бродить, бурлить и играть в желудке и в крови, а сумасбродное его действие возобновляется с прежней силой. Оттого-то и называют это молодое вино — «бешеным вином».

Балаклавцы — хитрый народ и к тому же наученный тысячелетним опытом: поутру они пьют вместо холодной воды то же самое бешеное вино. И все мужское коренное население Балаклавы ходит недели две подряд пьяное, разгульное, шатающееся, но благодущное и поющее. Кто их осудит за это, славных рыбаков? Позади — скучное лето с крикливыми, заносчивыми, требовательными дачниками, впереди — суровая зима, свирепые норд-осты, ловля белуги за тридцать — сорок верст от берега то среди непроглядного тумана, то в бурю, когда смерть висит каждую минуту над головой и никто в баркасе не знает, куда их несут зыбь, течение и ветер!

По гостям, как и всегда в консервативной Балаклаве, ходят редко. Встречаются в кофейнях, в столовых и на открытом воздухе, за городом, где плоско и пестро начинается роскошная Байдарская долина. Каждый рад похвастаться своим молодым вином, а если его и нехватит, то разве долго послать какого-нибудь бездомного мальчишку к себе на дом за новой порцией? Жена посердится, побранится, а все-таки пришлет две-три четвертных бутылки мутно-желтого или мутно-розового полупрозрачного вина.

Кончились запасы — идут, куда понесут ноги: на ближайший хутор, в деревню, в лимонадную лавочку на 9-ю или на 5-ю версту балаклавского шоссе. Сядут в кружок

среди колючих ожинков кукурузы, хозяин вынесет вина прямо в большом расширяющемся кверху эмалированном ведре с железной дужкой, по которой ходит деревянная муфточка,— а ведро полно верхом. Пьют чашками, учтиво, с пожеланиями и непременно — чтобы все разом. Один подымает чашку и скажет: «стани-ясо», а другие отвечают: «си-ийя».

Потом запоют. Греческих песен никто не знает: может быть, они давно позабыты, может быть, укронная, молчаливая балаклавская бухта никогда не располагала людей к пению. Поют русские южные рыбацьи песни, поют в унисон страшными каменными, деревянными, железными голосами, из которых каждый старается перекричать другого. Лица краснеют, рты широко раскрыты, жилы вздулись на вспотевших лбах.

Закипела в море пена —
Будет, братцы, перемена,
Братцы, перемена...
Зыб за зыбом часто ходит,
Чуть корабль мой не потонет,
Братцы, не потонет...
Капитан стоит на юте,
Старший боцман на шкафуте,
Братцы, на шкафу-те.

Выдумывают новые и новые предлоги для новой выпивки. Кто-то на-днях купил сапоги, ужасные рыбацьи сапоги из конской кожи, весом по полпуду каждый и длиною до бедер. Как же не вспрыснуть и не обмочить такую обновку? И опять появляется на сцену синее эмалированное ведро, и опять поют песни, похожие на рев зимнего урагана в открытом море.

И вдруг растроганный собственник сапог воскликнет со слезами в голосе:

— Товарищи! Зачем мне эти сапоги?.. Зима еще далеко... Успеется... Давайте пропьем их...

А потом навернут на конец нитки катышок из воска и опускают его в круглую, точно обточенную дырку норы тарантула, дразня насекомое, пока оно не разозлится и не вцепится в воск и не завязит в нем лап. Тогда быстрым и ловким движением извлекают насекомое наверх, на траву. Так поймают двух крупных тарантулов и сведут их вместе, в днище какой-нибудь разбитой склянки. Нет ни-

чего страшнее и азартнее зрелища той драки, которая начинается между этими ядовитыми, многоногими, огромными пауками. Летят прочь оторванные лапы, белая густая жидкость выступает каплями из пронзенных яйцевидных мягких туловищ. Оба паука стоят на задних ногах, обняв друг друга передними, и оба стараются ужалить противника ножницами своих челюстей в глаз или в голову. И драка эта оттого особенно жутка, что она непременно кончается тем, что один враг умерщвляет другого и мгновенно высасывает его, оставляя на земле жалкий, сморщенный чехол. А потомки кровожадных листригонов лежат звездой, на животах, головами внутрь, ногами наружу, подперев подбородки ладонями, и глядят молча, если только не ставят пари. Боже мой! Сколько лет этому ужасному развлечению, этому самому жестокому из всех человеческих зрелищ!

А вечером мы опять в кофейной. По заливу плавают лодки с татарской музыкой: бубен и кларнет. Гнусаво, однообразно, бесконечно уныло всхлипывает незатейливый, но непередаваемый азиатский мотив... Как бешеный бьет и трепещется бубен. В темноте не видать лодок. Это кутят старики, верные старинным обычаям. Зато у нас в кофейной светло от ламп «молния», и двое музыкантов: итальянец — гармония и итальянка — мандолина — играют и поют сладкими, осипшими голосами:

O! Nino, Nino, Marianino...

Я сижу, ослабев от дымного чада, от крика, от пения, от молодого вина, которым меня потчуют со всех сторон. Голова моя горяча и, кажется, пухнет и гудит. Но в сердце у меня тихое умирание. С приятными слезами на глазах я мысленно твержу те слова, которые так часто заметишь у рыболовов на груди или на руке в виде татуировки:

«Боже, храни моряка».

СУЛАМИФЬ

*Положи мя яко печать на сердце
твоом, яко печать на мышце твоей:
зане крепка яко смерть любовь,
жестока яко смерть ревность: стрелы
ее — стрелы огненные.*

Песнь Песней.

I

Царь Соломон не достиг еще среднего возраста,— сорока пяти лет,— а слава о его мудрости и красоте, о великолепии его жизни и пышности его двора распространилась далеко за пределами Палестины. В Ассирии и Финикии, в Верхнем и Нижнем Египте, от древней Тавризы до Иемена и от Исмара до Персеполя, на побережье Черного моря и на островах Средиземного — с удивлением произносили его имя, потому что не было подобного ему между царями во все дни его.

В 480 году по исшествии Израиля, в четвертый год своего царствования, в месяце Зифе, предпринял царь сооружение великого храма господня на горе Мориа и постройку дворца в Иерусалиме. Восемьдесят тысяч каменотесов и семьдесят тысяч носильщиков непрерывно работали в горах и в предместьях города, а десять тысяч дровосеков из числа тридцати восьми тысяч отправлялись посменно на Ливан, где проводили целый месяц в столь тяжелой работе, что после нее отдыхали два месяца.

Тысячи людей вязали срубленные деревья в плоты, и сотни моряков сплавляли их морем в Иаффу, где их обделывали тиряне, искусные в токарной и столярной работе. Только лишь при возведении пирамид Хефрена, Хуфу и Микерина в Гизеке употреблено было такое несметное количество рабочих.

Три тысячи шестьсот приставников надзирали за работами, а над приставниками начальствовал Азария, сын Нафанов, человек жестокий и деятельный, про которого сложился слух, что он никогда не спит, пожираемый огнем внутренней неизлечимой болезни. Все же планы дворца и храма, рисунки колонн, давира и медного моря, чертежи окон, украшения стен и тронов созданы были зодчим Хирамом-Авием из Сидона, сыном медника из рода Нафалимова.

Через семь лет, в месяце Буле, был завершен храм господень и через тринадцать лет — царский дворец. За кедровые бревна с Ливана, за кипарисные и оливковые доски, за дерево певговое, ситтим и фарсис, за обтесанные и отполированные громадные дорогие камни, за пурпур, багряницу и виссон, шитый золотом, за голубые шерстяные материи, за слоновую кость и красные баряньи кожи, за железо, оникс и множество мрамора, за драгоценные камни, за золотые цепи, венцы, шнуры, щипцы, сетки, лотки, лампы, цветы и светильники, золотые петли к дверям и золотые гвозди, весом в шестьдесят сиклей каждый, за златокованные чаши и блюда, за резные и мозаичные орнаменты, за литые и иссеченные в камне изображения львов, херувимов, волов, пальм и ананасов подарил Соломон Тирскому царю Хираму, соименнику зодчего, двадцать городов и селений в земле Галилейской, и Хирам нашел этот подарок ничтожным, — с такой неслыханной роскошью были выстроены храм господень и дворец Соломонов и малый дворец в Милло — для жены царя, красавицы Астис, дочери египетского фараона Суссакима. Красное же дерево, которое позднее пошло на перила и лестницы галлерей, на музыкальные инструменты и на переплеты для священных книг, было принесено в дар Соломону царицей Савской, мудрой и прекрасной Балкис, вместе с таким количеством ароматных курений, благовонных масел и драгоценных духов, какого до сих пор еще не видали в Израиле.

С каждым годом росли богатства царя. Три раза в год возвращались в гавани его корабли: «Фарсис», ходивший по Средиземному морю, и «Хирам», ходивший по Чермному морю. Они привозили из Африки слоновую кость, обезьян, павлинов и антилоп; богато украшенные колесницы из Египта, живых тигров и львов, а также звериные шкуры и меха из Месопотамии, белоснежных коней из Кувы, парваимский золотой песок на шестьсот шестьдесят талантов в год, красное, черное и сандаловое дерево из страны Офир, пестрые ассурские и калахские ковры с удивительными рисунками — дружественные дары царя Тиглат-Пилеазара, художественную мозаику из Ниневии, Нимруда и Саргона; чудные узорчатые ткани из Хатуара; златокованные кубки из Тира; из Сидона — цветные стекла, а из Пунта, близ Баб-эль-Мандеба, те редкие благовония — нард, алоэ, трость, киннамон, шафран, амбру, мускус, стакти, халван, смирну и ладан, из-за обладания которыми египетские фараоны предпринимали не раз кровавые войны.

Серебро же во дни Соломоновы стало ценою, как простой камень, и красное дерево не дороже простых сикимор, растущих на низинах.

Каменные бани, обложенные порфиром, мраморные водоемы и прохладные фонтаны устроил царь, повелел провести воду из горных источников, низвергавшихся в Кедронский поток, а вокруг дворца насадил сады и рощи и развел виноградник в Ваал-Гамоне.

Было у Соломона сорок тысяч стойл для мулов и коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы; ежедневно привозили для лошадей ячмень и солому из провинций. Десять волов откормленных и двадцать волов с пастбища, тридцать коров пшеничной муки и шестьдесят прочей, стабатов вина разного, триста овец, не считая птицы откормленной, оленей, серн и сайгаков — все это через руки двенадцати приставников шло ежедневно к столу Соломона, а также к столу его двора, свиты и гвардии. Шестьдесят воинов, из числа пятисот самых сильных и храбрых во всем войске, держали посменно караул во внутренних покоях дворца. Пятьсот щитов, покрытых золотыми пластинками, повелел Соломон сделать для своих телохранителей.

Чего бы глаза царя ни пожелали, он не отказывал им и не возбранял сердцу своему никакого веселия. Семьсот жен было у царя и триста наложниц, не считая рабынь и танцовщиц. И всех их очаровывал своей любовью Соломон, потому что бог дал ему такую неиссякаемую силу страсти, какой не было у людей обыкновенных. Он любил белолицых, черноглазых, краснотубых хеттеянок за их яркую, но мгновенную красоту, которая так же рано прелестно расцветает и так же быстро вянет, как цветок нарцисса; смуглых, высоких, пламенных филистимлянок с жесткими курчавыми волосами, носивших золотые звенящие запястья на кистях рук, золотые обручи на плечах, а на обеих щиколотках широкие браслеты, соединенные тонкой цепочкой; нежных, маленьких, гибких аммореянок, сложенных без упрека,— их верность и покорность в любви вошли в пословицу; женщин из Ассирии, удлинявших красками свои глаза и вытравливавших синие звезды на лбу и на щеках; образованных, веселых и остроумных дочерей Сидона, умевших хорошо петь, танцевать, а также играть на арфах, лютнях и флейтах под аккомпанемент бубна; желтокожих египтянок, неутомимых в любви и безумных в ревности; сладострастных вавилонянок, у которых все тело под одеждой было гладко, как мрамор, потому что они особой пастой истребляли на нем волосы; дев Бактрии, красивших волосы и ногти в огненно-красный цвет и носивших шальвары; молчаливых, застенчивых моавитянок, у которых роскошные груди были прохладны в самые жаркие летние ночи; беспечных и расточительных аммонитянок с огненными волосами и с телом такой белизны, что оно светилось во тьме; хрупких голубоглазых женщин с льняными волосами и нежным запахом кожи, которых привозили с севера, через Баальбек, и язык которых был непонятен для всех живущих в Палестине. Кроме того, любил царь многих дочерей Иудеи и Израиля.

Также разделял он ложе с Балкис-Македа, царицей Савской, превзошедшей всех женщин в мире красотой, мудростью, богатством и разнообразием искусства в страсти; и с Ависагой-сунамитянкой, согревавшей старость царя Давида, с этой ласковой, тихой красавицей, из-за

которой Соломон предал своего старшего брата Адонию смерти от руки Ванеи, сына Иодаева.

И с бедной девушкой из виноградника, по имени Суламифь, которую одну из всех женщин любил царь всем своим сердцем.

Носильный одр сделал себе Соломон из лучшего кедрового дерева, с серебряными столпами, с золотыми локотниками в виде лежащих львов, с шатром из пурпуровой тирской ткани. Внутри же весь шатер был украшен золотым шитьем и драгоценными камнями — любовными дарамн жен и дев иерусалимских. И когда стройные черные рабы проносили Соломона в дни великих празднеств среди народа, поистине был прекрасен царь, как лилия Саронской долины!

Бледно было его лицо, губы — точно яркая алая лента; волнистые волосы черны иссиня, и в них — украшение мудрости — блестела седина, подобно серебряным нитям горных ручьев, падающих с высоты темных скал Аэрмона; седина сверкала и в его черной бороде, завитой, по обычаю царей ассирийских, правильными мелкими рядами.

Глаза же у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь, а ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз, походили на черные лучи вокруг черных звезд. И не было человека во вселенной, который мог бы выдержать взгляд Соломона, не потупив своих глаз. И молнии гнева в очах царя повергали людей на землю.

Но бывали минуты сердечного веселия, когда царь опьянялся любовью, или вином, или сладостью власти, или радовался он мудрому и красивому слову, сказанному кстати. Тогда тихо опускались до половины его длинные ресницы, бросая синие тени на светлое лицо, и в глазах царя загорались, точно искры в черных брильянтах, теплые огни ласкового, нежного смеха; и те, кто видели эту улыбку, готовы были за нее отдать тело и душу — так она была неописуемо прекрасна. Одно имя царя Соломона, произнесенное вслух, волновало сердца женщин, как аромат пролитого мирра, напоминающий о ночах любви.

Руки царя были нежны, белы, теплы и красивы, как у женщины, но в них заключался такой избыток жизненной силы, что, налагая ладони на темя больных, царь

исцелял головные боли, судороги, черную меланхолию и беснование. На указательном пальце левой руки носил Соломон гемму из кроваво-красного астерикса, извергавшего из себя шесть лучей жемчужного цвета. Много сотен лет было этому кольцу, и на оборотной стороне его камня вырезана была надпись на языке древнего, исчезнувшего народа: «Все проходит».

И так велика была власть души Соломона, что повиновались ей даже животные: львы и тигры ползали у ног царя, и терлись мордами о его колени, и лизали его руки своими жесткими языками, когда он входил в их помещения. И он, находивший веселие сердца в сверкающих переливах драгоценных камней, в аромате египетских благовонных смол, в нежном прикосновении легких тканей, в сладостной музыке, в тонком вкусе красного искристого вина, играющего в чеканном нинуанском потире,— он любил также гладить суровые гривы львов, бархатные спины черных пантер и нежные лапы молодых пятнистых леопардов, любил слушать рев диких зверей, видеть их сильные и прекрасные движения и ощущать горячий запах их хищного дыхания.

Так живописал царя Соломона Иосафат, сын Ахилуда, историк его дней.

III

«За то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов, но просил мудрости, то вот Я делаю по слову твоему. Вот Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе».

Так сказал Соломону бог, и по слову его познал царь составление мира и действие стихий, постиг начало, конец и середину времен, проник в тайну вечного волнообразного и кругового возвращения событий; у астрономов Библиоса, Акры, Саргона, Борсиппы и Ниневии научился он следить за изменением расположения звезд и за годовыми кругами. Знал он также естество всех животных и угадывал чувства зверей, понимал происхождение и направление ветров, различные свойства растений и силу целебных трав.

Помыслы в сердце человеческом — глубокая вода, но и их умел вычерпывать мудрый царь. В словах и голосе, в глазах, в движениях рук так же ясно читал он самые сокровенные тайны душ, как буквы в открытой книге. И потому со всех концов Палестины приходило к нему великое множество людей, прося суда, совета, помощи, разрешения спора, а также и за разгадкой непонятных предзнаменований и снов. И дивились люди глубине и тонкости ответов Соломоновых.

Три тысячи притчей сочинил Соломон и тысячу и пять песней. Диктовал он их двум искусным и быстрым писцам, Елихоферу и Ахии, сыновьям Сивы, и потом сличал написанное обоими. Всегда облакал он свои мысли изящными выражениями, потому что золотому яблоку в чаше из прозрачного сардоникса подобно слово, сказанное умело, и потому также, что слова мудрых остры, как иглы, крепки, как вбитые гвозди, и составители их все от единого пастыря. «Слово — искра в движении сердца», — так говорил царь. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Был он мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, и Хилколы, и Додры, сыновей Махола. Но уже начинал он тяготиться красотой обыкновенной человеческой мудрости, и не имела она в глазах его прежней цены. Беспокойным и пытливым умом жаждал он той высшей мудрости, которую господь имел на своем пути прежде всех созданий своих искони, от начала, прежде бытия земли, той мудрости, которая была при нем великой художницей, когда он проводил круговую черту по лицу бездны. И не находил ее Соломон.

Изучил царь учения магов халдейских и ниневийских, науку астрологов из Абидоса, Саиса и Мемфиса, тайны волхвов, мистагогов, и эпоптов ассирийских, и прорицателей из Бактры и Персеполя, и убедился, что знания их были знаниями человеческими.

Также искал он мудрости в тайнодействиях древних языческих верований и потому посещал капища и приносил жертвы: могущественному Ваалу-Либанону, которого чтили под именем Мелькарта, бога созидания и разрушения, покровителя мореплавания, в Тире и Сидоне, называли Аммоном в оазисе Сивах, где идол его кивал головою, указывая пути праздничным шествиям, Бэлом у халдеев, Молохом у хананеев; поклонялся также жене его —

грозной и сладострастной Астарте, имевшей в других храмах имена Иштар, Исаар, Ваальтис, Ашера, Истар-Белит и Атаргатис. Изливал он елей и возжигал курение Изиде и Озирису египетским, брату и сестре, соединившимся браком еще во чреве матери своей и зачавшим там бога Гора, и Деркету, рыбообразной богине тирской, и Анубису с собачьей головой, богу бальзамирования, и вавилонскому Оанну, и Дагону филистимскому, и Авденаго ассирийскому, и Утсабу, идолу ниневийскому, и мрачной Киббеле, и Бэл-Меродоху, покровителю Вавилона — богу планеты Юпитер, и халдейскому Ору — богу вечного огня, и таинственной Омороге — праматери богов, которую Бэл рассек на две части, создав из них небо и землю, а из головы — людей; и поклонялся царь еще богине Атанаис, в честь которой девушки Финикии, Лидии, Армении и Персии отдавали прохожим свое тело, как священную жертву, на пороге храмов.

Но ничего не находил царь в обрядах языческих, кроме пьянства, ночных оргий, блуда, кровосмешения и противоземных страстей, и в догматах их видел суесловие и обман. Но никому из подданных не воспрещал он приношение жертв любимому богу и даже сам построил на Масличной горе капище Хамосу, мерзости моавитской, по просьбе прекрасной, задумчивой Эллан — моавитянки, бывшей тогда возлюбленной женою царя. Одного лишь не терпел Соломон и преследовал смертью — жертвоприношение детей.

И увидел он в своих исканиях, что участь сынов человеческих и участь животных одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом. И понял царь, что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание — умножает скорбь. Узнал он также, что и при смехе иногда болит сердце и концом радости бывает печаль. И однажды утром впервые продиктовал он Елихоферу и Ахии:

— Все суета сует и томление духа, — так говорит Еклезиаст.

Но тогда не знал еще царь, что скоро пошлет ему бог такую нежную и пламенную, преданную и прекрасную любовь, которая одна дороже богатства, славы и мудрости, которая дороже самой жизни, потому что даже жизнью она не дорожит и не боится смерти.

IV

Виноградник был у царя в Ваал-Гамоне, на южном склоне Ватн-эль-Хава, к западу от капища Молоха; туда любил царь уединяться в часы великих размышлений. Гранатовые деревья, оливы и дикие яблони, попеременно с кедрами и кипарисами, окаймляли его с трех сторон по горе, с четвертой же был он огражден от дороги высокой каменной стеной. И другие виноградники, лежавшие вокруг, также принадлежали Соломону; он отдавал их внаем сторожам за тысячу сребреников каждый.

Только с рассветом окончился во дворце роскошный пир, который давал царь Израильский в честь послов царя Ассирийского, славного Тиглат-Пилеазара. Несмотря на утомление, Соломон не мог заснуть этим утром. Ни вино, ни сикера не отуманили крепких ассирийских голов и не развязали их хитрых языков. Но проницательный ум мудрого царя уже опередил их планы и уже вязал в свою очередь тонкую политическую сеть, которою он оплетет этих важных людей с надменными глазами и с лстивой речью. Соломон сумеет сохранить необходимую приязнь с повелителем Ассирии и в то же время, ради вечной дружбы с Хирамом Тирским, спасет от разграбления его царство, которое своими неисчислимыми богатствами, скрытыми в подвалах под узкими улицами с тесными домами, давно уже привлекает жадные взоры восточных владык.

И вот на заре приказал Соломон отнести себя на гору Ватн-эль-Хав, оставил носилки далеко на дороге и теперь один сидит на простой деревянной скамье, наверху виноградника, под сенью деревьев, еще затаивших в своих ветвях росистую прохладу ночи. Простой белый плащ надет на царя, скрепленный на правом плече и на левом боку двумя египетскими аграфами из зеленого золота, в форме свернувшихся крокодилов — символ бога Себаха. Руки царя лежат неподвижно на коленях, а глаза, затененные глубокой мыслью, не мигая, устремлены на восток, в сторону Мертвого моря — туда, где из-за круглой вершины Аназе восходит в пламени зари солнце.

Утренний ветер дует с востока и разносит аромат цветущего винограда — тонкий аромат резеды и вареного вина. Темные кипарисы важно раскачивают тонкими вер-

хушками и льют свое смолистое дыхание. Торопливо переговариваются серебряно-зеленые листья олив.

Но вот Соломон встает и прислушивается. Милый женский голос, ясный и чистый, как это росистое утро, поет где-то невдалеке, за деревьями. Простой и нежный мотив льется, льется себе, как звонкий ручей в горах, повторяя все те же пять-шесть нот. И его незатейливая изящная прелесть вызывает тихую улыбку умиления в глазах царя.

Все ближе слышится голос. Вот он уже здесь, рядом, за раскидистыми кедрами, за темной зеленью можжевельника. Тогда царь осторожно раздвигает руками ветви, тихо пробирается между колючими кустами и выходит на открытое место.

Перед ним, за низкой стеной, грубо сложенной из больших желтых камней, расстилается вверх виноградник. Девушка в легком голубом платье ходит между рядами лоз, нагибается над чем-то внизу и опять выпрямляется и поет. Рыжие волосы ее горят на солнце.

День дохнул прохладой,
Убегают ночные тени.
Возвращайся скорее, мой милый,
Будь легок, как серна,
Как молодой олень среди горных ущелий...

Так поет она, подвязывая виноградные лозы, и медленно спускается вниз, ближе и ближе к каменной стене, за которой стоит царь. Она одна — никто не видит и не слышит ее; запах цветущего винограда, радостная свежесть утра и горячая кровь в сердце опьяняют ее, и вот слова наивной песенки мгновенно рождаются у нее на устах и уносятся ветром, забытые навсегда:

Ловите нам лис и лисенят,
Они портят наши виноградники,
А виноградники наши в цвете.

Так она доходит до самой стены и, не замечая царя, поворачивает назад и идет, легко взбираясь в гору, вдоль соседнего ряда лоз. Теперь песня звучит глуше:

Беги, возлюбленный мой,
Будь подобен серне
Или молодому оленю
На горах бальзамических.

Но вдруг она замолкает и так пригибается к земле, что ее не видно за виноградником.

Тогда Соломон произносит голосом, ласкающим ухо:

— Девушка, покажи мне лицо твое, дай еще услышать твой голос.

Она быстро выпрямляется и оборачивается лицом к царю. Сильный ветер срывается в эту секунду и треплет на ней легкое платье и вдруг плотно облепляет его вокруг ее тела и между ног. И царь на мгновение, пока она не становится спиной к ветру, видит всю ее под одеждой, как нагую, высокую и стройную, в сильном расцвете тринадцати лет; видит ее маленькие, круглые, крепкие груди и возвышения сосцов, от которых материя лучами расходится врозь, и круглый, как чаша, девический живот, и глубокую линию, которая разделяет ее ноги снизу доверху и там расходится надвое, к выпуклым бедрам.

— Потому что голос твой сладок и лицо твое приятно! — говорит Соломон.

Она подходит ближе и смотрит на царя с трепетом и с восхищением. Невыразимо прекрасно ее смуглое и яркое лицо. Тяжелые, густые темнорыжие волосы, в которые она воткнула два цветка алого мака, упругими бесчисленными кудрями покрывают ее плечи и разбегаются по спине и пламенеют, пронзенные лучами солнца, как золотой пурпур. Самодельное ожерелье из каких-то красных сухих ягод трогательно и невинно обвивает в два раза ее темную, высокую, тонкую шею.

— Я не заметила тебя! — говорит она нежно, и голос ее звучит, как пение флейты. — Откуда ты пришел?

— Ты так хорошо пела, девушка!

Она стыдливо опускает глаза и сама краснеет, но под ее длинными ресницами и в углах губ дрожит тайная улыбка.

— Ты пела о своем милом. Он легок, как серна, как молодой горный олень. Ведь он очень красив, твой милый, девушка, не правда ли?

Она смеется так звонко и музыкально, точно серебряный град падает на золотое блюдо.

— У меня нет милого. Это только песня. У меня еще не было милого...

Они молчат с минуту и глубоко, без улыбки смотрят друг на друга... Птицы громко перекликаются среди де-

ревьев. Грудь девушки часто колеблется под ветхим полотном.

— Я не верю тебе, красавица. Ты так прекрасна...

— Ты смеешься надо мною. Посмотри, какая я черная...

Она поднимает кверху маленькие темные руки, и широкие рукава легко скользят вниз, к плечам, обнажая ее локти, у которых такой тонкий и круглый девический рисунок.

И она говорит жалобно:

— Братья мои рассердились на меня и поставили меня стеречь виноградник, и вот — погляди, как опалило меня солнце!

— О нет, солнце сделало тебя еще красивее, прекраснейшая из женщин! Вот ты засмеялась, и зубы твои — как белые двойни-ягнята, вышедшие из купальни, и ни на одном из них нет порока. Щеки твои — точно половинки граната под кудрями твоими. Губы твои алы — наслаждение смотреть на них. А волосы твои... Знаешь, на что похожи твои волосы? Видала ли ты, как с Галаада вечером спускается стадо? Оно покрывает всю гору, с вершины до подножия, и от света зари и от пыли кажется таким же красным и таким же волнистым, как твои кудри. Глаза твои глубоки, как два озера Есевонских у ворот Батраббима. О, как ты красива! Шея твоя пряма и стройна, как башня Давидова!..

— Как башня Давидова! — повторяет она в упоении.

— Да, да, прекраснейшая из женщин. Тысяча щитов висит на башне Давида, и все это щиты побежденных военачальников. Вот и мой щит вешаю я на твою башню...

— О, говори, говори еще...

— А когда ты обернулась назад, на мой зов, и подул ветер, то я увидел под одеждой оба сосца твои и подумал: вот две маленькие серны, которые пасутся между лилиями. Стан твой был похож на пальму и груди твои на грозди виноградные.

Девушка слабо вскрикивает, закрывает лицо ладонями, а грудь локтями и так краснеет, что даже уши и шея становятся у нее пурпуровыми.

— И бедра твои я увидел. Они стройны, как драгоценная ваза — изделие искусного художника. Отними же твои руки, девушка. Покажи мне лицо твое.

Она покорно опускает руки вниз. Густое золотое сияние льется из глаз Соломона и очаровывает ее, и кружит ей голову, и сладкой, теплой дрожью струится по коже ее тела.

— Скажи мне, кто ты? — говорит она медленно, с недоумением. — Я никогда не видела подобного тебе.

— Я пастух, моя красавица. Я пасу чудесные стада белых ягнят на горах, где зеленая трава пестреет нарциссами. Не придешь ли ты ко мне, на мое пастбище?

Но она тихо качает головою:

— Неужели ты думаешь, что я поверю этому? Лицо твое не огрубело от ветра и не обожжено солнцем, и руки твои белы. На тебе дорогой хитон, и одна застежка на нем стоит годовой платы, которую братья мои вносят за наш виноградник Адонираму, царскому сборщику. Ты пришел оттуда, из-за стены... Ты, верно, один из людей, близких к царю? Мне кажется, что я видела тебя однажды в день великого празднества, мне даже помнится — я бежала за твоей колесницей.

— Ты угадала, девушка. От тебя трудно скрыться. И правда, зачем тебе быть скиталицей около стад пастушеских? Да, я один из царской свиты. Я главный повар царя. И ты видела меня, когда я ехал в колеснице Аминодавовой в день праздника пасхи. Но зачем ты стоишь далеко от меня? Подойди ближе, сестра моя! Сядь вот здесь на камне стены и расскажи мне что-нибудь о себе. Скажи мне твое имя?

— Суламифь, — говорит она.

— За что же, Суламифь, рассердились на тебя твои братья?

— Мне стыдно говорить об этом. Они выручили деньги от продажи вина и послали меня в город купить хлеба и козьего сыра. А я...

— А ты потеряла деньги?

— Нет, хуже...

Она низко склоняет голову и шепчет:

— Кроме хлеба и сыра, я купила еще немножко, совсем немножко, розового масла у египтян в старом городе.

— И ты скрыла это от братьев?

— Да...

И она произносит еле слышно:

— Розовое масло так хорошо пахнет!

Царь ласково гладит ее маленькую жесткую руку.

— Тебе, верно, скучно одной в винограднике?

— Нет. Я работаю, пою... В полдень мне приносят поесть, а вечером меня сменяет один из братьев. Иногда я рою корни мандрагоры, похожие на маленьких человечков... У нас их покупают халдейские купцы. Говорят, они делают из них сонный напиток... Скажи, правда ли, что ягоды мандрагоры помогают в любви?

— Нет, Суламифь, в любви помогает только любовь. Скажи, у тебя есть отец или мать?

— Одна мать. Отец умер два года тому назад. Братья — все старше меня — они от первого брака, а от второго только я и сестра.

— Твоя сестра так же красива, как и ты?

— Она еще мала. Ей только девять лет.

Царь смеется, тихо обнимает Суламифь, привлекает ее к себе и говорит ей на ухо:

— Девять лет... Значит, у нее еще нет такой груди, как у тебя? Такой гордой, такой горячей груди!

Она молчит, горя от стыда и счастья. Глаза ее светятся и меркнут, они туманятся блаженной улыбкой. Царь слышит в своей руке бурное биение ее сердца.

— Теплота твоей одежды благоухает лучше, чем мирра, лучше, чем нард, — говорит он, жарко касаясь губами ее уха. — И когда ты дышишь, я слышу запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Сестра моя, возлюбленная моя, ты пленила сердце мое одним взглядом твоих очей, одним ожерельем на твоей шее.

— О, не гляди на меня! — просит Суламифь. — Глаза твои волнуют меня.

Но она сама изгибает назад спину и кладет голову на грудь Соломона. Губы ее рдеют над блестящими зубами, веки дрожат от мучительного желания. Соломон принимает жадно устами к ее зовущему рту. Он чувствует пламень ее губ, и скользкость ее зубов, и сладкую влажность ее языка, и весь горит таким нестерпимым желанием, какого он еще никогда не знал в жизни.

Так проходит минута и две.

— Что ты делаешь со мною! — слабо говорит Суламифь, закрывая глаза. — Что ты делаешь со мной!

Но Соломон страстно шепчет около самого ее рта:

— Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим... О, иди скорее ко мне. Здесь за стеной темно и прохладно. Никто не увидит нас. Здесь мягкая зелень под кедрами.

— Нет, нет, оставь меня. Я не хочу, не могу.

— Суламифь... ты хочешь, ты хочешь... Сестра моя, возлюбленная моя, иди ко мне!

Чьи-то шаги раздаются внизу по дороге, у стены царского виноградника, но Соломон удерживает за руку испуганную девушку.

— Скажи мне скорее, где ты живешь? Сегодня ночью я приду к тебе,— говорит он быстро.

— Нет, нет, нет... Я не скажу тебе это. Пусти меня. Я не скажу тебе.

— Я не пушу тебя, Суламифь, пока ты не скажешь... Я хочу тебя!

— Хорошо, я скажу... Но сначала обещай мне не приходить этой ночью... Также не приходи и в следующую ночь... и в следующую за той... Царь мой! Заклинаю тебя сернами и полевыми ланями, не тревожь свою возлюбленную, пока она не захочет!

— Да, я обещаю тебе это... Где же твой дом, Суламифь?

— Если по пути в город ты перейдешь через Кедрон, по мосту выше Силоама, ты увидишь наш дом около источника. Там нет других домов.

— А где же там твоё окно, Суламифь?

— Зачем тебе это знать, милый? О, не гляди же на меня так! Взгляд твой околдовывает меня... Не целуй меня... Не целуй меня... Милый! Целуй меня еще...

— Где же твоё окно, единственная моя?

— Окно на южной стороне. Ах, я не должна тебе этого говорить... Маленькое, высокое окно с решёткой.

— И решётка отворяется изнутри?

— Нет, это глухое окно. Но за углом есть дверь. Она прямо ведет в комнату, где я сплю с сестрою. Но ведь ты обещал мне!.. Сестра моя спит чутко. О, как ты прекрасен, мой возлюбленный. Ты ведь обещал, не правда ли?

Соломон тихо гладит ее волосы и щеки.

— Я приду к тебе этой ночью,— говорит он настойчиво.— В полночь приду. Это так будет, так будет. Я хочу этого.

— Милый!

— Нет. Ты будешь ждать меня. Только не бойся и верь мне. Я не причиню тебе горя. Я дам тебе такую радость, рядом с которой все на земле ничтожно. Теперь прощай. Я слышу, что за мной идут.

— Прощай, возлюбленный мой... О нет, не уходи еще! Скажи мне твое имя, я не знаю его.

Он на мгновение, точно нерешительно, опускает ресницы, но тотчас же поднимает их.

— У меня одно имя с царем. Меня зовут Соломон. Прощай. Я люблю тебя.

V

Светел и радостен был Соломон в этот день, когда сидел он на троне в зале дома Ливанского и творил суд над людьми, приходившими к нему.

Сорок колонн, по четыре в ряд, поддерживали потолок судилища, и все они были обложены кедром и оканчивались капителями в виде лилий; пол состоял из штучных кипарисовых досок, и на стенах нигде не было видно камня из-за кедровой отделки, украшенной золотой резьбой, представлявшей пальмы, ананасы и херувимов. В глубине трехсветной залы шесть ступеней вели к возвышению трона, и на каждой ступени стояло по два бронзовых льва, по одному с каждой стороны. Самый же трон был из слоновой кости с золотой инкрустацией и золотыми локотниками в виде лежащих львов. Высокая спинка трона завершалась золотым диском. Завесы из фиолетовых и пурпурных тканей висели от пола до потолка при входе в залу, отделяя притвор, где между пяти колонн толпились истцы, просители и свидетели, а также обвиняемые и преступники под крепкой стражей.

На царе был надет красный хитон, а на голове простой узкий венец из шестидесяти бериллов, оправленных в золото. По правую руку стоял трон для матери его, Вирсавии, но в последнее время благодаря преклонным летам она редко показывалась в городе.

Ассирийские гости, с суровыми чернобородами лицами, сидели вдоль стен на яшмовых скамьях; на них были светлые оливковые одежды, вышитые по краям красными

и белыми узорами. Они еще у себя в Ассирии слышали так много о правосудии Соломона, что старались не пропустить ни одного из его слов, чтобы потом рассказывать о суде царя израильтян. Между ними сидели военачальники Соломоновы, его министры, начальники провинций и придворные. Здесь был Ванея — некогда царский палач, убийца Иоава, Адонии и Семея, — теперь главный начальник войска, невысокий, тучный старец с редкой длинной седой бородой; его выцветшие голубоватые глаза, окруженные красными, точно вывороченными веками, глядели по-старчески тупо; рот был открыт и мокр, а мясистая красная нижняя губа бессильно свисала вниз; голова его была всегда потуплена и слегка дрожала. Был также Азария, сын Нафанов, желчный высокий человек с сухим, болезненным лицом и темными кругами под глазами, и добродушный, рассеянный Иосафат, историограф, и Ахелар, начальник двора Соломонова, и Завуф, носивший высокий титул друга царя, и Бен-Авинодав, женатый на старшей дочери Соломона — Тафании, и Бен-Гевер, начальник области Арговии, что в Васане; под его управлением находилось шестьдесят городов, окруженных стенами, с воротами на медных затворах; и Ваана, сын Хушая, некогда славившийся искусством метать копье на расстоянии тридцати парасангов, и многие другие. Шестьдесят воинов, блестя золочеными шлемами и щитами, стояло в ряд по левую и по правую сторону трона; старшим над ними сегодня был чернокудрый красавец Элиав, сын Ахилуда.

Первым предстал перед Соломоном со своей жалобой некто Ахиор, ремеслом гранильщик. Работая в Беле Финикийском, он нашел драгоценный камень, обделал его и попросил своего друга Захарию, отпраждавшегося в Иерусалим, отдать этот камень его, Ахиоровой, жене. Через некоторое время возвратился домой и Ахиор. Первое, о чем он спросил свою жену, увидевшись с нею, — это о камне. Но она очень удивилась вопросу мужа и клятвенно подтвердила, что никакого камня она не получала. Тогда Ахиор отправился за разъяснением к своему другу Захарии; но тот уверял, и тоже с клятвой, что он тотчас же по приезде передал камень по назначению. Он даже привел двух свидетелей, подтверждавших, что они видели, как Захария при них передавал камень жене Ахиора.

И вот теперь все четверо — Ахиор, Захария и двое свидетелей — стояли перед тронем царя Израильского.

Соломон поглядел каждому из них в глаза поочередно и сказал страже:

— Отведите их всех в отдельные покои и заприте каждого отдельно.

И когда это было исполнено, он приказал принести четыре куска сырой глины.

— Пусть каждый из них, — повелел царь, — вылепит из глины ту форму, которую имел камень.

Через некоторое время слепки были готовы. Но один из свидетелей сделал свой слепок в виде лошадиной головы, как обычно обделывались драгоценные камни; другой — в виде овечьей головы, и только у двоих — у Ахиора и Захарии — слепки были одинаковы, похожие формой на женскую грудь.

И царь сказал:

— Теперь и для слепого ясно, что свидетели подкуплены Захарией. Итак, пусть Захария возвратит камень Ахиору и вместе с ним уплатит ему тридцать гражданских сиклей судебных издержек и отдаст десять сиклей священных на храм. Свидетели же, обличившие сами себя, пусть заплатят по пяти сиклей в казну за ложное показание.

Затем приблизились к трону Соломонову три брата, судившиеся о наследстве. Отец их перед смертью сказал им: «Чтобы вы не ссорились при дележе, я сам разделю вас по справедливости. Когда я умру, идите за холм, что в середине рощи за домом, и разройте его. Там найдете вы ящик с тремя отделениями: знайте, что верхнее — для старшего, среднее — для среднего, нижнее — для меньшего из братьев». И когда, после его смерти, они пошли и сделали, как он завещал, то нашли, что верхнее отделение было наполнено доверху золотыми монетами, между тем как в среднем лежали только простые кости, а в нижнем куски дерева. И вот возникла между меньшими братьями зависть к старшему и вражда, и жизнь их сделалась под конец такой невыносимой, что решили они обратиться к царю за советом и судом. Даже и здесь, стоя перед тронем, не воздержались они от взаимных упреков и обид.

Царь покачал головой, выслушал их и сказал:

— Оставьте ссоры; тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Отец ваш был, очевидно, мудрый и справедливый человек, и свою волю он высказал в своем завещании так же ясно, как будто бы это совершилось при сотне свидетелей. Неужели сразу не догадались вы, несчастные крикуны, что старшему брату он оставил все деньги, среднему — весь скот и всех рабов, а младшему — дом и пашню. Идите же с миром и не враждуйте больше.

И трое братьев — недавние враги — с просиявшими лицами поклонились царю в ноги и вышли из судилища рука об руку.

И еще решил царь другое дело о наследстве, начатое три дня тому назад. Один человек, умирая, сказал, что он оставляет все свое имущество достойнейшему из двух его сыновей. Но так как ни один из них не соглашался признать себя худшим, то и обратились они к царю.

Соломон спросил их, кто они по делам своим, и, услышав в ответ, что оба они охотники-лучники, сказал:

— Возвращайтесь домой. Я прикажу поставить у дерева труп вашего отца. Посмотрим сначала, кто из вас метче попадет ему стрелой в грудь, а потом решим ваше дело.

Теперь оба брата возвратились назад в сопровождении человека, посланного царем с ними для присмотра. Его и расспрашивал Соломон о состязании.

— Я исполнил все, что ты приказал, царь, — сказал этот человек. — Я поставил труп старика у дерева и дал каждому из братьев их луки и стрелы. Старший стрелял первым. На расстоянии ста двадцати локтей он попал как раз в то место, где бьется у живого человека сердце.

— Прекрасный выстрел, — сказал Соломон. — А младший?

— Младший... Прости меня, царь, я не мог настоять на том, чтобы трое повеление было исполнено в точности... Младший натянул тетиву и положил уже на нее стрелу, но вдруг опустил лук к ногам, повернулся и сказал, заплакав: «Нет, я не могу сделать этого... Не буду стрелять в труп моего отца».

— Так пусть ему и принадлежит имя его отца, —

решил царь.— Он оказался достойнейшим сыном. Старший же, если хочет, может поступить в число моих телохранителей. Мне нужны такие сильные и жадные люди, с меткою рукою, верным взглядом и с сердцем, обросшим шерстью.

Затем предстали перед царем три человека. Ведя общее торговое дело, нажили они много денег. И вот, когда пришла им пора ехать в Иерусалим, то зашили они золото в кожаный пояс и пустились в путь. Дорогою заночевали они в лесу, а пояс для сохранности зарыли в землю. Когда же они проснулись наутро, то не нашли пояса в том месте, куда его положили.

Каждый из них обвинял другого в тайном похищении, и так как все трое казались людьми очень хитрыми и тонкими в речах, то сказал им царь:

— Прежде чем я решу ваше дело, выслушайте то, что я расскажу вам. Одна красивая девица обещала своему возлюбленному, отправлявшемуся в путешествие, ждать его возвращения и никому не отдавать своего девства, кроме него. Но, уехав, он в непродолжительном времени женился в другом городе на другой девушке, и она узнала об этом. Между тем к ней посватался богатый и добросердечный юноша из ее города, друг ее детства. Понуждаемая родителями, она не решилась от стыда и страха сказать ему о своем обещании и вышла за него замуж. Когда же по окончании брачного пира он повел ее в спальню и хотел лечь с нею, она стала умолять его: «Позволь мне сходить в тот город, где живет прежний мой возлюбленный. Пусть он снимет с меня клятву, тогда я возвращусь к тебе и сделаю все, что ты хочешь!» И так как юноша очень любил ее, то согласился на ее просьбу, отпустил ее, и она пошла. Дорогой напал на нее разбойник, ограбил ее и уже хотел ее изнасиловать. Но девица упала перед ним на колени и в слезах молила пощадить ее целомудрие, и рассказала она разбойнику все, что произошло с ней, и зачем идет она в чужой город. И разбойник, выслушав ее, так удивился ее верности слову и так тронулся добротой ее жениха, что не только отпустил девушку с миром, но и возвратил ей отнятые драгоценности. Теперь спрашиваю я вас, кто из всех троих поступил лучше пред лицом бога — девица, жених или разбойник?

И один из судившихся сказал, что девица более всех достойна похвалы за свою твердость в клятве. Другой удивлялся великой любви ее жениха; третий же находил самым великодушным поступок разбойника.

И сказал царь последнему:

— Значит, ты и украл пояс с общим золотом, потому что по своей природе ты жаден и желаешь чужого.

Человек же этот, передав свой дорожный посох одному из товарищей, сказал, подняв руки кверху, как бы для клятвы:

— Свидетельствую перед Иеговой, что золото не у меня, а у него!

Царь улыбнулся и приказал одному из своих воинов:

— Возьми жезл этого человека и разломи его пополам.

И когда воин исполнил повеление Соломона, то посыпались на пол золотые монеты, потому что они были спрятаны внутри выдолбленной палки; вор же, пораженный мудростью царя, упал ниц перед его троном и признался в своем преступлении.

Также пришла в дом Ливанский женщина, бедная вдова каменщика, и сказала:

— Я прошу правосудия, царь! На последние два динария, которые у меня оставались, я купила муки, насыпала ее вот в эту большую глиняную чашу и понесла домой. Но вдруг поднялся сильный ветер и развеял мою муку. О мудрый царь, кто возвратит мне этот убыток? Мне теперь нечем накормить моих детей.

— Когда это было? — спросил царь.

— Это случилось сегодня утром, на заре.

И вот Соломон приказал позвать нескольких богатых купцов, корабли которых должны были в этот день отправляться с товарами в Финикию через Иаффу. И когда они явились, встревоженные, в залу судилища, царь спросил их:

— Молили ли вы бога или богов о попутном ветре для ваших кораблей?

И они ответили:

— Да, царь! Это так. И богу были угодны наши жертвы, потому что он послал нам добрый ветер.

— Я радуюсь за вас, — сказал Соломон. — Но тот же ветер развеял у бедной женщины муку, которую она

несла в чаше. Не находите ли вы справедливым, что вам нужно вознаградить ее?

И они, обрадованные тем, что только за этим призвал их царь, тотчас же набросали женщине полную чашу мелкой и крупной серебряной монеты. Когда же она со слезами стала благодарить царя, он ясно улыбнулся и сказал:

— Подожди, это еще не все. Сегодняшний утренний ветер дал и мне радость, которой я не ожидал. Итак, к дарам этих купцов я прибавлю и свой царский дар.

И он повелел Адонираму, казначею, положить сверх денег купцов столько золотых монет, чтобы вовсе не было видно под ними серебра.

Никого не хотел Соломон видеть в этот день несчастным. Он раздал столько наград, пенсий и подарков, сколько не раздавал иногда в целый год, и простил он Ахимааса, правителя земли Неффалимовой, на которого прежде пылал гневом за незаконные поборы, и сложил вины многим, преступившим закон, и не оставил он без внимания просьб своих подданных, кроме одной.

Когда выходил царь из дома Ливанского малыми южными дверями, стал на его пути некто в желтой кожаной одежде, приземистый, широкоплечий человек с темнокрасным сумрачным лицом, с черною густою бородою, с воловьей шеей и с суровым взглядом из-под косматых черных бровей. Это был главный жрец капища Молоха. Он произнес только одно слово умоляющим голосом:

— Цары!..

В бронзовом чреве его бога было семь отделений: одно для муки, другое для голубей, третье для овец, четвертое для баранов, пятое для телят, шестое для быков, седьмое же, предназначенное для живых младенцев, приносимых их матерями, давно пустовало по запрещению царя.

Соломон прошел молча мимо жреца, но тот протянул вслед ему руки и воскликнул с мольбой:

— Царь! Заклинаю тебя твоей радостью!.. Царь, окажи мне эту милость, и я открою тебе, какой опасности подвергается твоя жизнь.

Соломон не ответил, и жрец, сжав кулаки сильных рук, проводил его до выхода яростным взглядом.

Вечером пошла Суламифь в старый город, туда, где длинными рядами тянулись лавки менял, ростовщиков и торговцев благовонными снадобьями. Там продала она ювелиру за три драхмы и один динарий свою единственную драгоценность — праздничные серьги, серебряные, кольцами, с золотой звездочкой каждая.

Потом она зашла к продавцу благовоний. В глубокой, темной каменной нише, среди банок с серой аравийской амброй, пакетов с ливанским ладаном, пучков ароматических трав и склянок с маслами — сидел, поджав под себя ноги и щуря ленивые глаза, неподвижный, сам весь благоухающий, старый, жирный, сморщенный скопец-египтянин. Он осторожно отсчитал из финикийской склянки в маленький глиняный флакончик ровно столько капель мирры, сколько было динариев во всех деньгах Суламифи, и когда он окончил это дело, то сказал, подбирая пробкой остаток масла вокруг горлышка и лукаво смеясь:

— Смуглая девушка, прекрасная девушка! Когда сегодня твой милый поцелует тебя между грудей и скажет: «Как хорошо пахнет твое тело, о моя возлюбленная!» — ты вспомни обо мне в этот миг. Я перелил тебе три лишние капли.

И вот, когда наступила ночь и луна поднялась над Силоамом, перемешав синюю белизну его домов с черной синевой теней и с матовой зеленью деревьев, встала Суламифь с своего бедного ложа из козьей шерсти и прислушалась. Все было тихо в доме. Сестра ровно дышала у стены, на полу. Только снаружи, в придорожных кустах, сухо и страстно кричали цикады, и кровь толчками шумела в ушах. Решетка окна, вырисованная лунным светом, четко и косо лежала на полу.

Дрожа от робости, ожидания и счастья, расстегнула Суламифь свои одежды, опустила их вниз к ногам и, перешагнув через них, осталась среди комнаты нагая, лицом к окну, освещенная луною через переплет решетки. Она налила густую благовонную мирру себе на плечи, на грудь, на живот и, боясь потерять хоть одну драгоценную каплю, стала быстро растирать масло по ногам, подмышками и вокруг шеи. И гладкое, скользящее прикосно-

вание ее ладоней и локтей к телу заставляло ее вздрагивать от сладкого предчувствия. И, улыбаясь и дрожа, глядела она в окно, где за решеткой виднелись два тополя, темные с одной стороны, осеребренные с другой, и шептала про себя:

— Это для тебя, мой милый, это для тебя, возлюбленный мой. Милый мой лучше десяти тысяч других, голова его — чистое золото, волосы его волнистые, черные, как ворон. Уста его — сладость, и весь он — желание. Вот кто возлюбленный мой, вот кто брат мой, дочери иерусалимские!..

И вот, благоухающая миррой, легла она на свое ложе. Лицо ее обращено к окну; руки она, как дитя, зажала между коленями, сердце ее громко бьется в комнате. Проходит много времени. Почти не закрывая глаз, она погружается в дремоту, но сердце ее бодрствует. Ей грежится, что милый лежит с ней рядом. Правая рука у нее под головой, левой он обнимает ее. В радостном испуге сбрасывает она с себя дремоту, ищет возлюбленного около себя на ложе, но не находит никого. Лунный узор на полу передвинулся ближе к стене, укоротился и стал косее. Кричат цикады, монотонно лепечет Кедронский ручей, слышно, как в городе заунывно поет ночной сторож.

«Что, если он не придет сегодня? — думает Суламифь. — Я просила его, и вдруг он послушался меня?.. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, сернами и полевыми лилиями: не будите любви, доколе она не придет... Но вот любовь посетила меня. Приди скорей, мой возлюбленный! Невеста ждет тебя. Будь быстр, как молодой олень в горных балзахмических».

Песок захрустел на дворе под легкими шагами. И души не стало в девушке. Осторожная рука стучит в окно. Темное лицо мелькает за решеткой. Слышится тихий голос милого:

— Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! Голова моя покрыта росой.

Но волшебное оцепенение овладевает вдруг телом Суламифи. Она хочет встать и не может, хочет пошевелить рукою и не может. И, не понимая, что с нею делается, она шепчет, глядя в окно:

— Ах, кудри его полны ночью влагой! Но я скинула мой хитон. Как же мне опять надеть его?

— Встань, возлюбленная моя. Прекрасная моя, выйди. Близится утро, раскрываются цветы, виноград льет свое благоухание, время пения настало, голос горлицы доносится с гор.

— Я вымыла ноги мои,— шепчет Суламифь,— как же мне ступить ими на пол?

Темная голова исчезает из оконного переплета, звучные шаги обходят дом, затихают у двери. Милый осторожно просовывает руку сквозь дверную скважину. Слышно, как он ищет пальцами внутреннюю задвижку.

Тогда Суламифь встает, крепко прижимает ладони к груди и шепчет в страхе:

— Сестра моя спит, я боюсь разбудить ее.

Она нерешительно обувает сандалии, надевает на голое тело легкий хитон, накидывает сверх него покрывало и открывает дверь, оставляя на ее замке следы мирры. Но никого уже нет на дороге, которая одиноко белеет среди темных кустов в серой утренней мгле. Милый не дождался — ушел, даже шагов его не слышно. Луна уменьшилась и побледнела и стоит высоко. На востоке над волнами гор холодно розовеет небо перед зарею. Вдали белеют стены и дома иерусалимские.

— Возлюбленный мой! Царь жизни моей! — кричит Суламифь во влажную темноту.— Вот я здесь. Я жду тебя... Вернись!

Но никто не отзывается.

«Побегу же я по дороге, догоню, догоню моего милгого,— говорит про себя Суламифь.— Пойду по городу, по улицам, по площадям, буду искать того, кого любит душа моя. О, если бы ты был моим братом, сосавшим грудь матери моей! Я встретила бы тебя на улице и целовала бы тебя, и никто не осудил бы меня. Я взяла бы тебя за руку и привела бы в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя соком гранатовых яблок. Заклинаю вас, дочери иерусалимские: если встретите возлюбленного моего, скажите ему, что я уязвлена любовью».

Так говорит она самой себе и легкими, послушными шагами бежит по дороге к городу. У Навозных ворот около стены сидят и дремлют в утренней прохладе двое сторожей, обходивших ночью город. Они просыпаются и смотрят с удивлением на бегущую девушку. Младший из них встает и загораживает ей дорогу распростертыми руками.

— Подожди, подожди, красавица! — восклицает он со смехом. — Куда так скоро? Ты провела тайком ночь в постели у своего любезного и еще тепла от его объятий, а мы продрогли от ночной сырости. Будет справедливо, если ты немножко посидишь с нами.

Старший тоже поднимается и хочет обнять Суламифь. Он не смеется, он дышит тяжело, часто и со свистом, он облизывает языком синие губы. Лицо его, обезображенное большими шрамами от зажившей проказы, кажется страшным в бледной мгле. Он говорит гнусавым и хриплым голосом:

— И правда. Чем возлюбленный твой лучше других мужчин, милая девушка! Закрой глаза, и ты не отличишь меня от него. Я даже лучше, потому что, наверно, поопытнее его.

Они хватают ее за грудь, за плечи, за руки, за одежду. Но Суламифь гибка и сильна, и тело ее, умащенное маслом, скользко. Она вырывается, оставив в руках сторожей свое верхнее покрывало, и еще быстрее бежит назад прежней дорогой. Она не испытала ни обиды, ни страха — она вся поглощена мыслью о Соломоне. Проходя мимо своего дома, она видит, что дверь, из которой она только что вышла, так и осталась отворенной, зияя черным четырехугольником на белой стене. Но она только затаивает дыхание, съеживается, как молодая кошка, и на цыпочках, беззвучно пробегает мимо.

Она переходит через Кедронский мост, огибает окраину Силоамской деревни и каменистой дорогой взбирается постепенно на южный склон Ватн-эль-Хава, в свой виноградник. Брат ее спит еще между лозами, завернувшись в шерстяное одеяло, все мокрое от росы. Суламифь будит его, но он не может проснуться, окованный молодым утренним сном.

Как и вчера, заря пылает над Аназе. Подымается ветер. Струится аромат виноградного цветения.

— Пойду погляжу на то место у стены, где стоял мой возлюбленный, — говорит Суламифь. — Прикоснусь руками к камням, которые он трогал, поцелую землю под его ногами.

Легко скользит она между лозами. Роса падает с них и холодит ей ноги и брызжет на ее локти. И вот радостный крик Суламифи оглашает виноградник! Царь стоит

за стеной. Он с сияющим лицом протягивает ей навстречу руки.

Легче птицы переносится Суламифь через ограду и без слов, со стоном счастья обвивается вокруг царя.

Так проходит несколько минут. Наконец, отрываясь губами от ее рта, Соломон говорит в упоении, и голос его дрожит:

— О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!

— О, как ты прекрасен, возлюбленный мой!

Слезы восторга и благодарности — блаженные слезы блещут на бледном и прекрасном лице Суламифи. Изнемогая от любви, она опускается на землю и едва слышно шепчет безумные слова.

— Ложе у нас — зелень. Кедры — потолок над нами... лобзай меня лобзанием уст своих. Ласки твои лучше вина...

Спустя небольшое время Суламифь лежит головою на груди Соломона. Его левая рука обнимает ее.

Склонившись к самому ее уху, царь шепчет ей что-то, царь нежно извиняется, и Суламифь краснеет от его слов и закрывает глаза. Потом с невыразимо прелестной улыбкой смущенья она говорит:

— Братья мои поставили меня стеречь виноградник... а своего виноградника я не уберегла.

Но Соломон берет ее маленькую темную руку и горячо прижимает ее к губам.

— Ты не жалеешь об этом, Суламифь?

— О нет, царь мой, возлюбленный мой, я не жалею. Если бы ты сейчас же встал и ушел от меня, и если бы я осуждена была никогда потом не видеть тебя, я до конца моей жизни буду произносить с благодарностью твое имя, Соломон!

— Скажи мне еще, Суламифь... Только, прошу тебя, скажи правду, чистая моя... Знала ли ты, кто я?

— Нет, я и теперь не знаю этого. Я думала... Но мне стыдно признаться... Я боюсь, ты будешь смеяться надо мной... Рассказывают, что здесь, на горе Ватн-эль-Хав, иногда бродят языческие боги... Многие из них, говорят, прекрасны... И я думала: не Гор ли ты, сын Озириса, или иной бог?

— Нет, я только царь, возлюбленная. Но вот на этом

месте я целую твою милую руку, опаленную солнцем, и клянусь тебе, что еще никогда: ни в пору первых любовных томлений юности, ни в дни моей славы не горело мое сердце таким неутолимим желанием, которое будит во мне одна твоя улыбка, одно прикосновение твоих огненных кудрей, один изгиб твоих пурпуровых губ! Ты прекрасна, как шатры Кидарские, как завесы в храме Соломоновом! Ласки твои опьяняют меня. Вот груди твои — они ароматны. Сосцы твои — как вино!

— О да, гляди, гляди на меня, возлюбленный. Глаза твои волнуют меня! О, какая радость: ведь это ко мне, ко мне обращено желание твое! Волосы твои душисты. Ты лежишь, как миртовый пучок у меня между грудей!

Время прекращает свое течение и смыкается над ними солнечным кругом. Ложе у них — зелень, кровля — кедры, стены — кипарисы. И знамя над их шатром — любовь.

VII

Бассейн был у царя во дворце, восьмиугольный, прохладный бассейн из белого мрамора. Темнозеленые малахитовые ступени спускались к его дну. Облицовка из египетской яшмы, снежно-белой с розовыми, чуть заметными прожилками, служила ему рамою. Лучшее черное дерево пошло на отделку стен. Четыре львиные головы из розового сардоникса извергали тонкими струями воду в бассейн. Восемь серебряных отполированных зеркал отличной сидонской работы, в рост человека, были вделаны в стены между легкими белыми колоннами.

Перед тем как войти Суламифи в бассейн, молодые прислужницы влили в него ароматные составы, и вода от них побелела, поглубела и заиграла переливами молочного опала. С восхищением глядели рабыни, раздевавшие Суламифь, на ее тело и, когда раздели, подвели ее к зеркалу. Ни одного недостатка не было в ее прекрасном теле, озолоченном, как смуглый зрелый плод, золотым пухом нежных волос. Она же, глядя на себя нагую в зеркало, краснела и думала:

«Все это для тебя, мой царь!»

Она вышла из бассейна свежая, холодная и благоухающая, покрытая дрожащими каплями воды. Рабыни

надели на нее короткую белую тунику из тончайшего египетского льна и хитон из драгоценного саргонского виссона, такого блестящего золотого цвета, что одежда казалась сотканной из солнечных лучей. Они обули ее ноги в красные сандалии из кожи молодого козленка, они осушили ее темноогненные кудри и перевили их нитями крупного черного жемчуга, и украсили ее руки звенящими запястьями.

В таком наряде предстала она перед Соломоном, и царь воскликнул радостно:

— Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? О Суламифь, красота твоя грознее, чем полки с распущенными знаменами! Семьсот жен я знал и триста наложниц, и девиц без числа, но единственная — ты, прекрасная моя! Увидят тебя царицы и превознесут, и поклонятся тебе наложницы, и восхвалят тебя все женщины на земле. О Суламифь, тот день, когда ты сделаешься моей женой и царицей, будет самым счастливым для моего сердца.

Она же подошла к резной масляной двери и, прижавшись к ней щекою, сказала:

— Я хочу быть только твоею рабою, Соломон. Вот я приложила ухо мое к дверному косяку. И прошу тебя: по закону Моисееву, пригвозди мне ухо в свидетельство моего добровольного рабства пред тобою.

Тогда Соломон приказал принести из своей сокровищницы драгоценные подвески из глубоко-красных карбуикулов, обделанных в виде удлинённых груш. Он сам продел их в уши Суламифи и сказал:

— Возлюбленная моя принадлежит мне, а я ей.

И, взяв Суламифь за руку, повел ее царь в залу пиршества, где уже дожидались его друзья и приближенные.

VIII

Семь дней прошло с того утра, когда вступила Суламифь в царский дворец. Семь дней она и царь наслаждались любовью и не могли насытиться ею.

Соломон любил украшать свою возлюбленную драгоценностями. «Как стройны твои маленькие ноги в сандалиях!» — восклицал он с восторгом и, становясь перед

нею на колени, целовал поочередно пальцы на ее ногах и нанизывал на них кольца с такими прекрасными и редкими камнями, каких не было даже на эфодее первосвященника. Суламифь заслушивалась его, когда он рассказывал ей о внутренней природе камней, о их волшебных свойствах и таинственных значениях.

— Вот анфракс, священный камень земли Офир,— говорил царь.— Он горяч и влажен. Погляди, он красен, как кровь, как вечерняя заря, как распустившийся цвет граната, как густое вино из виноградников энгедских, как твои губы, моя Суламифь, как твои губы утром, после ночи любви. Это камень любви, гнева и крови. На руке человека, томящегося в лихорадке или опьяненного желанием, он становится теплее и горит красным пламенем. Надень его на руку, моя возлюбленная, и ты увидишь, как он загорится. Если его растолочь в порошок и принимать с водой, он дает румянец лицу, успокаивает желудок и веселит душу. Носящий его приобретает власть над людьми. Он врачует сердце, мозг и память. Но при детях не следует его носить, потому что он будит вокруг себя любовные страсти.

Вот прозрачный камень цвета медной яри. В стране эфиопов, где он добывается, его называют Мгнадис-Фза. Мне подарил его отец моей жены, царицы Астис, египетский фараон Суссаким, которому этот камень достался от пленного царя. Ты видишь — он некрасив, но цена его неисчислима, потому что только четыре человека на земле владеют камнем Мгнадис-Фза. Он обладает необыкновенным качеством притягивать к себе серебро, точно жадный и сребролюбивый человек. Я тебе его дарю, моя возлюбленная, потому что ты бескорыстна.

Посмотри, Суламифь, на эти сапфиры. Одни из них похожи цветом на васильки в пшенице, другие на осеннее небо, иные на море в ясную погоду. Это камень девственности — холодный и чистый. Во время далеких и тяжелых путешествий его кладут в рот для утоления жажды. Он также излечивает проказу и всякие злые наросты. Он дает ясность мыслям. Жрецы Юпитера в Риме носят его на указательном пальце.

Царь всех камней — камень Шамир. Греки называют его Адамас, что значит — неодолимый. Он крепче всех

веществ на свете и остается невредимым в самом сильном огне. Это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем. Полюбуйся, Суламифь, он играет всеми цветами, но сам остается прозрачным, точно капля воды. Он сияет в темноте ночи, но даже днем теряет свой свет на руке убийцы. Шамир привязывают к руке женщины, которая мучится тяжелыми родами, и его также надевают воины на левую руку, отправляясь в бой. Тот, кто носит Шамир,— угоден царям и не боится злых духов. Шамир сгоняет пестрый цвет с лица, очищает дыхание, дает спокойный сон лунатикам и отпотеваает от близкого соседства с ядом. Камни Шамир бывают мужские и женские; зарытые глубоко в землю, они способны размножаться.

Лунный камень, бледный и кроткий, как сияние луны,— это камень магов халдейских и вавилонских. Перед прорицаниями они кладут его под язык, и он сообщает им дар видеть будущее. Он имеет странную связь с луною, потому что в новолуние холодеет и сияет ярче. Он благоприятен для женщины в тот год, когда она из ребенка становится девушкой.

Это кольцо со смарагдом ты носи постоянно, возлюбленная, потому что смарагд — любимый камень Соломона, царя Израильского. Он зелен, чист, весел и нежен, как трава весенняя, и когда смотришь на него долго, то светлеет сердце; если поглядеть на него с утра, то весь день будет для тебя легким. У тебя над ночным ложем я повешу смарагд, прекрасная моя: пусть он отгоняет от тебя дурные сны, утишает биение сердца и отводит черные мысли. Кто носит смарагд, к тому не приближаются змеи и скорпионы; если же держать смарагд перед глазами змеи, то польется из них вода и будет литься до тех пор, пока она не ослепнет. Толченный смарагд дают отравленному ядом человеку вместе с горячим верблюжьим молоком, чтобы вышел яд испариной; смешанный с розовым маслом, смарагд врачует укусы ядовитых гадов, а растертый с шафраном и приложенный к больным глазам исцеляет куриную слепоту. Помогает он еще от кровавого поноса и при черном кашле, который не излечим никакими средствами человеческими.

Дарил также царь своей возлюбленной ливийские аметисты, похожие цветом на ранние фиалки, распус-

кающиеся в лесах у подножия Ливийских гор,— аметисты, обладавшие чудесной способностью обуздывать ветер, смягчать злобу, предохранять от опьянения и помогать при ловле диких зверей; персепольскую бирюзу, которая приносит счастье в любви, прекращает ссору супругов, отводит царский гнев и благоприятствует при укрощении и продаже лошадей; и кошачий глаз — оберегающий имущество, разум и здоровье своего владельца; и бледный, сине-зеленый, как морская вода у берега, вериллий — средство от бельма и проказы, добрый спутник странников; и разноцветный агат — носящий его не боится козней врагов и избегает опасности быть раздавленным во время землетрясения; и нефрит, почечный камень, отстраняющий удары молнии; и яблочно-зеленый, мутно-прозрачный онихий — сторож хозяина от огня и сумасшествия; и яспис, заставляющий дрожать зверей; и черный ласточкин камень, дающий красноречие; и уважаемый беременными женщинами орлиный камень, который орлы кладут в свои гнезда, когда приходит пора вылупляться их птенцам; и заберзат из Офира, сияющий, как маленькие солнца; и желто-золотистый хрисолит — друг торговцев и воров; и сардоникс, любимый царями и царицами; и малиновый лигирий: его находят, как известно, в желудке рыси, зрение которой так остро, что она видит сквозь стены,— поэтому и носящие лигирий отличаются зоркостью глаз,— кроме того, он останавливает кровотечение из носа и заживляет всякие раны, исключая ран, нанесенных камнем и железом.

Надевал царь на шею Суламифи многоценные ожерелья из жемчуга, который ловили его подданные в Персидском море, и жемчуг от теплоты ее тела приобретал живой блеск и нежный цвет. И кораллы становились краснее на ее смуглой груди, и оживала бирюза на ее пальцах, и издавали в ее руках трескучие искры те желтые янтарные безделушки, которые привозили в дар царю Соломону с берегов далеких северных морей отважные корабельщики царя Хирама Тирского.

Златоцветом и лилиями покрывала Суламифь свое ложе, приготовляя его к ночи, и, покоясь на ее груди, говорил царь в веселии сердца:

— Ты похожа на царскую ладью в стране Офир, о моя возлюбленная, на золотую легкую ладью, которая

плывет, качаясь, по священной реке, среди белых ароматных цветов.

Так посетила царя Соломона — величайшего из царей и мудрейшего из мудрецов — его первая и последняя любовь.

Много веков прошло с той поры. Были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них.

Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, — царица, потому что любовь — прекрасна!

IX

Семь дней прошло с той поры, когда Соломон — поэт, мудрец и царь — привел в свой дворец бедную девушку, встреченную им в винограднике на рассвете. Семь дней наслаждался царь ее любовью и не мог насытиться ею. И великая радость освещала его лицо, точно золотое солнечное сияние.

Стояли светлые, теплые, лунные ночи — сладкие ночи любви! На ложе из тигровых шкур лежала обнаженная Суламифь, и царь, сидя на полу у ее ног, наполнял свой изумрудный кубок золотистым вином из Мареотиса и пил за здоровье своей возлюбленной, веселясь всем сердцем, и рассказывал он ей мудрые древние странные сказания. И рука Суламифи покоилась на его голове, гладила его волнистые черные волосы.

— Скажи мне, мой царь, — спросила однажды Суламифь, — не удивительно ли, что я полюбила тебя так внезапно? Я теперь припоминаю все, и мне кажется, что я стала принадлежать тебе с самого первого мгновения, когда не успела еще увидеть тебя, а только услышала твой голос. Сердце мое затрепетало и раскрылось навстречу к тебе, как раскрывается цветок во время летней ночи от южного ветра. Чем ты так пленил меня, мой возлюбленный?

И царь, тихо склоняясь головой к нежным коленям Суламифи, ласково улыбнулся и ответил:

— Тысячи женщин до тебя, о моя прекрасная, задавали своим милым этот вопрос, и сотни веков после тебя они будут спрашивать об этом своих милых. Три вещи есть в мире, не понятные для меня, и четвертую я не постигаю: путь орла в небе, змеи на скале, корабля среди моря и путь мужчины к сердцу женщины. Это не моя мудрость, Суламифь, это слова Агура, сына Иакеева, слышанные от него учениками. Но почтим и чужую мудрость.

— Да,— сказала Суламифь задумчиво,— может быть, и правда, что человек никогда не поймет этого. Сегодня во время пира на моей груди было благоухающее вязание стакти. Но ты вышел из-за стола, и цветы мои перестали пахнуть. Мне кажется, что тебя должны любить, о царь, и женщины, и мужчины, и звери, и даже цветы. Я часто думаю и не могу понять: как можно любить кого-нибудь другого, кроме тебя?

— И кроме тебя, кроме тебя, Суламифь! Каждый час я благодарю бога, что он послал тебя на моем пути.

— Я помню, я сидела на камне стенки, и ты положил свою руку сверх моей. Огонь побежал по моим жилам, голова у меня закружилась. Я сказала себе: «Вот кто господин мой, вот кто царь мой, возлюбленный мой!»

— Я помню, Суламифь, как обернулась ты на мой зов. Под тонким платьем я увидел твоё тело, твоё прекрасное тело, которое я люблю, как бога. Я люблю его, покрытое золотым пухом, точно солнце оставило на нем свой поцелуй. Ты стройна, точно кобылица в колеснице фараоновой, ты прекрасна, как колесница Аминодавова. Глаза твои, как два голубя, сидящих у истока вод.

— О милый, слова твои волнуют меня. Твоя рука сладко жжет меня. О мой царь, ноги твои, как мраморные столбы. Живот твой, точно ворох пшеницы, окруженный лилиями.

Окруженные, осиянные молчаливым светом луны, они забывали о времени, о месте, и вот проходили часы, и они с удивлением замечали, как в решетчатые окна покоя заглядывала розовая заря.

Также сказала однажды Суламифь:

— Ты знал, мой возлюбленный, жен и девиц без числа, и все они были самые красивые женщины на земле. Мне

стыдно становится, когда я подумаю о себе, простой, неученой девушке, и о моем бедном теле, опаленном солнцем.

Но, касаясь губами ее губ, говорил царь с бесконечной любовью и благодарностью:

— Ты царица, Суламифь. Ты родилась настоящей царицей. Ты смела и щедра в любви. Семьсот жен у меня и триста наложниц, и девиц я знал без числа, но ты единственная моя, кроткая моя, прекраснейшая из женщин. Я нашел тебя подобно тому, как водолаз в Персидском заливе наполняет множество корзин пустыми раковинами и малоценными жемчужинами, прежде чем достанет с морского дна перл, достойный царской короны. Дитя мое, тысячи раз может любить человек, но только один раз он любит. Тьмы-тем людей думают, что они любят, но только двум из них посылает бог любовь. И когда ты отдалась мне там, между кипарисами, под кровлей из кедров, на ложе из зелени, я от души благодарил бога, столь милостивого ко мне.

Еще однажды спросила Суламифь:

— Я знаю, что все они любили тебя, потому что тебя нельзя не любить. Царица Савская приходила к тебе из своей страны. Говорят, она была мудрее и прекраснее всех женщин, когда-либо бывших на земле. Точно во сне я вспоминаю ее караваны. Не знаю почему, но с самого раннего детства влекло меня к колесницам знатных. Мне тогда было, может быть, семь, может быть, восемь лет, я помню верблюдов в золотой сбруе, покрытых пурпурными попонами, отягощенных тяжелыми ношами, помню мулов с золотыми бубенчиками между ушами, помню смешных обезьян в серебряных клетках и чудесных павлинов. Множество слуг шло в белых и голубых одеждах; они вели ручных тигров и барсов на красных лентах. Мне было только восемь лет.

— О дитя, тебе тогда было только восемь лет,— сказал Соломон с грустью.

— Ты любил ее больше, чем меня, Соломон? Расскажи мне что-нибудь о ней!

И царь рассказал ей все об этой удивительной женщине. Наслышавшись много о мудрости и красоте Израильского царя, она прибыла к нему из своей страны с богатыми дарами, желая испытать его мудрость и поко-

рить его сердце. Это была пышная сорокалетняя женщина, которая уже начинала увядать. Но тайными, волшебными средствами она достигала того, что ее рыхлющее тело казалось стройным и гибким, как у девушки, и лицо ее носило печать страшной, нечеловеческой красоты. Но мудрость ее была обыкновенной человеческой мудростью, и притом еще мелочной мудростью женщины.

Желая испытать царя загадками, она сначала послала к нему пятьдесят юношей в самом нежном возрасте и пятьдесят девушек. Все они так хитроумно были одеты в одинаковые одежды, что самый зоркий глаз не распознал бы их пола. «Я назову тебя мудрым, царь,— сказала Балкис,— если ты скажешь мне, кто из них женщина и кто мужчина».

Но царь рассмеялся и приказал каждому и каждой из посланных подать поодиночке серебряный таз и серебряный кувшин для умывания. И в то время когда мальчики смело брызгались в воде руками и бросали себе ее горстями в лицо, крепко вытирая кожу, девочки поступали так, как всегда делают женщины при умывании. Они нежно и заботливо натирали водою каждую из своих рук, близко поднося ее к глазам.

Так просто разрешил царь первую загадку Балкис-Македы.

Затем прислала она Соломону большой алмаз величиною с лесной орех. В камне этом была тонкая, весьма извилистая трещина, которая узким сложным ходом пробуравливала насквозь все его тело. Нужно было продеть сквозь этот алмаз шелковинку. И мудрый царь впустил в отверстие шелковичного червя, который, пройдя наружу, оставил за собою следом тончайшую шелковую паутинку.

Также прислала прекрасная Балкис царю Соломону многоценный кубок из резного сардоникса великолепной художественной работы. «Этот кубок будет твоим,— повелела она сказать царю,— если ты его наполнишь влагою, взятою ни с земли, ни с неба». Соломон же, наполнив сосуд пеною, падавшей с тела утомленного коня, приказал отнести его царице.

Много подобных загадок предлагала царица Соломону, но не могла унижить его мудрость, и всеми тайными чарами ночного сладострастия не сумела она сохранить

его любви. И когда наскучила она, наконец, царю, он жестоко, обидно насмеялся над нею.

Всем было известно, что царица Савская никому не показывала своих ног и потому носила длинное до земли платье. Даже в часы любовных ласк держала она ноги плотно закрытыми одеждой. Много странных и смешных легенд сложилось по этому поводу.

Одни уверяли, что у царицы козлиные ноги, обросшие шерстью; другие клялись, что у нее вместо ступней перепончатые гусиные лапы. И даже рассказывали о том, что мать царицы Балкис однажды, после купанья, села на песок, где только что оставил свое семя некий бог, временно превратившийся в гуся, и что от этой случайности понесла она прекрасную царицу Савскую.

И вот повелел однажды Соломон устроить в одном из своих покоев прозрачный хрустальный пол с пустым пространством под ним, куда налили воды и пустили живых рыб. Все это было сделано с таким необычайным искусством, что не предупрежденный человек ни за что не заметил бы стекла и стал бы давать клятву, что перед ним находится бассейн с чистой свежей водой.

И когда все было готово, то пригласил Соломон свою царственную гостью на свидание. Окруженная пышной свитой, она идет по комнатам Ливанского дома и доходит до коварного бассейна. На другом конце его сидит царь, сияющий золотом и драгоценными камнями и приветливым взглядом черных глаз. Дверь отворяется перед царицею, и она делает шаг вперед, но вскрикивает и...

Суламифь смеется радостным детским смехом и хлопает в ладоши.

— Она нагибается и приподымает платье? — спрашивает Суламифь.

— Да, моя возлюбленная, она поступила так, как поступила бы каждая из женщин. Она подняла кверху край своей одежды, и хотя это продолжалось только одно мгновение, но и я, и весь мой двор увидели, что у прекрасной Савской царицы Балкис-Македы обыкновенные человеческие ноги, но кривые и обросшие густыми волосами. На другой же день она собралась в путь, не простилась со мною и уехала с своим великолепным караваном. Я не хотел ее обидеть. Вслед ей я послал надежного гонца, которому приказал передать царице пучок редкой горной

травы — лучшее средство для уничтожения волос на теле. Но она вернула мне назад голову моего посланного в мешке из дорогой багряницы.

Рассказывал также Соломон своей возлюбленной многое из своей жизни, чего не знал никто из других людей и что Суламифь унесла с собою в могилу. Он говорил ей о долгих и тяжелых годах скитаний, когда, спасаясь от гнева своих братьев, от зависти Авессалома и от ревности Адонии, он принужден был под чужим именем скрываться в чужих землях, терпя страшную бедность и лишения. Он рассказал ей о том, как в отдаленной неизвестной стране, когда он стоял на рынке в ожидании, что его наймут куда-нибудь работать, к нему подошел царский повар и сказал:

— Чужестранец, помоги мне донести эту корзину с рыбами во дворец.

Своим умом, ловкостью и умелым обхождением Соломон так понравился придворным, что в скором времени устроился во дворце, а когда старший повар умер, то он заступил его место. Дальше говорил Соломон о том, как единственная дочь царя, прекрасная пылкая девушка, влюбилась тайно в нового повара, как она открылась ему невольно в любви, как они однажды бежали вместе из дворца ночью, были настигнуты и приведены обратно, как осужден был Соломон на смерть и как чудом удалось ему бежать из темницы.

Жадно внимала ему Суламифь, и когда он замолкал, тогда среди тишины ночи смыкались их губы, сплетались руки, прикасались груди. И когда наступало утро, и тело Суламифи казалось пенно-розовым, и любовная усталость окружала голубыми тенями ее прекрасные глаза, она говорила с нежной улыбкою:

— Освежите меня яблоками, подкрепите меня вином, ибо я изнемогаю от любви.

Х

В храме Изиды на горе Ватн-эль-Хав только что отошла первая часть великого тайнодействия, на которую допускались верующие малого посвящения. Очередной жрец — древний старец в белой одежде, с бритой головой,

безусый и безбородый, повернулся с возвышения алтаря к народу и произнес тихим, усталым голосом:

— Пребывайте в мире, сыновья мои и дочери. Усовершенствуйтесь в подвигах. Прославляйте имя богини. Благословение ее над вами да пребудет во веки веков.

Он вознес свои руки над народом, благословляя его. И тотчас же все посвященные в малый чин таинств простерлись на полу и затем, встав, тихо, в молчании направились к выходу.

Сегодня был седьмой день египетского месяца Фаме-нота, посвященный мистериям Озириса и Изида. С вечера торжественная процессия трижды обходила вокруг храма со светильниками, пальмовыми листьями и амфорами, с таинственными символами богов и со священными изображениями Фаллуса. В середине шествия на плечах у жрецов и вторых пророков возвышался закрытый «наос» из драгоценного дерева, украшенного жемчугом, слоновой костью и золотом. Там пребывала сама богиня, Она, Невидимая, Подающая плодородие, Таинственная, Мать, Сестра и Жена богов.

Злобный Сет заманил своего брата, божественного Озириса, на пиршество, хитростью заставил его лечь в роскошный гроб и, захлопнув над ним крышку, бросил гроб вместе с телом великого бога в Нил. Изида, только что родившая Гора, в тоске и слезах разыскивает по всей земле тело своего мужа и долго не находит его. Наконец рыбы рассказывают ей, что гроб волнами отнесло в море и прибило к Библосу, где вокруг него выросло громадное дерево и скрыло в своем стволе труп бога и его пловучий дом. Царь той страны приказал сделать себе из громадного дерева мощную колонну, не зная, что в ней покоится сам бог Озирис, великий податель жизни. Изида идет в Библос, приходит туда утомленная зноем, жаждой и тяжелой каменистой дорогой. Она освобождает гроб из середины дерева, несет его с собою и прячет в землю у городской стены. Но Сет опять тайно похищает тело Озириса, разрезает его на четырнадцать частей и рассеивает их по всем городам и селениям Верхнего и Нижнего Египта.

И опять в великой скорби и рыданиях отправилась Изида в поиски за священными членами своего мужа и брата. К плачу ее присоединяет свои жалобы сестра ее,

богиня Нефтис, и могущественный Тоот, и сын богини, светлый Гор, Горизит.

Таков был тайный смысл нынешней процессии в первой половине священнослужения. Теперь, по уходе простых верующих и после небольшого отдыха, надлежало совершиться второй части великого тайнодействия. В храме остались только посвященные в высшие степени— мистагоги, эпопты, пророки и жрецы.

Мальчики в белых одеждах разносили на серебряных подносах мясо, хлеб, сухие плоды и сладкое пелузское вино. Другие разливали из узкогорлых тирских сосудов сикеру, которую в те времена давали перед казнью преступникам для возбуждения в них мужества, но которая также обладала великим свойством порождать и поддерживать в людях огонь священного безумия.

По знаку очередного жреца мальчики удалились. Жрец-привратник запер все двери. Затем он внимательно обошел всех оставшихся, всматриваясь им в лица и опрашивая их таинственными словами, составлявшими пропуск нынешней ночи. Два другие жреца провезли вдоль храма и вокруг каждой из его колонн серебряную кадильницу на колесах. Синим, густым, пьянящим, ароматным фимиамом наполнился храм, и сквозь слои дыма едва стали видны разноцветные огни лампад, сделанных из прозрачных камней,— лампад, оправленных в резное золото и подвешенных к потолку на длинных серебряных цепях. В давнее время этот храм Озириса и Изида отличался небольшими размерами и беднотою и был выдолблен наподобие пещеры в глубине горы. Узкий подземный коридор вел к нему снаружи. Но во дни царствования Соломона, взявшего под свое покровительство все религии, кроме тех, которые допускали жертвоприношения детей, и благодаря усердию царицы Астис, родом египтянки, храм разросся в глубину и в высоту и украсился богатыми приношениями.

Прежний алтарь так и остался неприкосновенным в своей первоначальной суровой простоте, вместе со множеством маленьких покоев, окружавших его и служивших для сохранения сокровищ, жертвенных предметов и священных принадлежностей, а также для особых тайных целей во время самых сокроуенных мистических оргий.

Зато поистине был великолепен наружный двор с пилонами в честь богини Гатор и с четырехсторонней колоннадой из двадцати четырех колонн. Еще пышнее была устроена внутренняя подземная гипостильная зала для молящихся. Ее мозаичный пол весь был украшен искусными изображениями рыб, зверей, земноводных и пресмыкающихся. Потолок же был покрыт голубой глазурью, и на нем сияло золотое солнце, светилась серебряная луна, мерцали бесчисленные звезды, и парили на распростертых крыльях птицы. Пол был землею, потолок — небом, а их соединяли, точно могучие древесные стволы, круглые и многогранные колонны. И так как все колонны завершались капителями в виде нежных цветов лотоса или тонких свертков папируса, то лежавший на них потолок действительно казался легким и воздушным, как небо.

Стены до высоты человеческого роста были обложены красными гранитными плитами, вывезенными, по желанию царицы Астис, из Фив, где местные мастера умели придавать граниту зеркальную гладкость и изумительный блеск. Выше, до самого потолка, стены так же, как и колонны, пестрели резными и раскрашенными изображениями с символами богов обоих Египтов. Здесь был Себех, чтимый в Фаюмэ под видом крокодила, и Тоот, бог луны, изображаемый, как ибис, в городе Хмуну, и солнечный бог Гор, которому в Эдфу был посвящен копчик, и Баст из Бубаса, под видом кошки, Шу, бог воздуха — лев, Пта — Апис, Гатор — богиня веселья — корова, Анубис, бог бальзамирования, с головою шакала, и Монту из Гермона, и коптский Мину, и богиня неба Нейт из Саиса, и, наконец, в виде овна, страшный бог, имя которого не произносилось и которого называли Хентиementу, что значит «Живущий на Западе».

Полутемный алтарь возвышался над всем храмом, и в глубине его тускло блестели золотом стены святилища, скрывавшего изображения Изиды. Трое ворот — большие, средние и двое боковых маленьких — вели в святилище. Перед средними стоял жертвенник со священным каменным ножом, из эфиопского обсидиана. Ступени вели к алтарю, и на них расположились младшие жрецы и жрицы с тимпанами, систрами, флейтами и бубнами.

Царица Астис возлежала в маленьком потайном покое. Небольшое квадратное отверстие, искусно скрытое тяже-

лым занавесом, выходило прямо к алтарю и позволяло, не выдавая своего присутствия, следить за всеми подробностями священнодействия. Легкое узкое платье из льняного газа, затканное серебром, вплотную облекало тело царицы, оставляя обнаженными руки до плеч и ноги до половины икр. Сквозь прозрачную материю розово светилась ее кожа и видны были все чистые линии и возвышения ее стройного тела, которое до сих пор, несмотря на тридцатилетний возраст царицы, не утеряло своей гибкости, красоты и свежести. Волосы ее, выкрашенные в синий цвет, были распущены по плечам и по спине, и концы их убраны бесчисленными ароматическими шариками. Лицо было сильно нарумянено и набелено, а тонко обведенные тушью глаза казались громадными и горели в темноте, как у сильного зверя кошачьей породы. Золотой священный уреус спускался у нее от шеи вниз, разделяя полуобнаженные груди.

С тех пор как Соломон охладел к царице Астис, утомленный ее необузданной чувственностью, она со всем пылом южного сладострастия и со всей яростью оскорбленной женской ревности предалась тем тайным оргиям извращенной похоти, которые входили в высший культ скопческого служения Изиде. Она всегда показывалась окруженная жрецами-кастратами, и даже теперь, когда один из них мерно обвеивал ее голову опахалом из павлиньих перьев, другие сидели на полу, впиваясь в царицу безумно-блаженными глазами. Ноздри их расширялись и трепетали от веявшего на них аромата ее тела, и дрожащими пальцами они старались незаметно прикоснуться к краю ее чуть колебавшейся легкой одежды. Их чрезмерная, никогда не удовлетворяющаяся страстность изощряла их воображение до крайних пределов. Их изобретательность в наслаждениях Киббелы и Ашеры переступала все человеческие возможности. И, ревнуя царицу друг к другу, ко всем женщинам, мужчинам и детям, ревнуя даже к ней самой, они поклонялись ей больше, чем Изиде, и, любя, ненавидели ее, как бесконечный огненный источник сладостных и жестоких страданий.

Темные, злые, страшные и пленительные слухи ходили о царице Астис в Иерусалиме. Родители красивых мальчиков и девушек прятали детей от ее взгляда; ее имя боялись произносить на супружеском ложе, как знак

осквернения и напасти. Но волнующее, опьяняющее любопытство влекло к ней души и отдавало во власть ей тела. Те, кто испытал хоть однажды ее свирепые кровавые ласки, те уже не могли ее забыть никогда и делались навеки ее жалкими, отвергнутыми рабами. Готовые ради нового обладания ею на всякий грех, на всякое унижение и преступление, они становились похожими на тех несчастных, которые, попробовав однажды горькое маковое питье из страны Офир, дающее сладкие грезы, уже никогда не отстанут от него и только ему одному поклоняются и одно его чтут, пока истощение и безумие не прервут их жизни.

Медленно колыхалось в жарком воздухе опахало. В безмолвном восторге созерцали жрецы свою ужасную повелительницу. Но она точно забыла об их присутствии. Слегка отодвинув занавеску, она неотступно глядела напротив, по ту сторону алтаря, где когда-то из-за темных изломов старинных златокованных занавесок показывалось прекрасное, светлое лицо Израильского царя. Его одного любила всем своим пламенным и порочным сердцем отвергнутая царица, жестокая и сладострастная Астис. Его мимолетного взгляда, ласкового слова, прикосновения его руки искала она повсюду и не находила. На торжественных выходах, на дворцовых обедах и в дни суда оказывал Соломон ей почтительность, как царице и дочери царя, но душа его была мертва для нее. И часто гордая царица приказывала в урочные часы проносить себя мимо дома Ливанского, чтобы хоть издали, незаметно, сквозь тяжелые ткани носилок, увидеть среди придворной толпы гордое, незабвенно прекрасное лицо Соломона. И давно уже ее пламенная любовь к царю так тесно срослась с жгучей ненавистью, что сама Астис не умела отличить их.

Прежде и Соломон посещал храм Изиды в дни великих празднеств и приносил жертвы богине, и даже принял титул ее верховного жреца, второго после египетского фараона. Но страшные таинства «Кровавой жертвы Оплодотворения» отвратили его ум и сердце от служения Матери богов.

— Оскопленный по неведению, или насилием, или случайно, или по болезни — не унижен перед богом, — сказал царь. — Но горе тому, кто сам изуродует себя.

И вот уже целый год ложе его в храме оставалось пустым. И напрасно пламенные глаза царицы жадно глядели теперь на неподвижные занавески.

- Между тем вино, сикера и одуряющие курения уже оказывали заметное действие на собравшихся в храме. Чаше слышались крик и смех и звон падающих на каменный пол серебряных сосудов. Приближалась великая, таинственная минута кровавой жертвы. Экстаз овладевал верующими.

Рассеянным взором оглядела царица храм и верующих. Много здесь было почтенных и знаменитых людей из свиты Соломоновой и из его военачальников: Бен-Гевер, властитель области Арговии, и Ахимаас, женатый на дочери царя Васемафи, и остроумный Бен-Декер, и Зовуф, носивший, по восточным обычаям, высокий титул «друга царя», и брат Соломона от первого брака Давидова — Далуиа, расслабленный, полумертвый человек, преждевременно впавший в идиотизм от излишеств и пьянства. Все они были — иные по вере, иные по корыстным расчетам, иные из подражания, а иные из сластолюбивых целей — поклонниками Изиды.

И вот глаза царицы остановились долго и внимательно, с напряженной мыслью, на красивом юношеском лице Элиава, одного из начальников царских телохранителей.

Царица знала, отчего горит такой яркой краской его смуглое лицо, отчего с такою страстной тоской устремлены его горячие глаза сюда, на занавески, которые едва движутся от прикосновения прекрасных белых рук царицы. Однажды, почти шутя, повинувшись минутному капризу, она заставила Элиава провести у нее целую длинную блаженную ночь. Утром она отпустила его, но с тех пор уже много дней подряд видела она повсюду — во дворце, в храме, на улицах — два влюбленных, покорных, тоскующих глаза, которые повсюду провожали ее.

Темные брови царицы сдвинулись, и ее зеленые длинные глаза вдруг потемнели от страшной мысли. Едва заметным движением руки она приказала кастрату опустить вниз опахало и сказала тихо:

— Выйдите все. Хушай, ты пойдешь и позовешь ко мне Элиава, начальника царской стражи. Пусть он придет один.

XI

Десять жрецов в белых одеждах, испещренных красными пятнами, вышли в середину алтаря. Следом за ними шли еще двое жрецов, одетых в женские одежды. Они должны были изображать сегодня Нефтис и Изиду, оплакивающих Озириса. Потом из глубины алтаря вышел некто в белом хитоне без единого украшения, и глаза всех женщин и мужчин с жадностью приковались к нему. Это был тот самый пустынный, который провел десять лет в тяжелом подвижническом искусе на горах Ливана и нынче должен был принести великую добровольную кровавую жертву Изиде. Лицо его, изнуренное голодом, обветренное и обожженное, было строго и бледно, глаза сурово опущены вниз, и нечеловеческим ужасом повеяло от него на толпу.

Наконец вышел и главный жрец храма, столетний старец с тиарой на голове, с тигровой шкурой на плечах, в парчовом переднике, украшенном хвостами шакалов.

Повернувшись к молящимся, он старческим голосом, кротким и дрожащим, произнес:

— Сутон-ди-готпу. (Царь приносит жертву.)

И затем, обернувшись к жертвеннику, он принял из рук помощника белого голубя с красными лапками, отрезал птице голову, вынул у нее из груди сердце и кровью ее окропил жертвенник и священный нож.

После небольшого молчания он возгласил:

— Оплачете Озириса, бога Атуму, великого Ун-Нофер-Онуфрия, бога Она!

Два кастрата в женских одеждах — Изиды и Нефтис — тотчас же начали плач гармоничными тонкими голосами:

«Возвратись в свое жилище, о прекрасный юноша. Видеть тебя — блаженство.

Изида заклинает тебя, Изиды, которая была зачата с тобою в одном чреве, жена твоя и сестра.

Покажи нам снова лицо твое, светлый бог. Вот Нефтис, сестра твоя. Она обливается слезами и в горести рвет свои волосы.

В смертельной тоске разыскиваем мы прекрасное тело твое, Озирис, возвратись в дом свой!»

Двое других жрецов присоединили к первым свои голоса. Это Гор и Анупис оплакивали Озириса, и каждый

раз, когда они оканчивали стих, хор, расположившийся на ступенях лестницы, повторял его торжественным и печальным мотивом.

Потом, с тем же пением, старшие жрецы вынесли из святилища статую богини, теперь уже не закрытую наосом. Но черная мантия, усыпанная золотыми звездами, окутывала богиню с ног до головы, оставляя видимыми только ее серебряные ноги, обвитые змеей, а над головою серебряный диск, включенный в коровьи рога. И медленно, под звон кадилниц и сistr, со скорбным плачем двинулась процессия богини Изиды со ступенек алтаря, вниз, в храм, вдоль его стен, между колоннами.

Так собирала богиня разбросанные члены своего супруга, чтобы оживить его при помощи Тоота и Анубиса: «Слава городу Абидосу, сохранившему прекрасную голову твою, Озирис.

Слава тебе, город Мемфис, где нашли мы правую руку великого бога, руку войны и защиты.

И тебе, о город Саис, скрывший левую руку светлого бога, руку правосудия.

И ты будь благословен, город Фивы, где покоилось сердце Ун-Нофер-Онуфрия».

Так обошла богиня весь храм, возвращаясь назад к алтарю, и все страстнее и громче становилось пение хора. Священное воодушевление овладевало жрецами и молящимися. Все части тела Озириса нашла Изида, кроме одной, священного Фаллуса, оплодотворяющего материнское чрево, создающего новую вечную жизнь. Теперь приближался самый великий акт в мистерии Озириса и Изиды.

— Это ты, Элиав? — спросила царица юношу, который тихо вошел в дверь.

В темноте ложи он беззвучно опустился к ее ногам и прижал к губам край ее платья. И царица почувствовала, что он плачет от восторга, стыда и желания. Опустив руку ему на курчавую жесткую голову, царица произнесла:

— Расскажи мне, Элиав, все, что ты знаешь о царе и об этой девочке из виноградника.

— О, как ты его любишь, царица! — сказал Элиав с горьким стоном.

— Говори... — приказала Астис.

— Что я могу тебе сказать, царица? Сердце мое разрывается от ревности.

— Говори!

— Никого еще не любил царь, как ее. Он не расстается с ней ни на миг. Глаза его сияют счастьем. Он расточает вокруг себя милости и дары. Он, авимелех и мудрец, он, как раб, лежит около ее ног и, как собака, не спускает с нее глаз своих.

— Говори!

— О, как ты терзаешь меня, царица! И она... она — вся любовь, вся нежность и ласка! Она кротка и стыдлива, она ничего не видит и не знает, кроме своей любви. Она не возбуждает ни в ком ни злобы, ни ревности, ни зависти...

— Говори! — яростно простонала царица и, вцепившись своими гибкими пальцами в черные кудри Элиава, она притиснула его голову к своему телу, царапая его лицо серебряным шитьем своего прозрачного хитона.

А в это время в алтаре вокруг изображения богини, покрытой черным покрывалом, носились жрецы кругом в священном иступлении, с криками, похожими на лай, под звон тимпанов и дребезжание сistr.

Некоторые из них стегали себя многохвостыми плетками из кожи носорога, другие наносили себе короткими ножами в грудь и в плечи длинные кровавые раны, третьи пальцами разрывали себе рты, надрывали себе уши и царапали лица ногтями. В середине этого бешеного хорова у самых ног богини кружился на одном месте с непостижимой быстротой отшельник с гор Ливана в белоснежной развевающейся одежде. Один верховный жрец оставался неподвижным. В руке он держал священный жертвенный нож из эфиопского обсидиана, готовый передать его в последний страшный момент.

— Фаллус! Фаллус! Фаллус! — кричали в экстазе обезумевшие жрецы. — Где твой Фаллус, о светлый бог! Приди, оплодотвори богиню! Грудь ее томится от желания! Чрево ее, как пустыня в жаркие летние месяцы!

И вот страшный, безумный, пронзительный крик на мгновение заглушил весь хор. Жрецы быстро расступились, и все бывшие в храме увидели ливанского отшельника, совершенно обнаженного, ужасного своим высоким, костлявым, желтым телом. Верховный жрец протянул ему нож. Стало невыносимо тихо в храме. И он, быстро

нагнувшись, сделал какое-то движение, выпрямился и с воплем боли и восторга вдруг бросил к ногам богини бесформенный кровавый кусок мяса.

Он шатался. Верховный жрец осторожно поддержал его, обвив рукою за спину, подвел его к изображению Изида и бережно накрыл его черным покрывалом и оставил так на несколько мгновений, чтобы он втайне, невидимо для других, мог запечатлеть на устах оплодотворенной богини свой поцелуй.

Тотчас же вслед за этим его положили на носилки и унесли из алтаря. Жрец-привратник вышел из храма. Он ударил деревянным молотком в громадный медный круг, возвещая всему миру о том, что свершилась великая тайна оплодотворения богини. И высокий поющий звук меди понесся над Иерусалимом.

Царица Астис, еще продолжая содрогаться всем телом, откинула назад голову Элиава. Глаза ее горели напряженным красным огнем. И она сказала медленно, слово за словом:

— Элиав, хочешь, я сделаю тебя царем Иудеи и Израиля? Хочешь быть властителем над своей Сирией и Месопотамией, над Финикией и Вавилоном?

— Нет, царица, я хочу только тебя...

— Да, ты будешь моим властелином. Все мои ночи будут принадлежать тебе. Каждое мое слово, каждый мой взгляд, каждое дыхание будут твоими. Ты знаешь пропуск. Ты пойдешь сегодня во дворец и убьешь их. Ты убьешь их обоих! Ты убьешь их обоих!

Элиав хотел что-то сказать. Но царица притянула его к себе и прильнула к его рту своими жаркими губами и языком. Это продолжалось мучительно долго. Потом, внезапно оторвав юношу от себя, она сказала коротко и повелительно:

— Иди!

— Я иду,— ответил покорно Элиав.

ХII

И была седьмая ночь великой любви Соломона.

Странно тихи и глубоко нежны были в эту ночь ласки царя и Суламифи. Точно какая-то задумчивая печаль,

осторожная стыдливость, отдаленное предчувствие окутывали легкою тенью их слова, поцелуи и объятия.

Глядя в окно на небо, где ночь уже побеждала догорающий вечер, Суламифь остановила свои глаза на яркой голубоватой звезде, которая трепетала кротко и нежно.

— Как называется эта звезда, мой возлюбленный? — спросила она.

— Это звезда Сопдит, — ответил царь. — Это священная звезда. Ассирийские маги говорят нам, что души всех людей живут на ней после смерти тела.

— Ты веришь этому, царь?

Соломон не ответил. Правая рука его была под голову Суламифи, а левою он обнимал ее, и она чувствовала его ароматное дыхание на себе, на волосах, на виске.

— Может быть, мы увидимся там с тобою, царь, после того как умрем? — спросила тревожно Суламифь.

Царь опять промолчал.

— Ответь мне что-нибудь, возлюбленный, — робко попросила Суламифь.

Тогда царь сказал:

— Жизнь человеческая коротка, но время бесконечно, и вещество бессмертно. Человек умирает и утучняет гниением своего тела землю, земля вскармливает колос, колос приносит зерно, человек поглощает хлеб и питает им свое тело. Проходят тьмы и тьмы-тем веков, все в мире повторяется, — повторяются люди, звери, камни, растения. Во многообразном круговороте времени и вещества повторяемся и мы с тобою, моя возлюбленная. Это так же верно, как и то, что если мы с тобою наполним большой мешок доверху морским гравием и бросим в него всего лишь один драгоценный сапфир, то, вытаскивая много раз из мешка, ты все-таки рано или поздно извлечешь и драгоценность. Мы с тобою встретимся, Суламифь, и мы не узнаем друг друга, но с тоской и с восторгом будут стремиться наши сердца навстречу, потому что мы уже встречались с тобою, моя кроткая, моя прекрасная Суламифь, но мы не помним этого.

— Нет, царь, нет! Я помню. Когда ты стоял под окном моего дома и звал меня: «Прекрасная моя, выйди, волосы мои полны ночной росой!» — я узнала тебя, я вспомнила тебя, и радость и страх овладели моим сердцем. Скажи мне, мой царь, скажи, Соломон: вот, если завтра я умру,

будешь ли ты вспоминать свою смуглую девушку из виноградника, свою Суламифь?

И, прижимая ее к своей груди, царь прошептал, взволнованный:

— Не говори так никогда... Не говори так, о Суламифь! Ты избранная богом, ты настоящая, ты царица души моей... Смерть не коснется тебя...

Резкий медный звук вдруг пронесся над Иерусалимом. Он долго заунывно дрожал и колебался в воздухе, и когда замолк, то долго еще плыли его трепещущие отзвуки.

— Это в храме Изиды окончилось таинство,— сказал царь.

— Мне страшно, прекрасный мой! — прошептала Суламифь.— Темный ужас проник в мою душу... Я не хочу смерти... Я еще не успела насладиться твоими объятиями... Обойми меня... Прижми меня к себе крепче... Положи меня, как печать, на сердце твоём, как печать на мышце твоей!..

— Не бойся смерти, Суламифь! Так же сильна, как и смерть, любовь... Отгони грустные мысли... Хочешь, я расскажу тебе о войнах Давида, о пирах и охотах фараона Суссакима? Хочешь ты услышать одну из тех сказок, которые складываются в стране Офир?.. Хочешь, я расскажу тебе о чудесах Вакрамадитья?

— Да, мой царь. Ты сам знаешь, что, когда я слушаю тебя, сердце мое растет от радости! Но я хочу тебя попросить о чем-то...

— О Суламифь,— все, что хочешь! Попроси у меня мою жизнь — я с восторгом отдам ее тебе. Я буду только жалеть, что слишком малой ценой заплатил за твою любовь.

Тогда Суламифь улыбнулась в темноте от счастья и, обвив шею царя руками, прошептала ему на ухо:

— Прошу тебя, когда наступит утро, пойдем вместе туда... на виноградник... Туда, где зелень и кипарисы и кедры, где около каменной стенки ты взял руками мою душу... Прошу тебя об этом, возлюбленный... Там снова окажу я тебе ласки мои...

В упоении поцеловал царь губы своей милой.

Но Суламифь вдруг встала на своем ложе и прислушалась.

— Что с тобой, дитя мое?.. Что испугало тебя? — спросил Соломон.

— Подожди, мой милый... сюда идут... Да... Я слышу шаги...

Она замолчала. И было так тихо, что они различали биение своих сердец.

Легкий шорох послышался за дверью, и вдруг она распахнулась быстро и беззвучно.

— Кто там? — воскликнул Соломон.

Но Суламифь уже спрыгнула с ложа, одним движением метнулась навстречу темной фигуре человека с блестящим мечом в руке. И тотчас же, пораженная насквозь коротким, быстрым ударом, она со слабым, точно удивленным криком упала на пол.

Соломон разбил рукой сердоликовый экран, закрывавший свет ночной лампы. Он увидел Элиава, который стоял у двери, слегка наклонившись над телом девушки, шатаясь, точно пьяный. Молодой воин под взглядом Соломона поднял голову и, встретившись глазами с гневными, страшными глазами царя, побледнел и застонал. Выражение отчаяния и ужаса исказило его черты. И вдруг, согнувшись, спрятав в плащ голову, он робко, точно испуганный шакал, стал выползать из комнаты. Но царь остановил его, сказав только три слова:

— Кто принудил тебя?

Весь трепеща и щелкая зубами, с глазами, побелевшими от страха, молодой воин уронил глухо:

— Царица Астис...

— Выйди, — приказал Соломон. — Скажи очередной страже, чтобы она стерегла тебя.

Скоро по бесчисленным комнатам дворца забегали люди с огнями. Все покои осветились. Пришли врачи, собрались военачальники и друзья царя.

Старший врач сказал:

— Царь, теперь не поможет ни наука, ни бог. Когда извлечем меч, оставленный в ее груди, она тотчас же умрет.

Но в это время Суламифь очнулась и сказала со спокойною улыбкой:

— Я хочу пить.

И, когда напилась, она с нежною, прекрасною улыбкою остановила свои глаза на царе и уже больше не отводила

их; а он стоял на коленях перед ее ложем, весь обнаженный, как и она, не замечая, что его колени купаются в ее крови и что руки его обгарены алою кровью.

Так, глядя на своего возлюбленного и улыбаясь кротко, говорила с трудом прекрасная Суламифь:

— Благодарю тебя, мой царь, за все: за твою любовь, за твою красоту, за твою мудрость, к которой ты позволил мне прильнуть устами, как к сладкому источнику. Дай мне поцеловать твои руки, не отнимай их от моего рта до тех пор, пока последнее дыхание не отлетит от меня. Никогда не было и не будет женщины счастливее меня. Благодарю тебя, мой царь, мой возлюбленный, мой прекрасный. Вспоминай изредка о твоей рабе, о твоей обожженной солнцем Суламифи.

И царь ответил ей глубоким, медленным голосом:

— До тех пор, пока люди будут любить друг друга, пока красота души и тела будут самой лучшей и самой сладкой мечтой в мире, до тех пор, клянусь тебе, Суламифь, имя твое во многие века будет произноситься с умилением и благодарностью.

К утру Суламифи не стало.

Тогда царь встал, велел дать себе умыться и надел самый роскошный пурпуровый хитон, вышитый золотыми скарабеями, и возложил на свою голову венец из кроваво-красных рубинов. После этого он позвал к себе Ванею и сказал спокойно:

— Ванея, ты пойдешь и умертвишь Элиава.

Но старик закрыл лицо руками и упал ниц перед царем.

— Царь, Элиав — мой внук!

— Ты слышал меня, Ванея?

— Царь, прости меня, не угрожай мне своим гневом, прикажи это сделать кому-нибудь другому. Элиав, выйдя из дворца, побежал в храм и схватился за рога жертвенника. Я стар, смерть моя близка, я не смею взять на свою душу этого двойного преступления.

Но царь возразил:

— Однако, когда я поручил тебе умертвить моего брата Адонию, также схватившегося за священные рога жертвенника, разве ты ослушался меня, Ванея?

— Прости меня! Пощади меня, царь!

— Подними лицо твое, — приказал Соломон.

И когда Ванея поднял голову и увидел глаза царя, он быстро встал с пола и послушно направился к выходу.

Затем, обратившись к Ахиссару, начальнику и смотрителю дворца, он приказал:

— Царицу я не хочу предавать смерти, пусть она живет, как хочет, и умирает, где хочет. Но никогда она не увидит более моего лица. Сегодня, Ахиссар, ты снарядишь караван и проводишь царицу до гавани в Иаффе, а оттуда в Египет, к фараону Суссакиму. Теперь пусть все выйдут.

И, оставшись один лицом к лицу с телом Суламифи, он долго глядел на ее прекрасные черты. Лицо ее было бело, и никогда оно не было так красиво при ее жизни. Полуоткрытые губы, которые всего час тому назад целовал Соломон, улыбались загадочно и блаженно, и зубы, еще влажные, чуть-чуть поблескивали из-под них.

Долго глядел царь на свою мертвую возлюбленную, потом тихо прикоснулся пальцами к ее лбу, уже начавшему терять теплоту жизни, и медленными шагами вышел из покоя.

За дверями его дожидался первосвященник Азария, сын Садокии. Приблизившись к царю, он спросил:

— Что нам делать с телом этой женщины? Теперь суббота.

И вспомнил царь, как много лет тому назад скончался его отец и лежал на песке, и уже начал быстро разлагаться. Собаки, привлеченные запахом падали, уже бродили вокруг него с горящими от голода и жадности глазами. И, как и теперь, спросил его первосвященник, отец Азарии, дряхлый старик:

— Вот лежит твой отец, собаки могут растерзать его труп... Что нам делать? Почтить ли память царя и осквернить субботу, или соблюсти субботу, но оставить труп твоего отца на съедение собакам?

Тогда ответил Соломон:

— Оставить. Живая собака лучше мертвого льва.

И когда теперь, после слов первосвященника, вспомнил он это, то сердце его сжалось от печали и страха.

Ничего не ответив первосвященнику, он пошел дальше, в залу судилища.

Как и всегда по утрам, двое его писцов, Елихофер и Ахия, уже лежали на цыновках, по обе стороны трона,

держа наготове свертки папируса, тростник и чернила. При входе царя они встали и поклонились ему до земли. Царь же сел на свой трон из слоновой кости с золотыми украшениями, оперся локтем на спину золотого льва и, склонив голову на ладонь, приказал:

— Пишите!

«Положи меня, как печать, на сердце твоём, как перстень на руке твоей, потому что крепка, как смерть, любовь, и жестока, как ад, ревность: стрелы ее — стрелы огненные».

И, помолчав так долго, что писцы в тревоге затаили дыхание, он сказал:

— Оставьте меня одного.

И весь день, до первых вечерних теней, оставался царь один на один со своими мыслями, и никто не осмелился войти в громадную, пустую залу судилища.

ЛЕНОЧКА

Проездом из Петербурга в Крым полковник генерального штаба Возницын нарочно остановился на два дня в Москве, где прошли его детство и юность. Говорят, что умные животные, предчувствуя смерть, обходят все знакомые, любимые места в жилье, как бы прощаясь с ними. Близкая смерть не грозила Возницыну — в свои сорок пять лет он был еще крепким, хорошо сохранившимся мужчиной. Но в его вкусах, чувствах и отношениях к миру совершался какой-то незаметный уклон, ведущий к старости. Сам собою сузился круг радостей и наслаждений, явились оглядка и скептическая недоверчивость во всех поступках, выветрилась бессознательная бессловесная, звериная любовь к природе, заменившись утонченным смакованием красоты, перестала волновать тревожным и острым волнением обаятельная прелесть женщины, а главное — первый признак душевного увядания! — мысль о собственной смерти стала приходить не с той прежней беззаботной и легкой мимолетностью, с какой она приходила прежде, — точно должен был рано или поздно умереть не сам он, а кто-то другой, по фамилии Возницын, — а в тяжелой, резкой, жестокой, бесповоротной и беспощадной ясности, от которой по ночам холодели волосы на голове и пугливо падало сердце. И вот его потянуло побывать в последний раз на прежних местах, оживить в памяти дорогие, мучительно нежные, обвеянные такой поэтической грустью воспоминания детства, растра-

вить свою душу сладкой болью по ушедшей навеки, невозвратимой чистоте и яркости первых впечатлений жизни.

Он так и сделал. Два дня он разъезжал по Москве, посещая старые гнезда. Заехал в пансион на Гороховом поле, где когда-то с шести лет воспитывался под руководством классных дам по фребелевской системе. Там все было переделано и перестроено: отделения для мальчиков уже не существовало, но в классных комнатах у девочек попрежнему приятно и заманчиво пахло свежим лаком ясеневых столов и скамеек и еще чудесным смешанным запахом гостинцев, особенно яблоками, которые, как и прежде, хранились в особом шкапу на ключе. Потом он завернул в кадетский корпус и в военное училище. Побывал он и в Кудрине, в одной домово́й церкви, где мальчиком-кадетом он прислуживал в алтаре, подавая кадило и выходя в стихаре со свечою к евангелию за обедней, но также крал восковые огарки, допивал «теплоту» после причастников и разными гримасами заставлял прыскать смешливого дьякона, за что однажды и был торжественно изгнан из алтаря батюшкой, величественным, тучным старцем, поразительно похожим на запрестольного бога Саваофа. Проходил нарочно мимо всех домов, где когда-то он испытывал первые наивные и полудетские томления любви, заходил во дворы, поднимался по лестницам и почти ничего не узнавал — так все перестроилось и изменилось за целую четверть века. Но с удивлением и с горечью заметил Возницын, что его опустошенная жизнью очерствелая душа оставалась холодной и неподвижной и не отражала в себе прежней, знакомой печали по прошедшему, такой светлой, тихой, задумчивой и покорной печали...

«Да, да, да, это старость,— повторял он про себя и грустно кивал головою.— Старость, старость, старость... Ничего не поделаешь...»

После Москвы дела заставили его на сутки остановиться в Киеве, а в Одессу он приехал в начале страстной недели. Но на море разыгрался длительный весенний шторм, и Возницын, которого укачивало при самой легкой зыби, не решился садиться на пароход. Только к утру страстной субботы установилась ровная, безветренная погода.

В шесть часов пополудни пароход «Великий князь Алексей» отошел от мола Практической гавани. Возницына никто не провожал, и он был этим очень доволен, потому что терпеть не мог этой всегда немного лицемерной и всегда тягостной комедии прощания, когда бог знает зачем стоишь целых полчаса у борта и напряженно улыбаешься людям, стоящим тоскливо внизу на пристани, выкрикиваешь изредка театральным голосом бесцельные и бессмысленные фразы, точно предназначенные для окружающей публики, шлешь воздушные поцелуи и наконец-то вздохнешь с облегчением, чувствуя, как пароход начинает грузно и медленно отваливать.

Пассажиров в этот день было очень мало, да и то преобладали третьеклассные. В первом классе, кроме Возницына, как ему об этом доложил лакей, ехали только дама с дочерью. «И прекрасно», — подумал офицер с облегчением.

Все обещало спокойное и удобное путешествие. Каюта досталась отличная — большая и светлая, с двумя диванами, стоявшими под прямым углом, и без верхних мест над ними. Море, успокоившееся за ночь после мертвой зыби, еще кипело мелкой частой рябью, но уже не качало. Однако к вечеру на палубе стало свежо.

В эту ночь Возницын спал с открытым иллюминатором, и так крепко, как он уже не спал много месяцев, если не лет. В Евпатории его разбудил грохот паровых лебедок и беготня по палубе. Он быстро умылся, заказал себе чаю и вышел наверх.

Пароход стоял на рейде в полупрозрачном молочно-розовом тумане, пронизанном золотом восходящего солнца. Вдали чуть заметно желтели плоские берега. Море тихо плескалось о борта парохода. Чудесно пахло рыбой, морскими водорослями и смолой. С большого баркаса, приставшего вплотную к «Алексею», перегружали какие-то тюки и бочки. «Майна, вира, вира помалу, стоп!..» — звонко раздавались в утреннем чистом воздухе командные слова.

Когда баркас отвалил и пароход тронулся в путь, Возницын спустился в столовую. Странное зрелище ожидало его там. Столы, расставленные вдоль стен большим покоем, были весело и пестро убраны живыми цветами и заставлены пасхальными кушаньями. Зажаренные цели-

ком барашки и индейки поднимали высоко вверх свои безобразные голые черепа на длинных шеях, укрепленных изнутри невидимыми проволочными стержнями. Эти тонкие загнутые в виде вопросительных знаков шеи колебались и вздрагивали от толчков идущего парохода, и казалось, что какие-то странные, невиданные допотопные животные, вроде бронтозавров или ихтиозавров, как их рисуют на картинах, лежат на больших блюдах, подогнув под себя ноги, и с суетливой и комической осторожностью оглядываются вокруг, пригибая головы книзу. А солнечные лучи круглыми яркими столбами текли из иллюминаторов, золотили местами скатерть, превращали краски пасхальных яиц в пурпур и сапфир и зажигали живыми огнями гиацинты, незабудки, фиалки, лакфиоли, тюльпаны и анютины глазки.

К чаю вышла в салон и единственная дама, ехавшая в первом классе. Возницын мимоходом быстро взглянул на нее. Она была некрасива и немолода, но с хорошо сохранившейся высокой, немного полной фигурой, просто и хорошо одетой в просторный светлосерый сак с шелковым шитьем на воротнике и рукавах. Голову ее покрывал легкий синий, почти прозрачный, газовый шарф. Она одновременно пила чай и читала книжку, вернее всего французскую, как решил Возницын, судя по компактности, небольшому размеру, формату и переплету канареечного цвета.

Что-то страшно знакомое, очень давнишнее мелькнуло Возницыну не так в ее лице, как в повороте шеи и в подъеме век, когда она обернулась на его взгляд. Но это бессознательное впечатление тотчас же рассеялось и забылось.

Скоро стало жарко, и потянуло на палубу. Пассажирка вышла наверх и уселась на скамье, с той стороны, где не было ветра. Она то читала, то, опустив книжку на колени, глядела на море, на кувыркавшихся дельфинов, на дальний красноватый, слоистый и обрывистый берег, покрытый сверху скудной зеленью.

Возницын ходил по палубе, вдоль бортов, огибая рубку первого класса. Один раз, когда он проходил мимо дамы, она опять внимательно посмотрела на него, посмотрела с каким-то вопрошающим любопытством, и опять ему показалось, что они где-то встречались. Мало-помалу это

ощущение стало беспокойным и неотвязным. И главное — офицер теперь знал, что и дама испытывает то же самое, что и он. Но память не слушалась его, как он ее ни напрягал.

И вдруг, поровнявшись уже в двадцатый раз с сидевшей дамой, он внезапно, почти неожиданно для самого себя, остановился около нее, приложил пальцы по-военному к фуражке и, чуть звякнув шпорами, произнес:

— Простите мою дерзость... но мне все время не дает покоя мысль, что мы с вами знакомы или, вернее... что когда-то, очень давно, были знакомы.

Она была совсем некрасива — безбровая блондинка, почти рыжая, с сединой, заметной благодаря светлым волосам только издали, с белыми ресницами над синими глазами, с увядающей веснушчатой кожей на лице. Свеж был только ее рот, розовый и полный, очерченный прелестью изогнутыми линиями.

— И я тоже, представьте себе. Я все сижу и думаю, где мы с вами виделись, — ответила она. — Моя фамилия Львова. Это вам ничего не говорит?

— К сожалению, нет... А моя фамилия Возницын.

Глаза дамы вдруг заискрились веселым и таким знакомым смехом, что Возницыну показалось — вот-вот он сейчас ее узнает.

— Возницын? Коля Возницын? — радостно воскликнула она, протягивая ему руку. — Неужели и теперь не узнаете? Львова — это моя фамилия по мужу... Но нет, нет, вспомните же наконец!... Вспомните: Москва, Поварская, Борисоглебский переулок — церковный дом... Ну? Вспомните своего товарища по корпусу... Аркашу Юрлова...

Рука Возницына, державшая руку дамы, задрожала и сжалась. Мгновенный свет воспоминания точно ослепил его.

— Господи... Неужели Леночка?.. Виноват... Елена... Елена...

— Владимировна. Забыли... А вы — Коля, тот самый Коля, неуклюжий, застенчивый и обидчивый Коля?.. Как странно! Какая странная встреча!.. Садитесь же, пожалуйста. Как я рада...

— Да, — промолвил Возницын чью-то чужую фразу, — мир в конце концов так тесен, что каждый с каждым

неприменно встретится. Ну, рассказывайте же, рассказывайте о себе. Что Аркаша? Что Александра Миленвна? Что Олечка?

В корпусе Возницын тесно подружился с одним из товарищей — Юрловым. Каждое воскресенье, он, если только не оставался без отпуска, ходил в его семью, а на пасху и рождество, случалось, проводил там все каникулы. Перед тем как поступать в военное училище, Аркаша тяжело заболел. Юрловы должны были уехать в деревню. С той поры Возницын потерял их из виду. Много лет тому назад он от кого-то вскользь слышал, что Леночка долгое время была невестой офицера и что офицер этот со странной фамилией Жéнишек — с ударением на первом слоге — как-то нелепо и неожиданно застрелился...

— Аркаша умер у нас в деревне в девяностом году, — говорила Львова. — У него оказалась саркома головы. Мама пережила его только на год. Олечка окончила медицинские курсы и теперь земским врачом в Сердобском уезде. А раньше она была фельдшерницей у нас в Жмакине. Замуж ни за что не хотела выходить, хотя были партии, и очень приличные. Я двадцать лет замужем — она улыбнулась грустно сжатыми губами, одним углом рта, — старуха уж... Муж — помещик, член земской управы. Звезд с неба не хватает, но честный человек, хороший семьянин, не пьяница, не картежник и не развратник, как все кругом... и за это слава богу...

— А помните, Елена Владимировна, как я был в вас влюблен когда-то? — вдруг перебил ее Возницын.

Она засмеялась, и лицо ее сразу точно помолодело. Возницын успел на миг заметить золотое сверкание многочисленных пломб в ее зубах.

— Какие глупости! Так... мальчишеское ухаживание. Да и неправда. Вы были влюблены вовсе не в меня, а в барышень Синельниковых, во всех четверых по очереди. Когда выходила замуж старшая, вы повергали свое сердце к ногам следующей за нею...

— Ага! Вы все-таки ревновали меня немножко? — заметил Возницын с шутливым самодовольством.

— Вот уж ничуть... Вы для меня были вроде брата Аркаши. Потом, позднее, когда нам было уж лет по семнадцати, тогда, пожалуй... мне немножко было досадно, что вы мне изменили... Вы знаете, это смешно, но у

девчонок — тоже женское сердце. Мы можем совсем не любить безмолвного обожателя, но ревнуем его к другим... Впрочем, все это пустяки. Расскажите лучше, как выживаете и что делаете.

Он рассказал о себе, об академии, о штабной карьере, о войне, о теперешней службе. Нет, он не женился: прежде пугала бедность и ответственность перед семьей, а теперь уже поздно. Были, конечно, разные увлечения, были и серьезные романы.

Потом разговор оборвался, и они сидели молча, глядя друг на друга ласковыми, затуманенными глазами. В памяти Возницына быстро-быстро проносилось прошлое, отделенное тридцатью годами. Он познакомился с Леночкой в то время, когда им не исполнилось еще и по одиннадцати лет. Она была худой и капризной девочкой, задирой и ябедой, некрасивой со своими веснушками, длинными руками и ногами, светлыми ресницами и рыжими волосами, от которых всегда отделялись и болтались вдоль щек прямые тонкие космы. У нее по десяти раз на дню происходили с Возницыным и Аркашей ссоры и примирения. Иногда случалось и поцарапаться... Олечка держалась в стороне, она всегда отличалась благонравием и рассудительностью. На праздниках все вместе ездили танцевать в Благородное собрание, в театры, в цирк, на катки. Вместе устраивали елки и детские спектакли, красили на пасху яйца и рядились на рождество. Часто боролись и возились, как молодые собачки.

Так прошло три года. Леночка, как и всегда, уехала на лето с семьей к себе в Жмакино, а когда вернулась осенью в Москву, то Возницын, увидев ее в первый раз, раскрыл глаза и рот от изумления. Она попрежнему осталась некрасивой, но в ней было нечто более прекрасное, чем красота, тот розовый сияющий расцвет первоначального девичества, который, бог знает каким чудом, приходит внезапно и в какие-нибудь недели вдруг превращает вчерашнюю неуклюжую, как подрастающий дог, большегрузную, большеногую девчонку в очаровательную девушку. Лицо у Леночки было еще покрыто крепким деревенским румянцем, под которым чувствовалась горячая, весело текущая кровь, плечи округлились, обрисовались бедра и точные, твердые очертания груди, все тело стало гибким, ловким и грациозным.

И отношения как-то сразу переменялись. Переменялись после того, как в один из субботних вечеров, перед всенощной, Леночка и Возницын, расшалившись в полутемной комнате, схватились бороться. Окна тогда еще были открыты, из палисадника тянуло осенней ясной свежестью и тонким винным запахом опавших листьев, и медленно, удар за ударом, плыл редкий, меланхолический звон большого колокола Борисоглебской церкви.

Они сильно обвинили друг друга руками крест-накрест и, соединив их позади, за спинами, тесно прижались телами, дыша друг другу в лицо. И вдруг, покрасневши так ярко, что это было заметно даже в синих сумерках вечера, опустив глаза, Леночка зашептала отрывисто, сердито и смущенно:

— Оставьте меня... пустите... Я не хочу...— И прибавила со злым взглядом влажных, блестящих глаз: — Гадкий мальчишка.

Гадкий мальчишка стоял, опустив вниз и нелепо растопырив дрожащие руки. Впрочем, у него и ноги дрожали, и лоб стал мокрым от внезапной испарины. Он только что ощутил под своими руками ее тонкую, послушную, женственную талию, так дивно расширяющуюся к стройным бедрам, он почувствовал на своей груди упругое и податливое прикосновение ее крепких высоких девических грудей и услышал запах ее тела — тот радостный пьяный запах распускающихся тополевых почек и молодых побегов черной смородины, которым они пахнут в ясные, но мокрые весенние вечера, после мгновенного дождя, когда небо и лужи пылают от зари и в воздухе гудят майские жуки.

Так начался для Возницына этот год любовного томления, буйных и горьких мечтаний, единиц и тайных слез. Он одичал, стал неловок и грубоват от мучительной застенчивости, ронял ежеминутно ногами стулья, зацеплял, как граблями, руками за все шаткие предметы, опрокидывал за столом стаканы с чаем и молоком. «Совсем наш Коленка охалпел», — добродушно говорила про него Александра Милюева.

Леночка издевалась над ним. А для него не было большей муки и большего счастья, как стать тихонько за ее спиной, когда она рисовала, писала или вышивала что-нибудь, и глядеть на ее склоненную шею с чудесной белой

кожей и с вьющимися легкими золотыми волосами на затылке, видеть, как коричневый гимназический корсаж на ее груди то морщится тонкими косыми складками и становится просторным, когда Леночка выдыхает воздух, то опять выполняется, становится тесным и так упруго, так полно округлым. А вид наивных запястий ее девических светлых рук и благоухание распускающегося тополя преследовали воображение мальчика в классе, в церкви и в карцере.

Все свои тетради и переплеты исчертил Возницын красиво сплетающимися инициалами Е. и Ю. и вырезывал их ножом на крышке парты посреди пронзенного и пылающего сердца. Девочка, конечно, своим женским инстинктом угадывала его безмолвное поклонение, но в ее глазах он был слишком свой, слишком ежедневный. Для него она внезапно превратилась в какое-то цветущее, ослепительное, ароматное чудо, а Возницын остался для нее все тем же вихрястым мальчишкой, с басистым голосом, с мозолистыми и шершавыми руками, в узеньком мундирчике и широчайших брюках. Она невинно кокетничала со знакомыми гимназистами и с молодыми поповичами с церковного двора, но, как кошка, острящей свои коготки, ей доставляло иногда забаву обжечь и Возницына быстрым, горячим и лукавым взглядом. Но если, забывшись, он чересчур крепко жал ее руку, она грозилась розовым пальчиком и говорила многозначительно:

— Смотрите, Коля, я все маме расскажу.

И Возницын холодел от непритворного ужаса.

Конечно, Коля остался в этот сезон на второй год в шестом классе, и, конечно, этим же летом он успел влюбиться в старшую из сестер Синельниковых, с которыми танцевал в Богородске на дачном кругу. Но на пасху его переполненное любовью сердце узнало момент райского блаженства...

Пасхальную заутреню он отстоял с Юрловыми в Борисоглебской церкви, где у Александры Милиевиной было даже свое почетное место, с особым ковриком и складным мягким стулом. Но домой они возвращались почему-то не вместе. Кажется, Александра Милиевна с Олечкой остались святить куличи и пасхи, а Леночка, Аркаша и Коля первыми пошли из церкви. Но по дороге Аркаша внезапно

и, должно быть, дипломатически исчез, точно сквозь землю провалился. Подростки остались вдвоем.

Они шли под руку, быстро и ловко изворачиваясь в толпе, обгоняя прохожих, легко и в такт ступая молодыми, послушными ногами. Все опьяняло их в эту прекрасную ночь: радостное пение, множество огней, поцелуи, смех и движение в церкви, а на улице — это множество необычно бодрствующих людей, темное теплое небо с большими мигающими весенними звездами, запах влажной молодой листвы из садов за заборами, эта неожиданная близость и затерянность на улице, среди толпы, в поздний предутренний час.

Притворяясь перед самим собою, что он делает это нечаянно, Возницын прижал к себе локоток Леночки. Она ответила чуть заметным пожатием. Он повторил эту тайную ласку, и она опять отозвалась. Тогда он едва слышно нащупал в темноте концы ее тонких пальчиков и нежно погладил их, и пальцы не сопротивлялись, не сердились, не убегали.

Так подошли они к воротам церковного дома. Аркаша оставил для них калитку открытой. К дому нужно было идти по узким деревянным мосткам, проложенным, ради грязи, между двумя рядами широких столетних лип. Но когда за ними хлопнула затворившаяся калитка, Возницын поймал Леночкину руку и стал целовать ее пальцы — такие теплые, нежные и живые.

— Леночка, я люблю, люблю вас...

Он обнял ее вокруг талии и в темноте поцеловал куда-то, кажется ниже уха. Шапка от этого у него сдвинулась и упала на землю, но он не стал ее разыскивать. Он все целовал похолодевшие щеки девушки и шептал, как в бреду:

— Леночка, я люблю, люблю...

— Не надо, — сказала она тоже шопотом, и он по этому шопоту отыскал губы. — Не надо... Пустите меня... пуст...

Милые, такие пылающие, полудетские, наивные, неумелые губы! Когда он ее целовал, она не сопротивлялась, но и не отвечала на поцелуи и вздыхала как-то особенно трогательно — часто, глубоко и покорно. А у него по щекам бежали, холодя их, слезы восторга. И когда он, отрываясь от ее губ, подымал глаза кверху, то звезды, осыпав-

шие липовые ветви, плясали, двоились и расплывались серебряными пятнами, преломляясь сквозь слезы.

— Леночка... люблю...

— Оставьте меня...

— Леночка!

И вдруг она воскликнула неожиданно сердито:

— Да пустите же меня, гадкий мальчишка! Вот увидите, вот я все, все, все маме расскажу. Непременно!

Она ничего маме не рассказала, но с этой ночи уже больше никогда не оставалась одна с Возницыным. А там подошло и лето...

* * *

— А помните, Елена Владимировна, как в одну прекрасную пасхальную ночь двое молодых людей целовались около калитки церковного дома? — спросил Возницын.

— Ничего я не помню... Гадкий мальчишка, — ответила она, мило смеясь. — Однако смотрите-ка, сюда идет моя дочь. Я вас сейчас познакомлю... Леночка, это Николай Иванович Возницын, мой старый-старый друг, друг моего детства. А это моя Леночка. Ей теперь как раз столько лет, сколько было мне в одну пасхальную ночь...

— Леночка большая и Леночка маленькая, — сказал Возницын.

— Нет, Леночка старенькая и Леночка молодая, — возразила спокойно, без горечи, Львова.

Леночка была очень похожа на мать, но рослее и красивее, чем та в свои девические годы. Рыжие волосы матери перешли у нее в цвет каленого ореха с металлическим оттенком, темные брови были тонкого и смелого рисунка, но рот носил чувственный и грубоватый оттенок, хотя был свеж и прелестен.

Девушка заинтересовалась пловучими маяками, и Возницын объяснил ей их устройство и цель. Потом он заговорил о неподвижных маяках, о глубине Черного моря, о водолазных работах, о крушениях пароходов. Он умел прекрасно рассказывать, и девушка слушала его, дыша полукрытым ртом, не сводя с него глаз.

А он... чем больше он глядел на нее, тем больше его сердце заволакивалось мягкой и светлой грустью — сострадательной к себе, радостной к ней, к этой новой

Леночке, и тихой благодарностью к прежней. Это было именно то самое чувство, которого он так жаждал в Москве, только светлое, почти совсем очищенное от себя-любия.

И когда девушка отошла от них, чтобы посмотреть на Херсонесский монастырь, он взял руку Леночки-старшей и осторожно поцеловал ее.

— Нет, жизнь все-таки мудра, и надо подчиняться ее законам,— сказал он задумчиво.— И, кроме того, жизнь прекрасна. Она — вечное воскресение из мертвых. Вот мы уйдем с вами, разрушимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и таланта вырастут, как из праха, новая Леночка и новый Коля Возницын... Все связано, все сцеплено. Я уйду, но я же и останусь. Надо только любить жизнь и покоряться ей. Мы все живем вместе — и мертвые и воскресающие.

Он еще раз наклонился, чтобы поцеловать ее руку, а она нежно поцеловала его в сильно серебрящийся висок. И когда они после этого посмотрели друг на друга, то глаза их были влажны и улыбались ласково, устало и печально.

ПОПРЫГУНЬЯ-СТРЕКОЗА

Мы жили тогда в Рязанской губернии, в ста двадцати верстах от ближайшей станции железной дороги и в двадцати пяти верстах от большого торгового села Тумы. «Тума железная, а люди в ней каменные», — так местные жители сами про себя говорили. Жили мы в старом, заброшенном имении, где в 1812 году был построен пленными французами огромный деревянный дом с колоннами и ими же был разбит громадный липовый парк в подражание Версалию.

Представьте себе наше комическое положение: в нашем распоряжении двадцать три комнаты, но из них отапливается только одна, да и то так плохо, что в ней к утру замерзает вода и створки дверей покрываются инеем. Почта приходит то раз в неделю, то раз в два месяца, и привозит ее случайный мужичонка за пазухой своего zipуна, мокрую от снега, с размазанными адресами и со следами любознательности почтового чиновника. Вокруг нас столетний бор, где водятся медведи и откуда среди белого дня голодные волки забегают в окрестные села таскать зазевавшихся собачонок. Местное население говорит непонятным для нас певучим, цокающим и гокающим языком и смотрит на нас исподлобья, пристально, угрюмо и бесцеремонно. Оно убеждено твердо, что лес принадлежит богу и мужику, а управляющий имением немец-меннонит из Сарепты, опустившийся и разленившийся от бездействия, только и знает, что ходит каждый день в лес отнимать топоры у мужиков-лесокрадов. К нашим услугам прекрасная французская библиотека XVIII столетия, но

весь ее чудесный эльзевир обглодан мышами. А старинная портретная галерея в двухсветной зале, погибшая от сырости, плесени и дыма, скоробилась, почернела и потрескалась.

Представьте себе соседнюю деревню, всю занесенную снегом, представьте себе еще неизбежного в русской деревне дурачка Сережу, который ходит зимою почти голым, попа, который под праздник не играет в проферанс и пишет доносы, деревенского старосту — глупого, хитрого человека, дипломата и попрошайку, говорящего на ужасном «столичном» языке. Если вы все это себе представите, то вы, конечно, поймете, что мы дошли до скуки, до одурения. Нас уже больше не увлекали ни облавы на медведей, ни охота с гончими на зайцев, ни стрельба из пистолетов в цель, через три комнаты, на расстоянии двадцати пяти шагов, ни писание по вечерам совместных юмористических стихов. Признаться, мы перессорились между собою.

Да и то сказать: если бы нас спросили каждого поочередно, зачем мы приехали сюда, то, кажется, ни один не ответил бы на этот вопрос. Я в то время занимался живописью, Валериан Александрович писал символические стихи, а Васяка увлекался Вагнером и играл призыв Тристана к Изольде на старых, разбитых, с пожелтевшими клавишами, клавикордах.

К рождеству деревня вдруг оживилась. На Тристенке, в Бородине, в Брылине, Шустове, Никифоровском, в Козлах мужики начали варить пиво, то самое густое, тяжелое пиво, от которого чугунеет лицо и руки делаются, как лубки. Между крестьянами, несмотря на преддверие праздника, было настолько много пьяных, что в Дягилеве сын проломил своему отцу голову, вырвав с этой целью стяг из забора, а в Круглицах опился до смерти какой-то древний старик. Рождество невольно увлекло нас. Первый визит мы сделали на Попиху: к попу и псаломщику, потом забрели, ни с того ни с сего, к церковному сторожу Андрею, потом к двум сельским учительницам, а потом все пошло очень легко: от учительниц мы попали к доктору в Туму, потом к волостному писарю, где нас ожидал целый банкет, затем к уряднику, к хромоногому фельдшеру, потом к местному кулаку, Василию Егорову, который скупал со всей окрестности шнуры, холст, зерно, лес, кнуты, лукошки и веретена. И пошло и поехало!..

Нужно признаться, что мы чувствовали себя немного неловко. Мы никак не могли войти в темп этой жизни, которая устоялась в течение множества лет. Несмотря на нашу внешнюю развязность, мы все-таки были людьми с другой планеты. Выходило так, что мы наших соседей рассматривали в микроскоп, а они нас — в телескоп. Правда, мы делали попытки притвориться своими людьми, — такими веселыми малыми в русском стиле. Когда у псаломщика девица сорока лет, Анна Игнатьевна, с мозолистыми руками, которыми она обыкновенно сама запрягала шоколадного мерина и возила на салазках бадью с водой, которую сама же вытягивала обледенелой веревкой из вонючего колодца, — когда она вдруг на вечеринке делала стыдливый вид, потупляла глаза, разводила руки и пела:

Ондрей Николаевич,
Доступаем, доступаем мы до вас,
Беспокоить хотим вас, хотим вас.
Беспокой прошу, покорно приношу, —
Кого любишь, того выбери,
За собою поведи, поведи,
Молодой назови, назови... —

тогда мы храбро целовали ее в самые губы, несмотря на ее притворное сопротивление и кокетливый визг, что, конечно, полагалось по обычаю.

После этих насильственных поцелуйчиков мы все становились в круг: четверо отпускных семинаристов, псаломщик, экономка из соседнего имения, две сельские учительницы, урядник в штатской форме, дьякон, местный фельдшер и мы — три эстета, искавшие в то время аристократической, изысканной красоты в звуках, словах и красках. Стараясь держать себя возможно лучше, мы кружились в общем хороводе налево и направо при общем реве и топоте, в то время как герой, распорядитель танцев и местный лев семинарист Воздвиженский носился по всей комнате, выделявая балетные па и щелкая над головой пальцами.

Как во городе королевна, королевна,
По-загороду королевич, королевич,
Молодой сын-короличек гуляе.
Он гуляе,
Он невесту себе выглядает, выглядает, —
Не моя ли расхорошая гуляе, там гуляе,
Золотой перстень воссияе, воссияе.

Потом вдруг хоровод останавливался, и все начинали петь уже несколько в другом, торжественном тоне:

Растворились королевские ворота,
Король королевне поклонился,
Королевна ему еще ниже.

И тут фельдшер и псаломщица выступали друг против друга и низко кланялись друг другу, а хор продолжал:

Ты подвинься, сударчик, поближе,
Прижмись ко грудям потеснее,
Поцелуй, поцелуй понежнее.

* * *

Наконец мы попали в министерскую тумскую школу. Этого нельзя было избежать: раньше там было около пятнадцати репетиций, на которых детей дрессировали, как ученых собак, и, кажется, особенно имели при этом в виду нас, петербургских гостей. Мы пошли. Елка разожглась сразу благодаря пороховому шнуру. Что касается программы, то я знал ее заранее наизусть... «Я из лесу вышел, был сильный мороз.— Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз.— А кой те годочек?— Шастой миновал...» Хотя надо сказать, что крошечный шестилетний мужичонка в огромной шапке из собачьего меха и в отцовских кожаных рукавицах об одном пальце — настоящий прирожденный артист — был очарователен со своей важной серьезностью и сиплым баском.

Остальное, нужно сказать, было очень гнусно сделано. В таком ложном народном духе.

Мне давно знакомы эти обычные номера: «Демьянова уха» в лицах, почему-то малорусские песни с исковерканным донельзя произношением, какие-то стишки слашавого дамского рукоделия, которые были исполнены хором: «Вот рождественская елка, днесь сегодня собрались, вот Петрушка, вот лошадка, вот и целый паровоз». Учитель, маленький, чахоточный человек, в длинном сюртуке и крахмальном белье, одетом, очевидно, только на этот случай, то играл на скрипке, то дирижировал смычком, то задавал тон до-ми-соль-ми-до и время от времени стучал смычком по головам мальчишек.

Местный попечитель училища, нотариус из заштатного городка, от умиления жевал губами и высовывал толстый, точно у попугая, короткий язык, потому-что вся эта дрессировка была сделана в его честь.

Наконец учитель подошел к самому лучшему номеру своей программы. До сих пор мы смеялись, но тут нам пришлось почти заплакать. Вышла вперед маленькая девчонка, лет двенадцати — тринадцати, дочь стражника, кстати очень похожая на него лошадиным профилем и, конечно, первая ученица в училище, и начала:

Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела,
Оглянуться не успела, как зима катит в глаза.

«Кумушка, мне странно это, — рассудительно заговорил шершавый мальчишка в отцовских валенках, так лет семи. «А работала ль ты в лето?» —

«До того ль, голубчик, было в мягких муравах у нас...» — ответила дочка стражника.

И вот тут-то и сказалось прославленное русское гостеприимство.

Стрекоза отвечает: «Я все пела».

И тут учитель Капитоныч взмахнул одновременно скрипкой и смычком, — о, это был эффект, давно подготовленный! — и вдруг таинственным полушопотом весь хор начал петь:

Ты все пела, — это дело,
Так поди же попляши,
Так поди же, так поди же,
Так поди же попляши.

Мне вовсе нетрудно сознаться в том, что в это время у меня волосы стали дыбом, как стеклянные трубки, и мне казалось, что глаза этой детворы и глаза всех набившихся битком в школу мужиков и баб устремлены только на меня, и даже больше, — что глаза полутораста миллионов глядят на меня, точно повторяя эту проклятую фразу: «Ты все пела, это — дело, так поди же попляши. Так поди же попляши».

Не знаю, как долго тянулось это монотонное, журчащее и в то же время какое-то злое и язвительное причитание. Но помню ясно, что в те минуты тяжелая, печальная и страшная мысль точно разверзлась в моем

уме. «Вот, думал я, стоим мы, малая кучка интеллигентов лицом к лицу с неисчислимым, самым загадочным, великим и угнетенным народом на свете. Что связывает нас с ним? Ничто. Ни язык, ни вера, ни труд, ни искусство. Наша поэзия — смешна ему, нелепа и непонятна, как ребенку. Наша утонченная живопись — для него бесполезная и неразборчивая пачкотня. Наше богоискательство и богостроительство — сплошная блажь для него, верующего одинаково свято и в Параскеву-пятницу, и в лешего с баешником, который водится в бане. Наша музыка кажется ему скучным шумом. Наша наука недостаточна ему. Наш сложный труд смешон и жалок ему, так мудро, терпеливо и просто оплодотворяющему жестокое лоно природы. Да. В страшный день ответа, что мы скажем этому ребенку и зверю, мудрецу и животному, этому многомиллионному великану? Ничего. Скажем с тоской: «Я все пела». И он ответит нам с коварной мужицкой улыбкой: «Так поди же попляши...»

Я не знаю так же, как это поняли мои товарищи, но из министерского училища мы вышли молча, не обменявшись впечатлениями.

Через три дня мы разъехались, и до сих пор между нами холодные отношения. Вышло так, как будто бы невинными устами этих сопливых мальчишек и девчонок нам произнесли самый тяжелый, бесповоротный смертный приговор. И когда я ехал обратно от стоешника Ивана Александровича Караулова до Горели и от Горели до Козлов и от Козлов до Зиньтабров и дальше по железной дороге, меня все время преследовал этот иронический, как будто бы злой, напев: «Так поди же попляши».

Только один бог знает судьбы русского народа... Ну, что же, если нужно будет, попляшем!

Я ехал целую ночь до станции.

На голых, обледенелых ветвях берез сидели звезды, как будто бы сам бог внимательной рукой украсил деревья. Я думал о том, что это красиво, но уже никак не мог, как и теперь не могу, отделаться от мысли: «Так поди же попляши...»

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ

*L. van Beethoven. 2. Son. (op. 2. № 2).
Largo Appassionato.*

I

В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел, не переставая, мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада, со стороны степи, свирепый ураган; от него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю, гремели по ночам железные кровли дач, и казалось, будто кто-то бежит по ним в подкованных сапогах; вздрагивали оконные рамы, хлопали двери, и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбацких баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись: только спустя неделю повыбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега.

Обитатели пригородного морского курорта — большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все южане, — поспешно перебирались в город. По размяк-

шему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами: тюфяками, диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко, и грустно, и противно было глядеть сквозь мутную кисею дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским; на горничных и кухарок, сидевших на верху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках, на запотевших, обессиленных лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымаясь и часто нося боками, на сипло ругавшихся дрогалей, закутанных от дождя в рогожи. Еще печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголенностью, с изуродованными клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным сором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков.

Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем неожиданно переменялась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой шетине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья.

Княгиня Вера Николаевна Шенна, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, ставшихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря.

II

Кроме того, сегодня был день ее именин — семнадцатое сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее.

Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привезти немногих и только самых близких знакомых. Хорошо выходило, что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратить на большой парадный обед, пожалуй даже на бал, а здесь, на даче, можно было обойтись самыми небольшими расходами. Князь Шенн, несмотря на свое видное положение в обществе, а может быть и благодаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение было почти совсем расстроено его предками, а жить приходилось выше средств: делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей и т. д. Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она во многом, незаметно для него, отказывала себе и, насколько возможно, экономила в домашнем хозяйстве.

Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой — наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручках, пахнувших капустой, розовые кусты еще давали — в третий раз за это лето — бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотой георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни.

Близко на шоссе слышались знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры — Анна Николаевна Фриессе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству.

Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-каresta, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу.

Сестры радостно поцеловались. Они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собою. Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу-англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая — Анна, — наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале XIX столетия и древний род которого восходил до самого Тамерлана, или Ланг-Темира, как с гордостью называл ее отец, по-татарски, этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, — лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры.

Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком, который ровно ничего не делал, но числился при каком-то благотворительном учреждении и имел звание камер-юнкера. Мужа она терпеть не могла, но родила от него двух детей — мальчика и девочку; больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры — та жадно хотела детей и даже, ей казалось, чем больше, тем лучше, но почему-то они у нее не рождались, и она болезненно и пылко обожала хорошеньких малокровных детей младшей сестры, всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами и с завитыми льняными кукольными волосами.

Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого,

однако, презрительно высмеивала и в глаза и за глаза; была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой, искренней набожностью, которая заставила ее даже принять тайно католичество. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надетая власяница.

Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна.

III

— Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо! — говорила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сестрой по дорожке. — Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух — дышишь — и сердце веселится. В Крыму, в Мискоре, прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе — резедой.

Вера ласково усмехнулась:

— Ты фантазерка.

— Нет, нет. Я помню также раз, надо мной все смеялись, когда я сказала, что в луином свете есть какой-то розовый оттенок. А на-днях художник Борицкий — вот тот, что пишет мой портрет, — согласился, что я была права и что художники об этом давно знают.

— Художник — твое новое увлечение?

— Ты всегда придумываешь! — засмеялась Анна и, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом.

— У, как высоко! — произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом. — Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди... и пальцы на ногах щемит... И все-таки тянет, тянет...

Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее.

— Анна, дорогая моя, ради бога! У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь.

— Ну хорошо, хорошо, села... Но ты только посмотри, какая красота, какая радость — просто глаз не насытится. Если бы ты знала, как я благодарна богу за все чудеса, которые он для нас сделал!

Обе на минуту задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега, и оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Вода была ласково-спокойна и весело-синя, светлея лишь косыми гладкими полосами в местах течения и переходя в густо-синий глубокий цвет на горизонте.

Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом — такими они казались маленькими, — неподвижно дремали в морской глади, недалеко от берега. А дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра белыми стройными парусами.

— Я тебя понимаю, — задумчиво сказала старшая сестра, — но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море, после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает. Как будто я в первый раз вижу огромное, торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня давить своей плоской пустотой... Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает.

Анна улыбнулась.

— Чему ты? — спросила сестра.

— Прошлым летом, — сказала Анна лукаво, — мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это там, за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако, было очень сыро и плохо видно, а мы все поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе: узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады — как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше — море! Верст на пятьдесят, на сто вперед.

Мне казалось — я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость! Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге: «Что? Хорошо, Сеидоглы?» А он только языком почмокал: «Эх, барина, как мне все это надоел. Каждый день видим».

— Благодарю за сравнение, — засмеялась Вера, — нет, я только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском?.. Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны!.. А какие мхи!.. А мухоморы! Точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая... прохлада.

— Мне все равно, я все люблю, — ответила Аниа. — А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете.

Она обняла старшую сестру и прижалась к ней, щека к щеке. И вдруг спохватилась.

— Нет, какая же я глупая! Мы с тобою, точно в романе, сидим и разговариваем о природе, а я совсем забыла про мой подарок. Вот посмотри. Я боюсь только, понравится ли?

Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете: на старом, стершемся и посеревшем от времени синем бархате вился тускло-золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты, — очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка, золотой цепочке, листки в середине были заменены таблетками из слоновой кости.

— Какая прекрасная вещь! Прелесть! — сказала Вера и поцеловала сестру. — Благодарю тебя. Где ты достала такое сокровище?

— В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Вот я и набрела на этот молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент делает фигуру креста. Правда, я нашла только один переплет, остальное все пришлось придумывать — листочки, застешки, карандаш. Но Моллине совсем не хотел меня понять, как я ему ни толковала. Застешки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы, а он бог знает что сделал. Зато цепочка настоящая венецианская, очень древняя.

Вера ласково погладила прекрасный переплет.

— Какая глубокая старина!.. Сколько может быть этой книжке? — спросила она.

— Я боюсь определить точно. Приблизительно конец семнадцатого века, середина восемнадцатого...

— Как странно, — сказала Вера с задумчивой улыбкой. — Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты... Но знаешь, Анна, это только тебе могла притти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дэмский сагнет¹. Однако все-таки пойдем посмотрим, что там у нас делается.

Они прошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда «изабелла». Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. По всей террасе разливался зеленый полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели.

— Ты велишь здесь накрывать? — спросила Анна.

— Да, я сама так думала сначала... Но теперь вечера такие холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда уходят курить.

— Будет кто-нибудь интересный?

— Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка.

— Ах, дедушка милый! Вот радость! — воскликнула Анна и всплеснула руками. — Я его, кажется, сто лет не видала.

— Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать — и дедушка и профессор. Но ни здесь, ни в городе — ничего не достанешь, ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов — заказал знакомому охотнику — и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнительно недурной — увы! — неизбежный ростбиф. Очень хорошие раки.

— Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем, между нами, у тебя у самой есть слабость вкусно поесть.

¹ Записная книжка (франц.).

— Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище. Даже страшно.

Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха.

Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом, осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет.

— Двенадцать с половиною фунтов, ваше сиятельство, — сказал он с особенной поварской гордостью. — Мы давеча взвешивали.

Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были яркокрасного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежноглубых складчатых, как веер, длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами.

Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку.

— Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим, — сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. — Сейчас болгарин принес две дыни. Ананасные. На манер, вроде как канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху. тартар или польский, а то можно просто сухари в масле?

— Делай, как знаешь. Ступай! — приказала княгиня.

IV

После пяти часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собою вдовую сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину; светского молодого богатого шелолая и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем, очень приятного в обществе умением петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные ба-

зары; знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича. За ними приехал на автомобиле муж Анны, с бритым толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других приехал генерал Аносов, в хорошем наемном ландо, в сопровождении двух офицеров: штабного полковника Понамарева, преждевременно состарившегося, худого, желчного человека, изможденного непосильной канцелярской работой, и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов.

Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой за поручни козел, а другой — за задок экипажа. В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой — палку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, выдавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске как раз во-время, чтобы полушутя, полусерьезно поддержать его с обеих сторон под руки.

— Точно... архиерея! — сказал генерал ласковым хриповатым басом.

— Дедушка, миленький, дорогой! — говорила Вера тоном легкого упрека. — Каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали.

— Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял, — засмеялась Анна. — Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя допжуаном, бесстыдник, и совсем забыли о нашем существовании...

Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку.

— Девочки... подождите... не бранитесь, — говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. — Честное слово... докторишки несчастные... все лето купали мои ревматизмы... в каком-то

грязном... киселе... ужасно пахнет... И не выпускали... Вы первые... к кому приехал... Ужасно рад... с вами увидеться... Как прыгаете?.. Ты, Верочка... совсем леди... очень стала похожа... на покойницу мать... Когда крестить позовешь?

— Ой, боюсь, дедушка, что никогда...

— Не отчаивайся... все впереди... Молись богу... А ты, Аня, вовсе не изменилась... Ты и в шестьдесят лет... будешь такая же стрекоза-егоза. Постойте-ка. Давайте я вам представлю господ офицеров.

— Я уже давно имел эту честь! — сказал полковник Понамарев, кланяясь.

— Я был представлен княгине в Петербурге, — подхватил гусар.

— Ну, так представляю тебе, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буян, но хороший кавалерист. Вынь-ка, Бахтинский, милый мой, там из коляски... Пойдемте, девочки... Чем, Верочка, будешь кормить? У меня... после лиманного режима... аппетит, как у выпускного... прапорщика.

Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным другом покойного князя Мирза-Булат-Тугановского. Всю нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей. Он знал их еще совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил. В то время — как и до сих пор — он был комендантом большой, но почти упраздненной крепости в г. К. и ежедневно бывал в доме Тугановских. Дети просто обожали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов. Но больше всего их очаровывали и крепче всего запечатлелись в их памяти его рассказы о военных походах, сражениях и стоянках на бивуаках, о победах и отступлениях, о смерти, ранах и лютых морозах, — неторопливые, эпически-спокойные, простосердечные рассказы, рассказываемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда детей позвут спать.

По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те

чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым,— черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечному терпению и поразительной физической и нравственной выносливости.

Аносов, начиная с польской войны, участвовал во всех кампаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без колебаний, но его не позвали, а у него всегда было великое по скромности правило: «Не лезь на смерть, пока тебя не позовут». За всю свою службу он не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание полкового командира. «Шпиона я не только расстреляю,— сказал он,— но, если прикажете, лично убью. А это пленные, и я не могу». И сказал он это так просто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальнику своими ясными, твердыми глазами, что его, вместо того чтобы самого расстрелять, оставили в покое.

В войну 1877—1879 годов он очень быстро дослужился до чина полковника, несмотря на то, что был мало образован, или, как он сам выражался, кончил только «медвежьей академией». Он участвовал при переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке Плевны; ранили его один раз тяжело, четыре — легко, и, кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову. Радецкий и Скобелев знали его лично и относились к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев: «Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня,— это майор Аносов».

С войны он вернулся почти оглохший благодаря осколку гранаты, с больной ногой, на которой были ампутированы три отмороженных, во время балканского перехода, пальца, с жесточайшим ревматизмом, нажитым на Шипке. Его хотели было по истечении двух лет мирной службы упечь в отставку, но Аносов заупрямился. Тут ему очень кстати помог своим влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе

через Дунай. В Петербурге решили не огорчать заслуженного полковника, и ему дали пожизненное место коменданта в г. К.— должность более почётную, чем нужную в целях государственной обороны.

В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться. Он всегда ходил без оружия, в старомодном сюртуке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым козырьком, с палкою в правой руке, со слуховым рожком в левой и непременно в сопровождении двух ожиревших, ленивых, хриплых мопсов, у которых всегда кончик языка был высунут наружу и прикушен. Если ему во время обычной утренней прогулки приходилось встречаться со знакомыми, то прохожие за несколько кварталов слышали, как кричит комендант и как дружно вслед за ним лают его мопсы.

Как многие глухие, он был страстным любителем оперы, и иногда, во время какого-нибудь томного дуэта, вдруг на весь театр раздавался его решительный бас: «А ведь чисто взял до, чорт возьми! Точно орех разгрыз». По театру проносился сдержанный смех, но генерал даже и не подозревал этого: по своей наивности он думал, что шопотом обменялся со своим соседом свежим впечатлением.

По обязанности коменданта он довольно часто, вместе со своими хрипящими мопсами, посещал главную гауптвахту, где весьма уютно за винтом, чаем и анекдотами отдыхали от тягот военной службы арестованные офицеры. Он внимательно расспрашивал каждого: «Как фамилия? Кем посажен? На сколько? За что?» Иногда совершенно неожиданно хвалил офицера за brave, хотя и противозаконный поступок, иногда начинал распекаль, крича так, что его бывало слышно на улице. Но, накричавшись досыта, он без всяких переходов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед и сколько он за него платит. Случалось, что какой-нибудь заблудший подпоручик, присланный для долговременной отсидки из такого захолустья, где даже не имелось собственной гауптвахты, признавался, что он, по безденежью, довольствуется из солдатского котла. Аносов немедленно распоряжался, чтобы бедняге носили обед из комендантского дома, от которого до гауптвахты было не более двухсот шагов.

В г. К. он и сблизился с семьей Тугановских и такими тесными узами привязался к детям, что для него стало душевной потребностью видеть их каждый вечер. Если случалось, что барышни выезжали куда-нибудь или служба задерживала самого генерала, то он искренно тосковал и не находил себе места в больших комнатах комендантского дома. Каждое лето он брал отпуск и проводил целый месяц в имении Тугановских, Егоровском, отстоявшем от К. на пятьдесят верст.

Он всю свою скрытую нежность души и потребность сердечной любви перенес на эту детвору, особенно на девочек. Сам он был когда-то женат, но так давно, что даже позабыл об этом. Еще до войны жена сбежала от него с проезжим актером, пленясь его бархатной курткой и кружевными манжетами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. Детей у них не было.

V

Против ожидания, вечер был так тих и тепел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом является кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха. Сегодня он рассказывал о неудавшейся женитьбе Николая Николаевича на одной богатой и красивой даме. В основе было только то, что муж дамы не хотел давать ей развола. Но у князя правда чудесно переплелась с вымыслом. Серьезного, всегда несколько чопорного Николая он заставил ночью бежать по улице в одних чулках, с башмаками подмышкой. Где-то на углу молодого человека задержал городской, и только после длинного и бурного объяснения Николаю удалось доказать, что он товарищ прокурора, а не ночной грабитель. Свадьба, по словам рассказчика, чуть-чуть было не состоялась, но в самую критическую минуту отчаянная банда лжесвидетелей,

участвовавших в деле, вдруг забастовала, требуя прибавки к заработной плате. Николай из скупости (он и в самом деле был скуповат), а также будучи принципиальным противником стачек и забастовок, наотрез отказался платить лишнее, ссылаясь на определенную статью закона, подтвержденную мнением кассационного департамента. Тогда рассерженные лжесвидетели на известный вопрос: «Не знает ли кто-нибудь из присутствующих поводов, препятствующих совершению брака?» — хором ответили: «Да, знаем. Все показанное нами на суде под присягой — сплошная ложь, к которой нас принудил угрозами и насильем господин прокурор. А про мужа этой дамы мы, как осведомленные лица, можем сказать только, что это самый почтенный человек на свете, целомудренный, как Иосиф, и ангельской доброты».

Напав на нить брачных историй, князь Василий не пощадил и Густава Ивановича Фриессе, мужа Анны, рассказал, что он на другой день после свадьбы явился требовать при помощи полиции выселения новобрачной из родительского дома, как не имеющую отдельного паспорта, и водворения ее на место проживания законного мужа. Верного в этом анекдоте было только то, что в первые дни замужней жизни Анна должна была безотлучно находиться около захворавшей матери, так как Вера спешно уехала к себе на юг, а бедный Густав Иванович предавался унынию и отчаянию.

Все смеялись. Улыбалась и Анна своими прищуренными глазами. Густав Иванович хохотал громко и восторженно, и его худое, гладко обтянутое блестящей кожей лицо, с прилизанными жидкими, светлыми волосами, с ввалившимися глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в смехе прескверные зубы. Он до сих пор обожал Анну, как и в первый день супружества, всегда старался сесть около нее, незаметно притронуться к ней и ухаживал за нею так влюбленно и самодовольно, что часто становилось за него и жалко и неловко.

Перед тем как вставать из-за стола, Вера Николаевна машинально пересчитала гостей. Оказалось — тринадцать. Она была суеверна и подумала про себя: «Вот это нехорошо! Как мне раньше не пришло в голову посчитать? И Вася виноват — ничего не сказал по телефону».

Когда у Шепных или у Фриессе собирались близкие

знакомые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так как обе сестры до смешного любили азартные игры. В обоих домах даже выработались на этот счет свои правила: всем играющим раздавались поровну костяные жетончики определенной цены, и игра длилась до тех пор, пока все костяшки не переходили в одни руки — тогда игра на этот вечер прекращалась, как бы партнеры ни настаивали на продолжении. Брать из кассы во второй раз жетоны строго запрещалось. Такие суровые законы были выведены из практики, для обуздания княгини Веры и Анны Николаевны, которые в азарте не знали никакого удержу. Общий проигрыш редко достигал ста — двухсот рублей.

Сели за покер и на этот раз. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная.

— Что такое, Даша? — с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет, рядом со спальней. — Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?

Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой.

— Я, ей-богу, не виновата, ваше сиятельство, — залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. — Он пришел и сказал...

— Кто такой — он?

— Красная шапка, ваше сиятельство... посыльный.

— И что же?

— Пришел на кухню и положил вот это на стол. «Передайте, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в ихние собственные руки». Я спрашиваю: от кого? А он говорит: «Здесь все обозначено». И с теми словами убежал.

— Подите догоните его.

— Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда, я только вас не решалась беспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет.

— Ну хорошо, идите.

Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под

бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледноголубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет.

Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посередине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни.

«Точно кровь!» — подумала с неожиданной тревогой Вера.

Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно-каллиграфическим почерком:

«Ваше Сиятельство,
Глубокоуважаемая Княгиня
Вера Николаевна!

Почтительно поздравляя Вас со светлым и радостным днем Вашего Ангела, я осмеливаюсь препроводить Вам мое скромное верноподданническое подношение».

«Ах, это — тот!» — с неудовольствием подумала Вера. Но, однако, дочитала письмо...

«Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам что-либо, выбранное мною лично: для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и — признаюсь — ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить Вас.

Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последняя, по времени, его носила моя покойная матушка. По середине, между большими камнями, Вы увидите один

зеленый. Это весьма редкий сорт граната — зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти.

Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и Вы можете быть уверены, что до Вас никто еще этого браслета не надевал.

Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки.

Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам.

Еще раз прошу прощения, что обеспокоил Вас длинным, ненужным письмом.

Ваш до смерти и после смерти покорный слуга.

Г. С. Ж.»

«Показать Васе или не показать? И если показать — то когда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после — теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним».

Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов.

VI

Полковника Понамарева едва удалось заставить сестру играть в покер. Он говорил, что не знает этой игры, что вообще не признает азарта даже в шутку, что любит и сравнительно хорошо играет только в винт. Однако он не устоял перед просьбами и в конце концов согласился.

Сначала его приходилось учить и поправлять, но он довольно быстро освоился с правилами покера, и вот не прошло и получаса, как все фишки очутились перед ним.

— Так нельзя! — сказала с комической обидчивостью Анна. — Хоть бы немного дали поволноваться.

Трое из гостей — Спешников, полковник и вице-губернатор, туповатый, приличный и скучный немец, были такого рода люди, что Вера положительно не знала, как их занимать и что с ними делать. Она составила для них винт, пригласив четвертым Густава Ивановича. Анна издали, в виде благодарности, прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее. Все знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты, то он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, скаля свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настроение духа.

Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. Васючок пел вполголоса, под аккомпанемент Женни Рейтер, итальянские народные канцонетты и рубинштейновские восточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра, послушный и верный. Женни Рейтер, очень требовательная музыкантша, всегда охотно ему аккомпанировала. Впрочем, говорили, что Васючок за нею ухаживает.

В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Вера подошла и с улыбкой прислушалась.

— Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь, — весело говорила Анна, шуря на офицера свои милые, задорные татарские глаза. — Вы, конечно, считаете за труд лететь сломя голову впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмотрите только на наш труд. Вот теперь мы только что покончили с лотереей-аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи! Толпа, накурено, какие-то дворники, извозчики, я не знаю, как их там зовут... И все пристают с жалобами, с какими-то обидами... И целый-целый день на ногах. А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц, а там еще белый бал...

— На котором, смею надеяться, вы не откажете мне в мазурке? — вставил Бахтинский и, слегка наклонившись, щелкнул под креслом шпорами.

— Благодарю... Но самое, самое мое больное место — это наш приют. Понимаете, приют для порочных детей...

— О, вполне понимаю. Это, должно быть, что-нибудь очень смешное?

— Перестаньте, как вам не совестно смеяться над такими вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастье? Мы хотим приютить этих несчастных детей, с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров, хотим обогреть их, обласкать...

— Гм!..

— ...поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга... Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами, но между ними — ни одного порочного! Если спросишь родителей, не порочное ли дитя — так можете представить, — они даже оскорбляются! И вот приют открыт, освящен, все готово — и ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы! Хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребенка.

— Анна Николаевна, — серьезно и вкрадчиво перебил ее гусар. — Зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщите.

— Перестаньте! С вами нельзя говорить серьезно, — расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами.

Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре, Аносову и шурина домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, не занятых картами.

Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к сатирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколебимым спокойствием он показывал, например: «Историю любовных походов храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и других странах»; «Приключение петиметра князя Николая Булат-Тугановского в Монте-Карло» и так далее

— Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны, — говорил он, бросая быстрый смешливый взгляд на сестру. — Часть первая — детство. «Ребенок рос, его называли Лима».

На листке альбома красовалась умышленно по-детски нарисованная фигура девочки, с лицом в профиль, но с

двумя глазами, с ломаными черточками, торчащими вместо ног из-под юбки, с растопыренными пальцами разведенных рук.

— Никогда меня никто не называл Лимой,— засмеялась Людмила Львовна.

— Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки:

Твоя прекрасная нога —
Явление страсти неземной!

Вот и подлинное изображение ноги.

А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Здесь самое бегство. А это вот — критическое положение: разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму.

Ты там все пудрилась, час лишний провороня,
И вот за нами вслед ужасная погоня...
Как хочешь, с ней разделяйся ты,
А я бегу в кусты!

После истории девицы Лимы следовала новая повесть: «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист».

— Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована пером и цветными карандашами,— объяснял серьезно Василий Львович.— Текст еще изготавливается.

— Это что-то новое,— заметил Аносов,— я еще этого не видал.

— Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка.

Вера тихо дотронулась до его плеча.

— Лучше не нужно,— сказала она.

Но Василий Львович или не расслышал ее слов, или не придавал им настоящего значения.

— Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица, по имени Вера, получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голубы.

Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так: «Прекрасная Блондина, ты, которая...

бурное море пламени, kloкочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В конце скромная подпись: «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии — она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами: П. П. Ж. Прошу отвечать мне в почтамт, постé рeстантé». Здесь вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами.

Сердце Веры пронзено (вот сердце, вот стрела). Но, как благодетельная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку Васе Шеину. Вот и иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к рисункам.

Вася Шеин, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоему счастью,— говорит он,— но, умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, поразмысли, проверь и себя и его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как мотылек на блестящий огонь. А я — увы! — я знаю хладный и лицемерный свет. Знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеяться над ней».

Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого молодого Васю, но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете.

Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство.

Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами.

Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов — наполненный его слезами...

— Господа, кто хочет чаю? — спросила Вера Николаевна.

VII

Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахи острее из темноты и прохлады.

Спешников, вице-губернатор и полковник Понамарев давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Перед ним стояла бутылка его любимого красного вина Romard, рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжелым, густым вином его тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант жмурился от блаженства.

— Да-с... Осень, осень, осень, — говорил старик, глядя на огонь свечи и задумчиво покачивая головой. — Осень. Вот и мне уж пора собираться. Ах, жаль-то как! Только что настали красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря, в тишине, спокойненько...

— И пожил бы у нас, дедушка, — сказала Вера.

— Нельзя, милая, нельзя. Служба... Отпуск кончился... А что говорить, хорошо бы было! Ты посмотри только, как розы-то пахнут... Отсюда слышу. А летом в жары ни один цветок не пахнул, только белая акация... да и та конфетами.

Вера вынула из вазочки две маленьких розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто.

— Спасибо, Верочка.— Аносов нагнул голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой.

— Пришли мы, помню я, в Бухарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах, я остановился и увидел, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные замки. «Что это у вас такое?» — спрашиваю. «Какое-то масло, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо». Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масла уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще по крайней мере на двадцать червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: «Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох, сколько его ни варили, а все не подается проклятый». Это был кофе; я сказал им: «Это только годится туркам, а солдатам нейдет». К счастью, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи.

— Дедушка, скажите откровенно, — попросила Анна, — скажите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись?

— Как это странно, Аннечка: боялся — не боялся. Понятное дело — боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свист пуль для него самая сладкая музыка. Это или псих, или хвостун. Все одинаково бояться. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь: страх-то остается всегда один и тот же, а умение держать себя от практики все возрастает: отсюда и герои и храбрецы. Так-то. Но испугался я один раз чуть не до смерти.

— Расскажите, дедушка, — попросили в один голос сестры.

Они до сих пор слушали рассказы Аносова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней. Была какая-то уютная предесь в его неторопливом и наивном

повествовании. И самые обороты фраз, которыми он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный, неуклюжий, несколько книжный характер. Точно он рассказывал по какому-то милтому древнему стереотипу.

— Рассказ очень короткий,— отозвался Аносов.— Это было на Шипке, зимой, уже после того как меня контузили в голову. Жили мы в землянке, вчетвером. Вот тут-то со мною и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и никак я не мог себя переуверить в том. Приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову, и рас-судок мой воротился.

— Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержали над женщинами,— сказала пианистка Женни Рейтер.— Вы, должно быть, смолоду очень красивые были.

— О, наш дедушка и теперь красавец! — воскликнула Анна.

— Красавцем не был,— спокойно улыбаясь, сказал Аносов.— Но и мной тоже не брезговали. Вот в этом же Бухаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пушечною пальбою, от чего пострадало много окошек; но те, на которых поставлена была в стаканах вода,— остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши на отведенную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку, на клеточке была большого размера хрустальная бутылка с прозрачною водой, в ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде! — это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего сознался сам себе, что я очень недогадлив.

Вошел я в дом и вижу прехорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и кстати уж спросил, почему у них целы стекла после канонады, и она мне объяснила, что это от воды. А также объяснила и про канарейку: до чего я был несообразителен!.. И вот среди разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала

искра, подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу — пламенно и бесповоротно.

Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино.

— Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом? — спросила пианистка.

— Гм... конечно, объяснились... Но только без слов. Это произошло так...

— Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть? — заметила Анна, лукаво смеясь.

— Нет, нет,— роман был самый приличный. Видите ли, всюду, где мы останавливались на постой, городские жители имели свои исключения и прибавления, но в Бухаресте так коротко обходились с нами жители, что когда однажды я стал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать, и такое обыкновение повелось на каждый день.

Однажды, во время таицев, вечером, при освещении месяца, я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал.

...С тех пор, каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей и все дневные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву в вечной взаимной любви и простились навсегда.

— И все? — спросила разочарованно Людмила Львовна.

— А чего же вам больше? — возразил комендант.

— Нет, Яков Михайлович, вы меня извините — это не любовь, а просто бивуачное приключение армейского офицера.

— Не знаю, милая моя, ей-богу, не знаю — любовь это была или иное чувство...

— Да нет... скажите... неужели в самом деле вы никогда не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, которая... ну, которая... словом... святой, чистой, вечной любовью... неземной... Неужели не любили?

— Право, не сумею вам ответить,— замаялся старик, поднимаясь с кресла.— Должно быть, не любил. Сначала

все было некогда: молодость, кутежи, карты, война... Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся — и вижу, что я уже развалина... Ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь... Гусар,— обратился он к Бахтинскому,— ночь теплая, пойдемте-ка навстречу нашему экипажу.

— И я пойду с вами, дедушка,— сказала Вера.

— И я,— подхватила Анна.

Перед тем как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо:

— Поди посмотри... там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его.

VIII

Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади их, шагов на двадцать, комендант под руку с Верой. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не притерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. Аносов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава.

— Смешная эта Людмила Львовна,— вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей.— Сколько раз я в жизни наблюдал: как только стукнет даме под пятьдесят, а в особенности если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гуммиарабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел!

— Ну как же это так, дедушка? — мягко возразила Вера, пожимая слегка его руку.— Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили?

— Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит — грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет.

И кожа на щеках нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мяконикие, тепленькие. Ах ты, чорт! А тут папа-мама ходит вокруг, за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными такими, собачьими, преданными глазами. А когда уходишь — за дверями этикие быстрые поцелуйчики... За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет... Ну и готово. «Дорогой Никита Антоныч, я пришел к вам просить руки вашей дочери. Поверьте, что это святое существо...» А у папы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет... «Милый! Я давно догадывался... Ну дай вам бог... Смотри только, береги это сокровище...» И вот через три месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесанные, в папильотках, с денщиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет Жаком. Знаешь, этак в нос, с растяжкой, томно: «Ж-а-а-ак». Мотовка, актриса, неряха, жадная. И глаза всегда лживые-лживые... Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе благодарен... Слава богу, что детей не было...

— Вы простили им, дедушка?

— Простил — это не то слово, Верочка. Первое время был как бешеный. Если бы тогда увидел их, конечно убил бы обоих. А потом понемногу отошло и отошло, и ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил бог от лишнего пролития крови. И кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такое, если бы не этот мерзкий случай? Выучный верблюд, позорный потатчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь... Нет! Все к лучшему, Верочка.

— Нет, нет, дедушка, в вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обидка... А вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливый?

Аносов довольно долго молчал. Потом протянул неохотно:

— Ну, хорошо... скажем — исключение... Но вот в большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним

ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главной в доме, дамой, самостоятельной... К тому же потребность, прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчин другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей и прочее и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь: вот пойдут детишки,—я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете... нечто вроде иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано — «сильна, как смерть»? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение — вовсе не труд, а одна радость. Постой, постой, Вера, ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю? Право же, я сго люблю. Он хороший парень. Почему знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться.

— Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? — тихо спросила Вера.

— Нет,— ответил старик решительно.— Я, правда, знаю два случая похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой... так... какая-то кислота... одна жалость... Если хочешь, я расскажу. Это недолго.

— Прошу вас, дедушка.

— Ну, вот. В одном полку нашей дивизии (только не в нашем) была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая... Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но, понимаешь, этакая полковая Мессалина: темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию. Вдобавок — морфинистка.

И вот однажды, осенью, присылают к ним в полк новопеченного прапорщика, совсем желторотого воробья,

только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер ее в танцах, носит ее веер и платок, в одном мундирчике выскакивает на мороз звать ее лошадей. Ужасная эта штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сейчас выскочил не-вредим — все равно в будущем считай его погибшим. Это — штамп на всю жизнь.

К рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних, испытанных пассий. А он не мог. Ходит за ней, как привидение. Измучился весь, исхудал, почернел. Говоря высоким штилем — «смерть уже лежала на его высоком челе». Ревновал он ее ужасно. Говорят, целые ночи простаивал под ее окнами.

И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник. Я и ее и его знал лично, но при этом происшествии не был. Как и всегда в этих случаях, было много выпито. Обрато возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. Идет очень медленно вверх, по довольно крутому подъему. Дает свистки. И вот, только что паровозные огни поровнялись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику: «Вы все говорите, что любите меня. А ведь, если я вам прикажу, вы, наверно, под поезд не броситесь». А он, ни слова не ответив, бегом — и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал, как раз между передними и задними колесами: так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик, как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало.

— Ох, какой ужас! — воскликнула Вера.

— Пришлось прапорщику оставить службу. Товарищи собрали ему кое-какие деньжонки на выезд. Остаться-то в городе ему было неудобно: живой укор перед глазами и ей и всему полку. И пропал человек... самым подлым образом... стал попрошайкой... замерз где-то на пристани в Петербурге...

А другой случай был совсем жалкий. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и очень нехорошо себя вела. На что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас

коробило. А муж — ничего. Все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, а он только руками отмахивался: «Оставьте, оставьте... Не мое дело, не мое дело... Пусть только Леночка будет счастлива!..» Такой олух!

Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым, субалтерном из ихней роты. Так втроем и жили в двумужественном браке — точно это самый законный вид супружества. А тут наш полк двинули на войну. Наши дамы провожали нас, провожала и она, и, право, даже смотреть было совестно: хотя бы для приличия взглянула разок на мужа, — нет, повесилась на своем поручике, как чорт на сухой вербе, и не отходит. На прощанье, когда мы уже уселись в вагоны и поезд тронулся, так она еще мужу вслед, бесстыдница, крикнула: «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь с ним случится — уйду из дому и никогда не вернусь. И детей заберу».

Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-нибудь тряпка? размазня? стрекозиная душа? Ничуть. Он был храбрым солдатом. Под Зелеными Горами он шесть раз водил свою роту на турецкий редут, и у него от двухсот человек осталось только четырнадцать. Дважды раненный — он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него богу молились.

Но *она* велела... Его Леночка ему велела!

И он ухаживал за этим трусом и лодырем Вишняковым, за этим трутнем безмёдовым, — как нянька, как мать. На ночлегах под дождем, в грязи, он укутывал его своей шинелью. Ходил вместо него на саперные работы, а тот отлеживался в землянке или играл в штосс. По ночам проверял за него сторожевые посты. А это, заметь, Веруня, было в то время, когда башибузуки вырезывали наши пикеты так же просто, как ярославская баба на огороде срезает капустные кочни. Ей-богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда узнали, что Вишняков скончался в госпитале от тифа...

— Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали любящих?

— О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу: я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается — и она *уже* мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни — всю вселенную! Но

вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества — поэты, романисты, музыканты, художники? Я на-днях читал историю Машеньки Леско и кавалера де Грие... Веришь ли, слезами обливался... Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви — единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной?

— О, конечно, конечно, дедушка...

— А раз ее нет, женщины мстят. Пройдет еще лет тридцать... я не увижу, но ты, может быть, увидишь, Верочка. Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идолы. Они будут попираť нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все оттого, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть. Знаешь закон: сила действия равна силе противодействия.

Немного помолчав, он вдруг спросил:

— Скажи мне, Верочка, если только тебе нетрудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка, по его обычаю?

— Разве вам интересно, дедушка?

— Как хочешь, как хочешь, Вера. Если тебе почему-либо неприятно...

— Да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу.

И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своею любовью еще за два года до ее замужества.

Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только писал ей и в письмах подписывался Г. С. Ж. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном

учреждении маленьким чиновником,— о телеграфе он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно (кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашим: никто из них не знает) попросила его не утруждать ее больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка: на пасху, на Новый год и в день ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя...

— Да-а,— протянул генерал наконец.— Может быть, это просто ненормальный малый, маниак, а — почем знать? — может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше неспособны мужчины. Постойка. Видишь, впереди движутся фонари? Наверно, мой экипаж.

В то же время сзади послышалось зычное рывканье автомобиля, и дорога, изрытая колесами, засияла белым ацетиленовым светом. Подъехал Густав Иванович.

— Анючка, я захватил твои вещи. Садись,— сказал он.— Ваше превосходительство, не позволите ли довести вас?

— Нет уж, спасибо, мой милый,— ответил генерал.— Не люблю я этой машины. Только дрожит и воняет, а радости никакой. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать,— говорил он, целуя у Веры лоб и руки.

Все распрощались. Фриессе довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и, быстро описав круг, исчез в темноте со своим ревущим и пыхтящим автомобилем.

IX

Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую, сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Льво-

вич сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженую большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну.

— Я давно настаивал! — говорил Николай раздраженно и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. — Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешились ими, как ребятишки, видя в них только смешное... Вот, кстати, и сама Вера... Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоём сумасшедшем, о твоём Пе Пе Же. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой.

— Переписки вовсе не было, — холодно остановил его Шени. — Писал лишь он один...

Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании.

— Я извиняюсь за выражение, — сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди, невидимый тяжелый предмет.

— А я не понимаю, почему ты называешь его моим, — встала Вера, обрадованная поддержкой мужа. — Он так же мой, как и твой...

— Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки... Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, — так это только о добром имени Веры и твоём, Василий Львович.

— Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля, — возразил Шени.

— Может быть, может быть... Но вы легко рискуете попасть в смешное положение.

— Не вижу, каким способом, — сказал князь.

— Вообрази себе, что этот идиотский браслет, — Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место... — что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, Пе Пе Же может хвататься своим знакомым или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шенина принимает его подарки, а во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам.

Завтра он присылает кольцо с брильянтами, послезавтра жемчужное колье, а там — глядишь — сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князя Шеины будут вызваны в качестве свидетелей... Милое положение!

— Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно! — воскликнул Василий Львович.

— Я тоже так думаю, — согласилась Вера, — и как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса.

— О, это-то совсем пустое дело! — возразил пренебрежительно Николай Николаевич. — Нам известны инициалы этого Пе Пе Же... Как его, Вера?

— Ге Эс Же.

— Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскающего агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к двум часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уж больше никогда не напоминал нам о своем существовании.

— Что ты думаешь сделать? — спросил князь Василий.

— Что? Поеду к губернатору и попрошу...

— Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения... Тут прямая опасность попасть в смешное положение.

— Все равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается, и кричит: «Я, сударь, этого не потеряю-ю-ю!»

— Фи! Через жандармов! — поморщилась Вера.

— И правда, Вера, — подхватил князь. — Лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни... Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут, точно в стеклянных банках... Лучше уж я сам

пойду к этому... юноше... хотя, бог его знает, может быть, ему шестьдесят лет?.. Вручу ему браслет и прочитаю хо-рошую, строгую нотацию...

— Тогда и я с тобой,— быстро прервал его Николай Николаевич.— Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить... А теперь, друзья мои,— он вынул карманные часы и поглядел на них,— вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо про-смотреть два дела.

— Мне почему-то стало жалко этого несчастного,— не-решительно сказала Вера.

— Жалеть его нечего! — резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях.— Если бы такую выходку с брас-летом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал,— то сделал бы я. А в прежнее время я бы про-сто велел отвести его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей кан-целярии, я сообщу тебе по телефону.

Х

Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керо-сином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился.

— Подожди немножко,— сказал он шурина.— Дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать...

Они поднялись еще на два марша. На лестничной пло-щадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры.

На его звонок отворила дверь полная седая сероглазая женщина в очках, с немного согнутым вперед, видимо от какой-то болезни, туловищем.

— Господин Желтков дома? — спросил Николай Ни-колаевич.

Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внеш-ность обоих, должно быть, успокоила ее.

— Дома, прошу,— сказала она, открывая дверь.— Первая дверь налево.

Булат-Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал.

— Войдите, — отозвался слабый голос.

Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром, посередине — стол, накрытый цветной малороссийской скатертью.

Лица хозяина сначала не было видно: он стоял спиной к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами.

— Если не ошибаюсь, господин Желтков? — спросил высокомерно Николай Николаевич.

— Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться.

Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шеину.

— Я тебе говорил, что мы не ошиблись.

Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджака, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь:

— Прошу покорно. Садитесь.

Теперь он стал весь виден: очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти.

— Благодарю вас, — сказал просто князь Шеин, разглядывавший его очень внимательно.

— Мерси, — коротко ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять. — Мы к вам всего только на несколько минут. Это — князь Василий Львович Шеин, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия — Мирза-Булат-Тугановский. Я — товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково

касается и князя и меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры.

Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо.

— Я к вашим услугам, ваше сиятельство,— произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами.

Но Шенн промолчал. Заговорил Николай Николаевич:

— Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь,— сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол.— Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись.

— Простите... Я сам знаю, что очень виноват,— прошептал Желтков, глядя вниз, на пол, и краснея.— Может быть, позвольте стаканчик чаю?

— Видите ли, господин Желтков,— продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова.— Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около семи-восьми лет?

— Да,— ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.

— И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя — согласитесь — это не только можно было бы, а даже и *нужно* было сделать. Не правда ли?

— Да.

— Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? — кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что — повторяю — я сразу угадал в вас благородного человека.

— Простите. Как вы сказали? — спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. — Вы хотели обратиться к власти?.. Именно так вы сказали?

Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.

— Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти?.. Вы меня извините, князь, что я сижу? — обратился он к Шеину. — Ну-с, дальше?

Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека.

— Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет, — с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. — Врываться в чужое семейство...

— Виноват, я вас перебыю...

— Нет, виноват, теперь уж я вас перебыю... — почти закричал прокурор.

— Как вам угодно. Говорите. Я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича.

И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал:

— Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей... Вы меня выслушаете?

— Слушаю, — сказал Шеин. — Ах, Коля, да помолчи ты, — сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. — Говорите.

Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покотился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого.

— Трудно выговорить такую... фразу... что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью. Но... вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда... Скажите, князь... предположим, что вам это неприятно... скажите, — что бы вы сделали для того, чтоб оборвать это чувство? Выслать меня в

другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно и там так же я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключение меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно — смерть... Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме.

— Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, — сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. — Вопрос очень короток: вам предлагают одно из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее.

Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил:

— Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам.

— Идите, — сказал Шеин.

Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.

— Так нельзя, — кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. — Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.

— Подожди, — сказал князь Василий Львович, — сейчас все это объяснится. Главное, это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек неспособен обманывать и лгать заведомо. И, правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви и разве можно управлять таким чувством, как любовь, — чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя. — Подумав, князь сказал: — Мне жалко этого человека. И мне не только, что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь паясничать.

— Это декадентство, — сказал Николай Николаевич.

Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми

слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с большой, нервной чувкостью это понял князь Шеин.

— Я готов,— сказал он,— и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие,— это я *вам* говорю, князь Василий Львович,— видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?

— Нет. Если кончил, так кончил. Никаких писем,— закричал Николай Николаевич.

— Хорошо, пишите,— сказал Шеин.

— Вот и все,— произнес, надменно улыбаясь, Желтков.— Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог?

Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это.

Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене:

— Оставь меня,— я знаю, что этот человек убьет себя.

XI

Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут.

Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано:

«Загадочная смерть. Вчера вечером, около семи часов, покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г. С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так по крайней мере самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлен в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр».

Вера думала про себя.

«Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход? И что это было любовь или сумасшествие?»

Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному Пе Пе Же.

«Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», — вспомнились ей слова Аносова.

В шесть часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо.

Желтков писал так:

«Я не виноват, Вера Николаевна, что богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей — для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не напомнит.

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял себя — это не болезнь, не маниакальная идея — это любовь, которую богу было угодно за что-то меня вознаградить.

Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего брата, Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: *«Да святится имя твое»*.

Восемь лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю

потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли...

Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около Вас, у Ваших ног, каждое мгновение дня заполнено Вами, мыслью о Вас, мечтами о Вас... сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет, — ну, что же? — ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на Ваших гостей.

Через десять минут я уеду, я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу записку, — о, как я ее целовал, — ею Вы запретили мне писать Вам. Программу художественной выставки, которую Вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе... Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то... я знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас видел чаще всего на Бетховенских квартетах, — так вот, если Вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur № 2, op. 2.

Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай бог Вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки.

Г. С. Ж.»

Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами и, показав письмо, сказала:

— Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно.

Князь Шеин внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и, долго помолчав, сказал:

— Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе.

— Он умер? — спросила Вера.

— Да, умер. Я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаза и видел каждое его движение, каждое изменение его лица. И для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и я даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать...

— Вот что, Васенька, — перебила его Вера Николаевна, — тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?

— Нет, нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай испортил мне все дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным.

ХII

Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила:

— Кого вам угодно?

— Господина Желткова, — сказала княгиня.

Должно быть, ее костюм — шляпа, перчатки, и несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась.

— Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а там... сейчас... Он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, растрата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры внаем холостякам. Но какие-нибудь шестьсот — семьсот рублей я бы могла собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. Восемь лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном.

Тут же в передней был стул, и Вера опустилась на него.

— Я друг вашего покойного квартиранта,— сказала она, подбирая каждое слово к слову.— Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил.

— Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежий побежал до телефона и вернулся такой веселый. Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В семь часов он всегда пил чай. Лукерья — прислуга — приходит и стучится, он не отвечает, потом еще раз, еще раз. И вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый.

— Расскажите мне что-нибудь о браслете,— приказала Вера Николаевна.

— Ах, ах, ах, браслет — я и забыла. Почему вы знаете? Он перед тем, как написать письмо, пришел ко мне и сказал: «Вы католичка?» Я говорю: «Католичка». Тогда он говорит: «У вас есть милый обычай — так он и сказал: милый обычай — вешать на изображение матки боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот исполните мою просьбу: вы можете этот браслет повесить на икону?» Я ему обещала это сделать.

— Вы мне его покажете? — спросила Вера.

— Прощу, прощу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат, так он упросил, чтобы его похоронить по христианску. Прощу, прощу.

Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели три восковых свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, труп, которому все равно, подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев — Пушкина и Наполеона.

— Если прикажете, пани, я уйду? — спросила старая женщина, и в ее тоне послышалось что-то чрезвычайно интимное.

— Да, я потом вас позову,— сказала Вера и сейчас же вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной исключительной любви — почти пророческие слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный, влажный лоб долгим дружеским поцелуем.

Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней льстивым польским тоном:

— Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне: «Если случится, что я умру и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение...» — он даже нарочно записал мне это. Вот поглядите...

— Покажите,— сказала Вера Николаевна и вдруг заплакала.— Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться.

И она прочла слова, написанные знакомым почерком: L. van Beethoven. Son. № 2, op. 2. Largo Appassionato.

XIII

Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата.

Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала:

— Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь,— и сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку.

Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из второй сонаты,

о котором просил этот мертвец со смешной фамилией Желтков.

Так оно и было. Она узнала с первых же аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она одновременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя, почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение и еще против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: *«Да святится имя твое».*

«Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою — одна молитва: *«Да святится имя твое».*

«Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, но, прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. *«Да святится имя твое».*

«Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я уйду один, молча, так угодно было богу и судьбе. *«Да святится имя твое».*

«В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе: *«Да святится имя твое».*

«Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы. Время. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою — слава тебе».

«Вот она идет, все умиротворяющая смерть, а я говорю — слава тебе!..»

Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясало. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестил листьями. Острее запахло звезды табака... И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала:

«Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко».

Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке всю в слезах.

— Что с тобой? — спросила пианистка.

Вера, с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила:

— Нет, нет,— он меня простил теперь. Все хорошо.

ТЕЛЕГРАФИСТ

Зима. Поздняя ночь. Я сижу на казенном клеенчатом диване в телеграфной комнате захолустной пограничной станции. Мне дремлет. Тихо, точно в лесу. Я слышу, как шумит кровь у меня в ушах, а четкое постукивание аппарата напоминает мне о невидимом дятле, который где-то высоко надо мною упорно долбит сосновый ствол.

Напротив меня согнулся над желтым блестящим ясеневым столиком дежурный телеграфист Саша Врублевский. Тень, падающая от зеленого абажура лампы, разрезывает его лицо пополам: верх в тени, но тем ярче освещены кончик носа, крупные суровые губы и острый бритый подбородок, выходящий из отложного белого воротника.

С большим трудом я различаю глубокие глазные впадины и внутри их опущенные выпуклые веки, придающие всему лицу, так хорошо знакомому, некрасивому, милому скуластому лицу, то выражение важного покоя, которое мы видим только у мертвых.

Саша Врублевский горбат. Я знаю только две породы горбатых людей. Одни — и это большинство — высокомерны, сладострастны, злобны, подозрительны, мстивы, скупы и жадны. Другие же, немногие, а в особенности Саша Врублевский, кажутся мне лучшими брильянтами в венце истинного христианства. Когда я беру в свои руки их слабые, нежные, чуткие и беспомощные ручки, у меня в сердце такое чувство, что ко мне ласкается больной ребенок. И когда я думаю о Сашиной душе, она мне представляется чем-то вроде большой прекрасной бабочки,—

такой трепетной, робкой и нежной, что малейшее грубое прикосновение сомнет и оскорбит красоту ее крыльев. Он кроток, бессеребренник, ко всему живому благожелателен и ни о ком ни разу не отозвался дурно. Иногда он говорит мне с ласковой, чуть-чуть укоризненной насмешкой:

— Несправедливые вы люди, господа писатели. Как только у вас в романе или повести появится телеграфист,— так непременно какой-то олух царя небесного, станционный хлыщ, что-то вроде интендантского писаря. Поет под гитару лакейские романсы, крутит усы и стреляет глазами в дам из первого класса. Ей-богу же, милочка, такой тип перевелся пятьдесят лет тому назад. Надо следить за жизнью. Вспомните-ка, как мы выдержали почтово-телеграфную забастовку, а ведь у нас большинство—многосемейные. Знаете, милочка, бедность-то везде плодуща, а жалованье наше — гроши. И если вышвырнут тебя из телеграфа с волчьим паспортом—куда пойдешь? Так-то, милочка. Мне сравнительно легко тогда было, я три языка знаю иностранных, в случае чего не пропал бы. А другие, милочка, прямо несли на это дело свои головы и потроха.

Никогда ему не изменяет его светлое, терпеливое, чуть прикрашенное мягкой улыбкой благодушие. Вот и сейчас: у него висит на ленте очень важная, срочная, едва ли не шифрованная телеграмма из-за границы, а он уже больше четверти часа никак не может ее отправить, и все из-за того, что главная передаточная станция занята с одной из промежуточных самым горячим флиртом. Телеграфист с передаточной загадал барышне с промежуточной какое-то слово, начинающееся на букву «л», и — такой насмешник — стучит и стучит все одни и те же знаки:

. — .. . — .. . — .. . — ..

Но барышня никак не может отгадать этого трудного слова. Она пробует «лампу, лошадь, лук, лагеря, лимон, лихорадку».

— Лихорадка — похоже, но не то,— издевается передаточная станция.

«Лира, лава, лак, луна, лебедь», — мучается недогадливая барышня.

Тогда Врублевский, которому надоело ждать, считает нужным вмешаться.

— Барышня, подайте ему «люблю» — и освободите линию: срочная.

— Подождут,— легкомысленно возражают с передаточной.

Но Врублевский делает развязному телеграфисту строгое замечание и через минуту, не глядя на ленту, уже ловит привычным слухом покаянный ответ:

— Извините, товарищ, но вы сами были молоды и понимаете без слов...

Я вижу, как легкая улыбка раздвигает усы над толстыми, освещенными губами Врублевского. Ему самому не больше двадцати шести лет, но все сослуживцы относятся к нему, как к старику.

— Вот так они целыми вечерами и фомансуют,— говорил он, перебирая ленту, закрутившуюся кудрявыми завитками.— Что же, дай бог. Кажется, у них дело серьезное. Он — славный мальчик, и Катерина Сергеевна — хорошая, работающая девушка. Устроятся вместе на станции, и лучше не надо. И как это прекрасно, что женщине, наконец, начинают давать настоящую работу. А то ведь раньше им, бедняжкам, прямо деваться было некуда. Сиди и вымаливай у бога жениха. Когда еще девушкой — отец ворчит: «Хлеб только даром ешь. Хоть бы нашелся какой-нибудь болван, взял бы тебя, сокровище этакое». А вышла замуж — пеленки, тряпки, кухня, роды, стирка, детей кормить надо. И муж орет: «Дармоедка, обед невкусный; только деньги тратить умеешь да ходить круглый год брюхатой. Поди сбегай за пивом и за папиросами...» А уж если, милочка, заработок общий,— он уж так разговаривать не посмеет.

Саша умолкает и, поймав начало телеграммы, начинает сосредоточенно ее выстукивать. Лицо его с опущенными веками неподвижно, и только пальцы его правой руки едва заметно, но быстро и точно вздрагивают на клавише. Мной опять овладевает дремота, и опять я в тихом мутно-зеленом лесу, и опять где-то далеко старается над деревом неугомонный дятел. В это время я думаю о многих странных вещах. О том, что весь земной шар перекрещен, как настоящими нервами, телеграфными линиями и что вот сидит передо мной нервный узел — милый Саша Врублевский, безвестный служитель механического прогресса. Добру или злу он служит, счастью или несчастью будущего человечества? Телеграф был первым важным практическим применением таинственной силы электри-

чества. Гораздо позднее появились телефоны, электрические лампы и кухни, трамваи, беспроволочный телеграф, автомобили, аэропланы. Но человечество идет вперед, все быстрее с каждым годом, все стремительнее с каждым шагом. Вчера мы слышали об удивительных лучах, пронизывающих насквозь человеческое тело, а почти сегодня открыт радий с его удивительными свойствами. Человек уже подчинил себе силу водопадов и ветер, — без сомнения он скоро заставит работать на себя морской прибой, солнечный свет, облака и лунное притяжение. Он внедрится в глубь земли и извлечет оттуда новые металлы, еще более могущественные и загадочные, чем радий, и обратит их в рабство. Завтра или послезавтра, — я в этом уверен, — я буду из Петербурга разговаривать с моим другом, живущим в Одессе, и в то же время видеть его лицо, улыбку, жесты. Очень близко время, когда расстояния в пятьсот — тысячу верст будут покрываться за один час; путешествие из Европы в Америку станет простой предобеденной прогулкой, пространство почти исчезнет, и время помчится бешеным карьером. Но я с ужасом думаю об огромных городах будущего, в особенности когда воображаю себе их вечера. На небе сияют разноцветные плакаты торговых фирм, высоко в воздухе снуют ярко освещенные летучие корабли, над домами, сотрясая их, проносятся с грохотом и ревом поезда, по улицам сплошными реками, звеня, рыча и блестя огромными фонарями, несутся трамваи и автомобили; вертящиеся вывески кинематографов слепят глаза, и магазинные витрины льют огненные потоки. Ах, этот ужасный мир будущего — мир машин, горячечной торопливости, нервного зуда, вечного напряжения ума, воли и души! Не несет ли он с собой повального безумия, всеобщего дикого бунта, или, что еще хуже, преждевременной дряхлости, внезапной усталости и расслабления? Или — почему знать? — может быть, у людей выработаются новые инстинкты и чувства, произойдет необходимое перерождение нервов и мозга, и жизнь станет для всех удобной, красивой и легкой? Нет, милый Саша Врублевский, никто нам не ответит на эти вопросы, хотя ты сам вот сейчас, сидя за телеграфным аппаратом, бессознательно куешь будущее счастье или несчастье человечества.

Но тут я замечаю, что Врублевский уже с минуту что-то говорит мне. Я стряхиваю с себя ленивое оцепенение,

встаю и присаживаюсь за столик. Теперь мне совсем не видно лица моего приятеля,— между нами лампа и аппарат,— но моя рука лежит так близко около его руки, что я ощущаю исходящий из нее теплый ровный ток.

— Это вышло точь-в-точь, как бывает в водевилях,— говорит он своим нервным, высоким, чуть хриплым, очень приятным голосом.— Она была влюблена по уши в моего товарища Деспот-Зинович-Братошинского, а я был влюблен в нее. Деспот же, городской лев и донжуан, порхал только с цветка на цветок и обедал и ужинал по крайней мере в десяти семействах, где были барышни-невесты. Однако он был чудесный парень, широкий и добрый человек. Его раздавил поезд, когда он был начальником станции Волчьей. Я об ее любви ничего не знал... Нет, это, пожалуй, неверно... Я... как бы выразиться... я в этом отношении точно заклеил воском свои глаза и уши. И вот она сидит за пианино, а я около нее, сбоку. Она берет, не глядя на клавиши, какие-то аккорды, слегка повернув ко мне опущенную голову, и говорит об одном человеке, которого она любит, несмотря на его недостатки; говорит, что она скорее умрет, чем обнаружит перед ним свое чувство, что этот человек с ней исключительно любезен и внимателен, но что она не знает его мыслей и намерений,— может быть, он только играет сердцем бедной девушки, и так далее в том же роде. Я же, идиот, нахожусь в полной уверенности, что иносказательная речь идет обо мне, и с жаром уверяю ее, что, наоборот, «он» любит ее больше жизни, родины, чести и прочее. Он готов на все жертвы, и все в этом роде. Что касается недостатков, то к недостаткам привыкают, и так далее... Тогда она вся розовеет каким-то чудесным розовым сиянием, ресницы у нее влажны, и она шепчет едва слышно: «Благодарю вас, вы навсегда останетесь моим лучшим другом, но только, ради бога, ни одного слова ему, Деспоту». Я раскрываю рот, молчу несколько секунд, наконец, заикаясь и точно свалившись с луны, спрашиваю: «Почему же именно... ему... Деспоту?» Тогда она пристально вглядывается в мои глаза, мы сразу понимаем друг друга, и она внезапно раздражается громким, долгим-долгим хохотом... Что ж, конечно, смешно, совсем как в водевиле. Но я хотел в эту ночь отравиться... Не отравился, а напился в клубе, как свинья, первый и единственный

раз в жизни. А на следующий день я подал прошение о переводе сюда...

Он замолкает и прислушивается к стуку аппарата. Но зовут не его, и он продолжает:

— В другой раз была настоящая, не водевильная, а большая, нежная любовь с обеих сторон. Это случилось, когда я ездил позапрошлым летом в отпуск к себе, в Житомир. Была лунная ночь с соловьями, с ароматами сирени и белой акации, с далекой музыкой из городского сада. Мы ходили по саду,— сад у них громадный, плодовый,— и я держал ее руку в моей. Она первая сказала мне, что любит меня и никого никогда не полюбит, кроме меня. Она говорила, что любит меня таким, как я есть, и что больше всего любит мою душу и... там разные милые, сладкие, волшебные слова. И вот мы вышли на открытое место на площадку для гигантских шагов. Луна светила нам в спину, и на утопанной гладкой земле легли две резкие тени: одна— длинная, стройная, с прелестной, немного склоненной набок головкой, с высокой шеей, с тонкой талией, а другая — моя... Ну, вот... Тогда я закрыл лицо руками, забормотал что-то и убежал... Да, убежал, не прощаясь...

Полгода спустя она вышла замуж, а нынче утром я получил от нее письмо. Она счастлива, у нее сынишка, я, конечно, ее лучший друг на свете, и больше всего в жизни ей хочется, чтобы я крестил у нее ребенка. Она извиняется за то, что разбила мое сердце. Ну, это уж глупости. Я рад за нее, очень рад. Дай бог ей счастья... Если ей хорошо, то и я счастлив. Она дала мне хоть иллюзию, хоть призрак любви, и это истинно царский, неоплатный подарок... Потому что нет ничего более святого и прекрасного в мире, чем женская любовь».

Мы молчим с минуту. Потом я прощаюсь и ухожу. Мне идти далеко, через все местечко, версты три. Глубокая тишина, калоши мои скрипят по свежему снегу громко, на всю вселенную. На небе ни облачка, и страшные звезды необычайно ярко шевелятся и дрожат в своей бездонной высоте. Я гляжу вверх, думаю о горбатом телеграфисте. Тонкая, нежная печаль обволакивает мое сердце, и мне кажется, что звезды вдруг начинают расплываться в большие серебряные пятна.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Пахнет весной. Даже в большом каменном городе слышится этот трепетный, волнующий запах тающего снега, красных древесных почек и размякающей земли. По уличным стокам вдоль тротуаров бегут коричневые стремительные ручьи, неся с собою пух и щепки и отражая в себе по-весеннему прозрачно-голубое небо. И где-то во дворах старинных деревянных домов безумолку поют очнувшиеся от зимы петухи.

Околоточный надзиратель Ветчина пришел домой поздним вечером. Всю ночь он провел в участке на ночном дежурстве, принимая пьяных окровавленных гуляк, проституток и воришек, выслушивал их лживые, бессмысленные, путанные, подлые показания, перемешанные со слезами, божбой, криками, земными поклонами и руганью, писал протоколы, приказывал обыскивать, и нередко, озлобленный этим непрерывным пьяным бредом, удрученный бессонницей, раздраженный тесным воротником мундира, он сам выкрикивал страшным голосом дикие угрозы и колотил кулаком по столу.

А днем он должен был еще обходить не в очередь, в виде наказания, наложенного полицеймейстером, свои посты и торчать в лакированных сапогах и белых перчатках посередине самого людного перекрестка.

Спать ему приходилось только урывками, минутками, не раздеваясь, корчась на жестком и узком клеенчатом диване или сидя за столом, опустив голову на сложенные руки.

Даже и теперь, хотя он, придя домой, переоделся и умылся, от него пахнет улицей, навозом и тем отвратительным запахом ретирадного места, карболки и скверного табаку, которым пропитаны все помещения участка.

Он сидит один в маленькой столовой и вяло ест невкусный разогретый обед. Жены нет дома. Она отправилась сегодня к жене помощника пристава, чтобы вместе с нею идти в оперетку на бесплатные места. Сын гимназист за стеною зубрит вслух французские слова. Мысли околоточного текут скучно и тяжело. Собачья служба. Ночи без сна. Омерзительные сцены в участке. Наряды на дежурство не в очередь. Нервы, как разбитое фортепиано. Вечные приступы беспричинной злобы, от которой гочно захлебываешься, трясешься всем телом и так бледнеешь, что чувствуешь, как холодеет лицо и мгновенно высыхают губы. Общество сторонится. Приходится вести знакомство только между своими, а там вечный разговор о службе, о нарядах, о грабежах, о сыскной полиции, а в промежутках — винт и выпивка. Жалованье — гроши. Поневоле берешь праздничные или вымогаешь провизией. Другим легче. У других все-таки хоть в семье наладилось что-то вроде уюта и спокойного отдыха. У Ветчины и этого нет... Жена дома ходит неряхой, распустехой, но для гостей и для театра шьет дорогие платья, поглощающие все жалованье. Ни семья, ни кухня, ни служба мужа, ни ученье сына ее не интересуют. Придешь со службы усталый, весь разломанный, точно коночная лошадь, а жены нет дома, или она в старом капоте валяется часами на диване с переводным романом в руках и с коробкой шоколада рядом, на стуле. Была она когда-то институткой, тоненькой, наивной девочкой, верившей, что французские булки растут на деревьях и что у каждого человека стоят сзади два ангела, справа белый, а слева черный. Теперь она растолстела и огрубела, хотя все еще красива грузной и яркой красотой тридцатипятилетней женщины; она перестала верить в булки и в двух ангелов, но каждый день кричит мужу, что он испортил ее жизнь и теперь пусть достает деньги где хочет и как хочет.

Испортил жизнь! Это еще вопрос, кто кому испортил. Благодаря ее глупой, корыстной и скандальной связи с инженером, строившим полковые казармы, Ветчину, по приговору общества офицеров, попросили уйти из пехотного

полка, в котором он служил. Куда было идти, кроме полиции, если у человека нет ни влиятельной родни, ни денег? И мужа она давно не любит. Если он порою разнежничается или попробует пожаловаться на тернии полицейской службы, она, не отрываясь от книжки, тянет брезгливо: «Ах, да оставьте вы меня, ради бога, в покое. Минуты от вас нет свободной». И под предлогом каких-то вечных женских болезней, утомления или того, что от мужа всегда пахнет участком и конюшней, она уже давно изгнала Ветчину из спальни в кабинет, где ему стелют на оттоманке.

И всегда у нее увлечения. О жизни в полку — нечего говорить. Потом студент, Колин репетитор. Он, Ветчина, только хлопает тогда глазами, ревнуя, мучаясь и сам стараясь не верить своим подозрениям. Теперь-то он хорошо знает о прошлом, потому что ту же самую игру томными глазами, те же длинные рукопожатия, те же самые нервные, вибрирующие интонации в голосе он наблюдает сейчас между Верой и помощником пристава бароном фон Эссе.

Что поделаешь? Надо терпеть. Фон Эссе перешел в полицию из гвардии, теперешняя должность только для вида, через год он будет приставом, а года через два полицеймейстером в большом торговом университетском городе, а там, почему знать, и градоначальником. Связи у него громадные, и, конечно, он потянет за собою Ветчину. Ну что же, и будем терпеть, ослепнем, оглохнем на время. И все это ради него, ради милого Коленьки. Куда же пойдешь из полиции? И пусть ему, Ветчине, служить тяжело, оскорбительно и противно, пусть от ревности и злобы у него ходят в глазах радужные круги и скрипят зубы. Все перетерпим. Но зато Коля вырастет настоящим человеком, а Ветчина пробьет ему своим телом и своей душой широкую дорогу в жизнь. Коля трудолюбив, замкнут, серьезен, горд и знает цену деньгам. Без денег разве человек — человек? Коля будет доктором с громадной практикой или знаменитым адвокатом, из тех, что загребают стотысячные куши и ездят в собственных экипажах. Никого нет у Ветчины, кроме обожаемого Коли, — никого: ни жены, ни родни, ни дружбы, ни увлечений, ни мелких страстишек, и ради Коли он пойдет на все: нужно будет убить — убьет, прикажут истязать кого-нибудь — будет

истязать, с усердием пойдет на подлость и на предательство, проглотит молча жгучее оскорбление... Он и Коля. Больше никого нет на свете. Ко всему остальному живущему сердце Ветчины ожесточилось и окаменело.

— Коля, иди чай пить! — кричит околоточный надзиратель.

Коля, волоча ноги, приходит с учебником. Отец и сын очень похожи друг на друга. Оба они длинноногие, длинноносые и угрюмые, у обоих худые бледные лица в веснушках и светлые, жидкие, мягкие волосы. Между ними — глубокая, нежная, но в то же время серьезная и молчаливая привязанность.

Коля пьет чай и с сухарем во рту рассказывает об уроках и гимназии. Говорит деловито и толково, как взрослый, голос у него по-мальчишески басистый с неожиданными петухами. Ветчина слушает и из хлебных крошек вырисовывает на скатерти звездочки и орнаменты. В комнате жарко от лампы и самовара. В открытую форточку тянет вкрадчивый, пьяный весенний воздух. Сердце надзирателя мякнет и улыбається.

— Ничего, ничего, Коляшка, потерпи, — говорит он, глядя на сына запавшими, усталыми глазами и улыбаясь печально-нежной улыбкой. — Потерпи немножко. Вот выдержишь экзамены и будешь вольный казак. А я к тому времени получу двухмесячный отпуск, и мы с тобой вдвоем дернем куда-нибудь на лоно природы. Возьмем ружья, кодак, удочки и айда по способу пешего хождения.

— Не отпустят тебя, папа, — слабо возражает мальчик.

— Ну, как же так не отпустят? Четыре года я не пользовался отпуском. Да мне уж и помощник пристава дал слово...

— Денег нет свободных...

— Деньги — это пустое, мой милый.

— Положим, у меня от уроков накопилось тридцать четыре рубля, — начинает славаться Коля.

— Вот видишь! Считай еще мои наградные на пасху.

— Мама отнимет...

— Ничего. Половину мы с тобой отстоим. Да ты не бойся, достанем как-нибудь. Наконец не все же нас судьба будет по темени кокать. Может быть, в мае наш билет и выиграет каким-нибудь чудом. Другие же выигрывают? Наконец отчего бы мне и не получить командировку в

Финляндию для изучения полицейского дела? В этом году будут посылать туда, и мне барон фон Эссе почти обещал это дело устроить.

— Ах, папа, в Финляндию бы! — восклицает мальчик, и его зеленые, маленькие, всегда хмурые глаза расширяются и сияют. — Я читал на-днях описание. Как чудесно! Шлюзы, водопады, озера...

— А леса-то, леса какие там... Поохотимся, брат Коля, лососину половим. Ты вот что, милый, поди-ка принеси карту России, карандаш и бумагу. А я достану путеводитель!

И через несколько минут они сидят под лампой, коленями на стульях, низко и тесно склонившись над картой. Весенний ветер, этот вечный друг и соблазнитель бродяг, цыган, странников и путешественников, врывается в открытую форточку и своим свежим, пряным, глубоким дыханием кружит им головы. Все забыто: бедность, унижения, тягость службы, недоброжелательство Колиных товарищей, изводящих его службою отца и смешною фамилиею... Теперь обе души — изъеденная жизнью, испачканная, попранная душа полицейского и скрытная, уже озлобленная, засыхающая душа мальчика — раскрылись и цветут. Путешествие по карте, разукрашенное бедной фантазией, так живо и увлекательно!

— Из Выборга по Сайменскому каналу, по шлюзам, — говорит Ветчина, отмечая путь красным карандашом. — Потом Сайменское озеро. Вокруг — погляди на карту — все зеленое: это леса, леса. Сан-Михель, Куопио... Оттуда по железной дороге до Каяны, а оттуда опять озерами и рекой до Улеборга. Оттуда в Торнео пароходом... Граница Швеции. Огромный порт... Океанские корабли... Дешевизна поразительная, потому что нет пошлины... Накупим всякой всячины... А потом — знаешь куда?

— Куда? — спрашивал Коля охрипшим от волнения голосом.

— Из Торнео мы с тобой повернем на восток и вот, видишь, Кемь? Так мы с тобой до Кеми пешком. Через горы, мимо озера... Как его?.. не разберешь... Озеро Мансельское, между Топозеро и озеро Кунто прямо к Белому морю, к Онежской губе. А оттуда в Соловецкий монастырь, поклонимся святым угодникам Зосиме и Савватию, затем Архангельск и — домой.

— Пешком до Кеми? — переспрашивает Коля и глотает от восторга слюну. — Через лес, через болото? С ружьями?

— А что же, мы с тобою разве не мужчины? Конечно, пешком. Питаться будем дичью, рыбой... Там, я тебе скажу, дичи — видимо-невидимо. Так и кишит!.. Хлеб вот только... Но, знаешь, эти чухны, хоть они и сволочь и бунтуют там чего-то постоянно, но они замечательно гостеприимны. Хлебом мы будем запастись от жилья до жилья. А ночевать в лесу! Подожди-ка, возьми бумагу. Сейчас мы с тобой все это рассчитаем. Начнем с чего? Начем с двух бурок — тебе и мне. Мне большую, тебе поменьше. Пиши. Все запишем. Самое необходимое и кому что нести.

Он диктует, а мальчик записывает на аккуратно разграфленном листике.

Предметы	Вес	
	Папе.	Мне.
<i>Бурки</i>	6 ф.	4 ф.
<i>Непромокайки.</i>	4 »	3 »
<i>Белье</i>	3 »	2 »
<i>Котелок</i> варить пищу	2 »	— »
<i>Патронташ</i>	2 »	1½
<i>Патронов</i> с дробью и пулями	6 »	4 »
<i>Ранцы</i>	2 »	1½
<i>Топор</i> рубить сучья для костра	2 »	— »
<i>Табак, спички</i>	2 »	— »
<i>Чай</i>	— »	1 »
<i>Сахар</i>	2 »	— »
<i>Мелочи</i> , компас, часы, соль и пр.	— »	1 »
<i>Ружья</i>	7 »	6 »
<hr/>		
	Итого 38 ф.	24 ф.

Во время составления списка оба великодушничают и любовно перекоряются. Коля хочет нести поклажу поровну. Но отец настаивает на том, что ему, как более сильному и привычному, следует взять груз несколько потяжелее. Список много раз проверяют. Наконец кажется, что взято все необходимое. Коля рассчитывает циркулем по масштабной линейке расстояние. От Торнео до озера Кунто около трехсот пятидесяти верст. Считая в день по семнадцать верст, — сущий пустяк для привычного пеше-

хода, — они в двадцать дней пройдут это расстояние. Озеро Кунто — длиною сто двадцать верст. Его надо проплыть на парусной лодке. Если считать по десяти верст в час, то за один длинный летний день можно пройти все озеро в длину. А там рукой подать до реки Кеми...

— Только вот комаров там очень много... Беда, — озабоченно кивает головой надзиратель.

Но Коля недаром читал описание Финляндии.

— Местные жители, — замечает он важно, — имеют обыкновение защищаться от комариных укусов тем, что замазывают глиной шею и лицо, оставляя незакрытыми только глаза и дыхание.

— И гвоздичное масло хорошо помогает, — вспоминает отец.

— Да, и масло. А на ночлегах мы будем разводить костры и жечь хвою. Душистый дым. Они не любят этого.

И обоим рисуется белая, тихая ночь в лесу. Над головами меж кустов пахучего можжевельника протянуты, на случай дождя, резиновые плащи, на земле разостланы бурки с изголовьями из молодых ветвей. Горит яркий костер, и в котелке, подвешенном на треножнике, булькает вода, в которой варится дикая утка или глухарь. Грезятся ранние туманные и розовые утра на берегу никому не известной лесной речонки, плеск большой рыбы в озере, туго натянутая леса удочки...

Бьет одиннадцать. У отца и Коли тяжелеют и слипаются глаза, и они с трудом отрываются от волшебного путешествия к северным лесам. Обоих, несмотря на возбуждение, томит невольная зевота. Прощаются они смягченные, ласковые, с теплыми, доверчивыми глазами.

Поздно ночью возвращается домой Вера Ивановна. На цыпочках проходит она через комнату мужа и с отвращением слышит его бред: «Вот так рыба! Десять фунтов!»

От м-ше Ветчины пахнет духами *Coeur de Jeanette* и шампанским. Фон Эссе провожал ее домой из театра. По дороге они заехали на полчаса в кабинет ресторана «Версаль» и очень весело провели время. Полураздетая, стоя перед зеркалом, она прижимает руки к груди, делает сама себе страстные глаза и шепчет: «М-мил-дый».

Коля во сне плавает по озерам и пробирается сквозь лесные чащи. Подымается из берлоги потревоженный медведь. Красная пасть раскрыта, сверкают страшные

зубы, маленькие глаза злобно блещут. Ба-ах! — гремит по лесу выстрел. Это Коля стрелял, и медведь всей своей громадной массой падает к его ногам.

Крепко спят путешественники. Завтра ждут их всегдашние будни: Ветчину — служба, привычное озлобление, ругань и брань, ежеминутное ожидание от сослуживцев какого-нибудь пакостного подвоха и — что всего хуже — преувеличенно ласковое обращение и дружески покровительственный тон фон Эссе, а Колю — утомительная зубрежка и презрительное отчуждение товарищеского кружка. И только вечером они с отцом опять отправятся в очаровательное странствование по карте, куда-нибудь на Кавказ, или на Урал за золотом, или в Сибирь за пушным зверем, или в Тибет вместе с географической экспедицией. Эти фантастические путешествия составляют единственную, большую и чистую радость в их усталой, скучной, вымороченной жизни.

ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ

Я теперь не сумею даже припомнить, какое дело или какой каприз судьбы забросили меня на целую зиму в этот маленький северный русский городишко, о котором учебники географии говорят кратко: «уездный город такой-то», не приводя о нем никаких дальнейших сведений. Очень недавно провели близ него железную дорогу из Петербурга на Архангельск, но это событие совсем не отразилось на жизни города. Со станции в город можно добраться только глубокой зимою, когда замерзают непролазные болота, да и то приходится ехать девяносто верст среди ухабов и метелей, слыша нередко дикий волчий вой и по часам не видя признака человеческого жилья. А, главное, из города нечего везти в столицу, и некому и незачем туда ехать.

Так и живет городишко в сонном безмолвии, в мирной неизвестности без ввоза и вывоза, без добывающей и обрабатывающей промышленности, без памятников знаменитым согражданам, со своими шестнадцатью церквями на пять тысяч населения, с дощатыми тротуарами, со свиньями, коровами и курами на улице, с неизбежным пыльным бульваром на берегу извилистой несудоходной и безрыбной речонки Ворожи,— живет зимою заваленный снежными сугробами, летом утопающий в грязи, весь окруженный болотистым, корявым и низкорослым лесом.

Ничего здесь нет для ума и для сердца: ни гимназии, ни библиотеки, ни театра, ни живых картин, ни концер-

тов, ни лекций с волшебным фонарем. Самые плохие бродячие цирки и масленичные балаганы оббегают этот город, и даже невзыскательный петрушка проходил через него последний раз шесть лет тому назад, о чем до сих пор жители вспоминают с умилением.

Раз в неделю, по субботам, бывает в городке базар. Съезжаются из окрестных диких деревнюшек полтора десятка мужиков с картофелем, сеном и дровами, но и они, кажется, ничего не продают и не покупают, а торчат весь день около казенки, похлопывая себя по плечам руками, одетыми в кожаные желтые рукавицы об одном пальце. А возвращаясь пьяные ночью домой, часто замерзают по дороге, к немалой прибыли городского врача.

Здесьние мешане — народ богобоязненный, суровый и подозрительный. Чем они занимаются и чем живут — уму непостижимо. Летом еще кое-кто из них копошится около реки, сгоняя лес плотами вниз по течению, но зимнее их существование таинственно. Встают они поздно, позднее солнца, и целый день глазают из окон на улицу, отпечатывая на стеклах белыми пятнами сплюсненные носы и разляпанные губы. Обедают, по-православному, в полдень, и после обеда спят. А в семь часов вечера уже все ворота заперты на тяжелые железные засовы, и каждый хозяин собственноручно спускает с цепи старого, злого, лохматого и седомордого, осиплого от лая кобеля. И храпят до утра в жарких, грязных перинах, среди гор подушек, под мирным сиянием цветных лампадок. И дико орут во сне от страшных кошмаров и, проснувшись, долго чешутся и чавкают, творя нарочитую молитву против домового.

Про самих себя обыватели говорят так: в нашем городе дома каменные, а сердца железные. Старожилы же из грамотных не без гордости уверяют, что именно с их города Николай Васильевич Гоголь списал своего «Ревизора». «Покойный папашка Прохор Сергеича самолично видел Николая Васильевича, когда они проезжали через город». Здесь все зовут и знают людей только по именам и отчествам. Если скажешь извозчику: «К Чурбанову (местный «Мюр-Мерилиз»), гривенник», — он сразу остолбенеет и, точно внезапно проснувшись, спросит: «Чего?» — «К Чурбанову, в лавку, гривенник». — «А-а! К Порфиру Алексеичу. Пожалуйте, купец, садитесь».

Здесь есть городские ряды — длинный деревянный сарай на Соборной площади, со множеством неосвещенных, грязных клетушек, похожих на темные норы, из которых всегда пахнет крысами, кумачом, дублеными овчинами, керосином и душистым перцем. В огромных волчьих шубах и прямых теплых картузах, седобородые, тучные и важные, сидят лавочники, все эти жестокие Модесты Никанорычи и Доремидонты Никифорычи, снаружи своих лавок, на крылечках, тянут из блюдечка жидкий чай и играют в шашки, в поддавки. На случайного покупателя они глядят как на заклятого врага: «Эй, мальчик, отпусти этому». Покупку ему не подают, а швыряют на прилавок, не завернувши, и каждую серебряную, золотую или бумажную монету так долго пробуют на ощупь, на свет, на звон и даже на зуб, и притом так пронзительно и ехидно на тебя смотрят, что невольно думаешь: «А ведь сейчас позовет, подлец, полицию».

Зимою, по праздникам, после обеда, этак ближе к вечеру, на главной Дворянской улице происходит купеческое катанье. Вереницей, один за другим, плывут серые в яблоках огромные пряничные жеребцы, сотрясаясь ожирелыми мясами, екая на всю улицу селезенками и громко гогоча. А в маленьких санках сидят торжественно, как буддийские изваяния, в праздничных шубах купец и купчиха — такие объемистые, что их зады наполовину свешиваются с сиденья и по левую и по правую сторону. Иногда же, нарушая это чинное движение, вдруг пронесется галопом по улице, свистя и гикая, купеческий сын Ноздров, в нарядной кучерской поддевке, с боярской шапкой набекрень, краса купеческой молодежи, победитель девичьих сердец.

Живет здесь малая кучка интеллигентов, но все они вскоре по прибытии в город поразительно быстро опускаются, много пьют, играют в карты, не отходя от стола по двое суток, сплетничают, живут с чужими женами и с горничными, ничего не читают и ничем не интересуются. Почта из Петербурга приходит иногда через семь дней, иногда через двадцать, а иногда и совсем не приходит, потому что везут ее длинным кружным путем, сначала на юг, на Москву, потом на восток, на Рыбинск, на пароходе, а зимою на лошадях и, наконец, тащат ее опять на север двести верст по лесам, болотам, косогорам и

дырявым мостам пьяные, сонные, голодные, оборванные мерзлые ямщики.

В городе получают в складчину несколько газет: «Новое время», «Свет», «Петербургская газета» и одни «Биржевые ведомости», или, как здесь их зовут, «Биржевик». Раньше и «Биржевик» выписывался в двух экземплярах, но однажды начальник городского училища очень резко заявил учителю географии и историку Кипайтулову, что «одно из двух — либо служить во вверенном мне училище, либо предаваться чтению революционных газет где-нибудь в другом месте...»

* * *

Вот в этом-то городке, в конце января, непогожим метелистым вечером я сидел за письменным столом в гостинице «Орел», или по-тамошнему «Тараканья щель», где я был единственным постояльцем. Из окон дуло, в ночной трубе завывал то басом, то визгливым сопрано разгулявшийся ветер. Унылым колеблющимся пламенем светила тоненькая, оплывшая с одного бока свеча. Я сумрачно глядел на огонь, а с бревенчатых стен меня созерцали, важно шевеля усищами, рыжие, серьезные, неподвижные тараканы. Окаянная, мертвая, зеленая скука обволокла паутиной мой мозг и парализовала тело. Что было делать до ночи? Книг со мною не было, а те номера газет, в которые были завернуты мои вещи и дорожная провизия, я прочитал столько раз, что заучил их наизусть.

И я грустно размышлял, как мне поступить: пойти ли в клуб, или послать к кому-нибудь из моих случайных знакомых за книжкой, хотя бы за специально медицинской к городскому врачу, или за уставом о наложении наказаний к мировому судье, или к лесничему за руководством по дендрологии.

Но кто же не знает этих зачолустных городских клубов, или иначе гражданских собраний? Обшарпанные обоя, висящие лохмотьями; зеркала и олеографии, засиженные мухами, заплеванной пол; по всем комнатам запах кислого теста, сырости нежилого дома и карболки из клозета. В зале два стола заняты преферансом, и тут же рядом, на маленьких столиках, водка и закуска, так, чтобы удобно было, держа одной рукой карты, другой потянуться

в миску за огурцом. Игроки держат карты под столом, или в горсточке, прикрывая их обеими ладонями, но и это не помогает, потому что ежеминутно раздаются возгласы: «Прошу вас, Сысой Петрович, вы уж, пожалуйста, глаза-напа не запускайте-с».

В бильярдной письмоводитель земского начальника играет в пирамидку с маркером огромными иззубренными временем, громыхающими на ходу шарами, дует со своим партнером водку и сыплет специальными бильярдными поговорками. В передней, под лампой с граненым рефлектором, сидя на стуле, сложив руки на животе и широко разинув рот, сладко храпит служащий мальчик. В буфете упиваются кавказским коньяком два акцизных надзирателя, ветеринар, помощник пристава и агроном, пьют на «ты», обнимаются, целуются мокрыми мохнатыми ртами, поливая друг другу шеи и сюртуки вином, поют вразброд «Не осенний мелкий дождичек» и при этом каждый дирижирует, а к одиннадцати часам двое из них непременно подерутся и натааскают друг у друга из головы кучу волос.

«Нет,— решил я,— пошлю лучше к городскому врачу за книжкой».

Но как раз в эту минуту в номер вошел босой коридорный мальчуган Федька с запиской от самого доктора, который в дружески веселом духе просил меня к себе на вечерок, то есть на чашку чая и на маленький домашний винтишко, уверяя, что будут только свои, что у них вообще все попросту, без церемоний, что регалий, лент и фраков можно не надевать и, наконец, что супругой доктора получена от мамы из Белозерска замечательных достоинств семга, из которой и будет сооружен пирог. «Sic! — восклицал шутник доктор в приписке,— и теща на что-нибудь полезна!»

Я быстро умылся, переоделся и пошел к милейшему Петру Власовичу. Теперь уже не ветер, а свирепый ураган носился со страшной силой по улицам, гоня перед собой тучи снежной крупы, больно хлеставшей в лицо и слепившей глаза. Я человек, как и большинство современных людей, почти неверующий, но мне много пришлось изъездить по проселочным зимним путям, и потому в такие вечера и в такую погоду я мысленно молюсь: «Господи,

спаси и сохрани того, кто теперь потерял дорогу и кружится в поле или в лесу со смертельным страхом в душе».

Вечер у доктора был именно такой, какими бывают эти семейные вечерки повсюду в провинциальной России, от Обдорска до Крыжополя, и от Лодейного поля до Темрюка. Сначала поили тепленьким чаем с домашним печеньем, с вонючим ромом и малиновым вареньем, мелкие косточки от которого так назойливо вязнут в зубах. Дамы сидели на одном конце стола и с фальшивым оживлением, кокетливо выпевая концы фраз в нос, говорили о дороговизне съестных припасов и дров, о развращенности прислуги, о платьях и вышивках, о способах солки огурцов и шинкования капусты. Когда они прихлебывали чай из своих чашек, то каждая непременно самым противоестественным образом оттопыривала в сторону мизинец правой руки, что, как известно, считается признаком светского тона и грациозной изнеженности.

Мужчины сгрудились на другом конце. Здесь разговор шел о службе, о суровом и непочтительном к дворянству губернаторе, о политике, главным же образом пересказывали друг другу содержание сегодняшних газет, всеми ими уже прочитанных. И смешно и трогательно было слушать, как они проникновенно и прозорливо толковали о событиях, происходивших месяц-полтора тому назад, и горячились по поводу новостей, давно уже забытых всеми на свете. Право, выходило так, точно все мы живем не на земле, а на Марсе или на Венере, или на другой какой-нибудь планете, куда видимые земные дела достигают через огромные промежутки времени в целые недели, месяцы и годы.

Затем, по заведенному издревле обычаю, хозяин сказал:

— А знаете ли что, господа? Оставим-ка этот лабиринт и сядем в винт. Алексей Николаевич, Евгений Евгеньевич, не угодно ли карточку?

И тотчас же кто-то отозвался фразой тысячелетней давности:

— В самом деле, зачем терять драгоценное время?

Неиграющих оказалось только трое: лесничий Иван Иванович Турченко, я и старая толстая дама, очень почтенного и добродушного вида, но совершенно глухая, — мамаша земского начальника. Хозяин долго уговаривал

нас устроиться выходящими и, наконец, с видом лицемерного соболезнования, решил оставить нас в покое. Правда, он несколько раз, в те минуты, когда была не его очередь сдавать, торопливо забежал к нам и, потирая руки, спрашивал: «Ну, что? Как вы здесь? Не очень соскучились? Может быть, вам прислать сюда винца или пива?.. Нехорошо. Кто не пьет, не играет и не курит,— тот подозрительный элемент в обществе. А что же вы вашу даму не занимаете?»

Мы пробовали ее занимать. Заговорили сначала о погоде и о санном пути. Толстая дама кротко улыбнулась нам и ответила, что, правда, она, когда была помоложе, то играла в мушку, или, по-нынешнему, рамс, но теперь забыла и даже в фигурах плохо разбирается. Потом я проревел ей над ухом что-то о здоровье ее внучат, она ласково закивала головой и сказала участливо: «Да, да, да, бывает, бывает, у меня у самой к дождю поясницу ломит»,— и достала из мешочка какое-то вязанье. Мы не рисковали больше приставать к доброй старушке.

У доктора был прекрасный, огромный диван, обитый нежной желтой кожей, в котором так удобно было развалиться. Мы с Турченко никогда не скучали, оставаясь вместе. Нас тесно связывали три вещи: лес, охота и любовь к литературе. Мне уже приходилось бывать с ним раз пятнадцать на медвежьих, лисьих и волчьих облавах и на охотах с гончими. Он был прекрасным стрелком и однажды при мне свалил рысь с верхушки дерева выстрелом из штуцера на расстоянии более трехсот шагов. Но охотился он только на зверя, да еще на зайцев, на которых даже ставил капканы, потому что от души ненавидел этих вредителей молодых лесных насаждений. Затаенной и, конечно, недостижимой его мечтой была охота на тигра. Он собрал даже целую библиотеку, об этом благородном спорте. На птицу он никогда не охотился и сурово запретил у себя в лесу всякую весеннюю охоту. «Мне в моем хозяйстве птица — первый помощник»,— говорил он серьезно. За такую чрезмерную строгость его недолюбливали.

Это был крепкий, маленький, смуглолицый желчный холостяк, с горячими и насмешливыми черными глазами, с сильной проседью в черных растрепанных волосах. Он был совсем одинок, настоящий бобыль, растерявший

давно всех родственников и друзей детства, и в нем до сих пор еще сохранилось очень много тех безалаберных и прекрасных, грубых и товарищеских качеств, по которым так нетрудно узнать бывшего студента лесного, ныне упраздненного, факультета знаменитой когда-то Петровской академии, что процветала в сельце Петровско-Разумовском под Москвой.

Он очень редко показывался в уездном свете, потому что три четверти жизни проводил в лесу. Лес был его настоящею семьею и, кажется, единственной страстной привязанностью в жизни. В городе над ним за глаза посмеивались и считали чудаком. Имея полную и бесконтрольную возможность подторговывать в свою пользу лесными деланками, отводимыми на сруб, он жил только на свое полторастарублевое жалованье, жалованье — поистине нищенское, если принять во внимание ту культурную, ответственную и глубоко важную работу, которую самоотверженно нес на своих плечах целые двадцать лет этот удивительный Иван Иванович. Право, только среди чинов лесного корпуса, в этом распробабытом из всех забытых ведомств, да еще среди земских врачей, загнанных, как почтовые клячи, мне и приходилось встречать этих чудаков, фанатиков дела и бесребренников.

Много лет тому назад Турченко подал в военное министерство докладную записку о том, что в случае оборонительной войны лесники благодаря прекрасному знанию местности могут очень пригодиться армии как разведчики и как проводники партизанских отрядов, и потому предложил комплектовать местную стражу из людей, окончивших специальные шестимесячные курсы. Ему, конечно, как водится, ничего не ответили. Тогда он, на собственный риск и на совесть, обучил практически всех своих лесников компасной и глазомерной съемке, разведочной службе, устройству засек и волчьих ям, системе военных донесений, сигнализации флажками и огнем и многим другим основам партизанской войны. Ежегодно он устраивал подчиненным состязания в стрельбе и выдавал призы из своего скудного кармана. На службе он завел дисциплину, более суровую, чем морская, хотя в то же время был кумом и посаженным отцом у всех лесников.

Под его надзором и охраной было двадцать семь тысяч десятин казенного леса, да еще, по просьбе миллионеров братьев Солодаевых, он присматривал за их громадными, прекрасно сохранными лесами в южной части уезда. Но и этого ему было мало: он самовольно взял под свое покровительство и все окрестные, смежные и чересполосные крестьянские леса. Совершая для крестьян за гроши, а чаще безвозмездно разные межевые работы и лесообходные съемки, он собирал сходы, говорил горячо и просто о великом значении в сельском хозяйстве больших лесных площадей и заклинал крестьян беречь лес пуще глаза. Мужики его слушали внимательно, сочувственно кивали бородами, вздыхали, как на проповеди деревенского попа, и поддакивали: «Это ты верно... что и говорить... правда ваша, господин лесницын... Мы что? Мы мужики, люди темные...»

Но уж давно известно, что самые прекрасные и полезные истины, исходящие из уст господина лесницына, господина агронома и других интеллигентных радетелей, представляют для деревни лишь простое сотрясение воздуха.

На другой же день добрые поселяне пускали в лес скот, объедавший дочиста молодняк, драли лыко с нежных, неокрепших деревьев, валили для какого-нибудь забора или оконницы строевые ели, просверливали стволы берез для вытяжки весеннего сока на квас, курили в сухостойном лесу и бросали спички на серый высохший мох, вспыхивающий как порох, оставляли непогашенными костры, а мальчишки-пастушонки, те бессмысленно поджигали у сосен дупла и трещины, переполненные смолою, поджигали только для того, чтобы посмотреть, каким веселым, бурливым пламенем горит янтарная смола.

Он упрашивал сельских учителей внедрять ученикам уважение и любовь к лесу, подбивал их вместе с деревенскими батюшками, — и, конечно, бесплодно, — устраивать праздники лесонасаждения, приставал к исправникам, земским начальникам и мировым судьям по поводу хищнических порубок, а на земских собраниях так надоел всем своими пылкими речами о защите лесов, что его перестали слушать. «Ну, понес философ свой обычный вздор», — говорили земцы и уходили курить, оставляя Турченку

разглагольствовать, подобно проповеднику Беде, перед пустыми стульями.

Но ничто не могло сломить энергии этого упрямого хохла, пришедшегося не по шерсти сонному городишке. Он, по собственному почину, укреплял кустарником речные берега, сажал хвойные деревья на песчаных пустырях и облеснял овраги. На эту тему мы и говорили с ним, свернувшись на обширном докторском диване.

— В оврагах у меня теперь столько нанесло снегу, что лошадь уйдет с дугой. А я радуюсь, как ребенок. В семь лет я поднял весеннюю высоту воды в нашей поганой Вороже на четыре с половиной фута. Ах, если бы мне да рабочие руки! Если бы мне дали большую неограниченную власть над здешними лесами. Через несколько лет я бы сделал Мологу судоходной до самых истоков и поднял бы повсюду в районе урожайность хлебов на пятьдесят процентов. Клянусь господом богом, в двадцать лет можно сделать Днепр и Волгу самыми полноводными реками в мире,— и это будет стоить копейки! Можно увлажнить лесными посадками и оросить арыками самые безводные губернии. Только сажайте лес. Берегите лес. Осушайте болота, но с толком...

— А что же ваше министерство смотрит? — спросил я лукаво.

— Наше министерство — это министерство непротivления злу,— ответил Турченко с горечью.— Всем все равно. Когда я еду по железной дороге и вижу сотни поездов, нагруженных лесом, вижу на станциях необозримые штабели дров,— мне просто плакать хочется. И сделай я сейчас доступными для плотов наши лесные речонки — все эти Звани, Ижины, Холменки, Ворожи,— знаете ли, что будет? Через два года уезд станет голым местом. Помещики моментально сплавят весь лес в Петербург и за границу. Честное слово, у меня иногда руки опускаются и голова трещит. В моей власти самое живое, самое прекрасное, самое плодотворное дело, и я связан, я ничего не смею предпринять, я никем не понят, я смешон, я беспокойный человек. Надоело. Тяжело. Посмотрите, что их всех интересует: поесть, поспать, выпить, поиграть в винтишко. Ничего не любят: ни родины, ни службы, ни людей,— любят только своих сопливых ребятишек. Никого ничем не разбудишь, не заинтересуешь. Кругом

пошлость. Знаешь наперед, кто что скажет при любом обстоятельстве. Все оскудели умами, чувствами, даже простыми человеческими словами...

Мы замолчали. Из гостиной с четырех столов доносились до нас возгласы играющих:

«Скажу, пожалуй, малю-у-усенькие трефишки».

«Подробности письмом, Евграф Платоныч».

«Пять без козырей?»

«Подвинчиваете?»

«Наше дело-с».

«Рискнем... Малютка, шлем нося».

«Ваша игра. Мы в кусты».

«Да-а, куплено. Ни одного человеческого лица. Так и будет, как купили».

«Игра высокого давления».

«Что? Стала она призадумывать себя?»

«Василь Львович, больше четверти часа думать не полагается. Захаживайте».

«Ваше превосходительство, карты поближе к орденам. Я вашего валета бубен вижу».

«А вы не глядите...»

«Не могу, с детства такая привычка, если кто веером карты держит».

«Не угодно ли вам сей финик раскусить?»

Турченко нагнулся ко мне, улыбаясь, и сказал:

— Сейчас кто-нибудь скажет: «Не ходи одна, ходи с маменькой», а другой заметит: «Верно, как в аптеке».

«Какие же вы мне черви показывали? Валет сам третей с фосками? Это поддержка, по-вашему?»

«Я думал...»

«Думал индейский петух, да и тот подох от задумчивости».

«А вы зачем своего туза засолили? Мариновать его думаете?»

«Не с чего, так с бубен!»

«А что вы думаете об этой прекрасной даме?»

«А мы ее козырем».

«Правильно,— одобрил густым баритоном соборный священник,— не ходи одна, ходи с провожатым».

«Позвольте, позвольте, да вы, кажется, давеча козыря не давали?»

«Оставьте, батенька... Ребенка пришлите, не обсчитаем... У нас верно, как в палате мер и весов».

— Слушайте, Иван Иванович,— обратился я к лесничему,— не удрать ли нам? Знаете, по-английски, не прощаясь.

— Что вы, что вы, дорогой мой. Уйти без ужина, да еще не прощаясь. Худшего оскорбления для хозяина трудно придумать. Вовек вам не забудут. Прослывете невежей и зазнайкой.

Но толстый Петр Власович, еще больше разбухший и сизо побагровевший от жары, долгого сиденья и счастливой игры, уже встал от карт и говорил, обходя игроков:

— Господа, господа... Пирог стынет, и жена сердится. Господа, последняя партия.

Гости выходили из-за столов и, в веселом предвкушении выпивки и закуски, шумно толпились во всех дверях. Еще не утихали карточные разговоры: «Как же это вы, благодетель, меня не поняли? Я вам, кажется, ясно, как палец, сказал по первой руке бубны. У вас дама, десятка — сам-четверт». — «Вы, моя прелесть, обязаны были меня поддержать. А лезете на без козырей! Вы думаете, я ваших тузов не знал?» — «Да позвольте же, мне не дали разговориться, вот они как взвинтили». — «А вы — рвите у них. На то и винт. Трусы в карты не играют...»

Наконец хозяйка произнесла:

— Господа, милости прошу закусить.

Все потянулись в столовую, со омешкой, с шуточками, возбужденно потирая руки. Стали рассаживаться.

— Мужья и жены врозь,— командовал весельчак хозяин.— Они и дома друг другу надоели.

И при помощи жены он так перетасовал гостей, что парочки, склонные к флирту или соединенные давнишней, всему городу известной связью, очутились вместе. Эта милая предупредительность всегда принята на семейных вечерах, и потому нередко, нагнувшись за упавшей салфеткой, одинокий наблюдатель увидит под столом переплетенные ноги, а также руки, лежащие на чужих коленях.

Пили очень много: мужчины «простую», «слезу», «государственную», дамы — рябиновку; пили за закуской, за пирогом, зайцем и телятиной. С самого начала ужина

закурили, а после пирога стало шумно и дымно, и в воздухе замелькали руки с ножами и вилками.

Говорили о закусках и разных удивительных блюдах с видом заслуженных гастрономов. Потом об охоте, о замечательных собаках, о легендарных лошадях, о прото-дьяконах, о певнях, о театре и, наконец, о современной литературе.

Театр и литература — это неизбежные коньки всех русских обедов, ужинов, журфиксов и файф-о'клоков. Ведь каждый обыватель когда-нибудь да играл на любительском спектакле, а в золотые дни студенчества неистовствовал на галерке в столичном театре. Точно так же каждый в свое время писал в гимназии сочинение на тему «Сравнительный очерк воспитания по «Домострою» и по «Евгению Онегину», и кто же не писал в детстве стихов и не сотрудничал в ученических газетах? Какая дама не говорит с очаровательной улыбкой: «Представьте, я вчера ночью написала огромное письмо моей кузине — шестнадцать почтовых листов кругом и мелко-мелко, как бисер. И это, вообразите, в какой-нибудь час, без единой пометки! Замечательно интересное письмо. Я нарочно попрошу Надю прислать мне его и прочту вам. На меня как будто нашло вдохновение. Как-то странно горела голова, дрожали руки, и перо точно само бежало по бумаге». И какая из провинциальных дам и девиц не доверяла вам для чтения вслух, вдвоем, своих классных дневников, поминутно вырывая у вас тетрадку и восклицая, что здесь нельзя читать?

Говорить, ходить по сцене и писать — всем кажется таким легким, пустяшным делом, что эти два, самые доступные, повидимому, своею простотой, но поэтому и самые труднейшие, сложные и мучительные из искусств — театр и художественная литература — находят повсеместно самых суровых и придирчивых судей, самых строптивых и пренебрежительных критиков, самых злобных и наглых хулителей.

Мы с Турченко сидели на конце стола и только слушали со скукой и раздражением этот беспорядочный, самоуверенный, крикливый разговор, поминутно сбивавшийся на клевету и сплетню, на подсматривание в чужие спальни. Лицо у Турченко было усталое и точно побурело и изжелта.

— Нездоровится? — спросил я тихо.

Он поморщился.

— Нет... так... уж очень надоело... Все одно и то же долбят... дятлы.

Мировой судья, помещавшийся по правую руку от хозяйки, отличался очень длинными ногами и необыкновенно коротким туловищем. Поэтому, когда он сидел, то над столом, подобно музейным бюстам, возвышались только его голова и половина груди, а концы его пышной раздвоенной бороды нередко окунались в соус. Пережевывая кусок зайца в сметанном соусе, он говорил с вескими паузами, как человек, привыкший к общему вниманию, и убедительно подчеркивал слова движениями вилки, зажатой в кулак:

— Не понимаю теперешних писателей... Извините. Хочу понять и не могу... отказываюсь. Либо балаган, либо порнография... Какое-то издевательство над публикой... Ты, мол, заплати мне рубль целковый своих кровных денег, а я за это тебе покажу срамную ерунду.

— Ужас, ужас, что пишут! — простонала, схватившись за виски, жена акцизного надзирателя, уездная Мессалина, не обходившая вниманием даже своих кучеров. — Я всегда мою руки с одеколоном после их кннг. И подумать, что такая литература попадает в руки нашим детям!

— Совершенно верно! — воскликнул судья и утонул бакенбардами в красной капусте. — А главное, при чем здесь творчество? вдохновение? ну, этот, как его... полет мысли? Так ведь и я напишу... так каждый из нас напишет... так мой письмоводитель настряпает, на что уж идиот совершеннейший. Возьми перетасуй всех ближних и дальних родственников, как колоду карт, и выбрасывай попарно. Брат влюбляется в сестру, внук соблазняет собственного дедушку... Или вдруг безумная любовь к ангорской кошке, или к дворникову сапогу... Ерунда и чепуха!

— А все это революция паршивая виновата, — сказал земский начальник, человек с необыкновенно узким лбом и длинным лицом, которого за наружность еще в полку прозвали кобылячьей головой. — Студенты учиться не хотят, рабочие бунтуют, повсеместно разврат. Брак не признают. «Любовь должна быть свободна». Вот вам и свободная любовь.

— А главное — жида! — прохрипел с трудом седоусый, задыхающийся от астмы, помещик Дудукин.

— И масоны, — добавил твердо исправник, выслужившийся из городских, миролюбивый взяточник, игрок и хлебосол, собственноручно подававший губернатору ка-лоши при его проезде.

— Масоны не знаю, а жида знаю, — сердито уперся Дудукин. — У них кагал. У них: один пролез — другого потащил. Непременно подписываются русскими фамилиями, и нарочно про Россию мерзости пишут, чтобы дескри... дескри... дескрити... ну, как его!.. словом, чтобы замарать честь русского народа.

А судья продолжал долбить свое, разводя руками с зажатými в них вилкой и ножом и опрокидывая бородой рымку:

— Не понимаю и не понимаю. Выверты какие-то... Вдруг ни с того ни с сего «О, закрой свои бледные ноги». Это что же такое, я вас спрашиваю? Что сей сон значит? Ну, хорошо, и я возьму и напишу: «Ах, спрячь твой красный нос!» и точка. И все. Чем же хуже, я вас спрашиваю?

— Или еще: в небеса запустил ананасом, — поддержал кто-то.

— Да-с, именно ананасом, — рассердился судья. — А вот я на днях прочитал у самого ихнего модного: «Летает буревестник, черной молнии подобный». Как? Почему? Где же это, позвольте спросить, бывает черная молния? Кто из нас видел молнию черного цвета? Чушь!

Я заметил, что при последних словах Турченко быстро поднял голову. Я оглянулся на него. Его лицо осветилось странной улыбкой — иронической и вызывающей. Казалось, что он хочет что-то возразить. Но он промолчал, дрогнул сухими скулами и опустил глаза.

— А главное, о чем пишут? — вдруг заволновался, точно мгновенно вскипевшее молоко, молчаливый страховый агент. — Там — символ символом, это их дело, но мне вовсе не интересно читать про пьяных босяков, про воришек, про... извините, барыни, про разных там проституток и прочее...

— Про повешенных тоже, — подсказал акцизный надзиратель, — и про анархистов, и еще про палачей.

— Верно, — одобрил судья. — Точно у них нет других тем. Писали же раньше... Пушкин писал, Толстой,

Аксаков, Лермонтов. Красота! Какой язык! «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, светят звезды...» — Эх, чорт, какой язык был, какой слог!

— Удивительно! — сказал инспектор народных училищ, блестя умиленными глазками из-под золотых очков и потряхивая острой рыженькой бородкой. — Поразительно! А Гоголь! Божественный Гоголь! Помните у него...

И вдруг он загудел глухим, могильным, завывающим голосом и вслед за ним также затянул нараспев земский начальник:

— «Чу-уден Дне-епр при ти-ихой пого-о-де, когда вольно и пла-авно...» Ну, где найдешь еще такую красоту и музыку слов!..

Соборный священник сжал свою окладистую сивую бороду в кулак, прошел по ней до самого конца и сказал, упирая на «о».

— Из духовных были также почтенные писатели: Левитов, Лёсков, Помяловский. Особенно последний. Обличал, но с любовью... хо-хо-хо... вселенская смазь... на воздушях... Но о духовном пении так писал, что и до сей поры, читая, невольно прольешь слезу.

— Да, наша русская литература, — вздохнул инспектор, — пала! А раньше-то? А Тургенев? А? «Как хороши, как свежи были розы». Теперь так уж не напишут.

— Куда! — прохрипел дворянин Дудукин. — Прежде дворяне писали, а теперь пошел разночинец.

Робкий начальник почтовой конторы вдруг зашепелявил:

— Однако теперь они какие деньги-то гребут! Ай-ай-ай... страшно вымолвить... Мне племянник студент летом рассказывал. Рубль за строку, говорит. Как новая строка — рубль. Например: «в комнату вошел граф» — рубль. Или просто с новой строки «да» — и рубль. По полтиннику за букву. Или даже еще больше. Скажем, героя романа спрашивают: «Кто отец этого прелестного ребенка?» А он коротко отвечает с гордостью: «Я». И пожалуйста: рубль в кармане.

Вставка начальника почтовой конторы точно открыла шлюз вонючему болоту сплетни. Со всех сторон посыпались самые достоверные сведения о жизни и заработках писателей. Такой-то купил на Волге старинное княжеское имение в четыре тысячи десятин с усадьбою и дворцом.

Другой женился на дочери нефтепромышленника и взял четыре миллиона приданого. Третий пишет всегда пьяным и выпивает в день четверть водки, а закусывает только пастилой. Четвертый отбил жену своего лучшего друга, а двое декадентов, те просто по взаимному уговору поменялись женами. Кучка модернистов составила тесный содомский кружок, известный всему Петербургу, а один знаменитый поэт странствует по Азии и Америке с целым гаремом, состоящим из женщин всех наций и цветов.

Теперь говорили все разом, и ничего нельзя было разобрать. Ужин подходил к концу. В недопитых рюмках и в тарелках с недоеденным лимонным желе торчали окурки. Гости наливались пивом и вином. Священник разлил на скатерть красное вино и старался засыпать лужу солью, чтобы не было пятна, а хозяйка уговаривала его с милой улыбкой, кривившей правую половину ее рта вверх, а левую вниз:

— Да оставьте, батюшка, зачем вам затруднять себя? Это отмоется.

Между дамами, подпившими рябиновки и наливки, уже несколько раз промелькнули неизбежные шпильки и намеки. Исправничиha похвалила жену страхового агента за то, что она с большим вкусом освежила свое прошлогоднее платье — «совсем и узнать нельзя». Страховиха ответила с нежной улыбкой, что она, к сожалению, не может по два раза в год выписывать себе новые платья из Новгорода, что они с мужем — люди хотя бедные, но честные, и что им неоткуда брать взяток. «Ах, взятки — это ужасная пошлость! — охотно согласилась исправничиha, — и вообще на свете много гадости, а вот еще бывает, что некоторых замужних дам поддерживают чужие мужчины». Это замечание перебила уже акцизная надзирательница и заговорила что-то о губернаторских калошах. В воздухе назревала буря, и уже висел над головами обычный трагический взглас: «Моей ноге не будет больше в этом доме!» — но находчивая хозяйка быстро предупредила катастрофу, встав из-за стола со словами:

— Прошу извинить, господа. Больше ничего нету.

Поднялась суматоха. Дамы с пылкой стремительностью целовали хозяйку, мужчины жирными губами лобызали у нее руку и тискали руку доктора. Большая часть гостей вышла в гостиную к картам, но несколько человек

осталось в столовой допивать коньяк и пиво. Через несколько минут они запели фальшиво и в унисон «Не осенний мелкий дождичек», и каждый обеими руками управлял хором. Этим промежутком мы с лесничим воспользовались и ушли, как нас ни задерживал добрейший Петр Власович.

* * *

Ветер к ночи совсем утих, и чистое, безлунное, синее небо играло серебряными ресницами ярких звезд. Было призрачно светло от того голубоватого фосфорического сияния, которое всегда излучает из себя свежий, только что улегшийся снег.

Лесничий шел со мной рядом и что-то бормотал про себя. Я давно уже знал за ним эту его привычку разговаривать с самим собою, свойственную многим людям, живущим в безмолвии,— рыбакам, лесникам, ночным караульщикам, а также тем, которые перенесли долготнее одиночное заключение,— и я перестал обращать на эту привычку внимание.

— Да, да, да...— бросал он отрывисто из воротника шубы.— Глупо... Да... Гм... Глупо, глупо... И грубо... Гм...

На мосту через Ворожу горел фонарь. С всегдашним странным чувством немного волнующей, приятной бережности ступал я на ровный, прекрасный, ничем не запятнанный снег, мягко, упруго и скрипуче подававшийся под ногою. Вдруг Турченко остановился около фонаря и обернулся ко мне.

— Глупо! — сказал он громко и решительно.— Поверьте мне, милый мой,— продолжал он, слегка прикасаясь к моему рукаву,— поверьте, не режим правительства, не скудость земли, не наша бедность и темнота виноваты в том, что мы, русские, плетемся в хвосте всего мира. А все это сонная, ленивая, ко всему равнодушная, ничего не любящая, ничего не знающая провинция, все равно — служащая, дворянская, купеческая или мещанская. Посмотрите на них, на сегодняшних. Сколько апломба, сколько презрения ко всему, что вне их куриного кругозора! Так, походя, и развешивают ярлыки: «Ерунда, чепуха, вздор, дурак...» Попуган! И главное,— он, видите ли, этого и этого не понимает, и, стало быть, это уже плохо и смешно. Так ведь он дифференциального исчисления

не понимает — значит, и оно — чепуха? И Пушкина не понимали. И Чехова недавно не понимали. Говорили о его «Степи»: что за чушь — овечьи мысли! Да разве овцы думают? «Цветы улыбались мне в тишине, спросонок...» Ерунда! Разве цветы когда-нибудь смеются! И нынче ведь тоже. «Я, говорит, сам так напишу...»

— А насчет черной молнии? — спросил я.

— Да, да.. «Где же это бывает черная молния?» Премилый человек этот судья, но что он видел в своей жизни? Он — школьный и кабинетный продукт... А я вам скажу, что я сам собственными глазами видел черную молнию и даже раз десять подряд. Это было страшно.

— Вот как, — молвил я недоверчиво.

— Именно так. Я с детства в лесу, на реке, в поле. Я видел и слышал поразительные вещи, о которых не люблю рассказывать, потому что все равно не поверят. Я, например, наблюдал не только любовные хороводы журавлей, где они все пляшут и поют огромным кругом, а парочка танцует посредине, — я видел их суд над слабым перед осенним отлетом. Я мальчишкой-реалистом, живучи в Полесье, видел град с большой мужской кулак величиною, гладкими ледышками, но не круглой формы, а в виде как бы шляпки молодого белого гриба, и плоская сторонка слоистая. В пять минут этот град разбил все окна в большом помещицком доме, оголил все тополи и липы в саду, а в поле убил насмерть множество мелкого скота и двух подпасков. Глубокой зимою, в день ужасного мессинского землетрясения, утром, я был с гончими у себя на Бильдине. И вот часов в десять—одиннадцать на совершенно безоблачном небе вдруг расцвела радуга. Она обоими концами касалась горизонта, была необыкновенно ярка и имела в ширину градусов сорок пять, а в высоту двадцать—двадцать пять. Под ней, такой же аркой, изгибалась другая радуга, но несколько слабее цветом, а дальше третья, четвертая, пятая, и все бледнее и бледнее — какой-то сказочный семицветный коридор. Это продолжалось минут пятнадцать. Потом радуги растаяли, набежали мгновенно бог знает откуда тучи и повалили сплошной снежище.

Я видел лесные пожары. Я видел, как ураган валил пятисаженный сухостой. Да, я был тогда в лесу с объездчиком, лесниками и рабочими, и на моих глазах сотни

громадных деревьев валились, как спички. Тогда объездчик Нелидкин стал на колени и снял шапку. И все сделали то же самое. И я. Он читал «Отче наш», и мы крестились, но мы не слышали его голоса из-за треска падающих деревьев и ломающихся сучьев. Вот, что я видел в своей жизни. Но также я видел и черную молнию, и это было ужаснее всего. Постойте,— перебил Турченко себя,— мы у моего дома. Зайдем ко мне. Михеевна будет ругаться, но ничего. Я вас за это угощу третьегодняшним квасом. Сегодня, благословясь, почнем.

Михеевна, старая суровая служанка лесничего, и его чудный яблочный квас были известны всему городу. Старуха приняла нас строго и долго ворчала, бродя со свечой по комнатам и лазая по шкафам: «Непутевые, полуночники, мало им дня, по ночам бродят, добрым людям спать не дают». Но квас был выше всех похвал. Он бродил долго сначала в дубовой бочке на хмеле и на дрожжах, с изюмом, коньяком и каким-то ликером, потом отстаивался три года в бутылках и теперь был крепок, играл, как шампанское, и весело и холодно сушил во рту, немного пьянил и в то же время освежал.

— Вот как это было,— говорил Турченко, расхаживая в заячьей курточке по своему кабинету, увешанному картинами с изображением тигров.— Я студентом приехал на каникулы в самую глушь Тверской губернии к своему двоюродному брату Николаю — к Коке,— так мы его называли. Он был когда-то блестящим молодым человеком, с лицейским образованием, с большими связями и великолепной карьерой впереди, и прекрасно танцевал на настоящих светских балах, обожал актрис из французской оперетки и новодеревенских цыганок, пил шампанское, по его словам, как крокодил, и был душой общества. Но в один миг, буквально вмиг, все Кокино благополучие рухнуло. Однажды утром он проснулся и с ужасом убедился в том, что всю правую сторону его тела разбил паралич. Из самолюбия и из гордости он обрек себя на добровольное изгнание и поселился в деревне.

Но он вовсе не утратил ясности и бодрости духа и с легкой иронией называл себя велосипедистом, потому что принужден был передвигаться, сидя в трехколесном кресле, которое сзади катил его слуга Яков. Он много ел и пил,

много спал, писал на пишущей машинке пресмешные нецензурные письма в стихах и часто менял деревенских любовниц, которым давал громкие имена королевских фавориток, вроде Ла-Вальер, Монтеспан и Помпадур.

Однажды, заряжая или разряжая браунинг, с которым Кока никогда не расставался, он прострелил своему Якову ногу. По счастью, пуля попала очень удачно, пройдя сквозь мякоть ляжки и пробив, кроме того, две двери на-вылет. Это событие почему-то тесно сдружило барина и слугу. Они положительно не могли жить друг без друга, хотя и ссорились нередко: Кока, рассердясь, тыкал метко Якову в живот костылем, а Яков тогда сбегал на несколько часов из дому и не являлся на зов, оставляя Коку в беспомощном состоянии.

Яков был в душе прекрасный охотник: неутомимый, несмотря на свою хромоту, с хорошей памятью местности, с большим знанием тех неуловимых причин, по которым угадываешь качество и количество дичи. Мы с ним часто ходили на простую мужицкую, очень трудную охоту, то есть без собаки, а с подкраду, требующую большого внимания и терпения. Надо сказать, что Кока неохотно отпускал со мною Якова, — без него он был, как без своих единственных руки и ноги. Поэтому, чтобы выпросить Якова, приходилось прибегать к хитростям. Ничто так не располагало Коку к великодушию, как расспросы о его прежней, веселой жизни, когда он считался львом гостиных и милым завсегдатаем шикарных ресторанов.

И так однажды, заведя эту Кокину шарманку и нальстив ему без всякой меры, я умудрился похитить Якова на целую неделю. Пошли мы с ним в дальнюю деревушку Бурцево, где у Коки были лесные участки и славные болотца. Бурцевский мужик Иван, он же и Кокин лесник, говорил, что на Высоком, в Раменье и на Блинове развелось столько глухарей, тетерок, рябчиков, бекасов, дупелей и уток, что просто видимо-невидимо. «Хоть палкой бей, хоть шапкой накрывай».

Мы долго собирались, поздно вышли и пришли в Бурцево к вечерней заре. Ивана не было, он, оказывается, ушел к свояку в Окунево, где праздновали престол. Приняла нас его жена Авдотья, худая пучеглазая баба, похожая лицом на рыбу, и такая веснушчатая, что белая кожа

только лишь кое-где редкими проблесками проступала на ее щеках сквозь коричневую маску.

В избе было душно, жужжало множество мух и пахло чем-то противно кислым. В зыбке верещал безумолка ребенок. Авдотья захлопотала.

— Мой-то еще, не знаю,— вернется, не вернется ли. Больно ладное пиво варят в Окуневе. А где пиво — там и Иван. Да вы погодите, кормильцы, я вас своим пивом напою. На спаса варила... Не гораздо густо пиво-то, до-
ливали мы его, а вкусное было да сладкое.

Она подняла за кольцо тяжелую крышку подвала, спустилась туда и через минуту вылезла с большим ковшом домашнего пива. Пока она разливала нам его, я спросил, указав на кричавшего младенца:

— Сколько месяцев ребенку-то?

— Ме-ся-цев? — удивилась баба. — Что ты, кормилец, господь с тобой. Только вчера вечером родила. Какой там месяцев? Вчера ровно в это время родила. Кушайте, кормильцы, не знаю, как звать-то вас... Вчера только родила. Вот как.

Я невольно сказал:

— Вот так фунт.

Но Яков заметил равнодушно и презрительно.

— Это им нипочем. Они привычны. Им — как чихнуть.

Иван все не приходил, должно быть загулял. Пиво было теплое, и в нем плавали мухи. На стены, ради невиданных гостей, сползались из всех углов тараканы. Мы поглядели, посидели и пошли спать в сарай на сено. Не люблю я спать на болотном сене. Сучки какие-то и толстые стебли прут в спину, голова затекает, в носу крутит от мелкой сенной пыли, нельзя курить. Долго я не мог заснуть и все прислушивался к ночным звукам: коровы и лошади где-то сильно и тяжело вздыхали, переступали ногами, ворочались и время от времени тяжело и густо шлепали, перепела кричали в далеких росистых овсах, скрипел своим деревянным скрипом неутомимый дергач.

Заснул я перед зарей, а встали мы очень поздно, в девять часов. Было уже жарко. День обещал быть знойным. Небо простиралось бледное, томное, изнемогающее, похожее цветом на голубой выцветший и вылинявший шелк.

Ивана все еще не было. Мы пошли одни. Сельцо — вернее, выселки — Бурцево состояло всего из трех дворов и

расположилось на вершине большого холма, по отлогостям которого спускались пашни и поля. А подножие холма упиралось в болото, растянувшееся бог знает на сколько сот, может быть даже тысяч, десятин. Верстах в трех вдали виднелся волнистый синий хребет — сосновый лес на островке Высоком, куда вела узкая извилистая непроезжая тропинка. Вся же остальная окрестность была сплошь покрыта мелким кустарником, среди которого там и сям блестели на солнце, точно капли разбросанной ртути, изгибы местных болотистых речонков: Тристенки, Холменки и Звани.

Тяжелый нам выдался день. Парило невыносимо, и через час мы были так мокры от пота, что хоть выжимай. Надоедливая микроскопическая мошкара вилась кучами над головой, залезала в глаза, в нос, в уши и доводила до бессильного бешенства, когда с яростью хлопаешь себя по щекам, размазывая насекомых по лицу, как кашу.

Много раз мы с Яковом теряли друг друга в густом, местами непроходимом кустарнике. Один раз сучок задел за собачку моего ружья, и оно неожиданно выстрелило. От мгновенного испуга и от громкого выстрела у меня тотчас же разболелась голова и так и не переставала болеть целый день, до вечера. Сапоги промокли, в них хлюпала вода, и отяжелевшие, усталые ноги каждую секунду спотыкались о кочки. Кровь тяжело билась под черепом, который мне казался огромным, точно разбухшим, и я чувствовал больно каждый удар сердца.

Приходилось то и дело переходить речонки вброд или по лавам, которые представляют из себя не что иное, как два или три тонких деревца, связанных лыком или прутьями, переброшенных поперек реки и укрепленных несколькими парами шатких кольев, вколоченных в дно. Но всего неприятнее были переходы по открытым местам, совсем голубым от бесчисленных незабудок, от которых так остро, травянисто и приторно пахло. Здесь почва ходила и зыбилась под ногами, а из-под ног, хлюпая, била фонтанчиками черная вонючая вода.

Мы заблудились и лишь далеко за полдень добрались до Высокого. Небо теперь было все в тяжелых, неподвижных, пухлых облаках. Мы поели холодного мяса с хлебом, напились воды, пахнувшей ржавчиной и болотным газом, потом развели из можжевельника ароматный костер от

комаров и — сам уж не знаю, как это случилось, — заснули внезапным тяжелым сном.

Я первый проснулся. Все вокруг страшно, грозно и жутко потемнело, а зелень болотного кустарника качалась и отливала серой сталью. Все небо обложили громоздкие лиловые и фиолетовые тучи с разорванными серыми краями. Начиная вдали глухо ворчать гром. Я заторопился.

— Ну, Яков, домой. Дай бог добраться. Ходу!

Но, сойдя с острова, возвышавшегося среди болота, мы тотчас же заблудились и стали бестолку бродить зигзагами по кустарнику, отступая в сторону от рек, обходя трясины и густые чашобы, теряя друг друга, спеша, путаясь и сердясь.

Стало уже совсем темно, и гром рокотал еще далеко, но уже не затихая ни на мгновение, когда Яков, шедший впереди и казавшийся мне издали темным длинным, неясным, шатающимся столбом, вдруг крикнул:

— Есть дорога!

Да, это была узкая, болотная дорога, кое-где укрепленная поперек хворостом, со следами лошадиного помета. И к нашей радости мы тотчас услышали невдалеке стук телеги. Быстро-быстро, совсем заметно для глаза, надвигалась тьма. Только на западе, низко над землей, рдела узкая длинная кровавая полоса, отороченная сверху тесьмой из расплавленного золота.

Подъехала телега. В ней сидело двое: баба правила, дергая локтями и вытянув прямо перед собою ноги, как умеют сидеть только деревенские женщины, а старик, немного хмельной, дремал позади. Он проснулся, когда испугавшаяся нас лошадь стала храпеть, артачиться и боком лезть в болото. Мы стали расспрашивать старика про дорогу на Бурцево. Но он тянул и мямлил:

— На Бурцево вам, милые? А вы сами-то чьи будете?

— Ничьи. Из Демцына. От Николая Всеволодыча.

— Знаем, знаем. Только вы, милые, не туда идете. Вам надо податься сейчас во-он куда, прямо на восход. Прямо по стрельбии. Вы что же, рендатели будете в Демцыне?

— Нет, я проезжий, родич демцынского барина.

— А, так, так, так... Сродственник, значит? До Бурцева вам звона прямо куда. Так прямо по стрельбам и вдаряйте. С охотой, значит, ходили?..

Но мы не успели ответить. Из кустов послышалось пугливое коканье, хлопанье мощных крыльев, и шагах в десяти от нас с шумом поднялся большой тетеревиный выводок, чернея на алой полосе зари. Мы с Яковым, почти одновременно выстрелили, не целясь, раз за разом из обоих стволов и, конечно, промахнулись. А телега уже мчалась от нас, прыгая и кося боками на ухабах. Напрасно мы бежали за ней, крича старику остановиться. Он без шапки, стоя, нахлестывал кнутом лошаденку, длинный, тощий, несуразный и, со страхом оборачиваясь назад, кричал что-то злым шамкающим голосом.

Опять мы остались одни. Я предложил было не оставлять дороги, но Яков убедил меня в том, что до Бурцева два шага, а что стариковская дорога ведет в Ченцово, до которого еще добрых пятнадцать верст,— и я согласился с ним. И опять мы полезли в черное, сырое болото. Сходя с дороги, я обернулся назад. Красной полосы уже не было на небе, точно ее задержали занавесом; и мне вдруг сделалось грустно и тоскливо. Не стало больше видно ничего: ни туч, ни кустарника, ни Якова, шедшего со мною рядом,— была одна мокрая, густая тьма. Сверкнула первая молния — наверху загрохотало и оборвалось сухим треском, за ней другая, третья. Потом пошло и пошло без перерыва.

Это была одна из тех ужасных гроз, которые раздражаются иногда над большими низменностями. Небо не вспыхивало от молний, а точно все сияло их трепетным голубым, синим и яркобелым блеском. И гром не смолкал ни на мгновение. Казалось, что там наверху идет какая-то бесовская игра в кегли высотой до неба. С глухим рокотом катились там неимоверной величины шары, все ближе, все громче, и вдруг — тррах-та-трах! — падали разом исполинские кегли.

И вот я увидел черную молнию. Я видел, как от молнии колыхало на востоке небо, не потухая, а все время то развертываясь, то сжимаясь, и вдруг на этом колеблющемся огнями голубом небе я с необычайной ясностью увидел мгновенную и ослепительно черную молнию. И тотчас же вместе с ней страшный удар грома точно разорвал

пополам небо и землю и бросил меня вниз, на кочки. Очнувшись, я услышал сзади себя дрожащий, слабый голос Якова.

— Барин, что же это, господи... Погибнем, царица небесная... Молния.. черная... господи, господи...

Я приказал ему сурово, собрав всю последнюю силу воли:

— Вставай. Идем. Не ночевать же здесь.

О, что это была за ужасная ночь! Эти черные молнии наводили на меня необъяснимый животный страх. Я до сих пор не могу понять причины этого явления: была ли здесь ошибка нашего зрения, напряженного беспрестанной игрой молнии по всему небу, имело ли особое значение случайное расположение туч, или свойства этой проклятой болотной котловины? Но иногда я чувствовал, что теряю с каждой секундой разум и самообладание. Мне, помню, все хотелось закричать диким, пронзительным голосом, по-заячьи. И я все шел вперед, лепеча богу, точно перепуганный ребенок, несвязные, нелепые молитвы: «Миленький бог, добрый, хороший бог, спаси меня, прости меня. Я никогда не буду». И тут же, зацепившись за кочку, летел локтем в жидкую грязь и остервенело ругался самыми скверными словами.

Вдруг я услышал невдалеке голос Якова, страшный, захлебывающийся голос, от которого я задрожал.

— Барин, утопаю... Спасите, Христа ради... Тону... А-а-а!..

Я кинулся к нему на слух и при непереносимом ослепительном свете черной молнии увидел не его, а лишь его голову и туловище, торчащие из трясины. Никогда не забуду этих выпученных, омертвелых от безумного ужаса глаз. Я никогда бы не поверил, что у человека глаза могут стать такими белыми, огромными и чудовищно страшными.

Я протянул ему ствол ружья, держась сам одной рукой за приклад, а другой за несколько зажатых вместе ветвей ближнего куста. Мне было не под силу вытянуть его. «Ложись! Подзи!» — закричал я с отчаянием. И он тоже ответил мне высоким звериным визгом, который я с ужасом буду вспоминать до самой смерти. Он не мог вырваться. Я слышал, как он шлепал руками по грязи,

при блеске молний, я видел его голову все ниже и ниже у своих ног и эти глаза... глаза... Я не мог оторваться от них...

Под конец он уже перестал кричать и только дышал часто-часто. И когда опять разверзла небо черная молния, ничего не было видно на поверхности болота.

Как я шел по колеблющимся, булькающим, вонючим трясинам, как залезал по пояс в речонки, как, наконец, добрал до стога и как меня под утро нашел услышавший мои выстрелы бурцевский Иван, не стоит и говорить...

Турченко несколько минут молчал, низко склонившись над своим стаканом и ероша волосы. Потом вдруг быстро поднял голову и выпрямился. Его широко раскрытые глаза были гневны.

— То, что я сейчас рассказал,— крикнул он,— было не случайным анекдотом по поводу дурацкого слова обывателя. Вы сами видели сегодня болото, вонючую человеческую трясину! Но черная молния! Черная молния! Где же она? Ах! Когда же она засверкает?

Он медленно закрыл глаза, а через минуту уставшим голосом сказал ласково:

— Извините, дорогой мой, за многословие. Ну, давайте выпьем бутылочку моего сидра.

АНАФЕМА

— Отец дьякон, полно тебе свечи жечь, не напа-сешься,— сказала дьяконица.— Время вставать.

Эта маленькая, худенькая, желтолицая женщина, бывшая епархиалка, обращалась со своим мужем чрезвычайно строго. Когда она была еще в институте, там господствовало мнение, что мужчины — подлецы, обманщики и тираны, с которыми надо быть жестокими. Но прото-дьякон вовсе не казался тираном. Он совершенно искренно боялся своей немного истеричной, немного припадочной дьяконицы. Детей у них не было, дьяконица оказалась бесплодной. В дьяконе же было около девяти с половиной пудов чистого веса, грудная клетка — точно корпус автомобиля, страшный голос, и при этом та нежная снисхо-димость, которая свойственна только чрезвычайно силь-ным людям по отношению к слабым.

Приходилось протодьякону очень долго устраивать голос. Это противное, мучительно-длительное занятие, конечно, знакомо всем, кому случалось петь публично: смазывать горло, полоскать его раствором борной кис-лоты, дышать паром. Еще лежа в постели, отец Олимпий пробовал голос.

— Ииа... кмм!.. Ииа-а-а!.. Аллилуия, аллилуия... Обаче... кмм!.. Ма-ма... Мам-ма...

«Не звучит голос»,— подумал он.— Вла-ды-ко-бла-го-слови-и-и... Км...

Совершенно так же, как знаменитые певцы, он был подвержен мнительности. Известно, что актеры бледнеют

и крестятся перед выходом на сцену. Отец Олимпий, вступая в храм, крестился по чину и по обычаю. Но нередко, творя крестное знамение, он также бледнел от волнения и думал: «Ах, не сорваться бы!» Однако только один он во всем городе, а может быть, и во всей России, мог бы заставить в тоне ре-фис-ля звучать старинный, темный, с золотом и мозаичными травками старинный собор. Он один умел наполнить своим мощным звериным голосом все закоулки старого здания и заставить дрожать и звенеть в тон хрустальные стекляшки на паникадилах.

Жеманная, кислая дьяконица принесла ему жидкого чаю с лимоном и, как всегда по воскресеньям, стакан водки. Олимпий еще раз попробовал голос.

— Ми... ми... фа.. Ми-ро-но-сицы... Эй, мать,— крикнул он в другую комнату дьяконице,— дай мне ре на фисгармонии.

Жена протянула длинную, унылую ноту.

— Км... км... колеснице-гонителю фараону... Нет, конечно, спал голос. Да и чорт подсунил мне этого писателя, как его?

Отец Олимпий был большой любитель чтения, читал много и без разбора, а фамилиями авторов редко интересовался. Семинарское образование, основанное главным образом на зубрежке, на читке «устава», на необходимых цитатах из отцов церкви, развило его память до необыкновенных размеров. Для того чтобы заучить наизусть целую страницу из таких сложных писателей-казуистов, как Блаженный Августин, Тертуллиан, Ориген Адамантовый, Василий Великий и Иоанн Златоуст, ему достаточно было только пробежать глазами строки, чтобы их запомнить наизусть. Книгами снабжал его студент из Вифанской академии Смирнов, и как раз перед этой ночью он принес ему прелестную повесть о том, как на Кавказе жили солдаты, казаки, чеченцы, как убивали друг друга, пили вино, женились и охотились на зверей.

Это чтение взбудоражило стихийную протодиаконскую душу. Три раза подряд прочитал он повесть и часто во время чтения плакал и смеялся от восторга, сжимал кулаки и ворочался с боку на бок своим огромным телом. Конечно, лучше бы ему было быть охотником, воином, рыболовом, пахарем, а вовсе не духовным лицом.

В собор он всегда приходил немного позднее, чем полагалось. Так же, как знаменитый баритон в театр. Проходя в южные двери алтаря, он в последний раз, откашливаясь, попробовал голос. «Км, км... звучит в ре,— подумал он.— А этот подлец непременно задаст в до диэз. Все равно, я переведу хор на свой тон».

В нем проснулась настоящая гордость любимца публики, баловня всего города, на которого даже мальчишки собирались глазеть с таким же благоговением, с каким они смотрят в раскрытую пасть медного геликона в военном оркестре на бульваре.

Вошел архиепископ и торжественно был водворен на свое место. Митра у него была надета немного на левый бок. Два иподиакона стояли по бокам с кадилами и в такт бряцали ими. Священство в светлых праздничных ризах окружало архиерейское место. Два священника вынесли из алтаря иконы спасителя и богородицы и положили их на аналой.

Собор был на южный образец, и в нем, наподобие католических церквей, была устроена дубовая резная кафедра, прилепившаяся в углу храма, с винтовым ходом вверх.

Медленно, ощупывая ступеньку за ступенькой и бережно трогая руками дубовые поручни — он всегда боялся, как бы не сломать чего-нибудь по нечаянности,— поднялся протоиерей на кафедру, откашлялся, протянул из носа в рот, плюнул через барьер, ущипнул камертон, перешел от до к ре, и начал:

— Благослови, преосвященнейший владыко.

«Нет, подлец-регент,— подумал он,— ты при владыке не посмеешь перевести мне тон». С удовольствием он в эту минуту почувствовал, что его голос звучит гораздо лучше, чем обыкновенно, переходит свободно из тона в тон и сотрясает мягкими глубокими вздохами весь воздух собора.

Шел чин православия в первую неделю великого поста. Пока отцу Олимпию было немного работы. Чтец бубнил неразборчиво псалмы, гнусавил дьякон из академиков — будущий профессор гомилетики.

Протоиерей время от времени рычал: «Вонмем»... «Господу помолимся». Стоял он на своем возвышении, огромный, в золотом парчовом негнувшемся стихаре, с черными с сединой волосами, похожими на львиную гриву, и время от времени постоянно пробовал голос. Церковь была вся набита какими-то слезливыми старушонками и седобородыми толстопузыми старичками, похожими не то на рыбных торговцев, не то на ростовщиков.

«Странно,— вдруг подумал Олимпий,— отчего это у всех женщин лица, если глядеть в профиль, похожи либо на рыбью морду, либо на куриную голову... Вот и дяконница тоже...»

Однако профессиональная привычка, заставляла его все время следить за службой по требнику XVII столетия. Псаломщик кончил молитву: «Всевышний боже, владыко и создателю всея твари» Наконец — аминь.

Началось утверждение православия.

«Кто бог велий, яко бог наш; ты еси бог, творяй чудеса един».

Распев был крюковой, не особенно ясный. Вообще последование в неделю православия и чин анафематствования можно видоизменять, как угодно. Уже того достаточно, что святая церковь знает анафематствования, написанные по специальным поводам: проклятие Ивашке Мазепе, Стеньке Разину, еретикам: Арию, иконоборцам, протопопу Аввакуму и так далее, и так далее.

Но с протоиереем случилось сегодня что-то странное, чего с ним еще никогда не бывало. Правда, его немного развезло от той водки, которую ему утром поднесла жена.

Почему-то его мысли никак не могли отвязаться от той повести, которую он читал в прошедшую ночь, и постоянно в его уме, с необычайной яркостью, всплывали простые, прелестные и бесконечно увлекательные образы. Но, безошибочно следуя привычке, он уже окончил символ веры, сказал «аминь» и по древнему ключевому распеву возгласил: «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди».

Архиепископ был большой формалист, педант и капризник. Он никогда не позволял пропускать ни одного текста ни из канона преблженного отца и пастыря Анд-

рея Критского, ни из чина погребения, ни из других служб. И отец Олимпий, равнодушно сотрясая своим львиным ревом собор и заставляя тонким дребезжащим звуком звенеть стеклышки на люстрах, проклял, анафемствовал и отлучил от церкви: иконоборцев, всех древних еретиков, начиная с Ария, всех держащихся учения Итала, немонаха Нила, Константина-Булгариса и Ириника, Варлаама и Акиндина, Геронтия и Исаака Аргира, проклял обидящих церковь, магометан, богомоллов, жидовствующих, проклял хулящих праздник благовещения, корчемников, обижающих вдов и сирот, русских раскольников, бунтовщиков и изменников: Гришку Отрепьева, Тимошку Акундинова, Стеньку Разина, Ивашку Мазепу, Емельку Пугачева, а также всех принимающих учение, противное православной вере.

Потом пошли проклятия категорические: не приемлющим благодати искупления, отмещущим все таинства святые, отвергающим соборы святых отцов и их предания.

«Помышляющим, яко православнии государи возводятся на престолы не по особливому от них божию благоволению, и при помазании дарования святого духа к прохождению великого сего звания в них не изливаются, и тако держающим противу их на бунт и измену. Ругающим и хулящим святые иконы». И на каждый его возглас хор уныло отвечал ему нежными, стонущими, ангельскими голосами: «анафема».

Давно в толпе истерически всхлипывали женщины.

Протодиакон подходил уже к концу, как к нему на кафедре взобрался псаломщик с краткой запиской от отца протоиерея: по распоряжению преосвященнейшего владыки анафемствовать боярина Льва Толстого. «См. требник, гл. л.» — было приписано в записке.

От долгого чтения у отца Олимпия уже болело горло. Однако он откашлялся и опять начал: «Благослови, преосвященнейший владыко». Скорее он не расслышал, а угадал слабое бормотание старенького архиерея:

«Протодиаконство твое да благословит господь бог наш, анафемствовать богохульника и отступника от веры Христовой, блядословно отвергающего святые тайны господни боярина Льва Толстого. Во имя отца, и сына, и святого духа».

И вдруг Олимпий почувствовал, что волосы у него на голове топорщатся в разные стороны и стали тяжелыми и жесткими, точно из стальной проволоки. И в тот же момент с необыкновенной ясностью всплыли прекрасные слова вчерашней повести:

«...Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

— Дура, дура! — заговорил он. — Куда летишь? Дура! Дура! — Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.

— Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много, — приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. — Сама себя губишь, а я тебя жалею».

«Боже мой, кого это я проклинаяю? — думал в ужасе дьякон. — Неужели его? Ведь я же всю ночь проплакал от радости, от умиления, от нежности».

Но, покорный тысячелетней привычке, он ронял ужасные, потрясающие слова проклятия, и они падали в толпу, точно удары огромного медного колокола...

...Бывший поп Никита и черныц Сергей, Савватий да Савватий же, Дорофей и Гавриил... святые церковные таинства хулят, а покаяться и покориться истинной церкви не хотят; все за такое богопротивное дело да будут прокляты...

Он подождал немного, пока в воздухе не устоится его голос. Теперь он был красен и весь в поту. По обеим сторонам горла у него вздулись артерии, каждая в палец толщиной.

«А то раз сидел на воде, смотрю — зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой-то чорт: взял за ножки да об угол! Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить».

...Хотя искусити дух господень по Симону волхву и по Ананию и Сапфире, яко пес возвращаяся на свои блевотины, да будут дни его мали и зли, и молитва его да

будет в грех, и диавол да станет в десных его и да изыдет осужден, в роде едином да погибнет имя его, и да истребится от земли память его... И да придет проклятельство и анафема не точию сугубо и трегубо, но многогубо... Да будут ему каиново трясение, гиезиево прокажение, иудино удушение, Симона волхва погибель, ариево тресновение, Анании и Сапфири внезапное издохновение... да будет отлучен и анафемствован и по смерти не прошен, и тело его да не рассыплется и земля его да не примет, и да будет часть его в геенне вечной и мучен будет день и ночь...

Но четкая память все дальше и дальше подсказывала ему прекрасные слова:

«Все бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше живет, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что бог дал, то и лопают. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь».

Протоиерей вдруг остановился и с треском захлопнул древний трепник. Там дальше шли еще более ужасные слова проклятий, те слова, которые, наряду с чином исповедания мирских человек, мог выдумать только узкий ум иноков первых веков христианства.

Лицо его стало синим, почти черным пальцы судорожно схватились за перила кафедры. На один момент ему казалось, что он упадет в обморок. Но он справился. И, напрягая всю мощь своего громадного голоса, он начал торжественно:

— Земной нашей радости, украшению и цвету жизни, воистину Христа соратнику и слуге, боярину Льву...

Он замолчал на секунду. А в переполненной народом церкви в это время не раздавалось ни кашля, ни шопота, ни шарканья ног. Был тот ужасный момент тишины, когда многосотенная толпа молчит, подчиняясь одной воле, охваченная одним чувством. И вот, глаза протоиерея наполнились слезами и сразу покраснели, и лицо его на момент сделалось столь прекрасным, как прекрасным может быть человеческое лицо в экстазе вдохновения. Он еще раз откашлянулся, попробовал мысленно переход в два полутона и вдруг, наполнив своим сверхъестественным голосом громадный собор, заревел:

— ...Многая ле-е-е-та-а-а.

И вместо того, чтобы по обряду анафемствования опустить свечу вниз, он высоко поднял ее вверх.

Теперь напрасно регент шипел на своих мальчуганов, колотил их камертоном по головам, зажимал им рты. Радостно, точно серебряные звуки архангельских труб, они кричали на всю церковь: «Многая, многая, многая лета».

На кафедру к отцу Олимпию уже взобрались: отец настоятель, отец благочинный, консисторский чиновник, псаломщик и встревоженная дьяконица.

— Оставьте меня... Оставьте в покое,— сказал отец Олимпий гневным, свистящим шопотом и пренебрежительно отстранил рукой отца благочинного.— Я сорвал себе голос, но это во славу божию и его... Отойдите!

Он снял в алтаре свои парчовые одежды, с умилением поцеловал, прощаясь, орать, перекрестился на за престольный образ и сошел в храм. Он шел, возвышаясь целой головой над народом, большой, величественный и печальный, и люди невольно, со странной боязнью, расступались перед ним, образуя широкую дорогу. Точно каменный, прошел он мимо архиерейского места, даже не покосившись туда взглядом, и вышел на паперть.

Только в церковном сквере догнала его маленькая дьяконица и, плача и дергая его за рукав рясы, залепетала:

— Что же ты это наделал, дурак окаянный!.. Нагло-тался с утра водки, нечестивый пьяница. Ведь еще счастье будет, если тебя только в монастырь упекут, нужники чистить, бугай ты черкасский. Сколько мне порогов обить теперь из-за тебя, ирода, придется. Убоище глупое! Заел мою жизнь!

— Все равно,— прошипел, глядя в землю, дьякон.— Пойду кирпичи грузить, в стрелочники пойду, в катали, в дворники, а сан все равно сложу с себя. Завтра же. Не хочу больше. Не желаю. Душа не терпит. Верую истинно, по символу веры, во Христа и в апостольскую церковь. Но злобы не приемлю. «Все бог сделал на радость человеку»,— вдруг произнес он знакомые прекрасные слова.

— Дурак ты! Верзило! — закричала попадья. — Скажите — на радость! Я тебя в сумасшедший дом засажу, порадуешься там!.. Я пойду к губернатору, до самого царя дойду... Допился до белой горячки, бревно дубовое.

Тогда отец Олимпий остановился, повернулся к ней и, расширяя большие воловьи гневные глаза, произнес тяжело и сурово:

— Ну?!

И дьяконица впервые робко замолкла, отошла от мужа, закрыла лицо носовым платком и заплакала.

А он пошел дальше, необъятно огромный, черный и величественный, как монумент.

ЗАПЕЧАТАННЫЕ МЛАДЕНЦЫ

Куда только не совала меня судьба. Я был последовательно офицером, землемером, грузчиком арбузов, подносчиком кирпичей, продавцом в Москве, на Мясницкой, в одной технической конторе тех принадлежностей домашнего обихода, которые очень необходимы, но о которых вслух не принято говорить. Был лесным объездчиком, нагружал и выгружал мебель во время осеннего и весеннего дачных сезонов, ездил передовым в цирке, занимался гнусным актерским ремеслом, но никогда я не представлял себе, что придется быть еще и псаломщиком.

А случилось это вот как. Мой приятель инженер попросил меня поехать к нему, на север Полесья, в деревню Казимирку, где у него было около двух тысяч десятин. Почему-то ему взбрела в голову мысль о том, чтобы развить там табаководство. А в то время я был человек свободный, независимый, легкомысленный и подвижной. Поэтому, нагрузив чемодан семенами махорки-серебрянки и несколькими десятками брошюр, я отважно двинулся на это сомнительное предприятие.

Должен заранее сознаться, что из моих сельскохозяйственных предприятий ничего не вышло. Часть табака увяла от чрезмерно теплого лета, другую часть разрывали крестьяне, а третья и последняя погибла во время лесного пожара.

В этой деревне был древний костел и в нем за престолом образ божьей матери, писанный, по преданию, еван-

гелистом Лукою, а в десяти шагах расстояния находилась церковь, деревянная, с зеленой высокой крышей, со стенами, крашенными сверху вниз белыми и розовыми полосами. Настоятелем православной церкви числился таинственный отец Анатолий. Но его паства никогда его не видела. Деревня Казимирка считалась приписной в количестве других шести-семи деревень и сел, в которых были престолы.

Всякий, кто бывал на юге или юго-западе России, тот знает, какой заботой, вниманием, я даже более скажу, обожанием, окружала католическая паства своих священников. Лучшая, редкая дичь — ксендзу. Столетний карп или лещ — тоже пану пробощу, великолепные домотканые полотенца с прелестными народными узорами — ему же, весною черешни, летом земляники, осенью яблоки, грибы, сметана, сливки, а на рождество поросята, утки и гуси. О других дарах я не буду говорить, чтобы не показаться сплетником. Конечно, бедные полешуки вместо своей заколоченной православной церкви начали ходить в костел. Надо же было им удовлетворить свои религиозные потребности. Кстати там музыка, благоговейная тишина, торжественность богослужения, великолепный ритуал.

Ксендз был очень тактичный человек. Он избегал какого бы то ни было воздействия на чужое стадо, но не препятствовал ему обращаться к богу как ему выгоднее и удобнее. И вот, кажется, на это обратили внимание в епархии. Во всяком случае в деревню Казимирку был наряжен отец Анатолий, со строгим предписанием во что бы то ни стало положить конец католическому засилью. Он приехал не один, а вместе с псаломщиком, который столько же понимал в церковном уставе, сколько, как говорится, сазан в библии. А церковный устав — это тяжёлая ответственная вещь. Все эти достойники, стихиры на стиховне, тропари, ирмосы, песнопения дню, числу, месяцу, передвижение пасхалии, апостол на каждый день и евангелие — представляют из себя такую скомканную и совсем не четко определенную науку, в которой распутаться может только редкий специалист.

По моему мнению, отец Анатолий знал гораздо меньше, чем псаломщик, или, может быть, знал, но забыл, но зато

он был хорошим патриотом и отважным человеком. Посетив однажды костел и внимательно просмотрев службу ксендза Антония Бурбы, он для привлечения своего стада православной церкви решился ввести у себя в храме католический обиход. Когда он проносил святые дары во время преждеосвященной обедни с жертвенника на алтарь, то впереди его, пятась задом, в серой двухцветной свитке наполовину черной, наполовину серой пятился, почти на четвереньках, церковный староста крестьянин и все время звонил в колокольчик. Возглас к евангелию он читал на мотив *Secula Seculorum*¹ и говорил проповеди на малороссийском языке.

Неизбежно было, что я познакомился с ними обоими, и с отцом Анатолием и его псаломщиком. Кроме них, был в Казимирке только едва-едва грамотный человек, продавец в казенной винной лавке, с которым я уже успел давно поссориться.

Итак, мы троим, священник, псаломщик и я, собирались каждый вечер то у них, то у меня и часами играли в преферанс по двухтысячной, с рефетами и двойной курочкой. Тут-то они меня и привлекли к священнодействию. Надо сказать, что я очень люблю церковное пение и довольно основательно знаю его, поэтому соблазнить меня было очень легко. За две недели до масленицы я уже был постоянным певцом на правом клиросе, и мы с псаломщиком, — помню прекрасно его лицо: маленький, черный, узколобый, с отвисшей нижней губой, но никак не могу вспомнить его имени, отчества и фамилии, — мы с ним каждое воскресенье распевали все, что нам взбрело на ум или попадалось под руку. Во всяком случае должен сказать, что церковным уставом я овладел в эти несколько недель гораздо точнее, чем он за весь свой семинарский иску.

Первую неделю великого поста мы провели кое-как, с грехом пополам, но все-таки сравнительно благополучно. Но вот однажды приходит ко мне мой псаломщик и первым делом спрашивает:

— Дадите ли вы мне честное слово, что все, что я вам скажу, останется между нами?

Я ему ответил:

¹ Векны вечны (лат.).

— Вы меня связываете чересчур тесным обязательством. Если моя совесть позволит мне не рассказать никому, то, конечно, я не расскажу никому: я не из болтливых. А если мне придется сказать, то скажу. И вообще я не люблю себя стеснять никакими условиями. Вы сами понимаете, что покупать kota в мешке...

— Ну, ладно! Идет,— живо возразил он.— Я не буду с вами уговариваться наперед, а скажу все откровенно. Видите ли, мне хочется в этом месяце держать экзамен в юнкерское училище, чтобы потом сдать экзамен на подпрапорщика и на офицера. Я хочу попросить у отца Анатолия отпуск, но не хочу ему сказать, зачем я уезжаю. Если мне удастся выдержать экзамен, я напишу ему письмо с прошением, а если не удастся, я вернусь сюда обратно, и место псаломщика все-таки останется за мною. А вы на это время останетесь вместо меня, тем более что под моим руководством вы настолько привыкли к службе, что она вас совсем не затруднит. Вы понимаете меня?

Конечно, я понял его, поморщился, но согласился с ним. В тот же день отец Анатолий благословил его поехать отдать последнее целование усопшей матери, а псаломщик передал мне несколько десятков книг в старинных телячьих переплетах, издание времен Екатерины Второй и Павла Первого.

Однако я не рассчитал своих сил. Страшно тяжела была первая неделя, когда мы служили ежедневно. Начинали мы служение с пяти часов утра, отламывали всенощное бдение, великое и малое повечерие, заутреню, раннюю обедню и позднюю обедню, а в промежутках исповедывали и причащали человек по двести в сутки. Кончали мы служение часов около двух или трех пополудни. Вторая и третья недели были сравнительно легче — были заняты только среды, пятницы и воскресенья. Но к четвертой опять повалили исповедники, и я совсем выбился из сил и лишился последних остатков моего голоса. Вместо того чтобы петь, я скрипел и шипел, точно расстроенный граммофон. Пятая неделя опять дала маленький роздых, но на шестой и седьмой неделе я просто потерял голову. Коварный псаломщик точно в воду канул. Он меня не извещал ни одним звуком о своей судьбе. А отец Анатолий становился все настойчивее и настойчивее. Почему знать, может быть, он что-нибудь пронюхал о нашем таинствен-

ном договоре с псаломщиком. Помню отлично, что в один из этих дней я лег спать в три с половиной часа утра,— всю ночь я играл в польский банчок с графом Ворцелем, и вот в середине пятого часа утра ко мне приходит церковный староста, в смазных сапогах, в разноцветной свитке, с густо намазанными волосами.

— Идуть, швитко, до церкви. Батюшка вас требует.

Я мгновенно вспомнил о том, как он обтирал причастникам губы шелковым покровом и как при этом орал на них, точно на базаре. Припомнил, как он толкал в шею бестолковых баб, наглухо закутанных в толстые шерстяные платки, как он перевирал имена причастников, вспомнил многое другое. Кончилось все это тем, что он со значительной скоростью выскочил за двери, и мой башмак попал вряд ли на дюйм выше, чем в то место, где прилась бы его голова.

Успокоенный и облегченный, я погрузился было в сладкий утренний сон. Но дверь опять открылась, и вошел отец Анатолий. Он был уже одет, с золотой цепью вокруг шеи, с золотым крестом на груди и выправлял обеими руками волосы из-под воротника.

— Нет, нет! Я и слушать не хочу,— говорил он,— никаких оправданий!.. Одевайтесь! Вот вам брюки. Вот пиджак. Вот сапоги. Где другой сапог? Ах, вот он где. Шевелитесь, молодой человек, шевелитесь! Постарайтесь во имя храма божьего, не ленитесь. Нам осталось совсем немного.

Понятно: ряса, крест, убедительный вид бодрого и верующего человека — все это заставило меня быстро одеться и привести себя в порядок. Таким-то образом я и запрягся на страстную седмицу, на пасхальную неделю, на фомину и на всю цветную триодь.

Для того чтобы сказать, как я измучился за это время, достаточно того, что под светлое христово воскресенье я без отдыха читал и пел от семи часов вечера до одиннадцати часов следующего дня.

Но конец наших отношений был самым удивительным и, по правде сказать, неожиданным как для него, так и для меня. На фоминной неделе отец Анатолий, ласковый, расчесанный, намащенный, зашел ко мне и попросил меня поехать с ним вместе запечатать младенцев. Сначала я его не понял и даже, признаюсь, немного испугался, но

он объяснил мне, что запечатание младенцев заключается в следующем. За время его отсутствия из приписанных к нему сел были большие детские эпидемии: дифтерит, корь, скарлатина и другие. Доехать до этих сел не было возможности из-за громадных сугробов, а потом ростепели. Теперь дорога установилась и обсохла, и надо было ехать делать последнее священническое благословение детям, погребенным без церковного напутствия.

Это путешествие у нас заняло три дня. Мы приезжали в село или в деревню, где нас встречали колокольным звоном из каплиц, и затем шли на кладбище. Детские свежие незапечатанные могилки очень легко было узнать, потому что на каждой из них вдоль была растянута полоса домотканного холста, а на ней пара крашенных в синий цвет яиц и пятьдесят копеек медью или серебром. Священник подходил к могилке и начинал торопливо:

— Благословен бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков!

— А-м-минь,— подтягивал я ему.

— Благочестивейш... самодержавнейш... велик...

— Господи поми-луй!

— Упокой, господи, душу усопшего раба... младенца... Как звать?

— Грипой, батюшка,— с низким поклоном говорила какая-нибудь почерневшая от лет, невзгод и голодухи баба.

— ...Грипа и учини его в ран, иде же все праведники упокоются!

А я:

— Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!

Таким образом, безмятежно и быстро мы похоронили раба божьего Юрка и младенца Языкантия, и только с одной предпоследней могилой, притаившейся где-то в уголке кладбища, у нас вышло маленькое недоразумение. Холст на ней лежал какой-то подержанный, сделанный, вероятно, лет пятнадцать тому назад, а то просто выкроенный из старой нижней юбки, но ни полтинника, ни яиц на нем не было. Отец Анатолий рассердился, покраснел, как спелый томат, и так закричал на бабу, что она кинулась от него бегом. Через десять минут она вернулась с сорока копейками, и мы благополучно спели панихиду

и запечатали рабу Божию отроковицу Серениду — настоящее имя ее знает, вероятно, всеведущий господь. Однако краем глаза я видел, как эта женщина, прежде чем запечатать свою умершую дочку, валялась в ногах деревенского старосты и целовала его сапоги.

В последнем по очереди селе отца Анатолия вдруг осенила вдохновенная мысль. Он заявил, что хочет служить молебен о плодородии будущего года. Я пробовал было указать ему на требник и сказать, что существуют молебны «о еже впасти в кладезь чему нечистому», «о еже избавитися от колдовства и волшебства, от нашествия иноплемеников и междоусобной брани» и т. д. Но он меня остановил вдруг с такой сухостью, которой я даже от него не ожидал:

— Делайте, что вам приказано, и не заставляйте меня прибегать к крайним мерам!

Я без лишних объяснений понял, какие это крайние меры. Просто отец Анатолий возьмет и уедет, а я останусь без лошадей, и идти мне придется шестьдесят верст пешком. Мне пришлось смириться. Священник занял самую большую избу во всей деревне и велел немедленно собраться туда всем хозяевам, и чтобы каждый из них непременно принес с собою стакан меду, пяток яиц и большой медный корец ячменя. Все это было беспрекословно исполнено. Два громадных восьмипудовых мешка были наполнены хлебом. Полная кадушка благоуханного меда была накрыта свежими молодыми липовыми листьями, и в ивовой плетеной корзинке горою лежали свежие весенние яйца.

Ну, уж какой молебен мы отслужили в этой избе — за это ответит на страшном суде христовом грешная душа отца Анатолия. Это было какое-то попури из церковных песнопений — великопостных, похоронных, молебственных и других. Достаточно того сказать, что мне все время казалось, что я богохульствую...

После молебна хозяин, пожилой, степенный мужик, откупорил четвертную бутылку с водкой, налил себе стакан, сказал: «Пью до батюшки», выпил и, еще не закусывая, налил второй стакан и протянул отцу Анатолию. Священнослужитель взял наполненный стакан, обернулся ко мне и сказал:

— Пью до...— он, кажется, хотел сказать «до тебя», но в последний момент одумался и сказал: — до вас.

Я проделал ту же церемонию по отношению к хозяйке, которая долго стеснялась, но все-таки выпила и вытерла губы верхом ладони.

Не совсем твердо помню, как и кто нас доставил в Казимирку. Знаю только, что на другой день отец Анатолий написал мне записку с настоятельной просьбой уплатить ему половину разъездных расходов. Но меня уже в то время потянуло в дальнейшие странствия, и потому я разорвал его письмо, бросил обрывки бумаги в лицо церковному старосте и закричал на него:

— Передай, болван, отцу Анатолию, что сегодня я пишу на него жалобу патриарху Сиракузскому!

— Кому?

— Си-ра-куз-ско-му!

СВЯТАЯ ЛОЖЬ

Иван Иванович Семенюта — вовсе не дурной человек. Он трезв, усерден, набожен, не пьет, не курит, не чувствует влечения ни к картам, ни к женщинам. Но он — самый типичный из неудачников. На всем его существе лежит роковая черта какой-то растерянной робости, и, должно быть, именно за эту черту его постоянно бьет то по лбу, то по затылку жестокая судьба, которая, как известно, подобно капризной женщине, любит и слушается людей только властных и решительных. Еще в школьные годы Семенюта всегда бывал козлищем отпущения за целый класс. Бывало, во время урока нажует какой-нибудь сорванец большой лист бумаги, сделает из него лепешку и ловким броском шлепнет ею в величественную лысину француза. А Семенюта как раз в этот момент угораздит отогнать муху со лба. И красный от гнева француз кричит:

— О! Земнют, скверный мальчишка! Au tigre! К стены!

И бедного, ни в чем не повинного Семенюту во время перемены волокут к инспектору, который трясет седой козлиной бородой, блестит сквозь золотые очки злыми серыми глазами и равномерно тюкает Семенюту по темени старым, окаменелым пальцем.

— Ученичок развращенный! Ар-ха-ро-вец... Позорище заведения!.. У-бо-и-ще!.. Ос-то-лоп!..

И потом заканчивал деловым холодным тоном:

— После обеда в карцер на трое суток. До рождества без отпуска (заведение было закрытое), а если еще повторится, то выдерем и вышвырнем из училища.

Затем звонкий щелчок в лоб и грозное: «Пшол! Козли-ще!»

И так было постоянно. Разбивали ли рогатками стекла в квартире инспектора, производили ли набег на соседние огороды,— всегда в критический момент молодые разбойники успевали разбежаться и скрыться, а скромный, тихий Семенюта, не принимавший никакого участия в проделке, оказывался роковым образом непременно поблизости к месту преступления. И опять его тащили на расправу, опять ритмические возгласы:

— У-бо-и-ще!.. Ар-ха-ро-вец!.. Ос-то-лоп!..

Так он с трудом добрался до шестого класса. Если его не выгнали еще раньше из училища с волчьим паспортом, то больше потому, что его мать, жалкая и убогая старушка, тащилась через весь город к инспектору, к директору или к училищному священнику, бросалась перед ними в землю, обнимала их ноги, мочила их колени обильными материнскими слезами, моля за сына:

— Не губите мальчика. Ей-богу, он у меня очень послушный и ласковый. Только он робкий очень и запуганный. Вот другие сорванцы его и обижают. Уж лучше посеките его.

Семенюте довольно часто и основательно секли, но это испытанное средство плохо помогало ему. После двух неудачных попыток проникнуть в седьмой класс его все-таки исключили, хотя, снисходя к слезам его матери, дал ему аттестат об окончании шести классов.

Путем многих жертв и унижений мать кое-как сколотила небольшую сумму на штатское платье для сына. Пиджачная тройка, зеленое пальто «полудемисезон», заплатанные сапоги и котелок были куплены на толкучке, у торговцев «вручную». Белье же для него мать пошла из своих юбок и сорочек.

Оставалось искать место. Но место «не выходило» — таково уж было вечное счастье Семенюты. Хотя надо сказать, что целый год он с необыкновенным рвением бегал с утра до вечера по всем улицам громадного города в поисках какой-нибудь крошечной должности. Обедал он и ужинал во вдовьем доме: мать, возвращаясь из общей столовой, тайком приносила ему половину своей скудной порции. Труднее было с ночлегом, так как вдовы помещались в общих палатах, по пяти-шести в каждой. Но

мать поклонилась псаломщику, поклонилась и кастелянше, и те милостиво позволили Семенюте спать у них на общей кухне, на двух табуретках и деревянном стуле, сдвинутых вместе.

Наконец-то через год с лишком нашлось место писца в казенной палате на двадцать три рубля и одиннадцать с четвертью копеек в месяц. Добыл его для Семенюты частный поверенный, Ювеналий Евпсихиевич Антонов, знавший его мать во времена ее молодости и достатка.

Семенюта со всем усердием и неутомимостью, которые ему были свойственны, влег в лямку тяжелой, скучной службы. Он первый приходил в палату и последний уходил из нее, а иногда приходил заниматься даже по вечерам, так как за сущие гроши он исполнял срочную работу товарищей. Остальные писцы относились к нему холодно: немного свысока, немного пренебрежительно. Он не заводил знакомств, не играл на бильярде и не разгуливал на бульваре со знакомыми барышнями во время музыки. «Анахорет сирийский», — решили про него.

Семенюта был счастлив: скромная комнатка, вроде скворешника, на самом чердаке, обед за двадцать копеек в греческой столовой, свой чай и сахар. Теперь он не только мог изредка баловать мать то яблочком, то десятком карамель, то коробкой халвы, но к концу года даже завел себе довольно приличный костюмчик и прочные скрипучие ботинки. Начальство, повидимому, оценило его усердие. На другой год службы он получил должность журналиста и прибавку в пять рублей к жалованью, а к концу второго года он уже числился штатным и стал изредка откладывать кое-что в сберегательную кассу. Но тут-то среди аркадского благополучия судьба и явила ему свой свирепый образ.

Однажды Семенюта прозанимался в канцелярии до самой глубокой ночи. Кроме того, его ждала на квартире спешная частная работа по переписке. Он лег спать лишь в пятом часу утра, а проснулся, по обыкновению, в семь, усталый, разбитый, бледный, с синими кругами под глазами, с красными ресницами и опухшими веками. На этот раз он явился в управление не раньше всех, как всегда, но одним из последних.

Он не успел еще сесть на свое место и разложить перед собой бумаги, как вдруг смутно почувствовал в душе

какое-то странное чувство, тревожное и жуткое. Одни из товарищей глядели на него искоса с неприязнью, другие — с мимолетным любопытством, третьи опускали глаза и отворачивались, когда встречались с его глазами. Он ничего не понимал, но сердце у него замерло от холодной боли.

Тревога его росла с каждой минутой. В одиннадцать часов, как обыкновенно, раздался громкий звонок, возвещающий прибытие директора. Семенюта вздрогнул и с этого момента не переставал дрожать мелкой лихорадочной дрожью. И он, пожалуй, совсем даже не удивился, а лишь покачнулся, как вол под обухом, когда секретарь, нагнувшись над его столом, сказал строго, вполголоса: «Его превосходительство требует вас к себе в кабинет». Он встал и свинцовыми шагами, точно в кошмаре, поплелся через всю канцелярию, провожаемый длинными взглядами всех сослуживцев.

Он никогда не был в этом святилище, и оно так поразило его своими огромными размерами, грандиозной мебелью в строгом, ледяном стиле, массивными малиновыми портьерами, что он не сразу заметил маленького директора, сидевшего за роскошным письменным столом, точно воробей на большом блюде.

— Подойдите, Семенюта,— сказал директор, после того как Семенюта низко поклонился.— Скажите, зачем вы это сделали?

— Что, ваше пр-ство?

— Вы сами лучше меня знаете что. Зачем вы взломали ящик от эскуторского стола и похитили оттуда гербовые марки и деньги? Не извольте отпираться. Нам все известно.

— Я... ваше пр-ство... Я... я... я, ей-богу...

Начальник, очень либеральный, сдержанный и гуманный человек, профессор университета по финансовому праву, вдруг гневно стукнул по стулу кулаком:

— Не смейте божиться. Прошлой ночью вы здесь оставались один. Оставались до часу. Кроме вас, во всем управлении был только сторож Анкудин, но он служит здесь больше сорока лет, и я скорее готов подумать на самого себя, чем на него. Итак, признайтесь, и я отпущу вас со службы, не причинив вам никакого вреда.

Ноги у Семенюты так сильно затряслись, что он невольно опустился на колени.

— Ваше... Ей-богу, честное слово... ваше... Пускай меня мать божья, Николай угодник, если я... ваше пр-ство!

— Встаньте,— брезгливо сказал начальник, подбирая ноги под стул.— Разве я не вижу по вашему лицу и по вашим глазам, что вы провели ночь в вертепе. Я ведь знаю, что у вас после растраты или *кражи* (начальник жестоко подчеркнул это слово), что у вас первым делом — трактир или публичный дом. Не желая порочить репутацию моего учреждения, я не дам знать полиции, но помните, что если кто-нибудь обратится ко мне за справками о вас, я хорошего ничего не скажу. Ступайте.

И он надавил кнопку электрического звонка.

Вот уже три года как Семенюта живет дикой, болезненной и страшной жизнью. Он ютится в полутемном подвале, где снимает самый темный, сырой и холодный угол. В другом углу живет Михеевна, торговка, которая закупает у рыбаков корзинками мелкую рыбку-уклейку, делает из нее котлеты и продает на базаре по копейке за штуку. В третьем, более светлом, углу целый день стучит, сидя на липке, молоточком сапожник Иван Николаевич, по будням мягкий, ласковый, веселый человек, а по праздникам забияка и драчун, который живет со множеством ребятишек и с вечно беременной женой. Наконец в четвертом углу с утра до вечера грохочет огромным деревянным катком прачка Ильинишна, хозяйка подвала, женщина сварливого характера и пьяница.

Чем существует Семенюта, он и сам не скажет толком. Он учит грамоте старших ребятишек сапожника, Кольку и Верку, за что получает по утрам чай вприкуску, с черным хлебом. Он пишет прошения в ресторанах и пивных, а также по утрам в почтамте адресует конверты и составляет письма для безграмотных, дает уроки в купеческой семье, где-то на краю города, за три рубля в месяц. Изредка наклеывается переписка. Главное же его занятие — это бегать по городу в поисках за местом. Однако внешность его никому не внушает доверия. Он не-

брит, нестрижен, волосы торчат у него на голове, точно взъерошенное сено, бледное лицо опухло нездоровой подвальной одутловатостью, сапоги просят каши. Он еще не пьяница, но начинает попивать.

Но есть четыре дня в году, когда он старается встряхнуться и сбросить с себя запущенный вид. Это на Новый год, на пасху, на троицу и на тринадцатое августа.

Накануне этих дней он путем многих усилий и унижений достает пятнадцать копеек,— пять копеек на баню, пять на цырюльника, практикующего в таком же подвале, без вывески, и пять копеек на плитку шоколада или на апельсин. Потом он отправляется к одному из двух прежних товарищей, которых хотя и стесняют его визиты, но которые все-таки принимают его с острой и безразличной жалостью в сердце. Их фамилии одного — Пшонкин, а другого — Масса. Боясь надоесть, Семенюта чередует свои визиты.

Он пьет предложенный ему стакан чаю, кряхтит, вздыхает и печально, по-старчески покачивает головой.

— Что? Плохо, брат Семенюта? — спрашивает Масса.

— На бога жаловаться грех, а плохо, плохо, Николай Степанович.

— А ты не делал бы, чего не полагается.

— Николай Степанович... видит бог... не я... как перед истинным, — не я.

— Ну, ну, будет, будет, не плачь. Я ведь в шутку. Я тебе верю. С кем не бывает несчастья? А тебе, Семенюта, не нужно ли денег? Четвертачок я могу.

— Нет, нет, Николай Степанович, денег мне не надо, да и не возьму я их, а вот если уж вы так великодушны, одолжите пиджачок на два часика. Какой позатрепаннее. Не откажите, роднуша, не откажите, голуба. Вы не беспокойтесь, я вчера в баньке был. Чистый.

— Чудак ты, Семенюта. Для чего тебе костюм? Вот уже третий год подряд ты у меня берешь напрокат пиджаки. Зачем тебе?

— Дело такое, Николай Степанович. Тетка у меня... старушка. Вдруг умрет, а я единственный наследник. Надо же показаться, поздравить. Деньги не бог вещь какие, но все-таки пятьсот рублей... Это не Макара в спину целовать.

— Ну, ну, бери, бери, бог с тобой.

И вот, начистив до зеркального блеска сапоги, замазав в них дыры чернилами, тщательно обрезав снизу брюк бахрому, надев бумажный воротничок с манишкой и красный галстук, которые обыкновенно хранятся у него целый год завернутые в газетную бумагу, Семенюта тянется через весь город во вдовый дом с визитом к матери. В теплой, по-казенному величественной передней красуется, как монумент, в своей красной с черными орлами ливрее толстый, седой швейцар Никита, который знал Семенюту еще с пятилетнего возраста. Но швейцар смотрит на Семенюту свысока и даже не отвечает на его приветствие.

— Здравствуй, Никитушка. Ну, как здоровье?

Гордый Никита молчит, точно окаменев.

— Как здоровье мамыши? — спрашивает робко обескураженный Семенюта, вешая пальто на вешалку.

Швейцар заявляет:

— А что ей сделается. Старуха крепкая. Поскрипи-ит.

Семенюта обыкновенно норовит попасть к вечеру, когда не так заметны недостатки его костюма. Неслышным шагом проходит он сквозь ряды огромных сводчатых палат, стены которых выкрашены спокойной зеленой краской, мимо белоснежных постелей со взбитыми перинами и горами подушек, мимо старушек, которые с любопытством провожают его взглядом поверх очков. Знакомые с младенчества запахи, — запах травы пачули, мятного куренья, воска и мастики от паркета и еще какой-то странный, неопределенный, цвельный запах чистой, опрятной старости, запах земли, — все эти запахи бросаются в голову Семенюте и сжимают его сердце тонкой и острой жалостью.

Вот, наконец, палата, где живет его мать. Шесть высоченных постелей обращены головами к стенам, ногами внутрь, и около каждой кровати — казенный шкафчик, украшенный старыми портретами в рамках, оклеенных ракушками. В центре комнаты с потолка низко спущена на блоке огромная лампа, освещающая стол, за которым три старушки играют в нескончаемый преферанс, а две другие тут же вяжут какое-то вязанье и изредка вмешиваются со страстью в разбор сделанной игры. О, как все это болезненно знакомо Семенюте!

— Конкордия Сергеевна, к вам пришли.

— Никак Ванечка?

Мать быстро встает, подымая очки на лоб. Клубок шерсти падает на пол и катится, распутывая петли вязанья.

— Ванёчек! Милый! Ждала, ждала, думала, так и не дождусь моего ясного сокола. Ну, идем, идем. И во сне тебя сегодня видела.

Она ведет его дрожащей рукой к своей постели, где около окна стоит ее собственный отдельный столик, постилает скатерть, зажигает восковой церковный огарочек, достает из шкафчика чайник, чашки, чайницу и сахарницу и все время хлопочет, хлопочет, и ее старые, иссохшие, узоватые руки трясутся.

Проходит мимо степенная старая горничная, «покоевая девушка», лет пятидесяти, в синем форменном платье и белом переднике.

— Домнушка! — говорит немного искательно Конкордия Сергеевна. — Принеси-ка нам, мать моя, немножечко кипяточку. Видишь, Ванюшка ко мне в гости приехал.

Домна низко, но с достоинством, по-старинному, по-московски, кланяется Семенюте.

— Здравствуйте, батюшка Иван Иванович. Давненько не бывали. И мамаша-то все об вас скупают. Сейчас, барыня, принесу, сию минуточку.

Пока Домна ходит за кипятком, мать и сын молчат и быстрыми, пронзительными взглядами точно ощупывают души друг друга. Да, только расставаясь на долгое время, уловишь в любимом лице те черты разрушения и увядания, которые не переставая наносит беспощадное время и которые так незаметны при ежедневной совместной жизни.

— Вид у тебя неважный, Ванёк, — говорит старушка и сухой жесткой рукой гладит руку сына, лежащую на столе. — Побледнел ты, усталый какой-то.

— Что поделаешь, маман! Служба. Я теперь, можно сказать, на виду. Мелкая сошка, а вся канцелярия на мне. Работаю буквально с утра до вечера. Как вол. Согласитесь, маман, надо же карьере делать?

— Не утомляйся уж очень-то, Ванюша.

— Ничего, маман, я двужильный. Зато на пасху получу коллежского, и прибавку, и наградные. Тогда кончено ваше здешнее прозябание. Сниму квартирку и перевезу вас к себе. И будет у нас не житье, а рай. Я на службу, вы — хозяйка.

Из глаз старухи показываются слезы умиления и расползаются в складках глубоких морщин.

— Дай-то бог, дай-то бог, Ваничѣк. Только бы бог тебе послал здоровья и терпенья. Вид-то у тебя...

— Ничего. Выдержим, маман!

Этот робкий, забитый жизнью человек всегда во время коротких и редких визитов к матери держится развязного, независимого тона, бессознательно подражая тем светским «прикомандированным» шелопаям, которых он в прежнее время видел в канцелярии. Отсюда и дурацкое слово «маман». Он всегда звал мать и теперь мысленно называет «мамой», «мамусенькой», «мамочкой», и всегда на «ты». Но в названии «маман» есть что-то такое беспечное и аристократическое. И в те же минуты, глядя на измученное, опавшее, покорѣнное лицо матери, он испытывает одновременно страх, нежность, стыд и жалость.

Домна приносит кипяток, ставит его со своим истовым поклоном на стол и плавно уходит.

Койкордия Сергеевна заваривает чай. Мимо их столика то и дело шмыгают по делу и без дела древние, любопытные, с мышиными глазками старушонки, сами похожие на серых мышей. Все они помнят Семенюту с той поры, когда ему было пять лет. Они останавливаются, всплескивают руками, качают головой и изумляются:

— Господи! Ванечка! И не узнать совсем,— какой большой стал. А я ведь вас вон этаким, этаким помню. Отчаянный был мальчик — герой. Так вас все и звали: генерал Скобелев. Меня все дразнил «Перпетуя Измегуевна», а покойницу Гололобову, Надежду Федоровну,— «серенькая бабушка с хвостиком». Как теперь помню.

Койкордия Сергеевна бесцеремонно машет на нее кистью руки.

— И спасибо... Тут у нас с сыном важный один разговор. Спасибо. Идите, идите.

— Как у вас дела, маман? — спрашивает Семенюта, прихлебывая чай внакладку.

— Что ж. Мое дело старческое. Давно пора бы туда... Вот с дочками плохо. Ты-то, слава богу, на дороге, на виду, а им туго приходится. Катюшин муж совсем от дому отбился. Играет, пьет, каждый день на квартиру пьяный приходит Бьет Катеньку. С железной дороги его,

кажется, скоро прогонят, а Катенька опять беременна. Только одно и умеет, подлец.

— Да уж, маман, правда ваша,— подлец.

— Тсс... тише... Не говори так вслух...— шепчет мать.— Здесь у нас все подслушивают, а потом пойдут сплетничать. Да. А у Зоиных... уж, право, не знаю, хуже ли, лучше ли? Ее Стасенька и добрый, и ласковый... Ну, да они все, поляки, ласые, а вот насчет бабья — суший кобель, прости господи. Все деньги на них, бесстыдник, сорит. Катается на лихачах, подарки там разные... А Зоя, дурища, до сих пор влюблена, как кошка! Не понимаю, что за глупость! На-днях нашла у него в письменном столе,— ключ подобрала,— нашла карточки, которые он снимал со своих Дульциней в самом таком виде... знаешь... без ничего. Ну, Зоя и отравилась опиумом... Едва откачали. Да, впрочем, что я тебе все неприятное да неприятное. Расскажи лучше о себе что-нибудь. Только тсс... потише, здесь и стены имеют уши.

Семенюта призывает на помощь все свое вдохновение и начинает врать развязно и небрежно. Правда, иногда он противоречит тому, что говорил в прошлый визит. Все равно, он этого не замечает. Замечает мать, но она молчит. Только ее старческие глаза становятся все печальнее и пытливее.

Служба идет прекрасно. Начальство ценит Семенюту, товарищи любят. Правда, Трактатов и Преображенский завидуют и интригуют. Но куда же им! У них ни знаний, ни соображения. И какое же образование: один выгнан из семинарии, а другой — просто хулиган. А под Семенюту комар носу не подточит. Он изучил все тайны канцелярщины досконально. Столоначальник с ним за руку. На-днях пригласил к себе на ужин. Танцевали. Дочь столоначальника, Любочка, подошла к нему с другой барышней. «Что хотите: розу или ландыш?» — «Ландыш!» Она вся так и покраснела. А потом спрашивает: «Почему вы узнали, что это я?» — «Мне подсказало сердце».

— Жениться бы тебе, Ванечка.

— Подождите. Рано еще, маман. Дайте обрасти перьями. А хороша. Абсолютно хороша.

— Ах, проказник!

— Тьфу, тьфу, не сглазить бы. Дела идут пока порядочно, нельзя похаять. Начальник на-днях, проходя, по-

хлопал по плечу и сказал одобрительно: «Старайтесь, молодой человек, старайтесь. Я слежу за вами и всегда буду вам поддержкой. И вообще имею вас в виду».

И он говорит, говорит без конца, разжигаясь собственной фантазией, положив легкомысленно ногу на ногу, крутя усы и шуря глаза, а мать смотрит ему в рот, замороженная волшебной сказкой. Но вот звонит вдали, все приближаясь, звонок. Входит Домна с колокольчиком. «Барыни, ужинать».

— Ты подожди меня,— шепчет мать.— Хочу еще на тебя поглядеть.

Через двадцать минут она возвращается. В руках у нее тарелочка, на которой лежит кусок соленой севрюжинки, или студень, или винегрет с селедкой и несколько кусков вкусного черного хлеба.

— Покушай, Ванечка, покушай,— ласково упрасивает мать.— Не побрезгуй нашим вдовьим кушаньем! Ты маленьким очень любил севрюжинку.

— Маман, помилуйте, сыт по горло, куда мне. Обедали сегодня в «Праге», чествовали экзекутора. Кстати, маман, я вам оттуда апельсинчик захватил. Пожалуйте...

Но он, однако, съедает принесенное блюдо со зверским аппетитом и не замечает, как по морщинистым щекам материнского лица растекаются, точно узкие горные ручьи, тихие слезы.

Наступает время, когда надо уходить. Мать хочет проводить сына в переднюю, но он помнит о своем обтрепанном пальто невозможного вида и отклоняет эту любовь.

— Ну, что, в самом деле, маман. Дальние проводы — лишние слезы. И простудитесь вы еще, чего доброго. Смотрите же, берегите себя!

В передней гордый Никита смотрит с невыразимым подавляющим величием на то, как Семенюта торопливо надевает ветхое пальтишко и как он насовывает на голову полуразвалившуюся шапку.

— Так-то, Никитушка,— говорит ласково Семенюта.— Жить еще можно... Не надо только отчаиваться... Эх, надо бы тебе было гривенничек дать, да нету у меня мелочи.

— Да будет вам,— пренебрежительно роняет швейцар.— Я знаю, у вас все крупные. Идите уж, идите. Настудите мне швейцарскую.

* * *

Когда же судьба покажет Семенюте не свирепое, а милостивое лицо? И покажет ли? Я думаю — да.

Что стоит ей, взбалмошной и непостоянной красавице, взять и назло всем своим любимцам нежно приласкать самого последнего раба?

И вот старый, честный сторож Анкудин, расхворавшись и почувствовав приближение смерти, шлет к начальнику казенной палаты своего внука Гришку:

— Так и скажи его превосходительству: Анкудин-де собрался умирать и перед кончиной хочет открыть его превосходительству один очень важный секрет.

Приедет генерал в Анкудинову казенную подвальную квартирешку. Тогда, собрав последние силы, сползет с кровати Анкудин и упадет в ноги перед генералом:

— Ваше превосходительство, совесть меня замучила... Умираю я... Хочу с души грех снять... Деньги-то эти самые, и марки... Это ведь я украл... Попутал меня лукавый... Простите, Христа ради, что невинного человека оплел, а деньги и марки — вот они здесь... В комодке, в верхнем правом ящичке.

На другой же день пошлет начальник Пшонкова или Массу за Семенютой, выведет его рука об руку перед всей канцелярией и скажет все про Анкудина, и про украденные деньги и марки, и про страдание злосчастного Семенюты, и попросит у него публично прощения, и пожмет ему руку, и, растроганный до слез, облобызает его.

И будет жить Семенюта вместе с мамашей еще очень долго в тихом, скромном и теплом уюте. Но никогда старушка не намекнет сыну на то, что она знала об его обмане, а он никогда не проговорится о том, что он знал, что она знает. Это острое место всегда будет осторожно обходиться. Святая ложь — это такой трепетный и стыдливый цветок, который увядает от прикосновения.

* * *

А ведь и в самом деле, бывают же в жизни чудеса! Или только в пасхальных рассказах?

ФИАЛКИ

Начало мая. Триста молодых кадетских сердец трепещут, переполненные странными, смешными и трогательными чувствами: азартом, честолюбием, отчаянием, смертельным ужасом, надеждой на слепое счастье, унынием, тупой покорностью судьбе... Необычайной стала жизнь, вышедшая из привычных рамок сурового военного уклада, расчисляющего по командам и сигналам каждую минуту дня и ночи... Парты вынесены из классов в длинные рекреационные залы и расставлены по вкусам соседей, которые зимою ссорятся, как пара каторжников, скованных короткой цепью, а теперь предупредительны, уступчивы и услужливы, точно молодожены. А иногда можно увидеть, как пять или шесть парт соединились вместе, образовав сомкнутую многоугольную фигуру бастiona, со стенами сзади, в виде ненарушимого тыла. Там заседает эгоистическая артель муравьев, работающая сообща и беспощадная к искательствам бездомных стрекоз.

И целый день зубрят, зубрят. Иные, закрыв пальцами глаза, уши и даже нос, как это делают трусливые купальщики, качаются взад и вперед в тягучей истоме. Первые ученики держатся твердо и уверенно, но и они побледнели и осунулись за эти страдные дни. Они хорошо знают, что пройдут блестяще, но все-таки копошится тревожная и завистливая мысль: «А вдруг? Вдруг не первым, а вторым?..»

Милые дети, первые ученики, украшение корпуса, гордость родителей! Вы не хуже и не лучше других детей. Но что значит первенство и праздное честолюбие в сравне-

нии с тем, что мимо вас прошла еще одна весна юности? Конечно, придут и другие весны, которыми вы впоследствии, на досуге, будете комфортабельно и медленно наслаждаться, сознательно смакуя их прелести на севере и на юге хоть всех стран мира. Но никогда не вернется именно эта, эта самая весна, готовая буйно и щедро вторгнуться в ваши зоркие глаза, в разверстые ноздри, в чуткие уши, в ваши жадные, наблюдательные, девственные, ничем не запятнанные умы, вторгнуться и оставить там навеки доброе семя радости и красоты земной.

Того же самого мнения и семиклассник Дмитрий Казаков. Вернее сказать, у него столько же мнения о влиянии природы на человеческие души, сколько его у жеребенка, скачущего по зеленому лугу, у журавля, пляшущего и поющего на полянке среди болот страстную любовную песню, у годовалой лисицы, трепетно и осторожно нюхающей впервые из своей норы весенний волнующий воздух, у ручного кроткого верблюда, который вдруг становится весною страшным в своем бешенстве.

Просто-напросто весна с ее колдовскими ароматами, вкрадчивыми чарами и мятежными снами обволокла его душу непонятной истомой и щекочущей бессознательной радостью, от которой хочешь и плакать, и смеяться, и не знаешь, куда девать себя то от непомерного счастья, то от сладкой тоски. Разве мог бы Казаков сказать себе, почему прошлым летом, живя в имении, он — солидный шестиклассник, куривший почти открыто, басивший и лучше всех товарищей притягивавшийся к турнику на одной руке, — вдруг, случалось, не мог преодолеть в себе безумного мальчишеского желания взять и помчаться диким галопом по высокой росистой вечерней траве, изгибая голову, брыкаясь, визжа и пьянея от острых запахов полыни, повилики, ромашки и клевера? И почему ночью, во время сильной грозы, он выскакивал из дому совсем голый, босой, торопливо просовывал ногу в лямку гигантских шагов и один, под жестоким дождем, взмывал высоко к черному небу, к грому и молниям, дрожа от иступленного восторга, от беспредметного вызова, от пылкого ликования молодого тела?

Так и в эту весну он весь во власти таинственных грез, беспокойного смятения и раздражающего трепетания жизни. Где же тут учиться? Да и никогда он особенно

не влезал в этот хомут. Быть средним по успехам или немного пониже — не все ли равно? На экзаменах можно овладеть своей волей, понатужиться и все наверстать. Но теперь он живет в странном очаровании, точно опоенный сладким дурманом. Он просыпается, спешит к окну, садится на подоконник — и точно впервые, с новым удивлением не говорит себе, а глубоко чувствует: вот синее небо, вот легкие сквозные облака, и трава, и деревья там, далеко, за зданиями. И ходит весь день вялый по огромному, вытопанному многими тысячами ног корпусному плацу. Ложится на чахлую, жалкую, низкую траву и долго, как на сверхъестественное чудо, дивится на суетливую, загадочную беготню муравьев, на цепь сплетшихся букашек, красных с черными пятнами, медленно ползущих между былинками. Читает по десяти раз подряд одну и ту же фразу и никак не может постичь, что такое здесь написано? И, отбросив книгу, ложится ничком, смотрит в бездонное небо до тех пор, пока от движения причудливых облаков сам не начинает медленно плыть куда-то, в вечное пространство, вместе со своими воздушными мыслями.

И вот наступает самое сладкое, самое тревожное, самое чудное — вечер. Стемнело. Едва-едва пламенеет тихая заря. Зеленые сумерки. Черны и резки контуры здания с их чуждыми теперь, пустыми, неосвещенными окнами. Белые фигуры товарищей движутся, точно замороженные. Каждая веточка деревьев поразительно четка на небе, которое светлее земли. Гудят невидимые майские жуки. Стройная песня вдали. Смятченный смех и разговор. Каждый звук доносится, точно из другого мира. И все это, как пряное вино, вливается в каждую каплю крови и тихо-тихо кружит голову. Кто же это проходит сейчас через всю землю, незримый и неслышный? Чье дыхание подымает волосы на голове и ласкает щеку? Отчего вдруг стеснилось дыхание и пересохло во рту и слезы на глазах? Какое чудо должно случиться сейчас, через минуту, через мгновение?

Пора. Зовут спать. Летучие мыши низко и косо чертят черными зигзагами воздух и порою почти касаются лица... Я уйду туда, в скучные, серые стены, и без меня, без меня совершится под темным небом великое таинство!..

Послезавтра последние самые страшные экзамены по математике, но зато сегодня такое утро, точно на небе справляются именины. И Дмитрий решительно швыряет толстого Краевича под парту. Сегодня он удерет и побродяжничает по запретному старому дворцовому парку. Он никого не возьмет с собою, никого! Пойдет совсем один.

За завтраком он ловко утягивает из-под руки зазевавшегося служителя лишнюю котлету и, сжав ее между двумя кусками черного хлеба, сует в карман. Может быть, он опоздает к обеду, но кому же из начальства теперь, в общее беспокойное и горячее время, придет в голову доискиваться, все ли налицо?

Труден путь до парка. На углу древнего, земляного бруствера торчит дежурный дядька, беспальный пан Пневский, придиричивый служака и вечный доносчик. Он не спускает своих бесцветных, оловянных, но точных солдатских глаз с той единственной дорожки, по которой можно ускользнуть: прорыв бруствера, затем кувырком с горы, рядом с зимним катком, потом еще шагов тридцать — сорок по открытому месту, до пруда, а там уже вдоль зеленого, густого, как ботвинья, пруда растут непроницаемой стеной корявые, дуплистые столетние ивы! Там незаметно.

Надзор бдительного дядьки берется обмануть верный товарищ. С лицемерной щедростью сует он пану Пневскому заранее припасенную утреннюю булку. У пана большая семья, и каждый кусок в ней не лишний. Затем закидывается коварная, но самая верная удочка: «На какой войне и в каком сражении пан Пневский лишился двух пальцев на правой руке?» Пан Пневский сначала недоверчиво косится. Он уже не раз клевал на эту соблазнительную приманку. Но лицо спрашивающего так простодушно, а в славных глазах так много живого участия, а сама тема рассказа о том, как пан Пневский, польский шляхтич, из красавца, силача и лучшего работника сделался калек, так неумирающе близка его сердцу, что — хватъ — и рыбка попалась.

А Казаков в это время мчит под верной защитой развесистых ив быстрее степного ветра. Он не может умирить своего бега до самого конца пруда и останавливается, только достигнув пригорка, на котором тесно столпились кусты бузины, волчьей ягоды и дикой жимолости. Здесь он передыхает и идет шагом мимо кузницы, мимо забро-

шенной оранжереи с уцелевшими лишь кое-где мутно радужными стеклами, легко перепрыгивает водяной ров и спускается к узкой, но глубокой речонке.

Вода в реке кажется черной, как чернила, от кустов, которые густо обступили ее с обеих сторон и купают в ней свои свесившиеся длинные ветви. И пахнет она нехорошо от близости многих фабрик. Но другого выбора нет. Раздевшись с непостижимой скоростью, Казаков без раздумья, с разбегу бросается в воду, достигает ногами противного, коряжистого, скользкого илистого дна, задыхается на мгновение, обожженный жестоким холодом, и ловко, по саженкам, переплывает речку без отдыха туда и обратно. И когда он, одевшись, взбирается медленно наверх, то с наслаждением чувствует удивительную легкость в каждом мускуле: точно все его тело потеряло вес, и, кажется, стоит сделать лишь самое незначительное усилие, чтобы отделиться от земли и полететь в воздухе, как большая птица.

И вот, наконец, он входит под высокие навесы парковой аллеи. Старинные липы, современницы Петра Великого, подарившего когда-то этот парк вместе с дворцом любимому вельможе, так сказочно, так невероятно высоки, что каждый человек, идя под ними, невольно чувствует себя маленьким. Здесь всегда зеленая полутьма и сыроватая прохлада. Лишь изредка там и сям на земле блещут, струятся и трепещут двойные солнечные кружочки, точно кто-то бросает сверху капризной рукой золотые монеты. И Казаков идет по широкой, тихой, величавой аллее, точно по пустому, безлюдному, холодному храму, куда он зашел случайно в жаркий полдень. Вот мраморная, изрытая временем львиная голова, точащая из пасти в плоскую чашу тонкую серебряную нитку воды. Казаков подставляет рот и с наслаждением глотает холодную сладкую влагу.

Но когда он отнимает рот, с которого падают светлые капли, то неожиданно его обоняния касается удивительный аромат — тонкий, нежный и упоительно скромный. Следя за ним, поворачивая голову в разные стороны, вдыхая воздух расширенными ноздрями, точно собака на охоте, он спускается вниз, в сырой, мокроватый овраг, куда ручейком стекает вода, переполняющая чашу. Чудесное открытие. Целый оазис наших милых, темных, ма-

леньких северных фиалок, благоухающих, как нигде в целом мире.

Он осторожно, ползая на коленях, рвет цветы, стараясь их не мять, делает с бессознательным изяществом небольшой букетик, обворачивает его круглыми влажными листьями и, наконец, обматывает ниткой, которую зубами выдергивает из казенного платка.

Но когда он опять подымается наверх, на полузаросшую травой дорогу, то невиданное, очаровательное зрелище заставляет его остановиться в немом восторге, почти в страхе. Прямо на него, посередине аллеи, медленно движется, точно плывет в воздухе, не касаясь земли ногами, женщина. Она вся в белом и среди густой темной зелени подобна оживленному чудом мраморному изваянию, сошедшему с пьедестала. Она все ближе и ближе, точно надвигающееся сладкое и грозное чудо. Она высока, легка и стройна, и ее цветущее тело прекрасно. Ее руки со свободной грацией опущены вдоль бедер. Как царская корона, лежат вокруг ее головы тяжелые сияющие золотые косы, и кто-то невидимый осыпает сверху ее белую фигуру золотыми скользящими лепестками. Теперь она в двух шагах... Каждая черта ее молодого свежего лица чиста, благородна и проста, как гениальная мелодия. Взгляд ее широких глаз необычайно добр, ясен и радостен. И цвет их странно напоминает те цветы, которые дрожат в руке неподвижного мальчика.

Но вот она со светлой улыбкой останавливается. И, точно звуки виолончели, раздается ее полный, глубокий голос:

— Какие прелестные фиалки... Неужели вы здесь их набрали?.. Как много и какие милые.

— Здесь...— отвечает чей-то чужой голос из груди Казакова. И не он, а кто-то другой, окруженный розовым туманом, протягивает цветы и произносит: — Прошу вас, примите их, если они вам нравятся... Я буду...

Горло кадета суживается от волнения. Сердце бурно бьется. Глаза готовы наполниться слезами. И сказочная принцесса понимает его. Ее лицо озаряется нежной улыбкой и слегка краснеет. Она говорит ласково: «Благодарю»,— и это простое слово звучит, как литавры в торжественном хоре ангелов. И изящным движением она прицепляет скромный фиолетовый букетик к своей груди,

туда, где сквозь легкое белое кружево розовеет ее тело. Она протягивает Казакову свою милую, теплую руку, пожатие которой так плотно, мягко и дружелюбно. И вместе с ароматом фиалок мальчик слышит какое-то новое, шелковое, теплое, сладкое благоухание.

Затем они говорят о том, чего потом Казаков никогда не вспомнит. Остались в памяти лишь отрывки: что она бывает ежегодно на рождественских балах в том училище, куда Казаков поступит, окончив корпус, и что сегодня вечером она уезжает за границу. Она спрашивает, как зовут Казакова, и неизъяснимой гармонией поет в ее устах имя Дмитрий.

Она первая отпускает его. Она смотрит на маленькие золотые часы, опять протягивает ему свою божественную руку и говорит: «До свидания. Мне очень приятно было встретиться с вами». Да, да, да! Она так и сказала — «до свидания»! И исчезает, как сказка, за поворотом аллеи.

А вечером в спальне Казаков долго не спит, лежа в своей кровати. Он прижимает крепко руки к груди и жарко и благодарно шепчет: «Господи! Господи!..» И в этих словах наивное, но великое благословение всему: земле, водам, деревьям, цветам, небесам, запахам, людям, зверям, и вечной благодати, и вечной красоте, заключенной в женщине... И потом он плачет долгими, радостными, светлыми слезами, которые никогда уже не повторятся в его жизни. И как бы потом ни сложилась его жизнь со всеми ее падениями и удачами, дружбой и ненавистью, любовью и отвращением, — он всегда, даже в старости, — он, позабывший имена и лица любивших его женщин, — благодарно и счастливо улыбнется, вспомнив фиалки, приколотые к груди принцессы из сказки.

Потому что на его долю выпало редкое счастье испытать хоть на мгновение ту истинную любовь, в которой заключено все: целомудрие, поэзия, красота и молодость.

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

— Ну, теперь, господа, как хотите, а я сегодня заслужил мою вечернюю папиросу. Пусть Николаша морщится и фыркает,— этот мой вечный угнетатель, ворчливая нянька. Благодарю вас. Крепкие или слабые — это все равно.

Исподтишка, прикрыв глаза ладонью, через щелочку между пальцами, я наблюдал этого изумительного артиста. Большой, мускулистый, крепкий, белотелый, с видом простого складного русского парня. Белоресниций. Русые волосы лежат крупными волнами. Глубоко вырезанные ноздри. Наружность сначала как будто невыразительная, ничего не говорящая, но всегда готовая претвориться в самый неожиданнейший сказочный образ. Только час тому назад из театральной ложи я видел не его, а подлинного Иоанна Грозного, который под звон колоколов, при реве огромной толпы, въехал на площадь города Пскова, что перед собором. Под ним был старый белый рослый конь. И странен был вид легендарного тирана. Маленький сухонький старичок, с козлиной бородкой, с узкоглазым подозрительным, изжеванным татарским лицом, в серой кольчуге, утомленный длинным походом, снесаемый сотнями хронических болезней, развратник, кровопийца, женолоб и женоненавистник, интриган, трус, умница, ханжа и безбожник.

Над собором, в дымных пепельно-оранжевых облаках катилась луна. И я всем сердцем ощутил темный ужас, овладевший коленопреклоненными псковитянами, о кото-

рых Грозный потом упомянет со свойственным ему простодушным цинизмом и едким краткословием: «Имена же их ты, господи, веши».

«Каким чудом,— думал я,— может человек, обыкновенный смертный человек, достигнуть такой силы перевоплощения. И где граница между восторгом искусства и муками исканий? Вот сейчас я гляжу на него и мне кажется, что он говорит почти механически, он улыбается, шутит, отвечает трем сразу, а всеми мыслями и до сих пор еще там, на сцене, где такими уродливыми кажутся вблизи прекрасные декорации, где слепит глаза свет рамп, играет взыскательный оркестр, поет непослушный хор, угрожает капельмейстерская палочка, шипит голос суфлера и шевелится черная бездна зрителей, то обожаемое и презируемое, милостивое и щедрое, тысячеглавое животное, которому имя — публика.

И как должны быть сладки для творцов немногие минуты полного удовлетворенного отдыха после совершенного радостно тяжелого подвига?

Недаром же Пушкин, закончив монолог Пимена и поставив последнюю точку, взволнованно бегал взад и вперед по комнате, потирал руки, и один в своей гениальной ребячливости хвалил сам себя: «Вот так Пушкин, вот молодец!»

Лениво-лениво рассказывает артист о первых своих успехах в La Scala в Милане. Оговаривается, что история эта давняя, почти всем известная история его дерзкой победы не только над избалованной и придиричивой миланской публикой, но и над соперниками, над хором, оркестром, клакой и газетами. Но вот он оживился, забыл даже о давно желанной, выпрошенной папиросе, глаза его блестят юношеским задором, и опять перед нами новый человек. Ему двадцать пять лет, он полон здоровья, внутреннего пыла и кипения, беззаботный и проказливый, бродит он, подобно всем талантливым мятежным русским людям, по городам, рекам и дорогам своей великой несуразной родины, все видит, всему учится и точно разыскивает сам себя.

— Попал я тогда в один приволжский городишко. В хор. Понятно, в хоре не разойдешься. Да еще имея такой неблагоприятный инструмент, как бас. Ни размеров своего голоса, ни его качеств я тогда еще не знал. Да и

как их узнаешь, если тебе все время приходится служить фоном, рамкой или, скажем, основой ковра, на котором вышивает узоры сладкоголосый тенор или колоратурное сопрано?

А петь мне хотелось ужас как! До боли! Бывало, прислушиваюсь к Мефистофелю, или к Марселю, или к Мельнику и все думаю: нет, это не то, я бы сделал это не так, а вот этак... Но много романсов и арий я все-таки разучивал... так... для себя... для собственного удовольствия.

Потихоньку разучивал от товарищей-хористов. Потому что это народ чрезвычайно добродушный и хорошие товарищи, но большие охальники. Задразнить и высмеять человека им ничего не стоит. А народ все тертый, языкатый, меткий на словечко и на прозвище. Мистификаторы. Да и то сказать. Нелегкая их жизнь. Бедность... неудачливая карьера... а тут же рядом чей-нибудь громадный успех и часто совсем незаслуженный. И всегда гложет мысль — почему же не мне эти лавры? Где справедливость? Вот почему я и побаивался своих товарищей.

А меня как раз и ожидал в то время мой счастливый случай. Ходил, видите ли, к нам в театр один местный меценат, богатый человек, страстный любитель музыки. Старик. Конечно, дилетант, но с очень тонким слухом и со вкусом. И я давно уже замечал, что он на репетициях и на спектаклях очень внимательно ко мне приглядывается и прислушивается. Даже стесняло меня это немножко.

И вот однажды после репетиции сталкиваемся мы в коридоре и идем вместе. Он меня вдруг спрашивает: «Послушайте, дорогой мой, а отчего бы вам не попробовать выступить на эстраде? Хотя бы так, для опыта? Ведь, наверно, у вас есть что-нибудь готовое, любимое?» Я ему, конечно, и признался в своих тайных стремлениях. И сердце у меня, помню, тогда екало, как никогда в жизни.

«Да вот чего же лучше? — говорит он мне. — Через две недели у нас будет большой благотворительный концерт в дворянском собрании. А я вас сегодня же поставлю на афишу. Фрака нет? Это пустяки. Правда, на такого верзилу трудновато будет найти... Но ничего... Это мы сделаем как-нибудь. Главное, не оробеете ли?» — «Оробею, говорю. Знаю себя: голос сядет... Да на эстраде не знаешь, куда и руки девать... Боюсь, Сергей Васильевич,

пустое мы затеваем... Я-то провалюсь, это ничего... Я вытерплю, а вот вам за меня стыдно будет... Как вы думаете?» — «Ладно, отвечает, мой риск, мой ответ. С богом! В холодную реку лезть надо не понемногу, а так... бух каштан в воду, и дело с концом. Я лично враг всяких подъемных мер и средств. Но вот вам мой совет: попробуйте принять перед концертом гоголь-моголь».

С этим мы расстались. Я шел домой и думал: «Гоголь-моголь... хорошо ему говорить такие слова. Но что это за штука таинственная, и из чего она делается?»

Промаялся я с этой загадкой чуть ли не до самого вечера. И чем ближе к концерту, тем все больше волнуясь. Наконец решил зайти к товарищу, к Цепетовичу. Это был мрачный бас, тихий пьяница, и, вероятно, если бы судьба ему улыбнулась, он был бы хорош в ролях наемных убийц. А в тот вечер, когда я навестил его, уже висели на всех заборах и в лучших магазинах красные афиши с программой концерта.

Правда, мое имя было напечатано петитом, и за мной следовало: и др. Но, понимаете ли, как кружится голова, когда видишь впервые свое имя на афише, набранное печатными буквами.

И вот пришел я к Цепетовичу и сказал:

«Да, брат. Видишь, тебя на концерты, небось, не приглашают, а меня пригласили... в самое дворянское собрание».

«Ну, так что ж? — ответил он спокойно и показал рукой на стол. — Это водка. Это котлеты. Это яблоки. Подкрепись, концертант... Дальше?»

«Во фраке я буду. И с нотами в руках».

«Ну?»

«Не нукай. Не запряг. А когда ты добьешься такой чести? Так в хоре и сгниешь... Гоголь-моголь, между прочим, буду принимать».

«Ну, так что ж?»

«Вот и то-то ж».

«Гоголь-моголь? Это вещь серьезная и не дешевая».

«Понимаешь ли ты что-нибудь в гоголях-моголях? Куда тебе...»

И вдруг этот спокойный человек рассердился.

«Я не понимаю? Дурак! Гоголь-моголь делается просто. Берется коньяк, сахар, лимон, яйца. И все. И вообще

пошел вон. Не отягощай меня своим глупым обществом» (у него была привычка выражаться в высоком стиле).

Я ушел. Я был ему бесконечно благодарен. Итак... Гоголь-моголь... Яйца... Лимон... Сахар... Коньяк... Чорт возьми, как бы не спутаться.

У меня в то время были заваливающие три рубля, о которых я как будто забыл, сам перед собою притворялся, берег на крайний случай. Купил я полбутылки коньяку за девяносто копеек. Два лимона, фунт сахара. Пяток крутых печеных яиц. И все это добросовестно проглотил.

Но опьянел. Вы сами знаете, что я ненавижу пьяниц. Но тогда, с непривычки, был хмелён, что греха таить? И сказал сам себе: что будет, то будет.

Взбираюсь по лестнице. Мраморные ступени. Красная дорожка. Светло. Пахнет духами. Тропические растения. Сергей Васильевич встречает меня наверху: «Дорогой мой, не слишком ли вы? Разве можно? Зачем?» И тут же в огромном от пола до потолка зеркале я вижу высокого человека в черной, фрачной одежде, с чужого плеча, с белым вырезом на груди. Вижу бледное лицо и глаза, которые сияют так неестественно, так остро и возбужденно. Я или не я?

Как я дождался своего выхода — не помню. Помню только, что сидел в глубоком кресле и коленка о коленку у меня стучали. Наконец позвали меня. Вышел. Зала полнаешенька. Фраки, мундиры, дамские светлые платья, веера, афиши, теплота, женские розовые плечи, блеск, прически, движение какое-то, шелест, мелькание, ропот...

Акомпанировать мне должен был наш хормейстер... А рояль врал на четверть тона. И сразу я как будто бы позабыл все мои разученные романсы. Говорю Карлу Юльевичу:

«Держите «Во Францию два гренадера...»

Он послушался. Удивился, но послушался беспрекословно. Не мог не повиноваться. Такой был день и такой час.

Ах, боже мой, как я тогда пел! Если бы еще раз в жизни так спеть! Я понял, почувствовал, что мой голос наполняет все огромное здание и сотрясает его. Но от конфуза, от робости, первые слова я почти прошептал:

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели...

И только потом, много лет спустя, я узнал, что так только и можно начать эту очаровательную балладу.

Забыл я о публике. И вот подходит самый страшный момент:

Тут выйдет к тебе, император,
Навстречу твой верный солдат.

О, великий император, бессмертная легенда! Да, да. Я видел его скачущим между могилами ветеранов. Видел его сумрачное, каменное лицо, прекрасное и ужасное, как лик судьбы. Я видел, как разверзались гробницы и великие мертвецы выходили из них, покорные зову вождя.

У меня остекленели волосы на голове, когда я бросил эти слова в зрительный зал. И публика встала, как один человек... Да, встала!

Ну, конечно, аплодисменты и всякая такая чертовщина. Сергей Васильевич жмет мои руки. Газетный сотрудник вьется вокруг меня с записной книжкой. Незнакомые дамы поздравляют. Но вот что меня поразило и растрогало до глубины сердца. Выхожу я в полутемный коридор, что ведет в артистическую. Руки влажны и холодны. Голова горит. В горле сухо. Как в бреду. И вдруг кто-то прижимается ко мне и плачет у меня на груди, подмышку мне. Гляжу — Цепетович.

«Ангел мой... дорогой... я никогда не смел думать, что ты... что ты так талантлив... Прости меня... Какой у тебя путь впереди!»

Он умер, и потому я о нем рассказываю так свободно... Но он, *только он* толкнул меня на путь, где тернии переплетаются с розами. Толкнул потому, что его словам я поверил всеми недрами моей души.

ПАПАША

(Небылица)

Два древних старца, подобные двум вековым дубам, были несменяемы в министерстве. Иным казалось, будто они существуют еще со времен Великия Елисавет на своих должностях. Это были экзекутор и швейцар. Многое множество чиновничьих поколений нарождалось, мужало, расцветало и уходило пред их суровыми очами в неизвестную даль. Вчерашние веселые мальчуганы, беззаботные шелопай-лицейсты, становились сегодня государственными мужами, губернаторами, вице-губернаторами, а завтра делались министрами и членами Государственного совета.

Одни они двое — оставались на своих местах, величавые, живые монументы прошлого.

И сколько десятков своих, своих собственных министров перевидали они: строгих, добрых, норовистых, послушных, женоненавистников и балетоманов, рыкающих подобно библейским львам и доводивших людей до столбняка вежливостью обращения; скоропалительных и тягучих либералов и консерваторов; и таких, которые резали всем правду-матку в глаза, где надо и когда не надо, и тех, которые вели свою политику волнообразными, извилистыми линиями, путем уклончивости, податливости и согласия, с хвостом, поднятым вверх для уловления ветра. И ко всем начальникам старики применялись и приспособлялись безропотно и спокойно, точно зная, что пройдут

века, племена, народы и вожди, но они одни останутся непоколебимо и незыблемо.

Однако новый генерал даже и их многоопытные сердца привел в трепет и смущение. Это бы еще куда ни шло, что он принял всех своих подчиненных запросто и каждому подал руку, и каждого учтиво расспросил о том, сколько лет служит, как здоровье супруги, детишек и престарелой мамы. Бывали раньше и такие архистратеги. Сравнительно понятно было и то, что во время приема он был одет в светлосерый костюм с темнолиловым галстуком, а из верхнего бокового кармана высовывался кусок темнолилового платка в тон галстука, а ботинки на нем были желтые, почти спортсменские, с двойной американской подошвой. Могли быть, пожалуй, и такие фолишенные¹ генералы...

Но уже первые фразы вступительного слова заставили старых боевых коней насторожить чуткие уши.

— Господа,— сказал генерал,— вы, вероятно, часто слышали избитую фразу: «Во-первых, дело, во-вторых, опять дело и, в-третьих, опять-таки дело». Но я вас прошу об одном: как можно меньше дела и как можно меньше бумаг. Вы, конечно, не хуже меня понимаете, что восемь часов принудительного сиденья в запертых душных комнатах ничего не значат в сравнении с одним часом и даже получасом плодотворной, ничем не стесненной работы. Поэтому я предлагаю всем и каждому из моих сослуживцев самим себе назначить срок и время занятий. Это дело вашей совести, сознания гражданского долга и служебного соревнования. Ни отпусков, ни болезней я не буду разрешать. Пусть каждый сам болеет, когда хочет, и уезжает, куда хочет. Моя система — полное доверие. Что же касается до бумаг, то мы постараемся свести их количество,— как входящих, так и исходящих,— до минимума, причем идеалом в этом отношении у нас будет всегда круглый абсолютный нуль. Этого мы достигнем тем, что двери моего официального кабинета в министерстве, так же как и двери частного кабинета на Каменоостровском, всегда, во всякое время дня и ночи, открыты для вас, господа! Словесные распоряжения действуют гораздо скорее и вернее всяких бумаг. Но и помимо службы прошу во всех ваших делах, общественных и личных, важных и

¹ От folie — безумие (франц.).

мелких,— прошу видеть во мне доброго старшего товарища и, если хотите,— тут голос генерала задрожал,— если хотите, отца...

— Я кончил, господа. Теперь, если кто хочет курить,— пожалуйста...— И, раскрыв щегольский серебряный портсигар филигранной веницианской работы, он предложил своему делопроизводителю тонкую душистую папиросу.

Кажется, в тот же самый день, вслед за этой исторической речью, чей-то бойкий язык окрестил эпического генерала именем «папаши». Это прозвище чрезвычайно быстро прилипло и вошло в оборот. Вошло до такой степени, что даже швейцар, почтенный Андрей Вонифатьевич, иногда, говоря заочно о начальнике, срывался и вместо «их превосходительство» говорил «папаша», или даже «наш папаша».

Оттого ли, что политика доверия на первых порах пленила и очаровала сухие чиновничьи сердца, или оттого, что здесь представлялось широкое поле для проказливости, для отдыха от прежней монотонной лямки, но на первых порах ведомство проявило изумительную, блестящую, кипучую деятельность. Даже высшие власти обратили сверху свое благосклонное внимание и выразили приятное удивление. Казалось, настали времена поистине утопические.

Экзекутор и швейцар вперяли задумчивые взоры в прошедшее, ничего не понимали, нюхали табак и изредка неодобрительно покачивали седыми головами. Но мнениями своими не делились ни с кем.

Чиновники сначала робели. «Ласков, ласков,— думали они,— а вдруг укусит?» Но понемножку осмелели и развязались. Через месяц генерал стал уже крестным и посаженным отцом по крайней мере у четырех сотен своих подданных. У некоторых чиновников по два, по три раза умирали жены или сгорало имущество, на что, как известно, требуется пособие. На службу стали ходить с удовольствием, как на забавный водевиль. Желторотые губернские секретари и коллежские регистраторы толпой набивались в генеральский кабинет, разваливались в глубоких креслах и на мягких кожаных диванах, курили генеральские папиросы, а некоторые, поотчаяннее, садились боком на огромный, как бильярд, стол, обитый красным сукном; сплетничали, рассказывали смешные анекдоты. Наконец в один светлый осенний день, когда обычно мрач-

ный кабинет весь был залит потоками солнца, молодой чиновник Перфундьян сказал, как будто нечаянно, слово «папаша». Сделал вид, что страшно сконфузился (потом из него вышел очень недурной актер) и даже покраснел.

— Ваше превосходительство, видит бог... честное слово... — залепетал Перфундьян. — Это мы так... иногда... по молодости, по глупости... Так иногда, между собою... Потому что действительно вы нам... вроде родного отца...

Генеральское лицо озарилось нежной, прекрасной, отеческой улыбкой.

— Ах, родной мой... Что вы... Что вы... Успокойтесь, пожалуйста... Ведь это же... Господа... в конце концов ведь это только лестно для меня... Значит..., Значит... Значит, я не ошибся, господа, когда искал дорогу к вашим сердцам, а не к рассудкам? Благодарю вас, милый Перфундьян, и позвольте пожать вашу руку.

А так как Перфундьян устремился было облобызывать генеральскую десницу, то оба они крепко по-дружески обнялись и поцеловались.

С тех пор и пошло: папаша да папаша. Но престиж власти упал навсегда. И даже Андрей Вонифатьевич, во время разъезда, подавал пальто первому не генералу, а делопроизводителю, когда они одевались вместе.

* * *

Перед пасхой генерал заболел и около недели не являлся в министерство. Рассказывали, что он собственно ручно устанавливал на полочку мраморный бюст Монтескье, но, по неловкости, не удержался на стремянке и свалился, причем тяжелый бюст всей своей тяжестью обрушился на папашину голову. Все в министерстве искренно сочувствовали генералу и серьезно волновались по поводу его здоровья. Но когда, после болезни, он вошел в грандиозный вестибюль исторического здания, в котором уже много сотен лет решались судьбы пятой части земного шара, то произошло нечто неслыханное, несказанное и неопишемое. Голосом, которому мог бы позавидовать любой командир кавалерийской дивизии или московский брандмайор, рывкнул генерал на почтенного мордастого, уболенного сединой, с иконостасом на груди швейцара Андрея Вонифатьевича.

— Ты как, подлец, снимаешь пальто? Каблуки вместе! Заелся на сытых хлебах? Вон отсюда. В двадцать четыре часа... В четыре часа... В полминуты... Вон!.. С волчьим паспортом... В арестантские роты каналью закатаю!..

Когда на страшный раскат генеральского голоса скатились с лестницы горошком вице-директоры, начальники, столоначальники, делопроизводители и все секретари, и все большие и маленькие чиновники, тогда генеральский гнев окончательно прорвался и хлынул точно задержанная и мгновенно прорвавшая преграду Ниагара.

— Бездельники! — кричал он, вращая кровавыми глазами, сжимая кулаки и топая ногой. — Точно школьники! Стоит от вас отвернуться, — и никто ничего не делает. Затылком к делу сидите!

Господин делопроизводитель, мы с вами вместе не можем служить. Либо вы, либо я. Вы дошли до такой фамильярности, которая немыслима и недопустима! Нет, нет!.. Никаких разговоров!.. Позвать сюда чиновника Перфундына. Ага! Это ты, тот самый, который?.. Это ты осмелился называть заочно своего начальника папашей? Вон!.. И без аттестата!.. И вообще вон из Петербурга... Я тебе такого папашу покажу... По третьему пункту!

Экзекутора сюда! Почему беспорядок? Где ремонтные суммы? Где отчетность по уборке снега? Я вас, сударь, ввиду вашей многочисленной семьи не отдаю под суд, а предлагаю вам выйти в отставку, не позже чем через месяц. Экономите на бумаге? На чернилах? Старый раскратчик.

— Что-с? Безззз воз-ра-же-ний!..

Дать мне журналиста! Сколько входящих и исходящих? Ну, живо! На память! Если я тебя разбуду, спроsonья должен сказать! Ага!.. Только восемь — десять тысяч. А в других министерствах десятки миллионов? Господа, ставлю всем вам на вид, объявляю замечание, делаю строгий выговор! Ведомство ленится. Нет движения бумагам! Затор!.. Я вам такой покажу затор!..

Все эти слова он выкрикивал, вздымаясь по лестнице и несясь подобно опустошающему циклону вдоль канцелярских помещений. И по дороге перед ним склонялись бледные, трепещущие, недоуменные рабы. И с последним словом: «затор!» — он скрылся в своем кабинете, точно Иегова в облаке...

* * *

Во второй раз ведомство изумило весь чиновный мир своей молниеносной деятельностью. Точно открылись шлюзы, и через них по всей земле русской пролились миллионы бумаг. Толстые, желтые, геморроидальные, задыхающиеся начальники отделений летали взад и вперед, как мальчишки-комми от «Мюр и Мерилиза». Спешно вызывались начальники уездов, получали стремительные внушения и мчались в свои области делать порядок или беспорядок, и дрожь, которую они испытывали в огромном кабинете, передавалась, как электрический ток, нервам обывателей. И — боже мой! — что только не делалось в это время... Громы, молнии, ураган, извержение вулканов, Иродово избиение младенцев и Мамаево нашествие. Один сановник сострил по этому поводу в частном разговоре: «В противоположность господу богу, создавшему мир в шесть дней, ныне милейший Иван Григорьевич мог бы его разрушить в такой же срок».

* * *

Все это случилось в давно прошедшие, чуть ли не гоголевские времена. Но до сих пор экзекутор и швейцар, нюхая табачок, спорят о том, когда был папаша сумасшедшим: до бюста или после бюста великого знатока духа законов — Монтескье?

ГРУНЯ

Молодому писателю Гущину посчастливилось. В этом году он сумел пристроить в еженедельники три новеллы, ноктюрн, два психологических этюда, сюиту (он и сам не знал, что значит это Слово) и пять стихотворений, из которых одно — сонет в двадцать четыре строчки — «обратило даже внимание мелкой критики в отделе «С бору по сосенке». Сам великий Неежмаков за десятым стаканом чая с лимоном и Выборгским кренделем сказал ему на своем замечательном волжском наречии:

— Ты, брат, Коляка, вот этого... как оно... Работать ты можешь... выходит у тебя совсем гожо... Только, братеньник, надоть, когда пишешь, в самое, значит, в нутро смотреть, в подоплеку, стал быть, в самую, значит, в гушу... Ого-го-го. Гущин в гушу... Выходит вроде как каламбур. Надо, отец, знать, о чем пишешь до самой основы, до мелочи, чтобы чисто было. Чтобы ни тин-тилили, ни за веревочку! Язык изучай, обычай, нравы, особенности. Ты вот этого... как оно... помнишь, как у меня в «Иртышских очерках» написано? «Айда с андалой на елань поелозить». Что это значит? В том-то, брат, и укус! По-русски выходит в переводе: «Пойдем с дружкой на лужайку побродить». Вот оно настоящее изучение языка. Так и ты, благодетель. Прильни ты, знаешь, к земле, к самой, значит, к ее пуповине, к недрам, к сосцам благим, и соси, подобно младенцу. Чаю больше не хочешь? Тогда прощай. Мне пора за романище мой проклятуший. Поезжай, дру-

жище, в провинцию, погляди, понюхай, пожуй, и обновится аки орля юность твоя... А то у тебя как быдто и хорошо, и ладно, и баско, и прочее тому подобное, а все как-то по-стрекозиному... Ну, гряди, чадо!

* * *

Неежмаков носил голубую бархатную блузу с отложным воротом и с пышным белым крепдешинным бантом на шее. Гушин приобрел коричневый вельветовый пиджачок, а к нему белый батистовый галстук-самовяз. Подобно Неежмакову, он завел пенсне и отпустил длинные светлые волосы, которые еще больше придали девического характера его малокровному лицу калмыцкой богородицы. Выйдя после дружеской беседы на улицу и подумав немного, он решил последовать совету великого учителя: прильнуть к пуговине.

В глуши Вельегонского уезда служил урядником его отец. Гушин всегда скрывал отцовскую профессию: «Я сын пастуха,— говорил он со скромной поэтической гордостью и даже упоминал об этом в одном хромом стихотворении: «Сын пастуха, я знаю край родимый». Очень приятно щекотала мысль показаться семье, соседям, знакомым писарькам и поповнам. Когда-то все знали его сопливым мальчишкой при волостном правлении, а теперь — подите-ка, выкусите, известный писатель, со знаменитостями на «ты», вся Россия его читает. И слова какие звучные он будет употреблять: «редактор», «гонорар», «корректур», «метранпаж», «гранки», «купюры», «матрица», «линотип».

Поездка сложилась удачно. До станции Бологого он выклянчил бесплатный билет второго класса у знакомого писателя, служившего в отделе невостребованных грузов; от Бологого до Рыбинска пришлось заплатить пустяки в третьем классе, а от Рыбинска до Вельегонска ему дал даровой каютный проезд его дядя, односельчанин Куропаткин, который зимою скупал у мужицкой бедноты пеньку, веретена, дуги, лен, масло, а летом служил агентом в пароходном крестьянском обществе, пускавшем два маленьких пароходишка от Рыбинска до Устюжны и обратно.

Гушин не вышел еще из того прекрасного возраста (из которого иные, впрочем, не выходят до пятидесяти лет), когда человек в природе и в людях ничего не находит

интереснее, значительнее и красивее себя. Поэтому в вагоне — и вчера вечером и сегодня днем — он сумел разговаривать с несколькими пассажирами — с той легкостью, которая так присуща железнодорожным встречам. Гуцин всегда смертельно скучал, если собеседник говорил о самом себе, и вдвое тосковал, когда разговор касался вопросов отвлеченных или общественных. Поэтому он ловким приемом сворачивал речь на себя. Например, кстати вставлял небрежное замечание: «Ужасно утомляешься за зиму, и так рад отдохнуть», или: «Ни на ком так тяжело не отзываются теперешние условия, как на нас», или еще: «Это хорошо говорить людям двадцатого числа». Или он внезапно проявлял необычайную осведомленность о составе редакций и о слабостях громких писателей. Неизбежно вытекал робкий вопрос: «А вы сами, извините за нескромность, чем изволите заниматься?» И следовал лицемерно-застенчивый ответ: «Да, как сказать... Я не знаю, назвать ли это даже профессией... Я, видите ли, писатель... Гуцин — моя фамилия». — «А-а-а! Очень, очень приятно. Как же, как же... Отлично вспоминаю. То-то я вижу лицо будто бы знакомое. Вероятно, портреты ваши встречал в иллюстрациях? Чрезвычайно лестно познакомиться с настоящим писателем. А позвольте спросить...»

И начиналось. Правда, много, ужасно наврав зевавшему спутнику и, наконец расставшись с ним, Гуцин всегда чувствовал жестокий приступ моральной тошноты и скверный вкус в душе, но воздержаться от этих волнующих, пьянящих ощущений, вызываемых чудовищной жаждой известности, или остановиться на полпути в истерическом лганье — он не хотел, не умел, не мог.

Иногда в промежутки болтовни он случайно возвращался к мысли: «А ведь я еду наблюдать жизнь. Надо не терять времени. Подмечать каждую черту лица, каждый жест, ловить всякое меткое словечко». И усилием воли заставлял себя прислушиваться к мимолетным беседам в купе, в коридорах, на тормозах. Но говорилось все такое неинтересное...

Занял его внимание на минуту раненый поручик с офицерским георгием. У него вокруг глаз и на висках была разлита странная, особенная вялая желтизна, а сами глаза, встречаясь с другими глазами, глядели не в них, а куда-то насквозь, вдаль, туда, в недавнее пережитое,—

желтизна и взгляд, свойственный людям, которые в течение многих и многих дней, без сна и без пищи, терпели то, что превышает пределы даже невероятной человеческой выносливости, ежеминутно видя смерть перед глазами, ожидая ее.

Гущин все думал: «Вот, вот, сейчас начнется захватывающее: визг бомб, бубуханье шрапнелей, татаканье пулеметов, знамя, пламенная, короткая, как блеск молнии, речь офицера, бешеное «ура», упоение битвы...»

Ничуть не бывало.

Лениво посмеиваясь, то и дело сдувая пепел папиросы себе на рейтузы, офицер говорил спутнику, серьезному седому бритому человеку:

— А они нас за четверть версты из пулемета... Прямо перед мною, в пяти шагах... как бы тебе это передать?.. Ну, вот точно кто-то взял и стегнул через все поле огромным стальным хлыстом... Понимаешь — черта, и пыль взвилась! Я побежал. Не испугался. Нет. Какой тут испуг, когда главный ужас уже преодолен. Просто обалдел. Остановился только на секундочку. Перекрестился и скок через черту. И вперед. А вокруг шум, грохот, беспорядок. Потом оглянулся назад, на роту. Смотрю, а они все, как бараны, через ту же самую черту скок да скок. Но я обо всем этом вспомнил тогда, когда мы уже взяли окоп. Вспомнил и лежа захохотал. А из солдат никто этого не помнил. Впрочем, и я тоже — о том, как мы выбили их из окопа, хоть убей меня, не помню! Ну вот ни на столечко.

«Вот что значит не художник,— свысока подумал Гущин.— Никчемную мелочь запомнил, а главного не уловил».

* * *

День падает к вечеру... Жалят комары. Воздух мреет и парит. От паровой трубы воняет машинным маслом и краской. Вот уже более шести часов Гущин слоняется одиноко по палубе. Иногда заходит в гостиную (она же столовая), в каюту, в нижнюю палубу третьего класса. Заглянул мимоходом в машинное отделение и убежал от нестерпимой жары. Скучно ему. Ни одного интеллигентного пассажира. На корме, прямо на полу, сидят кружками мужики, едят руками селедку с хлебом и луком и запивают

водой, почерпнутой тут же из-за борта пароходным ведром. Разговор тяжелый, вязкий: о покосах, недоимках, пайках, о рожающих бабах, арендателях, земских начальниках, агрономах. Серый мужичий, вперемежку с скверной бесцельной бранью, разговор, который теперь совсем непонятен, дик и противен Гущину.

Тоска!

В одиннадцатом часу утра за пристанью Чисково он уже съел порционную стерлядку. Недурно, хотя и отзывает нефтью. Но на пароходе пища всегда легко утрясается и аппетит возобновляется быстро. Разве поесть? Гущин разворачивает свою записную книжку, куда записывает бережно все расходы. В нем сказывается врожденный расчетливый мужичий ум. «Бегут деньги по копейкам, а потом хватить-похватить и сам не знаешь, куда рубли разошлись». Да и от природы Гущин скуповат. В Петрограде за даровую комнату и сто рублей в месяц он ведет книги двух больших шестиэтажных домов, зарабатывает немного у Неежмакова перепиской, дает небольшие отчеты и заметки в газету и умеет откладывать кое-что про черный день.

«Нет,— думает он, пряча со вздохом записную книжку.— Лучше попою чайку с ситным, а к вечеру видно будет».

Заря пламенеет на небе и в воде.— Завтра будет ветреный день. Приречные кусты черно-зелены. В дальней темной деревушке все стекла горят праздничным красным светом заката: точно там справляют свадьбу. Где-то в лужках или на болотах звенят ровным дрожащим хором лягушки. Воздух еще легко прозрачен.

На левом борту, на белой скамейке сидит девушка. Гущин раньше не замечал ее, и внимание его настораживается. На ней черное гладкое платье с широкими рукавами, а черный платок завязан, как у монашенки. К женщинам Гущин по природе почти равнодушен, но в обращении с ними труслив и ненаходчив. Однако он подтягивается и несколько раз проходит взад и вперед мимо девушки, заложив руки в карманы брюк, приподняв плечи, слегка раскачиваясь на каждой ноге и грациозно склоняя голову то на один, то на другой бок.

Наконец он садится рядом, кладет ногу на ногу и правую руку на выгнутую спинку скамейки. Некоторое время

он барабанит пальцами и беззвучно насвистывает какой-то несуществующий фальшивый мотив. Потом крикает, снимает мешающее ему пенсне и поворачивается к девушке. У нее простое, самое русское, белое и сейчас розовое от зари лицо, в котором есть какая-то робкая, точно заячья прелесть. Она чуть-чуть курносенькая, губы пухлые, розовые, безвольные, а на верхней губе наивный молочный детский пушок.

Гущин набирается смелости и спрашивает особенным, вежливым, петроградским тоном:

— Извините меня, пожалуйста. Не знаете ли вы, какая будет следующая пристань?

— Иловня.

Название звучит у нее как мягко взятый высокий гитарный тон. Таким прекрасным может быть человеческий голос только вечером, в чистом воздухе, на воде.

— Благодарю вас. А вы сами далеко изволите ехать?

— В Вознесенский монастырь.

Тут только Гущин улавливает, что одежда девушки слегка пахнет воском, деревянным маслом и ладаном; запах этот вовсе не неприятен. В нем есть холод, умильная тайна и влекущая суровость. Этих тонких оттенков Гущин не постигает. Однако он человек не злой, и ему становится жаль девушку.

— Неужели, простите меня за нескромный вопрос, неужели вы монахиня?

Она слегка вздыхает, чуть-чуть улыбается и снизу вверх, сбоку, быстро взглядывает на Гущина. Глаза у нее большие, ласковые, серые. Белки от отблеска зари розовые, точно девушка только что долго плакала, и это придает ее взору интимную кротость. И тотчас же она опускает ресницы. Голос ее звучит полно и мягко:

— Нет! Я не монахиня, а пока только белица.

Разговор завязывается, но идет тяжело, нудно, с большими паузами, во время которых Гущин судорожно придумывает вопросы. Девушка только отвечает — коротко, иногда односложно: да, нет. И лишь изредка показывает Гущину свои тихие глаза с четким мраморным узором на сером райке. Во время разговора и он и она не переставая щелкают себя ладонями по лбу, по щекам, по губам. Голодные, злые комары садятся сотнями. Укусы их нестерпимы.

Ее зовут Аграфеной. Но она тотчас же с улыбкой поправляется — Агриппиной. Так велят в монастыре матушки. Говорят, что нет такого христианского имени — Аграфена, есть только Агриппина. А попросту — Груня, как зовут дома. Какая же она Аграфена, когда ей нету и девятнадцати лет? В монастырь пошла не своей охотой — кому же охота? Но она у матери моленная дочка. Мать очень тяжело рожала ее и в муках обещала богу, завещала отдать в Вознесенский женский монастырь. Семья у них, слава тебе господи, зажиточная. Отец не здешний, а из Череповецкого уезда, Черепан. Зимой строит по заказу беляны и рашивы, а летом спускает на Шексну и на Мологу. Нынче старшую сестру выдают замуж за ярославского огородника. Человек не пьющий, самостоятельный, только рыжий и немолодой, а уж такой скупующий и въедливый, что прямо сказать нельзя! Из-за каждой тряпки, из-за каждой копейки торгуется, как жид. Вот теперь и послали Груню в Рыбное закупать сестре обещанное приданое, иначе рыжий и в церковь не поедет. А из Рыбного ее провожает дядя. Он совсем серый и неграмотный, хотя мастер считать. Он староста в артели грузчиков при Самолетных пароходах. Да вот поглядите-ка наискось. Подле трубы...

Гущин поглядел на дядю и сразу почувствовал бессознательное огорчение. Это был мужик необыкновенного роста и чрезвычайной плотности — один из тех полусказочных волжских грузчиков, что способны взнести по сходне без посторонней помощи лошадь или пианино. Лицо у него было большое, длинное и крепкое, строгого и красивого византийского письма; такие лица и теперь еще встречаются в тех северных уездах, где к славянской крови не подмешалась татарская, корельская и мордовская кровь. Слегка прищуренные полукругами глаза смотрели добродушно и презрительно. Седые, исчерна, волосы лежали на голове кудлами, седая с серебряными нитями борода свалаялась винтообразно до середины груди. Старик сидел на палубе, на полу, поджав под себя ноги в лаптях, глядя на воду, курил вертушку махорки, кашлял и поминутно плевал через борт. Правая рука лежала у него на коленях, — огромная, костистая, черная, морщинистая, точно выделанная из сосновой коры. «Он похож на доброго разбойника Кудеяра», — подумал Гущин.

И, точно почувствовав, что разговор о нем, старик оглянулся, быстро, одним толчком поднялся на ноги, отчего стал еще необыкновеннее в своих размерах, бросил окурок за борт и, легко и широко шагая, подошел к племяннице.

— Аграфена, — сказал он, — иди вниз, чай пить. Нечего рассиживаться.

Если Грунин голос был похож на сладостный тон гитары, то голос дяди звучал подобно самой низкой, сиплой ноте старого, мокрого, простуженного контрабаса.

— Что-й-то не хочется, дяденька, — не спеша, ласково ответила Груня. — Кушайте одни.

— Не хочется — не надо, — сказал старик и на мгновение пристально и равнодушно, как на новый, но неинтересный предмет, поглядел на Гущина. — А то тоже зря болты-болтать нечего. И туман сейчас подымается.

Он повернулся, отошел и стал по трапу спускаться в нижнюю палубу. Постепенно исчезли его массивные ноги, громоздкое туловище и, наконец, живописная лохматая, разбойничья голова.

Груня с легкой улыбкой скользнула по глазам, губам и опять по глазам Гущина.

— Вы не думайте, он не злой, — сказала она успокаивающим тоном. — Только вид имеет такой злодейский, а сам проще овцы. И когда выпьет, смирный-пресмирный. Песни все поет. А уж сколько может выпить — уму непостижимо. Один целую четверть — и хоть бы что. Душа в нем добрая, а за водку все готов отдать.

Гущин помолчал. Мимо парохода шли длинной звенчатой, изгибистой змеею связанные плоты каждый в пять-шесть бревен. В узком месте им трудно было разминуться с пароходом. Пароход умерил ход и, наконец, совсем остановился. Сплавщики ловко перебежали с плота на плот и отпихивались длинными жердями то от дна, то от пароходного борта. И все-таки десять последних звеньев, ударившись о нос парохода, оторвались от каравана и повлеклись течением к берегу.

Поднялась знаменитая, изощренная волжская и при-волжская ругань. Ругались охрипшими, лающими головами, мокрые, голоногие, пьяные, обозленные гончики, ругались в ответ им капитан и его помощник, и оба штурвалы, и все матросы. Галдела, давая неуклюжие советы,

вся третьеклассная публика, свесившаяся через металлические поручни. Кудеяр не показывался наверху. Должно быть, зрелище для него было слишком мелким, несостоящим внимания.

— Эти шекснинские и моложские — ужас какие охальники, — сказала Груня. Впрочем, она без особой брезгливости прислушивалась к виртуозной брани.

Наконец пароход разошелся с плотами и двинулся. По-немногу затихла ругань. Палуба опять опустела. Гушину с трудом удалось преодолеть в душе ту низменную, жалкую, мутнозеленую робость, которую внушал ему Кудеяр своей фигурой и страшным голосом. Торопливо проглотив слюну, он заговорил сдавленным, каким-то чужим голосом:

— А что, если бы нам, в самом деле, Груня... извините, что я так фамильярно... Если бы нам попить чайку у меня в каюте? Вы не подумайте, чтобы я что-нибудь... А?

— Ах, нет, как же это можно? Дяденька заругается... К чужому мужчине...

Но глаза ее сказали: «Я пойду. Будь настойчивее».

— В самом деле. . По крайности, там комары не едят. Это же общая столовая, а не каюта. Каюта отдельно. Принимаете, столовая для общего пользования.

— Уж я, право, не знаю... Неловко как-то...

— Ах, милая Груня, что же тут неловкого? Одни глупые предрассудки. Посидим, побеседуем мирно полчаса и расстанемся добрыми друзьями. А?

— Дядя вот только... — произнесла девушка, нерешительно вставая и озираясь.

— Ну, что такое дядя? — расхрабрился Гушин. — Не съест же он нас живьем. Хотите, и его пригласим?

— Э, нет, лучше уже не надо... Боюсь я все-таки.

— Господи, да ведь ничего особенного. Идемте. Пожалуйста.

Внизу, в столовой, Гушин позвонил пароходному лакею в грязном, вонючем фраке и велел принести две порции чаю с лимоном. Поколебался немного и прибавил: «И пирожных там каких-нибудь и вообще...» Хотел было предложить Груне рыбную солянку или стерлядочку и вина, но испугался, что уйдет на этот кутеж пропасть денег и не решился.

Груня с удовольствием и со стеснением оглядывала жалкую роскошь салона: обои из линолеума, зеркало в раме поддельного красного дерева, электрическую арматуру, вытертый бархат скамеек и кресел. Все это было из другого, незнакомого, аристократического мира, к которому, несомненно, принадлежал и Гушин с его вельветиновым пиджачком, пенсне, батистовым галстуком бабочкой и непонятными, приподнятыми оборотами речи.

Разговор, не вязавшийся на палубе, стал здесь еще тяжелее. Гушин рассказывал о себе, о писателях, о первых представлениях, о редакциях. Груня внимательно слушала и лишь изредка отворачивалась в сторону, чтобы под углом полумонашеского платка скрыть короткую зевоту, или зевала одними ноздрями, сжав челюсти. Когда же она говорила о скуке монастырской жизни, о долгих церковных службах, о надоевших грибах, сметках, капусте и рыбе, о вышивках золотом и блестками, о хоровом пении, о подозрительности и придирчивости матушек,— скучал Гушин. Он всегда скучал, если говорили не о нем или он не говорил о себе.

Мысль о том, что рядом, в двух шагах, пустая каюта, которую можно запереть, и что во всем помещении второго класса нет, кроме их двоих, ни одного пассажира,— эта мысль была нестерпимо волнующа; от нее холодело и на секунду останавливалось сердце, сладко ныло в животе и в ногах, потели и слабели руки, кружилась голова и по коже бежали щекотливые струйки. Но как приступить? Как это делается? Подсесть поближе? Взять руку? Схватить шутя за грудь? Подойти сзади, сжать двумя руками милую, скромную монашескую головку, отогнуть назад и начать целовать в губы? Пожать под столом ногу? Начать с комплиментов? Заговорить о любви? Рыцарски предложить к ее услугам свою каюту? Нет, это все казалось невозможным, невероятным, неисполнимым. У других это выходит как-то просто, само собою. Должно быть, есть у них какие-то слова и движения, какие-то особые желания, каких Гушин не знает и к ним неспособен. И он все чаще и чаще делал паузы, постукивал пальцами по клеенке стола и тянул бессмысленно: «Да-а-а... так, так, так... уму... да...»

Вдруг тяжелые шаги послышались на ступеньках трапа. Они спускались все ниже и ниже, и, казалось, под ними гнулась металлическая лестница. Гуцин оторопел, и сердце у него затрепетало, как живой воробей, взятый рукою. Дверь открылась. Наклонив голову, чтобы не стукнуться, вошел в столовую Кудеяр, большой и несуразный, точно слон, введенный в комнату.

— Ты что же это шляешься по каютам, мокрохвостая! — загудел он своим сиплым басом, густо переполнившим салон. — Нашли место, где чай распивать. Марш! Ходу наверх. Вот скажу отцу... Он те раскочит.

Гуцин, мучительно бледнея, привстал и, точно в обмороке, залепетал:

— Послушайте... вы, может быть, думаете? Ни с какой стати... Как честный человек... Позвольте представиться... Ничего подобного...

Обессилив мгновенно, он опустил в кресло и продолжал сбивчиво бормотать:

— Позвольте представиться... Известный русский писатель. Гуцин моя фамилия... Позвольте пожать вашу честную рабочую правую руку. Может быть, чайку... Милости...

— Гуяйавый! — крикнул Кудеяр звериным голосом, и его прищуренные глаза вдруг страшно раскрылись. — Убью!

В смертельном ужасе Гуцин закрыл глаза и втянул в себя шею. Он каждым своим нервом, всем существом понял, что это чудовище может оторвать ему руку или ногу, расплющить голову, исковеркать все тело или просто убить с тем же легким чувством, как он убивал на своей огромной корявой руке комара.

Но Кудеяр инстинктом понял весь насекомый страх, переполнявший душу писателя, и гнев его отошел. Он сказал только, обращаясь к Груне, презрительно:

— Нашла тоже кусок г....!

И осторожно, соразмеряя свою необъятную силу с незначительностью сопротивляющейся массы, он хлопнул Гуцина ладонью по затылку. У того ляскнули зубы, больно прикусив язык; подбородок, ударившись в чайное блюдечко, разбил его вдребезги, а в зажмуренных глазах известного писателя запрыгали красные звезды, заплывали лазоревые озера...

* * *

Через час Гушин осторожно прокрался наверх, на палубу. Пароход только что миновал пристань Лянь. Чуть ушибленный стоял над головой, на безоблачном небе печальный месяц. Плоские берега были темны, и кусты на них точно прятались, пригнувшись к земле. По воде бродили разорванные туманы. Поручни, скамейки, канаты были мокры и серы от росы. Пахло утром. Петухи в деревьях хрипло перекликались. Дежурный матрос лениво выпевал на носу:

— Шесть с половиной... Ше-есть... Полнаметки...

На том же месте, где и раньше, сидела девушка в черном монашеском платье. Но, увидев ее, Гушин с чувством страха и жгучего стыда поспешно возвратился вниз, в каюту.

Он долго не мог заснуть. В тесном помещении было душно и жарко, противно пахло смазными сапогами, следкой и зловонной дешевой жирной пудрой. И хотелось Гушину плакать от сознания того, что он такой бессильный, трусливый, скупой, гаденький, бездарный и глупый и что нет у него ни воли, ни желаний. Притом снились ему его вагонные разговоры о себе и о писательстве, и стало ему так колюче совестно, как это бывает только ночью, в одиночестве, во время бессонницы.

* * *

Утром лакей постучал в дверь. «Подходим к Восьегонску,— сказал он и добавил со скверной улыбкой.— Хорошо ли почивать извоили?» Гушин ничего не ответил и дал ему двугривенный, который тот принял без благодарности. Наверху уже не было ни Груни, ни Кудеяра. Они сошли раньше на пристани Вознесенской.

ИНТЕРВЬЮ

Двенадцать часов дня. Известный драматург Крапивин бегают взад и вперед по кабинету. Левой рукой он нервно крутит вихор над лбом, а правой делает жест, соответствующий тому месту в пьесе, которое ему никак не дается... Полы его старого татарского халата, зеленого в белую продольную полоску, развеваются по сторонам. На ходу Крапивин сквозь стиснутые зубы напыщенно декламирует:

— «Нет! Не проклятие, не жажда мести останутся в моем сердце, а холодное, вечное презрение... Ты разрушила...»

Горничная Паша показывается в дверях.

— Барин...

— «Ты осквернила тот идеал... Нет. Тот пьедестал, который...»

— Барин, там какой-то человек приходши.

Крапивин останавливается и некоторое время смотрит на нее, точно спросонья, блуждающими глазами.

— Дура,— бросает он свирепо.— Если уж хочешь выражаться правильно, то надо говорить не приходши, а приходцы.

— Человек приходцы.

— Никого не принимаю. Вон. Нет меня дома... Какой человек?

— Какой-то мужчина. Я ему докладывала...

— Вон. Я занят, заболел, умер...

— А они не слушают и лезут самосильно.

— Сорок раз тебе говорить, ворона псковская, что я принимаю только от... Что вам угодно, милостивый государь?

В комнату медленно вскользает очень молодой джентльмен. Смокинг, черный галстук, цветок ромашки в петлице, из бокового кармана торчит уголок фиолетового платка. Лицо бритое с английским косым пробором. На губах очаровательная улыбка, в которой есть все: просто-сердечие, наивность, восхищение, застенчивость,—но также и одна искренняя тонкая черта — прирожденный лукавый комизм.

— Глубокочитимый... высокоталантливый... миллион извинений... Я сам знаю, как всем поклонникам вашего блестящего таланта дорога каждая минута вашего дивного, прелестного творчества...

— Да-с,— грубо прерывает его писатель.— И вы сами видите, что в настоящую минуту я занят, о чем вам только что сказала прислуга. И, наконец, кто вы такой, чорт возьми?

Но гость не смущен. Голос его становится еще нежнее, произношение еще слаще, улыбка еще обаятельнее.

— Я сотрудник газеты «Сутки» — Бобкин... Вот моя карточка. Многочисленные читатели нашей газеты давно горят желанием узнать, над какой новой пьесой работает теперь ваше гениальное перо. Какие новые жгучие образы лежат в вашем неистощимом портфеле.

— Фу ты чорт,— тяжело вздыхает Крапивин.— Ничего я не пишу. Никакие не образы. Отвяжитесь вы от меня, Христа ради, господин Трепкин.

— Бобкин... Ну, хоть не содержание, а только заглавие,— молит медовым голосом репортер.

— И заглавия нет никакого. «Суматоха в коридоре, или храбрый генерал Анисимов»... «Жучкина подозрительность»... «Две пары ботинок и ни одного шофера»... «Красавица со шпанской мушкой». Молодой человек, оставьте меня в покое. Я вам это серьезно советую в ваших же интересах. Уйдите, господин Дробкин.

— Ха-ха-ха,— смеется подобострастно репортер и быстро чиркает что-то в записной книжке.

— А позвольте спросить, дорогой учитель, хотя это, может быть, немного и нескромный вопрос: вы очень

волнуетесь перед первым представлением ваших изумительных пьес?

— О-ох,— стонет Крапивин, бухаясь в кресло и обтирая лоб платком.— Ужасно волнуюсь. Чудовищно волнуюсь. Ничего не ем целый месяц. Пью бутылками самые сильные наркотины — хлораль-гидрат и трионал... Не выхожу из ледяной ванны...

Репортер кивает головой и поспешно строчит. Крапивинным овладевает испуг.

— Что вы там пишете? Слышите вы меня или нет? Это я шутя все сказал, со злости... Положите в карман вашу гнусную книжку. Положите, я вам говорю. Иначе... Видите вы эту бронзовую статуэтку?

— Ваш бюст, кажется? Работа Трубецкого?

— Не мой, а Шекспира... Но все равно, вы отлично понимаете, что я могу сделать с этой бронзой, молодой человек,— добавляет он упавшим голосом,— ах, покиньте, пожалуйста, покиньте мой дом. Уйдите, господин Тапкин.

— Сию минуту, маэстро. Сейчас, сейчас... Еще два-три последних вопроса, и я оставлю вас наедине с вашей музой. Ваше мнение о современном искусстве?

— Не знаю, ничего не знаю,— устало бормочет Крапивин.— У меня астма... Паша, квасу! Вы пьете квас, молодой человек? У меня домашний... На смородине.

— Где намереваетесь провести лето?

— Не знаю... в этом самом... в как его, на северном экваторе.

— Взгляд ваш на футуристов?

— Отвяжись ты от меня, умоляю я тебя, несносный человек. Довольно того, что весь мой рабочий день испортил. Уйди!

— Что вы скажете о теперешней дороговизне предметов?

— Ничего... Брр. Паша! Да идите же, когда вас зовут, тихоход австралийский. Вот этот молодой барин, господин Типкин, очень торопится итти по весьма неотложному делу. Подайте ему пальто, шляпу, палку, калоши, зонтик, кашне и наймите ему автомобиль за мой счет.

— О, как вы добры, дорогой писатель. Сейчас узнаёшь драматурга школы незабвенного Островского. Последние вопросы: какого вы мнения о пораженцах?

Крапивин не выдерживает больше.

Быстро снимает он со стенного ковра старинный заржавленный пистолет с дулом в виде раструба, оружие времен Измаила и Чесмы, наводит его на репортера и орет, весь сотрясаясь:

— Я тебя, щучий сын, убью сейчас из этого поганого пистолета, если ты не исчезнешь!

Интервьюер исчезает. Последнее слово, которое, подобно львиному реву, достигает до его слуха,— слово «прохвост».

На другой день известный драматург Крапивин, все его друзья и знакомые, а также все подписчики газеты «Сутки» читают следующую статью:

У Б. Крапивина

(Личная беседа)

Мы застали маститого драматурга в самый разгар его творчества. Талантливый автор «Развала семьи», извинившись за утренний туалет (роскошный вышитый шелком атласный халат — дар, как мы догадываемся, одной из бесчисленных поклонниц русского Мольера), принял нас с своим обычным русским лукулловским радушием в роскошном кабинете, стиля Луи Каторз Пятнадцатый. На наш вопрос о том, какими новыми пьесами подарит нас плодовитый автор «Неуязвимой», знаменитый автор ответил:

«Я всегда из суеверия держу мои замыслы в секрете. Но для сотрудника «Суток» так и быть поделюсь кое-чем. Я одновременно работаю над несколькими вещами — такова моя манера творить. Во-первых, большая историческая драма из военной жизни, где центральная фигура — известный русский боевой генерал. Затем современная пьеса «Подозрение ревности», в которой блеснет своими великолепными туалетами несравненная наша артистка Танина-Перестроева. Кроме того, намечается план легкой комедии, нечто вроде любовного тонкого фарса, который думаю озаглавить «Женщина с родинкой».

Во время своих премьер я волнуюсь, как мальчик перед экзаменом. Во время же работы опускаю ноги в ледя-

ную воду, кладя на голову горячий компресс, и принимаю в большом количестве трихлороехинококк».

«Лето полагаю провести на Шпицбергене,— продолжал очаровательный собеседник, наливая нам бокал тонкого кларота из собственных крымских погребов,— а осень в моей любимой Испании или на Принцевых островах».

«Мне нравятся экзотические крайности».

О современной русской литературе автор «Злых семян» отзывался с крайней осторожностью, но в голосе его слышится разочарование. Футуристы, однако, занимают внимание модного драматурга. Он со снисходительной улыбкой похвалил Вадима Тавричанина, Землянского и Колпаковского и, пользуясь своей блестящей памятью, процитировал наизусть несколько наиболее причудливых стрóf.

Теперешняя дороговизна предметов первой необходимости прямо кидает в дрожь симпатичного автора «Растраты».

«Это еще ничего, что все оно дорого,— говорит он с унынием,— но обидно, что многого и совсем достать нельзя. Свечей, например, и со свечой не отыщешь (простите за невольный каламбур,— улыбнулся нам обаятельный собеседник), а я всегда работаю при свете двух канделябров. Ничего не поделаешь — привычка».

На наш последний, самый жгучий вопрос о пораженцах автор «Пустых сердец» ничего не ответил, а только безнадежно махнул рукой.

Полуторачасовая беседа промелькнула, как одна минута.

Прощаясь, мы попросили у знаменитого драматурга карточку с надписью на память.

«Ни одной не осталось,— ответил гостеприимный хозяин, добродушно смеясь.— Все поклонницы расхватили. Если угодно, вот вам мой бронзовый бюст. Это работа Родена...»

Прежде чем расстаться с нами, автор «Дачного пикника» любезно показал нам свою небольшую, но богатую коллекцию старинного оружия, где особенное внимание обращают на себя прекрасные пистолеты работы известного Лепажы.

Провожая нас до дверей, маститый художник пера вполголоса, с лукавой, чисто русской улыбкой сказал:

«Сообщу вам одному на ушко, только, чур, никому не говорите: вчера отослал в театральную цензуру новую пьесу, под названием «Прохвост». Боюсь, что придерутся к заглавию, а будет жаль. Вещица написана в сочных и ярких бытовых тонах и, вероятно, будет гвоздем сезона».

В заключение очаровательный хозяин предложил нам воспользоваться его автомобилем. Но мы поспешили отказаться и ушли, унося в душе радостное впечатление милого русского широкого радушья.

Граф Бобини».

КАНТАЛУПЫ

(Может быть, и выдумка)

В половине первого в ведомстве приемов поставок, закупок и транспортов полагается перерыв для завтрака. Бакулин, делопроизводитель, издавна привык закусывать в «Торжке», среднем из первоклассных ресторанов, где, однако, кормят хорошо, кабинеты светлы и удобны, а прислуга расторопна и почтительна. Как и всегда, швейцары угодливо устремляются к Бакулину, притворяясь страшно обрадованными его приходом, величая его по имени-отчеству и с благоговением принимая его шляпу; палку и пальто. А в коридоре низко склоняет перед ним стриженую голову всегдашний слуга, высокий, худой, длинноусый Яков, и, перебрасывая салфетку из правой руки подмышку, вполголоса сообщает:

- Тут вас спрашивает господин Рафаловский...
- Знаю... Мы условились.
- Так что я осмелился пригласить их в ваш кабинет.
- Ладно. Ты у меня, Яков, золото.
- Рад служить, Сергей Ардадьоныч...

Далеко вытянув перед собой руку, открывает лакей дверь кабинета и, пятясь в сторону, пропускает Бакулина. Рафаловский, толстый большой помещик с обрюзглыми бритыми щеками, изборожденными красными жилками и с седой щетиной на жирном подбородке, неуклюже валится сначала боком на диван, а потом тяжело встает из-за стола.

— Вы точны, как часы на Пулковской обсерватории,— говорит он, протягивая огромную мохнатую руку, украшенную бриллиантом величиной в каленый орех.

— Это у меня еще от военной службы осталось. Привычка,— улыбается Бакулин.

Помещик опять валится на диван и вытирает мокрое лицо платком.— И жарко же сегодня, просто наказание. Точно Сахара какая-то!

— Да, печет... Дай бог урожая. Я рад... Как у меня в парничках канталупы растут,— один восторг... Аромат какой неподражаемый!

— Канталупы? Скажите! — равнодушно удивляется Рафаловский.

— Представьте! И какие сорта: Консиль-Шиллер, Президент Грей, Женни Линд, Прескотт, Бельгард, Августа-Виктория... Это страсть моя — канталупы. Ничего я так не обожаю. А впрочем, к порядку дня. Чем ты будешь нас кормить, Яков?

Сладко жмурясь и точно захлебываясь, Яков докладывает своим ярославским говорком:

— Осетровый балычок сегодня привезли, прямо вам скажу,— нечто особенное. Янтарь. Насквозь видать... Рыжички соленые вы изволили одобрять. Форель гатчинская. Утки есть дикие,— чирочки. К ним можно салат лятю а-ля-метрдетель с трюфелями, провансалем и свежим огурчиком... Позволю себе рекомендовать волованчики с петушиными гребешками и костным мозгом. Цветная капуста замечательная.

К закуске Яков сам, не спрашивая разрешения, подает во льду графинчик водки, настоенный на черносмородиновых почках. Ловко, почти беззвучно сервирует все на столе и, отступив спиной к двери, мягко закрывает ее за собой.

Бакулин разливает настойку, которая отсвечивает в рюмках нежной изумрудной зеленью и благоухает весной и немного мышами. Он уже собирается чокнуться с помещиком, но тот останавливает его осторожным жестом.

— Делу время, потехе час, глубоочтимый,— говорит он внушительно. С трудом достает из бокового кармана визитки пухлый запечатанный конверт и кладет его на стол. Ноздри у Бакулина слегка вздрагивают, но он отодвигает пакет в сторону.

— Нет, уж вы лучше пересчитайте,— мягко настаивает Рафаловский. И опять пододвигает пакет Бакулину.— Деньги счет любят.

Бакулин, не торопясь, пересчитывает билеты государственной ренты и, окончив, склоняет голову в знак правильности суммы, а затем извлекает из портфеля и передает Рафаловскому бумагу, на которой вкось карандашом написано: «Согласен. Поторопить доставкой». Произведя этот обмен, они впервые взглядывают друг на друга. Бакулин совершенно ясно угадывает желание своего партнера в этой молчаливой игре: «расписочку бы». Но зато и Рафаловский читает без слов вежливый ответ: «Прошли золотые времена. Такими дураками мы были только до эпохи ревизий».

И, как умные люди, они, перейдя через тяжелый момент, приступают не торопясь к солидному завтраку и к интересному вескому разговору о предметах важных, но посторонних. За бутылкой подогретого St.-Estèphe стирается и самый след промелькнувшей неприятности. Бакулин относится очень сочувственно к мысли Рафаловского о будущей поставке двадцати тысяч сажень березовых дров. Зато у Рафаловского есть в виду для супруги Бакулина прямо золотое дно, а не имение, на юге России: рыбная речка, семьсот десятин чернозему, триста строевого леса, барская усадьба с парком, оранжереями и всякими постройками, фруктовый сад, дом чуть ли не растреллиевской постройки. И все за пустяшную прибавку к банковскому, совсем небольшому долгу. По окончании завтрака помещик хочет взять расплату на себя. Но делопроизводитель упирается: «Хлеб-соль вместе, а счет пополам. По-американски». У подъезда они прощаются, довольные друг другом. Рафаловский едет на биржу, а Бакулин идет пешком на службу.

В три часа, прежде чем покинуть учреждение, главный директор, сияющий своими сединами и лысиной, розовый, веселый, светский, благоухающий старик, заходит на секунду в кабинет делопроизводителя. Каждый раз у него какие-то неотложные дела в банке.

— Вы уже без меня тут, пожалуйста, любезный Сергей Ардальоныч...— И в дверях, делая прощальный знак выхоленной рукой, он добавляет: — В случае чего-нибудь экстренного — вы знаете номер моего телефона.— Ко-

нечно. Бакулин знает, что это номер телефона маленькой балетной корифейки Лягуновой. Но он только почтительно склоняет большую тяжелую голову с низким лбом и широкими скулами.

В приемной уже давно дожидаются этого часа разные деловые люди; преувеличенно модно одетые русские, с громкими картавыми барскими голосами и плохим французским языком, которым они без нужды злоупотребляют, суетливые черноглазые греки, развязные или презрительные евреи, которые здесь, как и всюду, точно у себя дома, престарелые, надменные пышноусые поляки в великолепных, но потертых костюмах с бахромой внизу панталон, армяне с пылкими взорами, страстной речью и выразительной мимикой, два-три бритых человека неопределенной нации и профессии, но с широким жестом и неправдоподобным голосом, должно быть бывшие актеры.

Среди этих пестрых просителей, подрядчиков, поставщиков, изобретателей и посредников много таких, которых Петербург видел когда-то на малой бирже у Доминика, или на бегах в жалкой роли подсказчиков, или в стремительном мгновенном полете с лестницы танцовального зала Марнинковича, или за карточными столами темных шустер-клубов. Теперь же Петроград нередко дивится их особнякам, автомобилям, содержанкам и бриллиантам большинства из них. Меньшинство только начинает карьеру.

Курьер Ефим одного за другим впускает их в кабинет, руководствуясь не очередью, а какими-то своими особыми, интимными соображениями. Точно так же и у Бакулица для каждого посетителя особые оттенки приема. Так, например, одного восточного человека, красавца мужчину атлетического сложения, с выхоленной блестящей черной бородой, с драгоценными кольцами на всех пальцах, он выслушал сидя, не предлагая тому даже сесть, и отказал сухо, коротко и быстро.

Встречая других, он слегка приподымался с кресла и, бормоча что-то невнятное, указывал рукой на стул против себя.

А одного, не особенно видного, старозаветного, маленького старичка в наглухо застегнутом черном сюртуке, он встретил у самих дверей и сел только после него. Впрочем,

разговор у них вышел очень краткий; минуя здоровье, погоду и прочую дребедень, старичок спросил деловито:

— Точно вы обдумали, любезнейший Сергей Ардальоныч?

— К вашим услугам, Кирилл Матвеевич.

— Двадцать пять и два если брутто, а двадцать шесть и один, если нетто? Так?

— Совершенно верно, Кирилл Матвеевич.

— Предпочтительнее?

— Как вам угодно. Если позволите, второе условие больше подходит.

Старичок не спеша вынул из кармана чековую книжку и тонко, почти незаметно улыбнулся.

— Вы это чему, Кирилл Матвеевич? — беспокойно спросил Бакулин.

— Так, своим мыслям, — ответил старичок, быстро вписывая сумму. — Одного парнишку спросили: «Ты, Егорушка, какого пирожка хочешь, так или с маслом?» — «Да мне все равно, хотя бы с маслом».

— Хе-хе-хе, — добродушно рассмеялся Бакулин. — Хорошенькое присловьице. Хоть и с маслом... А кстати, Кирилл Матвеевич, тут еще поверстные... и там... благодарности агентам...

Старичок поморщился и встал, тщательно застегивая сюртук.

— Бросьте, почтеннейший. Не в мелочной лавочке...

Бакулин проводил его до дверей с низкими поклонами. А старик даже руки ему не подал...

Так же содержательна была беседа и с другим дельцом, высоким, плечистым, костлявым, небрежно одетым, у которого на желтоватом лице, изрытом оспой, дерзко и пытливо смотрели голые, черные, цыганские или разбойничьи глаза. Ему надо было выхлопотать двести вагонов, и Сергей Ардальоныч, заранее знавший, для какой цели, с быстротой умножил в уме вагоны на пуды, пуды на фунты, фунты на копейки и сказал, взглянув в горячие глаза рябого, но тотчас же и отвернувшись:

— Восемьдесят.

— Не могу, — смело и решительно отрезал рябой. — Берите любую половину.

— Вам-то что, Петр Захарыч. Нажмете чуть-чуть. Ведь я всего копеечку на фунт.

— То есть четыре процента. Довольно с вас двух. Я мелкого покупателя обижать не могу. Его доверием кормлюсь и лишаться доверия не хочу. Ему полкопейки расцвет. А нет — найдем другой путь.

— Да уж ладно, упорный вы человек. Зайду к вам завтра утром. Как раз будет готово разрешение.

— Так-то лучше. До свиданья.

Один за другим проходили перед наблюдательным наметным оком Бакулина жадные, смелые, трусливые и наглые ловители фортуны, и всех их Бакулин фильтровал, сортировал, определив точно их удельный вес, и ставил их на надлежащую полочку относительной пользы. В то же время среди этих непонятных непосвященному переговорам он успел написать несколько черновиков важных писем, сделал два-три внушения конторщикам, отвечал беспрестанно на телефонные вызовы. Дело шло у него легко и быстро, точно он катился по гладкому шоссе на обьезженном, выверенном, хорошо смазанном велосипеде. И только раз вышла задержка. Какой-то неловкий новичок, козлиного староверского вида, принесший образцы подковных шипов, осмелился, сначала обернувшись назад, на дверь и помедлив от волнения, сунуть через стол пяти-сотрублевую бумажку. Бакулин поднял крик на все учреждение. «Как? Взятку? Кому? Мне? В такое время? Да я вас под суд! Я вас упеку знаете куда? Ефим, в шею этого презренного типа».

Но вот старые высокие нортоновские часы медленно протянули первый густой удар из шести, и Бакулин поднялся, прервав разговор с клиентом на полуслове: «Простите, завтра приму вас первого. Мне спешить к поезду, а еще надо кое-какие покупки».

Ехать по железной дороге надо было полчаса, и оттуда на собственную дачку «Аннино», двенадцать верст. На станции его дожидался экипаж. Вся упряжка была проста и щеголевата, как у настоящего любителя: лошадка (шведский иноходчик) была светложелтая с черной гривой, черным хвостом и темным ремешком вдоль спины — той скромной масти, которая раньше, лет пятьдесят тому назад, называлась интендантской; рессорный легкий плетенный из камыша шарабан блестел лаком крыльев и колес, кучер в шапке с павлиньим пером, в бархатной

безрукавке высоко держал руки в оранжевых канаусовых рукавах.

Кучер, сдерживая резвую лошадку, осторожно объехал по грубым камням полукруг дождавшихся очереди извозчиков, выехал на ровное широкое шоссе, уходящее прямой белой лентой сквозь зеленую даль деревьев, и понемногу отпустил вожжи. Бакулин, с наслаждением отдавшись плавному покачиванию рессор и быстрому движению, заглядывал то слева, то справа на плавный бег иноходца, который, ровно неся спину и слегка, точно неуклюже, точно переваливаясь плечами с боку на бок, чуть покачивал высоко поднятой головой с стоячими маленькими ушами. Пахло свежескошенным сеном, весело трепетали и блестели недавно омытые дождем дорожные деревья. Ветер дул в лицо и пузырил оранжевые рукава у кучера.

Иногда из-за дальних рощ блестел крест колокольни. Бережно крестясь, творил Бакулин молитву: «Господи, во имя святого храма твоего, помяни мя, егда приидеши во царствие твое...» Но молитва была механическая, без сердечной интимности. Главные серьезные счета, генеральную стирку души, он отлагал до вечера.

Подъехали к широким воротам дачи, на которых возвышалась на проволоочной раме литая надпись «Аннино». Бакулин посмотрел на часы. Ехали ровно двадцать шесть минут пятнадцать секунд. Хороша шведка. И всего двести пятьдесят плачено.

Всегда нудны и тяжелы проводы, но радостны даже ежедневные встречи. Когда иноходец, сдержанный красиво на повороте, вплывал, чуть накренившись, во двор, приятно сотрясая своим могучим ржаньем легкий шарабан, то отсюда, из сада, со стеклянной веранды, из-за дома слышались веселые восклицания, показались оживленные лица, замелькали светлые летние наряды. Впереди всех диким галопом неслась десятилетняя девочка, вся в белом, с двумя большими белыми бантами на висках, меньшая любимица отца, Люлю. За нею бежали сыновья — гимназист и юнкер вместе со свояченицей Бакулина, восемнадцатилетней Софочкой. Дальше торопились, взявшись за руки, дочка-невеста с женихом, начинающим инженером, оба в красивых костюмах для лаун-тенниса. И, наконец, сама m-me Бакулина в пунцовом

кружевном халатике, полная, но еще изящная и легкая в движениях брюнетка, цветущая ярким расцветом последней пышной красоты. Вместе с поцелуями, рукопожатиями, приветливыми словами, заботливыми расспросами на Бакулина вылился целый водопад милых пустяшных новостей: «Вода сегодня ужасно холодная в купальне. Софочка с Марусей собрали массу грибов-маслянок, а Василий Филиппович одни поганки. Котенок поймал полевую мышку и долго играл с ней. К обеду будут раки. Василий Филиппович привез в подарок Люлюшке козленка из породы безрогих коз. Премиленький козлик и обожает есть левкой...» И так, взятый под руки, облепленный большой, шумной, любящей семьей, шел Бакулин к дому, через цветник, по красным дорожкам, мимо правильных, только что политых клумб, благоухавших резедой, розами, душистым горошком и табаком, начинавшим распускать к ночи свои белые звезды. Золотые и серебряные шары, ослепительно сверкавшие на заходящем солнце, отражали вверх ногами живую семейную группу. А две нарядные горничные в кокетливых передниках разгружали из шарабана покупки.

Но вот уже кончен обед. Смеркается. Острее и слаще пахнут цветы. Еще одна радость ждет Сергея Ардальоныча, который уже докурил сигару, отложил в сторону вечернюю газету и с неподдельным глубоким чувством пожалел вслух бедную многострадальную Россию, задыхающуюся в цепких лапах взяточников, растратчиков, вымогателей и других обнаглевших жуликов и прохвостов.

— Ну, Софочка, пойдем поглядим наши канталупы, — говорил он свояченице, сидящей снаружи на ступеньке балкона. Они вместе ухаживают за дынями. Это их общая серьезная забота и в то же время невинная, тонкая, слегка волнующая игра. Как и большинство молодых девушек, бессознательно чуть-чуть влюбленных в мужей своих старших сестер, Софочка наивно льнет к Бакулину сердцем и телом.

Огород — гордость Сергея Ардальоныча. Он выгоняет на нем редкие на севере овощи — кукурузу, томаты, артишоки и спаржу. Но его поэзия, его истинная благородная страсть — дыни-канталупы, требующие крайне заботливого ухода.

Оба они внимательно склоняются над парниками. В огороде, не затененном деревьями, еще светло, и можно хорошо разглядеть дыни, большие, серо-зеленые, с выпуклыми мощными ребрами, усеянными корявыми наростами. Приятно прикасаться пальцами к их холодной коже. Тонкий ананасный аромат поднимается из парников.

Бакулину трудно нагибаться, и потому он только дает указания:

— Этот побег надо завтра же оборвать. А большую завязь прикрепить рогулькой к земле и присыпать,— пусть дает новые корни. Может, и созреет. А эти две дыньки, Софочка, можно срезать. Да надо, кстати, велеть накрыть парники рамами. Небо ясно, барометр стоит высоко, воздух свежеет, безветрие, и — видишь, как вызвездило — ночь будет холодная.

Потом они долго сидят в дальнем углу сада за круглым столом под липами. Голова Софочки лежит на плече Бакулина, и ему кажется, что молодое тело девушки источает нежный запах канталупы. Его руки ласково, но не крепко обнимают ее плечо.

— С этой дачей мне жаль расстаться, Софочка,— говорит Бакулин, мечтательно глядя вверх, на звезды.— Ее я построил целиком на мое нищенское жалованье. Во всем себе отказывал. Но когда ты выйдешь замуж, я тебе куплю рядом такой же клочок земли и устрою тебе дачу, как свою. Даже лучше. Я уже присмотрел.

— Не надо мне, милый Сережа, ничего не надо,— тихо отвечает девушка и еще теплее прижимается к его плечу.— Я никогда не выйду замуж... Ни за кого...

— Почему? — спрашивает нежно дрожащим голосом Бакулин, наклоня губы к ее волосам.

— Так...

И он сладко чувствует, как под его рукой с испугом и ожиданием дрожит девическое тело.

Наступила ночь. М-те Бакулина лежит на широкой двуспальной постели, лицом к стене. Сергей Ардадьоныч стоит на коврике на коленях, в одном нижнем белье. Он уже закончил положенные, заученные официальные молитвы и теперь мысленно говорит своими словами. Обращается он, однако, не к богу, и не к сыну, и не к его

матери, а к снисходительному святителю Николаю, причем многое утаивает и во многом лукавит.

— Я же ведь, если что и беру, то не на роскошь, а для семьи. Пусть живут в холе, без озлобляющей борьбы, добрыми и кроткими. Другие там кутят, пьянствуют, играют, разоряются на женщин, на бриллианты и автомобили... А я... мое немудреное развлечение — одни канталупы, чистое сладостное занятие. Вот, ей-богу, дойду до миллиона и все брошу. Уйду со службы, займусь добрыми делами, буду тайно творить милостыню, церковь построю... не церковь, а так... часовенку... Только бы до миллиона...

И сам перед собой притворяется, будто бы забыл, что если присчитать к деньгам и золотым вещам жены два доходных дома — один на Лиговке, другой на Песках, то давно уже его капитал шагнул за два миллиона. И о том он не хочет вспоминать, что еще недавно он давал обещание дойти только до двухсот тысяч, а потом до полумиллиона. «А может быть, — думает он, — терпеливый угодник не обратил внимания на эти мелочи или забыл по множеству дел своих? И потом: ведь все, что мною приобретено, записано не на мое имя, а имя жены. Я — что же? Я бескорыстен...»

Сладко спит Бакулин. Мерцает теплым дрожащим светом лампадка перед образом. Хмуро глядит в темноту суровый и добрый лик святителя, лик того угодника, который когда-то вступился за вора, укравшего кусок хлеба для своей голодной семьи.

СКВОРЦЫ

Была середина марта. Весна в этом году выдалась ровная, дружная. Изредка выпадали обильные, но короткие дожди. Уже ездили на колесах по дорогам, покрытым густой грязью. Снег еще лежал сугробами в глубоких лесах и в тенистых оврагах, но на полях осел, стал рыхлым и темным, и из-под него кое-где большими плешинами показалась черная, жирная, парившаяся на солнце земля. Березовые почки набухли. Барашки на вербах из белых стали желтыми, пушистыми и огромными. Зацвела ива. Пчелы вылетели из ульев за первым взятком. На лесных полянах робко показались первые подснежники.

Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад опять прилетят старые знакомые — скворцы, эти милые, веселые, общительные птицы, первые перелетные гости, радостные вестники весны. Много сотен верст нужно им лететь со своих зимних становищ, с юга Европы, из Малой Азии, из северных областей Африки. Иным придется сделать побольше трех тысяч верст. Многие пролетят над морями: Средиземным или Черным. Сколько приключений и опасностей в пути: дожди, бури, плотные туманы, градовые тучи, хищные птицы, выстрелы жадных охотников. Сколько неимоверных усилий должно употребить для такого перелета маленькое существо, весом около двадцати — двадцати пяти золотников. Право, нет сердца у стрелков, уничтожающих птицу во время трудного пути, когда, повинувшись могучему зову природы, она стремится в то место,

где впервые проклюнулась из яйца и увидела солнечный свет и зелень.

У животных много своей, не понятной людям мудрости. Птицы особенно чутки к переменам погоды и задолго предугадывают их, но часто бывает, что перелетных странников на середине безбрежного моря вдруг застигнет внезапный ураган, нередко со снегом. До берегов далеко, силы ослаблены дальним полетом... Тогда погибает вся стая, за исключением малой частицы наиболее сильных. Счастье для птиц, если встретится им в эти ужасные минуты морское судно. Целой тучей опускаются они на палубу, на рубку, на снасти, на борта, точно вверяя в опасности свою маленькую жизнь вечному врагу — человеку. И суровые моряки никогда не обидят их, не оскорбят их трепетной доверчивости. Морское, прекрасное поверье говорит даже, что неизбежное несчастье грозит тому кораблю, на котором была убита птица, просившая приюта.

Гибельными бывают порою и прибрежные маяки. Маячные сторожа иногда находят по утрам, после туманных ночей, сотни и даже тысячи птичьих трупов на галереях, окружающих фонарь, и на земле, вокруг здания. Истомленные перелетом, отяжелевшие от морской влаги птицы, достигнув вечером берега, бессознательно стремятся туда, куда их обманчиво манят свет и тепло, и в своем быстром лете разбиваются грудью о толстое стекло, о железо и камень. Но опытный, старый вожак всегда спасет от этой беды свою стаю, взяв заранее другое направление. Ударяются также птицы и о телеграфные провода, если почему-нибудь летят низко, особенно ночью и в туман.

Сделав опасную переправу через морскую равнину, скворцы отдыхают целый день и всегда в определенном, излюбленном из года в год месте. Одно такое место мне пришлось как-то видеть в Одессе, весной. Это — дом на углу Преображенской улицы и Соборной площади, против соборного садика. Был этот дом тогда совсем черен и точно весь шевелился от великого множества скворцов, обсевших его повсюду: на крыше, на балконах, карнизах, подоконниках, наличниках, оконных козырьках и на лепных украшениях. А провисшие телеграфные и телефонные проволоки были тесно унизаны ими, как большими черными четками. Боже мой, сколько там было оглушительного крика, писка, свиста, трескотни, щебетания и всяче-

ской скворчиной суеты, болтовни и ссоры. Несмотря на недавнюю усталость, они точно не могли спокойно посидеть на месте ни минутки. То и дело сталкивали друг друга, срываясь вверх и вниз, кружились, улетали и опять возвращались. Только старые, опытные, мудрые скворцы сидели в важном одиночестве и степенно чистили клювами перышки. Весь тротуар вдоль дома сделался белым, а если неосторожный пешеход, бывало, зазевается, то беда грозила его пальто и шляпе.

Перелеты свои скворцы совершают очень быстро, делая в час иногда до восьмидесяти верст. Прилетят на знакомое место рано вечером, подкормятся, чуть продремлют ночь, утром — еще до зари — легкий завтрак и опять в путь, с двумя-тремя остановками среди дня.

И так мы дожидались скворцов. Подправили старые скворешники, покривившиеся от зимних ветров, подвесили новые. Их у нас было три года тому назад только два, в прошлом году пять, а ныне двенадцать. Досадно было немного, что воробьи вообразили, будто эта любезность делается для них, и тотчас же, при первом тепле, заняли скворешники. Удивительная птица этот воробей, и везде он одинаков — на севере Норвегии и на Азорских островах: юркий, плут, воришка, забияка, драчун, сплетник и первейший нахал. Проведет он всю зиму нахохлившись под застрехой или в глубине густой ели, питаясь тем, что найдет на дороге, а чуть весна — лезет в чужое гнездо, что поближе к дому — в скворечье или ласточкино. А выгонят его, он как ни в чем не бывало... Ерошится, прыгает, блестит глазенками и кричит на всю вселенную: «Жив, жив, жив! Жив, жив, жив!» Скажите, пожалуйста, какое приятное известие для мира!

Наконец девятинадцатого, вечером (было еще светло), кто-то закричал: «Смотрите — скворцы!»

И правда, они сидели высоко на ветках тополей и, после воробьев, казались непривычно большими и чересчур черными. Мы стали их считать: один, два, пять, десять, пятнадцать... И рядом у соседей, среди прозрачных, по-весеннему деревьев легко покачивались на гибких ветвях эти темные неподвижные комочки. В этот вечер у скворцов не было ни шума, ни возни. Так всегда бывает,

когда вернешься домой после долгого трудного пути. В дороге суетишься, торопишься, волнуешься, а приехал — и весь сразу точно размяк от прежней усталости: сидишь, и не хочется двигаться.

Два дня скворцы точно набирались сил и все навещали и осматривали прошлогодние знакомые места. А потом началось выселение воробьев. Особенно бурных столкновений между скворцами и воробьями я при этом не замечал. Обыкновенно скворцы по два сидят высоко над скворешниками и, повидимому, беспечно о чем-то болтают между собою, а сами одним глазом, искоса, пристально заглядывают вниз. Воробью жутко и трудно. Нет-нет — высунет свой острый хитрый нос из круглой дырочки — и назад. Наконец голод, легкомыслие, а может быть, робость дают себя знать. «Слетаю, думает, на минутку и сейчас же назад. Авось перехитрю. Авось не заметят». И только успеет отлететь на сажень, как скворец камнем вниз и уже у себя дома. И уже теперь пришел конец воробыному временному хозяйству. Скворцы стерегут гнездо поочередно: один сидит — другой летает по делам. Воробьям никогда до такой уловки не додуматься: ветреная, пустая, несерьезная птица. И вот, с огорчения, начинаются между воробьями великие побоища, во время которых летят в воздух пух и перья. А скворцы сидят высоко на деревьях да еще подзадоривают: «Эй ты, черноголовый. Тебе вон того, желтогрудого, во веки веков не осилить». — «Как? Мне? Да я его сейчас!» — «А ну-ка, ну-ка...» И пойдут свалка. Впрочем, весной все звери и птицы и даже мальчишки дерутся гораздо больше, чем зимой.

Обосновавшись в гнезде, скворец начинает таскать туда всякий строительный вздор: мох, вату, перья, пух, тряпочки, солому, сухие травинки. Гнездо он устраивает очень глубоко, для того чтобы туда не пролезла лапой кошка или не просунула свой длинный хищный клюв ворона. Дальше им не проникнуть: входное отверстие довольно мало, не больше пяти сантиметров в поперечнике.

А тут скоро и земля обсохла, душистые березовые почки распустились. Вспахиваются поля, вскапываются и рыхлятся огороды. Сколько выползает на свет божий разных червяков, гусениц, слизней, жучков и личинок. То-то раздолье! Скворец никогда весной не ищет своей пищи ни в воздухе на лету, как ласточки, ни на дереве, как

поползень или дятел. Его корм на земле и в земле. И, знаете, сколько истребляет он в течение лета всяких вредных для сада и огорода насекомых, если считать на вес? В триста раз больше собственного веса! Зато и проводит он весь свой день в непрерывном движении.

Интересно глядеть, когда он, идя между грядок или вдоль дорожки, охотится за своей добычей. Походка его очень быстра и чуть-чуть неуклюжа, с перевалочкой с боку на бок. Внезапно он останавливается, поворачивается в одну сторону, в другую, склоняет голову то налево, то направо. Быстро клюнет и побежит дальше. И опять, и опять... Черная спинка его отликает на солнце металлическим зеленым или фиолетовым цветом, грудь в бурых крапинках. И столько в нем во время этого промысла чего-то делового, суетливого и забавного, что смотришь на него подолгу и невольно улыбаешься.

Лучше всего наблюдать скворца рано утром, до восхода солнца, а для этого надо и вставать пораньше. Впрочем, старинная умная поговорка гласит: «Кто рано встал, тот не потерял». Если вы по утрам, каждый день, будете сидеть тихо, без резких движений где-нибудь в саду или в огороде, то скворцы скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем близко. Попробуйте бросать птице червяков или крошки хлеба сначала издали, потом все уменьшая расстояние. Вы добьетесь того, что через некоторое время скворец будет брать у вас пищу из рук и садиться вам на плечо. А, прилетев на будущий год, он очень скоро возобновит и заключит с вами прежнюю дружбу. Только не обманывайте его доверия. Разница между вами обоими только та, что он маленький, а вы — большой. Птица же — создание очень умное, наблюдательное; она чрезвычайно памятлива и признательна на всякую доброту.

И настоящую песню скворца надо слушать лишь ранним утром, когда первый розовый свет зари окрасит деревья и вместе с ними скворешники, которые всегда располагаются отверстием на восток. Чуть немного согрелся воздух, и скворцы уже расселись на высоких ветках и начали свой концерт. Я не знаю, право, есть ли у скворца свои собственные мотивы, но вы насслушаетесь в его песне чего угодно чужого. Тут и кусочки соловьиных трелей, и резкое мяуканье иволги, и сладкий голосок малиновки,

и музыкальное лепетанье пеночки, и тонкий свист синички, и среди этих мелодий вдруг раздаются такие звуки, что, сидя в одиночестве, не удержишься и рассмеешься: закудахчет на дереве курица, зашипит нож точильщика, заскрипит дверь, загнусит детская военная труба. И, сделав это неожиданное музыкальное отступление, скворец как ни в чем не бывало, без передышки продолжает свою веселую милую юмористическую песенку. Один мой знакомый скворец (и только один, потому что слышал я его всегда в определенном месте) изумительно верно подражал аисту. Мне так и представлялась эта почтенная белая чернохвостая птица, когда она стоит на одной ноге на краю своего круглого гнезда, на крыше малорусской мазанки и выбивает звонкую дробь длинным красным клювом. Другие скворцы этой штуки не умели делать.

В середине мая скворец-мамаша кладет четыре, пять маленьких, голубоватых глянцевиных яичек и садится на них. Теперь у скворца-папаши прибавилась новая обязанность — развлекать самку по утрам и вечерам своим пением во все время высиживания, что продолжается около двух недель. И, надо сказать, в этот период он уже не насмешничает и никого не дразнит. Теперь песенка его нежна, проста и чрезвычайно мелодична. Может быть, это и есть настоящая, единственная, скворчиная песня?

К началу июня уже вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище, которое состоит целиком из головы, голова же только из огромного, желтого по краям, необычайно прожорливого рта. Для заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких ни корми, они всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок; страшно отлучиться далеко от скворешника.

Но скворцы — хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться около гнезда — немедленно назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого дерева и, тихонько посвистывая, зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож подает сигнал, и все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения. Я видел однажды, как все скворцы, гостившие у меня, гнали по крайней мере за версту трех галок. Что это было за ярое преследование! Скворцы взмывали легко и быстро над гал-

ками, падали на них с высоты, разлетались в стороны, опять смыкались и, догоняя галок, снова забирались в высь для нового удара. Галки казались трусливыми, неуклюжими, грубыми и беспомощными в своем тяжелом лете, а скворцы были подобны каким-то сверкающим, прозрачным веретенам, мелькавшим в воздухе.

Но вот уже конец июля. Однажды вы выходите в сад и прислушиваетесь. Нет скворцов. Вы и не заметили, как маленькие подросли и как они учились летать. Теперь они покинули свои родные жилища и ведут новую жизнь в лесах, на озимых полях, около дальних болот. Там они сбиваются в небольшие стайки и учатся подолгу летать, готовясь к осеннему перелету. Скоро предстоит молодым первый, великий экзамен, из которого кое-кто и не выйдет живым. Изредка, однако, скворцы возвращаются на минутку к своим покинутым отчим домам. Прилетят, покружатся в воздухе, присядут на ветке около скворешников, легкомысленно просвищут какой-нибудь вновь подхваченный мотив и улетят, сверкая легкими крыльями.

Но вот уже завернули первые холода. Пора в путь. По какому-то таинственному, неведомому нам велению могучей природы вожак однажды утром подает знак, и воздушная конница, эскадрон за эскадроном, взмывает в воздух и стремительно несется на юг. До свидания, милые скворцы! Прилетайте весной. Гнезда вас ждут...

БЕГЛЕЦЫ

Нельгин, Амиров и Юрьев — соседи по кроватям в дортуаре казенного сиротского пансиона. Каждому из них между десятью и одиннадцатью годами.

Юрьев — мальчик вялый, слабовольный. У него простое веснушчатое лицо тверской крестьянки, оттого его и кличут в классе «баба», светлые ресницы вокруг мутно-голубых глаз, открытый мокрый рот и всегда капля под носом. Он плох в драке, чувствителен, часто плачет и боится темноты.

Амиров — альбинос с белыми волосами на большой, длинной от лба до подбородка, голове, с красными белками глаз и бледной шероховатой кожей лица. К нему приходит по воскресеньям отец — такой же большеголовый, седой и красноглазый, как и сын, маленький, чисто выбритый. Появляется он в роскошной приемной зале (пансион помещается в бывшем дворце графа Разумовского) в опрятеньком отставном военном мундире, украшенном двумя рядами серебряных пуговиц, а в руках у него неизменный красный платок, в котором завязаны яблочки и вкусные темные деревенские лепешки, у которых на верхней стороне выведена ножиком косая решетка.

Амиров сын — скромн, послушен, учится усердно, и, несмотря на это, он не подлиза, не тихоня, не зубрила; все, что он делает, отмечено какими-то неуловимыми чертами вкуса, удачи, терпения и немного старческой добротности. Он опрятно носит казенную одежду: парусиновые

панталоны и парусиновую рубашку, обшитую вокруг ворота и вокруг рукавов форменной кумачовой лентой. Его собственные вещички: перочинный ножик, перышки, пенал, резина и карандаши всегда блестят, как только что купленные. Он не придумывает новых игр, но в любую игру способен внести много серьезной увлекательности и милого порядка.

По праздникам, когда для воспитанников открыта библиотека, Амиров непременно выберет, к общей зависти, самую занимательную книгу с приключениями и с яркими картинками, не то что другие, которые вдруг попросят Гомера и потом с недоумением и тоской зевают над длинными периодами, заключенными в саженные гексаметры, в которых к тому же попадают двойные слова, по тридцать букв в каждом,— зевают, но из мальчишеского самолюбия не хотят сознаться в ошибке. Прочитанное Амиров без труда запоминает и пересказывает товарищам толково, точно, но суховато.

Нельгин — фантазер. Его воображение неистощимо и чудовищно пышно. Еще до классного обучения, в малолетней группе, по вечерам, в часы, оставшиеся до ужина, когда наиболее прилежные мальчики плели по системе Фребеля коврики из разноцветных бумажек, или расшивали шерстями выколотых по трафарету попугаев, или клеили домики, или просто, без всякой системы, измазав доску сплошь грифелем, разводили на ней при помощи намусоленного пальца облака и макароны,— Нельгин рассказывал своим мечтательным слушателям пестрые чудесные истории из своей прежней «домашней» жизни, от которых его самого охватывал ужас и вдохновенный восторг. Это ничего не значило, что город Наровчат, где всегда происходило действие и откуда Нельгин был увезен трехлетним ребенком, стоит, забытый богом и людьми, ежегодно выгорая, среди плоской безводной и пыльной равнины, и что старшие братья, главные действующие лица великолепных историй, поумирали, не дожив двухлетнего возраста, задолго до рождения рассказчика, и что отец его служил скромным письмоводителем у мирового посредника, и что от бабушкиных великолепных имений, деревни Щербаковки и села Зубова, проигранных и прокуренных буйными предками, остались всего лишь три спорных, кем-то самовольно запаханных десятины. Нельгин все

это знал умом, но все это было скучное, взрослое, не настоящее и не главное, и он ему не верил, а верил в собственное, яркое, заманчивое и сказочно прекрасное, верил, как в день и ночь, как в булку и яблоко, как в свои руки и ноги. Для него Наровчат был богатым, людным городом, вроде Москвы, но несколько красивее, а вокруг шумели дремучие леса, расстилались непроходимые болоты, текли широкие и быстрые реки. В бабушкиных деревнях жили тысячи преданных крепостных, не пожелавших уходить на волю. Отец был могущественным человеком, грозным судьей, великодушным барином. Брат Сергей отличался сверхчеловеческой силой: одной рукой останавливал бешеную тройку и ударом кулака пробивал насквозь стены. Брат Иннокентий изобрел и построил удивительную машину, бегавшую по земле, плававшую по воде и под водой и летавшую в воздухе. Брат Борис один владел секретом готовить одежду цвета воздуха: надев ее, всякий становился невидимкой. Сам же Миша Нельгин замечательно скакал на белом арабском иноходце и метко стрелял из ружья, хотя и маленького, но вовсе не игрушечного, а взаправдышного, бывшего на целую версту.

Главным занятием четырех братьев были великие кровавые подвиги против местных разбойников, населявших мрачные пещеры наровчатских лесов. И — бог мой! — что это были за богатырские подвиги, военные хитрости, ночные засады, перестрелки, ночлеги в лесных трущобах у костров! Как часто четыре брата беззвучно целыми часами подползали на животах к становищу врагов, как они прикидывались мертвыми, чтобы выведать разбойничьи секреты, как они спасались от преследования, ныряли и плыли под водой на сотни шагов, как послушно прибегали их верные кони на условный свист! А сам Миша, чтобы замаскировать от разбойников свой маленький рост, а отчасти и для большей достоверности повествования, всегда носил под штанами привязные ходули, а на лице прицепные усы и бороду, а в повествовании произносил свои реплики толстым, зверским голосом. Разбойников ловили, сажали в острог, отправляли в Сибирь, но так как с их исчезновением пропадала и канва для страшных и сладких рассказов, то на другой же вечер они убегали из тюрьмы или острога и снова появлялись в окрестностях знаменитого города, пылая жаждой мести и наводя ужас

на мирных жителей. Их разбойничьи имена были такие: Гаврюшка, Орешка, Фома Кривой и Степан Клеветник. И с необыкновенной ясностью видел мальчик их красные волосатые рожи, белые зубы, коренастые, корявые тела, красные рубахи и длинные кухонные ножи за поясом.

Классной дамой в группе Нельгина была Ольга Алексеевна, маленькая румяная толстушка, с черными усиками на верхней губе. Среди остальных чудовищ в юбках, старых, тощих желтых дев с подвязанными ушами, горлами и щеками, злых, крикливых, нервных, среди всех классных дам, которых у мальчиков и девочек в разных классах было до двадцати,— она одна на всю жизнь оставила у Нельгина сравнительно отрадное впечатление, но и она была не без упреков. Иногда бывала мила, приветлива и ласкова, иногда же выходила по утрам из своей комнатки бледная, с головой, повязанной полотенцем, с запахом туалетного уксуса и тогда становилась нетерпеливой, придирчивой, кричала, стучала маленьким кулаком по столу и сама плакала от раздражения. Выбирала она по странной прихоти одного, двух или трех фаворитов, часто сажала их себе на колени, душила поцелуями, тискала и мяла. К прочим склонна была относиться несправедливо. Любила и поощряла нашептывание и даже до такой степени, что случалось, в угоду ей, один мальчишка ехидно втраивал другого в какую-нибудь невинную, но недозволенную пакость, а потом стремительно бежал к классной даме и, захлебываясь от восторга, с пузырями на губах, доносил.

И вот случилось так, что однажды в ту полосу, когда Нельгин был в немилости, кто-то из товарищей доложил Ольге Алексеевне об изумительных героических похождениях Миши, и она совершила большую несправедливость: позвала рассказчика и жестоко, но с неотразимой логикой доказала вздорность его рассказней и, постепенно увлекаясь и краснея от охватившего ее гнева, назвала его вралишкой и лгуном. Услужливый хохот других мальчиков еще более ее подзадоривал. Наконец она склеила из белой бумаги высокий остроконечный колпак, написала на нем чернилами кистью жирное слово «лгун» и велела Нельгину носить этот позорный убор целых три дня, снимая его только во время занятий, за едой, на молитве и в спальней. Тогда мальчик сжался, затаился, но увле-

кательность вымысла была сильнее его воли: он разграфлял четвертушку бумаги на правильные квадратики и в них очень мелко рисовал знаменитую эпопею борьбы разбойников с защитниками справедливости.

С переходом из группы в классы пошли другие обычаи и новые нравы. Классные дамы там занимались только надзором; для преподавания же наук приходили настоящие учителя в очках, в синих фраках с золотыми пуговицами. Убирали кровати мальчиков и водили их в баню не горничные, как раньше, а два усатых дядьки, Матвей и Григорий. Они же в случае надобности и секли ребят по приказанию начальницы пансиона. Это была высокая полная женщина с княжеским титулом, серолицая, сероглазая; в ушах у нее были вдеты большие золотые колокольчики, с языками из каких-то синих камешков, и когда еще издали в коридоре слышался шум ее каменных шагов и легкий перезвон сережек,— мальчишки цепенели от ужаса.

И внутренняя жизнь мальчиков стала совсем иной. Все они уже считали себя на линии будущих военных гимназистов, поэтому жаловаться на товарищей или ябедничать считалось у них преступлением; уважалась сила, грубость со старшими, пренебрежение к наукам.

Единицы да нули:
Вот и все мои баллы,
Двоек, троек очень мало,
А четверок не бывало.

Импровизаторские таланты Нельгина расцвели в этот период с новой, пылкой силой. Но ему уже мало было одних странствований в области воображения: его влекло к действию. Ранее всего он, конечно, изобрел свой собственный удальской язык, затем он основал бесшабашную шайку авантюристов, которые, в зависимости от прихоти, являлись то казаками, то дикарями, то мстителями-молотобойцами, называвшимися на таинственном языке Нельгина «сацаро-даярами». Принимался в шайку только тот, кто выдерживал двадцать—тридцать ударов жгучей крапивой по рукам. Во время прогулок в огромном запущенном Екатерининском саду эти brave молодчики, предводительствуемые атаманом Нельгиным, с палками в руках кидались в чашу жимолости, шиповника и бузины и

рубили налево и направо, холодея от экстаза, с волосами, вставшими дыбом на головах.

Потом как-то накатил на Нельгина стих набожности, ханжества, стремления к чудотворству. У него только что умерла бабушка, и он был во власти впечатлений от гроба с восковым старческим лицом, грустного похоронного пения, запаха ладана, открытой могилы на Ваганьковском кладбище. По вечерам, в спальне, он становился голыми коленями на пол, усердно крестился, вдавливая три пальца поочередно в лоб, в живот и в плечи, и читал проникновенным голосом самодельные молитвы. И, как всегда бывает у детей, у дикарей и у тихих сумасшедших, вокруг него образовалась немедленно толпа последователей. Нельгин выпросил у матери флакончик со святой водой и начал при ее помощи творить чудеса. У золотушного Добросердова всегда болело ухо. Надо было его исцелить. И вот, как бедняга ни бился, ни отбрыкивался, его положили на бок, и Нельгин, с пафосом творя молитву, влил ему в уши ложки две чайных воды. Лечил он также головные и зубные боли и давал смоченную ватку за щеку для удачного ответа на уроке.

Затем чей-то рассказ или прочитанная книжка заставили его страстно желать богатства. Он попробовал было выпустить свои собственные ассигнации из разноцветной бумаги по рублю, по три, по пяти и по десяти, довольно аляповато сделанные. В них охотно играли понарочку, для забавы, но никто не давал за сто рублей даже одного перышка, и финансовая затея лопнула.

Тогда Нельгин решился делать золото. Он уже слышал о том, как монах Шварц совсем случайно открыл порох, когда, перетирая в ступке какой-то состав, опалил себе лицо неожиданным взрывом. Почему же и Нельгину таким же путем не наткнуться на изобретение золота? С глубокой верой, с таинственным видом он подолгу жевал, обильно смачивая слюной большие комки бумаги, смешивал эту массу с золой из печных труб, с известкой из стен, с мелом, с замазкой, с песком из плевательницы и со всякой гадостью, какая попадала ему под руку. Потихоньку от постороннего взгляда он клал эту волшебную смесь куда-нибудь под пресс: под спальный шкафчик, под классную доску, под учебную скамейку. Через два дня, с бьющимся сердцем, он вынимал сухую бесформенную

лепешку и шептал сам под нос с важным, значительным видом:

— Не тот состав. Чего-то нехватает...

Впрочем, это увлечение алхимией заняло у него не более двух недель. Его сменила эпоха любви.

Раз в неделю в пансион приезжал учитель танцев, Петр Алексеевич,— круглый, седой, эластичный, подвижной, всегда в прекрасном фраке, сияющий, добродушный,— в сопровождении лохматого и унылого скрипача. Тогда в приемную залу, в блестящем паркете которой пленительно отражались люстры, кенкеты, мраморные стены и бронзовые бюсты, собирали с разных половин мальчиков и девочек старшего класса. Урок танцев был единственным случаем, когда они встречались сравнительно близко, потому что в церкви и даже за обедом они были далеко разделены. Конечно, у мальчишек девочки всегда считались низшими, презренными существами, слабосильными, фискалами, плаксами и неженками. Оттого, стоя в паре со своей дамой и проделывая с нею под унылую скрипку «па-де-баск» и «па-де-глице», считалось особенным мужским шиком дернуть ее косичку, ущипнуть за руку, сдавить пальцы до боли. И вот Нельгин, который никогда не боялся идти наперекор общим мнениям, взял да в один прекрасный зимний полдень и влюбился в хорошенькую Мухину, в немного всегда заспанную смуглянку, черноглазую, чуть-чуть скуластую, с милыми родинками на щеках и на подбородке. И мало того, что влюбился, но громко заявил об этом перед всем классом и сказал, что тому, кто будет становиться в пару с Мухиной или скажет о ней что-нибудь неуважительное, тому он немедленно набьет морду до крови. Нельгин не был из первых силачей, но он сам давно уже распространил таинственный, многозначительный слух, что он «скрывает силу». Для поддержания в товарищах такого мнения он иногда, по утрам, в умывалке очень сильно намыливал себе руки и так долго тер их, что пена совершенно впитывалась в кожу. А когда его спрашивали, для чего он это делает, он отвечал с сумрачным видом, топорща плечи:

— Так надо. Чтобы кулаки были крепче...

И тогда во всем классе пошла поголовная мода на любовь. Решительно все перевлюблялись, самовольно поделив между собою девочек, точно гунны монахинь завое-

ванного города. Наиболее сильные и разбитные выбрали себе самых высоких, самых толстых и самых румяных. Слабых оставили веснушчатым, зеленым и хилым. Нельгин пошел еще дальше. Однажды вечером он долго что-то писал, низко склонившись над листом почтовой бумаги, подпирает от усердия щеку изнутри языком и сопел. Потом украсил листок переводной картинкой, сунул его в розовый конверт, а на конверте наклеил нелепую картинку. На первом же уроке танцев он, потев от стыда и страха, сунул Мухиной в руку свое послание. Там были стихи и проза. Девочка смутилась гораздо меньше, чем можно было предполагать: она быстро засунула письмо куда-то под передник и даже не покраснела. А на другой день во время урока закона божьего раздался в коридоре тяжкий топот и звон колокольчиков, отчего чуткое сердце Нельгина похолодело и затосковало. Полуоткрылась дверь, и в ней показалось огромное серое лицо с мясистым носом, а затем рука с подзывающим указательным пальцем.

— Нельгин! Иди-ка сюда, любезный!

И бедного влюбленного повели наверх, в дортуар, разложили на первой кровати и сняли штанишки. Григорий держал его за руки и за голову, а Матвей дал ему двадцать пять добрых розог. Так сама собою как-то незаметно пресеклась, а вскоре и вовсе забылась первая любовь. Только образ хорошенькой смуглой Мухиной с ее заспанными глазками и надутыми губками застрял в памяти на всю жизнь.

Трудно было бы перечислить все увлечения Нельгина. Предпоследнее было — свободное летание в воздухе. Основу этого искусства, которое теперь уже никого не удивляет, он взял из одного из своих снов, который очень часто повторялся. Ему снилось обыкновенно, что обеими руками он держит широкую ленту и, крутя ее через голову, перепрыгивает ногами, вроде того как девочки играют в скакалку. Ему казалось, что, учащая темп вращения, он становится легче и легче, наконец отделяется от земли и парит в воздухе под потолком. Но он находился уже в таком возрасте, когда нестерпимо хочется претворить мечту в действие, сон в явь. Поэтому во время одной из весенних прогулок он, подобно индейцу племени «апахов» или «черноногих», прокрался в запрещенный лагерь девочек, украл там шнур с двумя рукоятками на

концах, принес его на мальчишеское поле и, твердо уверенный в чуде подобно мифическому Дедалу, легендарным Аполлонию Тианскому и Симону Волхву и нашему почти современнику крылатому Лилиенталю, взобрался на самый верх полевой гимнастики, на самую перекладину и крикнул:

— Глядите! Я сейчас полечу! — Но тотчас же запутался в веревке и позорно упал, расквасив себе нос и разбив правую коленку.

Насколько можно проследить, самым последним его детским увлечением были экзамены в военную гимназию. Попасть в нее и окончить курс было очень трудно, во-первых, потому, что Разумовских «воспитков» вообще принимали неохотно, во-вторых, потому, что все они были подготовлены плохо, в-третьих, потому, что, проведши лучшие годы под влиянием истеричных старых дев, они были с самого первоначала исковерканы, в-четвертых, дети добрых, но бедных родителей, они являли собою яркие примеры наследственности, удрученной алкоголизмом и сифилисом. Из пятидесяти мальчиков выдерживали экзамен десять — пятнадцать; из них после физического осмотра оставался самый надежный отбор в количестве пяти-шести мальчиков; но даже и эти счастливицы, пройдя через горнило науки и товарищества, уменьшались до трех-четырех. Самых худших, а почему знать, может быть, и самых талантливых, ссылали за плохое учение в Ярославскую прогимназию, а за скверное поведение — в Вольскую, где, как говорят современники, драли их всех по субботам: если виноват, то за вину, а если не виноват, то в поучение, а за сугубые провинности — вдвое, где редкие крепыши выдерживали, но это были уже настоящие люди, и среди них можно было бы назвать нескольких известных, но скромных военных имен в конце девятнадцатого и в начале двадцатого столетия.

Но Нельгин не думал о второстепенных именах истории. В своих пылких грезах он бывал поочередно то Скобелевым, то Гурко, то Радецким (а время было как раз после окончания войны 1877—1879 годов), иногда даже — до чего простирается мальчишеская дерзость! — Наполеоном. Он заранее чувствовал, что назначена ему какая-то совсем иная судьба. Но чтобы попасть в гимназию, приходилось веровать в чудо...

Пробовал он прибегнуть к помощи молитвы. Стоял ночью в кровати, на коленях, изо всей силы прижимал руки к груди, пробовал выжать из себя хоть немножко слез и даже делал (надо заметить, что он никогда не был лгуном, а только страстным мечтателем) в виде невинной взятки почти неосуществимые обеты. «Милый бог! Добрый бог! — говорил он, напрягая все мускулы своего маленького тела. — Ведь ты все можешь. Тебе ничего не стóит. Сделай так, чтобы я выдержал экзамены, а потом... потом я построю в Зубове или в Щербаковке большую церковь... то есть нет: маленькую церковь или хорошую часовню. Только устрой».

В это время он почти перестал есть, похудел, побледнел, питался хлебом с солью, а также на прогулках всякой травяной дрянью: просвирками, свербигусом, молочаем. В научном смысле он сам крепко подналег и знал, что ему необходимо будет только победить свою самолюбивую застенчивость и сдержат грубую вольность языка.

Но несправедливая судьба, перед которой, вероятно, очень много грешил такой невинный и веселый пистолет, как Нельгин, готовила ему серьезное испытание. Сменилась или, кажется, уехала на лето в отпуск классная дама Ольга Петровна. Она была очень маленькая и сухая женщина, чрезвычайно строгая и холодная, но и справедливая. Первые два качества вселяли в мальчишек страх, третье — уважение. Однажды она в воскресный день привела своего сына, долговязого приготовительного гимназиста поиграть с ее мальчиками. Гимназист немножко форсил, показывал мускулы, шведскую гимнастику, перепрыгнул через стол (он говорил, что без разбега, но разбег был в три шага), наконец вызвал кого-нибудь из любителей подраться. Конечно, на это первым согласился Нельгин, а уже после него, поддерживая свой престиж главного силача, выступил Суркоз, — однако Нельгин не уступил ему очереди. Через пять минут оба боксера были красные от крови. Ольга Петровна застала это зрелище и правосудно поставила в угол и того и другого, а другие дети в это время с лицемерно-добродетельными лицами пили шоколад, приготовленный классной дамой для первого знакомства приготовишки с воспитанниками.

Но ушла Ольга Петровна, а на смену ее временно была назначена Вера Ивановна Теплоухова. Ее Нельгин

знал еще по группе. Это была длинная, но при этом коротконогая девица, с огромной лошадиной бледной мордой. Она всегда носила короткие юбки, из-под которых выглядывали невероятно большие ноги в прюнелевых башмаках с ушками. От нее всегда пахло какой-то вонючей пудрой, а между бровями росла бородавка, похожая цветом на спелую малину, а формой на рог носорога. Совсем неизвестно, где рок фабрикует людей такой наружности и такого характера.

Самое же ужасное в ней было то, что она была твердо убеждена в непоколебимости и верности паульсоновских анекдотов и воскресных прописей и каждое свое слово, взятое из книжки, считала священным.

Конечно, она сразу же, по естественной антипатии, возненавидела Нельгина, в котором даже и в его юном возрасте чувствовался настоящий анархист,— возненавидела так, как умеют только ненавидеть старые, неудовлетворенные, скучающие классные дамы из девиц. Ей претили и движения Нельгина, и звук его голоса, и мелкие привычные гримасы, и живость его воображения, и еще многое, чего она себе объяснить не умела и о чем она потом забыла, как забыла о самом Нельгине.

Вряд ли кто-нибудь, кто не провел золотых дней своего детства в закрытом учебном заведении, где нет ни влияния семьи, ни педагогического контроля, может представить себе всю сумму ничтожных подлостей, уловок, придирок, кляузничества, злоупотребления властью, на которые способны классные дамы, ответственные перед родиной и богом за воспитание будущих граждан. Это еще ничего, что Нельгина ежедневно оставляли без завтрака и обеда — он и так почти ничего не ел,— и что его лишали свиданий — к нему никто не приходил,— но Вера Ивановна выбрала с терпением и проницательностью инквизитора самое больное, чувствительное место: она заставляла его стоять столбом во время общих прогулок. В это время другие дети катались на гигантских шагах, строили великолепные пещеры из земли и песка или устраивали из веток сады и огороды. А Нельгин стоял столбом, и стоял кому-то назло добросовестно и терпеливо. Игры товарищей ему были уже неинтересны, но тут же рядом простирался огромный луг, окаймленный густым лесом. Только потом, вернувшись в эти места уже почти стари-

ком, он убедился, что луг был не более ста квадратных саженой, а лес — кусты жимолости, бузины и сирени. Но в то время это были прерии и пампасы и льяносы. Стоял Нельгин столбом и думал: «Хорошо бы было нестись по этой цветущей степи, скривив челюсть набок, как будто закусив удила, склонив голову, галопом — по этой необозримой степи, усеянной ромашкой, одуванчиками и какими-то голубыми неведомыми цветами и остро пахучими травами». И, конечно, если бы Нельгину сказали: «Вот, тебе прощаются все многочисленные стояния, которые ты должен отбывать за свои провинности, но только обещай, что ты не побежишь по траве», — то он, конечно, обещал бы искренно не побежать, но все-таки побежал бы...

...Словом, в мнении воспитательниц, он навсегда остался мальчиком-лгуном.

— Она ко мне придирается, и я больше не могу. Со всем никак не могу, — говорил ночью Нельгин, сидя в ногах у Амирова, а рядом с ним, приподнявшись на локте, лежал Юрьев. — Она ко мне придирается, и нет больше моего никакого терпения. Завтра я убегу, а вы — как хотите. Впрочем, это, конечно, будет свинство, и вы не товарищи. Читали вы «Дети капитана Гранта»? Пятнадцати лет был мальчик, а он командовал трехмачтовым кораблем: фок, бизань, такелаж, грот. И там другие вещи и шкоты. Ну, скажем, нам по одиннадцати лет — все равно. Взять хлеба, посолить, спрятать в карман, потом мы пойдем на квартиру, где жила бабушка. Она теперь умерла, но остались хозяева: Сергей Фирсович и Аглайда Семеновна — они меня знают. Мама теперь в Пензе, и они ни о чем не догадаются. Там мы устроим ночлег. Хотя, конечно, есть и некоторые, которые трусы и подлизы...

Это был с его стороны дипломатический подход. В темноте Нельгин не видел, а как будто чувствовал, что Юрьев расстегнул рот, а Амиров поднял голову, чтобы было удобно слушать.

— Ну, что же? — продолжал Нельгин. — Ну, что же? Нас здесь мучают, притесняют, из-за каждой ерунды ругают и ставят стоять столбом. Вот жаль, что война кончилась! Но очень просто удрать и в Америку.

— В Америку: это на пароходе,— деловито заметил Амиров.

— Да, на пароходе. Но можно и вплавь, то есть не вплавь, а на лодке. А главное — нужно запастись провизией и деньгами. Мы (он теперь уже говорил не «я», а «мы» — замечательный прием всех агитаторов) переночуем у Сергея Фирсыча. Он нам даст несколько денег, потом мы садимся на железную дорогу и едем прямо в Наровчат. Из Наровчата (меня там все знают) едем в наше имение Щербаковку и Зубово (тут его фантазия разгорается, по обыкновению), нас встречают крестьяне... Молоко, деревенские лепешки, все, что угодно... Я им продаю сто десятин леса, тогда мы надеваем взрослое платье, садимся опять на железную дорогу и едем в Америку. Впрочем, это все я могу и один, а вы — как хотите.

— Это верная дорога,— сказал Юрьев.

Амиров подумал и сказал шопотом, но веско:

— Да! А как убежишь, если она с тебя глаз не спускает. А потом кто-нибудь профискалит. Потом, мы не знаем, как ехать по паровику. Да.

— Ну, паровик — это ерунда. Я все знаю. Завтра на прогулке она будет ходить со своими любимчиками туда и сюда. Как повернулась спиной,— жжик в кусты, а там через парк. Через Язуу вплавь. До Кудринской площади дойдем к вечеру, а потом уж, вы поверьте мне, все будет как следует. Я даю мое честное, благородное слово.

Нетрудно было ему увлечь мальчиков: Юрьева, который всегда шел за смелым, предприимчивым Нельгиным, и Амирова, которому стыдно было отказаться от компании из обязательного молодечества. Надо еще раз отметить, что Нельгин не хотел их обманывать; он просто душой поэта и сердцем авантюриста верил в то, что все делается, как он предполагал.

На другой день на прогулке вышло маленькое осложнение. Вера Ивановна рассказывала мальчишкам о том, как летело стадо гусей и навстречу ему один гусь. Была она зла и придирчива. Вероятно, у нее был плохой желудок или долго не получалось письмо до востребования. Задача о гусях очень заинтересовала Нельгина, и он просунул свою стриженую большую голову вперед, забыв в эту минуту о своем побеге, хотя хлеб с солью у него был

уже в кармане. Но она увидела ненавистное ей лицо, по-
нюхала, брезгливо сморщилась и сказала:

— От тебя всегда пахнет воробьем.

У всех мальчишек летом, когда волосы немного выго-
рают, пахнет от головы птиц, но почему-то Нельгин оби-
делся и ответил:

— А от тебя, дура, пахнет мышами. И потом ты ста-
рая, у тебя грязное лицо.

Готово. Нельгин стоял столбом. Вера Ивановна Тепло-
ухова хватается за голову и кричит:

— Нет! Я больше не могу! Уберите мне его отсюда,
уведите этого гнусного мальчика, иначе я сама за себя
не ручаюсь! Дядька! Где дядька! Дети мои! Никогда не
берите пример с этих глупых и гадких детей. Нельгин!
Будешь стоять во все дни моих дежурств, навсегда, до
самой могилы.

Нельгин стоял, глядел на солнце, жмурился и думал:
«Вот, говорят, что только орлы прямо глядят в лицо
солнцу, а вот я не орел, а гляжу, хотя слезы текут гра-
дом». Мальчики насыпали горсточку песку, обложили
сырой землей, потом снизу отковырнули маленькую двер-
цу, осторожно пальцами выгребли песок — получился
великолепный рыцарский замок или разбойничья пещера.
«Какие дураки, — думает Нельгин. — Тут нужно вставить
прутик с зеленым листиком — это будет флаг, кругом
воткнуть разные цветы, какие попадутся, и получится див-
ный замковый сад». Но все-таки же одним краем своего
сознания он думал, что к нему подойдут Амиров и Юрьев.
Выждав момент, они, правда, подошли к нему, как заго-
ворщики.

— Что же, — спросил небрежно Нельгин, — слово дано.
Бежим?

Оба помялись.

— Да мне все равно. Я один убегу. Потом вы обо мне
услышите, когда я буду миллионером. Конечно, я для вас
найду места, вроде генералов. Только я прошу не фиска-
лить. Я с вами незнаком, вы со мной незнакомы.

Но мальчики уже были зачарованы новой игрой. Юрьев
первый сказал:

— Так что же? Раз дали честное слово и клятву друг
другу, так пойдем?

Амиров немножко замялся:

— Да вот я не знаю... папа придет в воскресенье...

Но Нельгин уже овладел положением:

— Папа, папа... Подумаешь тоже: папа! Когда мы приедем в Наровчат, я ему вышлю целый воз битых индюков, кур, гусей, соболю шубу, тройку жеребцов и сундук денег. Потом мы папу возьмем с собою и будем вместе с ним обрабатывать Кордильеры.

Вера Ивановна ходила, по способу перипатетиков, взад и вперед, окруженная толпою прилежных учеников. Оставляю на ее совести все то, что она, невежественная и злая, говорила в это время. Но только она поровнялась с тремя заговорщиками, из которых один стоял с идиотским лицом, скосив глаза, другой рвал и нюхал какие-то травки, а третий предавался танцевальному искусству, — поровнялась и проплыла мимо, как они все трое бросились в кусты.

Это была совсем неизвестная дорога. Там разрослись — волчья ягода, жимолость, бузина, глухая крапива, лопухи, дикий тмин, божьи дудки, просвирняк и очень сильно пахло грибами. Сначала очень трудно было ориентироваться. Мальчикам казалось, что они катятся по какому-то бесконечному лесному обрыву; затем чаща немного поредела, показалась дорожка. Побежали по ней, долго кружили. Одно время им слышались детские голоса. Нельгин распознал, что они приближаются к той части парка, которая отведена для девочек. Стало быть, нужно было бежать от голосов. Очутились совсем в незнакомом месте. Там текла черная, вонючая, быстрая река Яуза, а может быть, ее приток. Тут дрогнула приличная душа Амирова. Он сказал:

— Не лучше ли мы оставим это на потом? Во-первых, ко мне придет в воскресенье отец, и, кроме того, я забыл переписать чистописание.

Какой решительный характер был у Нельгина! Четыре забытых доски, вероятно остатки портомойни или временного моста, гнили в воде у берега. Нельгин сказал с тем величием, которое смешно в детях и остается навеки в истории взрослых.

— Ну что же, Амиров? Это твое дело. А вот мы с Юрьевым сейчас переплывем реку и потом дальше. Юрьев! Снимай обшлага! Сейчас же!

Юрьев сорвал красный кумач с воротника и с рукавов.

Это сейчас же сделал и Нельгин. Амиров как будто поколебался одну секунду, но благоразумие взяло верх.

— Прощайте.

— Все-таки ты не профискалишь? — спросил для верности Нельгин.

— Честное слово! Вот ей-богу!

Амиров ушел. Ребятишки сели на неустойчивый плот и кое-как, обмакивая руки в воду и заставляя доску двигаться движением тел, добрались до противоположного берега. Вероятно, кто-то неведомый, но добродушный руководил их движениями: если бы они скувыркнулись, то так бы и потонули, как камни, потому что берега у реки были обрывисты, а сама река была глубокая, и плавать они оба не умели. Выбрались ползком на противоположный берег и только тогда ясно почувствовали, что все расчеты с прошлым покончены.

И тотчас же они услышали лай, подобный грому. Два больших холеных сенбернара летели прямо на них.

Надо сказать, что мальчики, если и видели собак, то только на картинке, но эти разинутые пасти, красные языки, частое дыхание, громкий лай — это уже была действительность. Старая, корявая, дуплистая ива висела над речкой. Первый Юрьев, а за ним Нельгин с быстротой обезьян вкарабкались на ветви и сидели, поджав под себя мокрые ноги, дрожа от ужаса.

Пришел какой-то человек, грязный, с черным лицом, заставил собак замолчать, спросил мальчиков:

— Откуда вы?

Нельгин начал вдохновенно лгать. Немножко ему вспомнилась «Красная шапочка».

— Мы идем в Кудрино, к бабушке. И вот заблудились. Как бы нам пройти?

Черный человек все-таки оказался менее страшным, чем собаки. Под его покровительством они пошли в контору к управляющему железодельного завода «Дангаузер и К^о». Толстый, опившийся пивом и очень спокойный немец спрашивал их почти то же самое, что и черный человек, но очень лениво и равнодушно. Нитки не особенно ловко сорванных обшлаг, однако, навели его на почти правильную мысль.

— А все-таки, вы, может быть, из этих самых, как его называется? Елизаветинское училище?

Елизаветинский институт был рядом с пансионом, и если бы он сказал из «Разумовского», то, вероятно, мальчики отдались бы на волю победителя. Но этот промах был в руку Нельгину.

— Помилуйте! Елизаветинский институт — это женский институт, а мы просто просим указать дорогу.

Немец их отпустил, сказав, однако, черному человеку:

— Ты гляди, чтобы чего-нибудь не сперли.

Черный человек проводил их до вторых ворот по двору, где в свете угасавшего летнего дня цветились радужой лужи, валялись обломки железа и сильно пахло хлором.

Мальчики не знали, где они находятся, и, выйдя на улицу, сейчас же очутились около Андрониевского монастыря. Как ни странным покажется, но когда они спрашивали у прохожих, как пройти в Кудрино, то большей частью получали ответ либо насмешливый, либо явно лживый: «Поверни направо, потом еще направо, там увидишь трубу, а над трубой сапожник, а над сапожником пирожник, а у парикмахера напудрено — там и увидишь Кудрино», или: «Вы, мальчики, идите все прямо, никуда не сворачивая. А где ваши папа — мама? Ай, ай, ай! Такие маленькие мальчики ходят одни! Как ваши фамилии?»

Но чутье подсказало Нельгину не верить глумливым указаниям и не отвечать на вопросы. Уже начался вечер... Юрьев куксился, говорил о том, что он, конечно, пошел бы за Нельгиным на край света, но только одно ему жаль, что он оставил в пансионе коншелек с семью копейками и образок — благословение покойной матери (она и не думала умирать). Нельгин понимал, что уступить, колебаться, сдаться — значит потерять все и сделаться навеки смешным. И он, по-своему, был велик в эти минуты.

— Давай, — говорит он Юрьеву, — прикинемся, что мы бродячие итальянцы.

И когда мимо них проходил страшный взрослый, он начинал оживленно лепетать:

— Молякаля села малам? Лям па ля то налям калям.

От них прохожие шарахались. Непонятно, что они о них думали. Вероятно, думали, что вот выпустили откуда-то двух сумасшедших идиотов.

Инстинкт бродячего круговращения иногда заводил их к фонтанам, которые льют свою воду в широкие бассейны. Мальчики пили воду, как собаки, лакали ее и —

о подлая, бессердечная Москва! — один раз, когда Нельгин утолял жажду, какой-то взрослый болван, верзила-разносчик, снял со своей головы лоток, поставил его бережно на мостовую и равнодушно, но расчетливо ударил мальчика по затылку. Нельгин захлебнулся и едва раздышался. Был еще один жуткий момент, когда они очутились в центре города и шли по какой-то людной, узкой, богатой улице и спросили кого-то, как пройти в Кудрино. Вежливый, на этот раз добродушный и, должно быть, честный человек сказал:

— Вам нужно вернуться назад и повернуть в следующую улицу налево. Тогда вы попадете как следует.

Но мальчики так устали, что одно слово «назад» для них казалось страшным, и поэтому они предпочитали идти упорно и бессмысленно по прямому направлению. От Лефортова до Кудрина, по циркулю и по масштабу, около восьми верст. Вероятно, ребяташки со всеми нелепыми кривулями сделали верст больше двадцати, но все-таки они, наконец, дошли до Кудрина и нашли против Вдовьего дома дом и квартиру, где когда-то, года два тому назад, жила бабушка.

Сергей Фирсович и его жена были немножко удивлены позднему посещению, однако в память прекрасной покойной женщины и побежденные красноречием Нельгина, они оказали мальчикам гостеприимство. Это им было тем легче сделать, что комната, где раньше жила бабушка (одно окно в коридор), случайно пустовала. Нельгин, усталый, изодранный, врал из последних сил:

— Мама теперь в Петровском парке. Мы туда ехали, потеряли деньги. Я и мой товарищ заблудились. Боимся поздно ночью возвращаться.

Им предложили чаю с булкой. Юрьев склонен был попить и поесть, но Нельгин был осторожен:

«А вдруг догадаются, что мы ничего не ели».

— Спасибо: мы только что пообедали.

Ах, как трудно было с Юрьевым, с этим слабовольным получеловеком, который каждую секунду готов был расплакаться. Постелили им на пол одеяло и подушку. Юрьев дрожал. Рядом Сергей Фирсович шаркал туфлями. Он служил в городской думе писарем и раньше, еще во времена бабушки, не без остроумия говорил о себе: «У нас в думе есть гласные и безгласные. Так я — безгласный».

У него и у жены не было детей, но зато у них было шесть или семь собачонок: маленьких, черных, короткошерстных, с рыжими пятнами над глазами. По утрам Сергей Фирсович читал газету, а вечером кормил собак вареной печенкой, шаркал туфлями и что-то про себя бормотал. ●

Но Нельгин знал отлично, что собаки печенку не додают; поэтому он сказал Юрьеву.

— Теперь лежи, не шевелись. Сейчас я достану «пищу».

И, правда, ощупью в темноте он набрел на тарелку с печенкой (сытые собаки поворчали на него, но, обнюхав, успокоились) и принес ее Юрьеву. Должно быть, в печенке весу было около полупунта, но этого хватило, и затем...— блаженный сон усталых тружеников, без сновидений, беспросыпу...

Наступило утро. Мальчики проснулись освеженные. Нельгина не оставил дух предприимчивости, но зато в Юрьеве угас вчерашний огонь и иссякла энергия. Как настоящая тверская баба, он спросил, кривя рот и дергая посом:

— Что мы будем делать дальше?

На это Нельгин не мог бы ответить откровенно, потому что, немного протрезвившись, он сам не знал своей дальнейшей судьбы. Он, однако, сообразил, что Сергей Фирсович сегодня еще не шелестел газетой, но что газета уже подсунута почтальоном в дверную щелку, и что в газетах обыкновенно печатают о беглых мальчиках: стало быть, нужно было уйти до того момента, когда Сергей Фирсович развернет свой шелестящий лист. Милый, добрый Сергей Фирсович! Да будет тебе земля пухом: ты, должно быть, о чем-то догадывался, но ни одним нескромным вопросом ты не смутил беглецов. Ты предложил им чаю. Они ответили: «Спасибо, мы очень торопимся (этакие деловые люди!)». И отпустил их с миром.

До сей поры почти все предположения Нельгина сбылись. Теперь осталось только сесть на железную дорогу и поехать в изумительный город Наровчат к своим крепостным верноподданным. Мы все знаем, что человеческая воля иногда творит чудеса, но все-таки нужны кое-какие знания, уверенность в себе, большой рост, громкий голос, усы и многое другое, может быть, даже и лишнее. Очутившись на улице, Юрьев заныл:

— Хочу домо-ой, в пансио-о-и!

— Это подло,— сказал Нельгин, зная, впрочем, в глубине души, что дело кончится сдачей.— Это свинство! Не по-товарищески! Ты же давал честное слово.

— Бою-юсь!

— Ладно,— сказал Нельгин,— только сначала сходим в зоологический сад.

— Да-а. У нас денег нет.

— Ничего. Ты, как я. Я знаю.

Знания его были не особенно высокого качества. Нужно было пройти новые триста шагов. Направо каланча, налево церковь Покрова, затем налево какие-то пруды, направо зоологический сад, между ними мост. Нужно так: мост пройти, затем перелезть через барьер и иметь мужество прыгнуть прямо в болото до пояса: тогда ты не проходишь через контроль. Нельгин об этом слышал раньше от мальчишек, но сам он прыгал в первый раз. Вымазался весь, как чорт. Юрьеву нечего было делать: оставаться одному было страшнее, и поэтому он сиганул вслед. С независимым видом, грязные, со следами оторванных лацканов, невыспавшиеся, они посетили и какаду, и страуса, причем Нельгин ставил ему большой камень и найденный на дорожке ключ от карманных часов, посетили и слонов, и тигров, и многих птиц, и вонючих хорьков, и лис, и гиппопотама, который высовывал из густой лужи разинутую морду, похожую на чемодан с розовой подкладкой; подразнили обезьян и потрогали колючего дикобраза. Почему никто не остановил их, это до сих пор остается загадкой. Вероятно, все-таки человеческая воля— это область, до сих пор не исследованная.

Пришлось возвращаться назад. Юрьев перестал плакать и только подзуживал Нельгина:

— Ты скажи, что это ты затеял, а я только так.

На этот раз путь был не так долг. Помогли и бессознательная животная память местности, и дневной свет. Часам к трем пришли в училище. У ворот стояли какие-то дворники, прачки, полотеры, кухарки. Странно, что на мальчиков никто из них не обратил никакого внимания, и так они долго не знали, в чьи правосудные руки они отдадут свою судьбу. Довольно быстро их все-таки схватили, отвели в лазарет и рассадили в разные комнаты, со строгим запрещением видаться друг с другом.

Тяжело было одиночество: ни книг, ни разговоров, и вдобавок Юрьев оказался совсем дураком: одиннадцатилетний Нельгин додумался до сигнализации стуком, а этот маленький старик, будущий взрослый трус, не отозвался ни одним ударом в стену. От нечего делать Нельгин вспомнил и решил почти все арифметические задачи и в уме подзубрил слова на ять. Но вот однажды, около полудня, раздались каменные шаги в коридоре и звон колокольчиков.

«Ну, все равно выдерут,— подумал он.— А вдруг я возьму и умру? Потом они все будут жалеть...» Словом, те мысли, которые кому только из мальчишек не приходили в голову... Он не знал того, что в это время княгиня Г. уступала свое почетное место княжне Л., и поэтому в его лазаретную каморку вошла не только его строгая начальница, но и новая владычица его души и тела, а с ними вместе пять-шесть веселых светских барынь и почти все утлые классные дамы.

— Вот посмотрите, если угодно,— сказала княгиня,— сокровище. Конечно, надо было бы отдать его в арестантские роты. Поглядите, какое ужасное лицо. Вот с чем вам придется бороться, милая княжна. К нам присылают бог знает каких детей.

Но полная дама с очень милым, толстым, простым и добрым лицом возразила вежливо:

— Ну, ничего: широкий лоб, зоркие глаза. Может быть, упрямая воля. Много шансов, что он пропадет, но, может быть...

— Вы смотрите через розовые очки.

— Нет, мне просто не хотелось бы начинать дело с жестокого наказания.

— Итак, княжна, вы считаете возможным допустить его к экзамену?

— Конечно, я согласна наперед с вашим мнением, княгиня, но один маленький опыт, если позволите...

— О, конечно. Прошу вас.

— Благодарю вас. Вы очень любезны.

И они все ушли в том же порядке, как и пришли. Так как они говорили по-французски, то Нельгин ровно ничего не понял, но как мог он все-таки переводил разговор на свой язык. Ему казалось, что прежняя начальница сказала:

— Не выпороть ли нам этого мальчишку?

А другая сказала:

— Нет, зачем же: он такой маленький.

А потом вдруг, как во всех рассказах, случилось чудо. Только затихли многочисленные женские голоса, как вдруг Нельгин услышал легкие шаги. Трудно было предполагать, что эта большая, высокая дама могла идти так легко. Он слышал только два слова, брошенные ею кому-то вдаль коридора.

— Pardon, princesse¹.

Она вошла в скучную больничную комнату, взяла шершавую голову мальчика двумя ладонями, приподняла ее кверху, внимательно долго поглядела ему в глаза, точно читая в них будущее Нельгина, потом погладила от лба к затылку его колючую шерсть и сказала:

— Ты, мальчик, ничего не бойся. Сейчас я тебе приплю куриного бульона и красного вина. Ты, видно, давно ничего не ел и совсем бледный. Только ничего не говори никому. А что экзамены ты выдержишь прекрасно, я в этом уверена.

¹ Извините, княжна (франц.).

САШКА И ЯШКА

про прошлое

I

Ника — известная непоседа. Ника егоза и стрекоза. Ника скачет, как коза брынская. Все ей надо знать, во все сунуть свой розовый нос; особенно куда не надо. В одну минуту она задает двадцать пять вопросов и сама их разрешает с непостижимой быстротой.

Нике нет еще и десяти лет, а она уже дважды летала на аэроплане, и потому на подруг смотрит с высоты шестисот метров.

— И даже совсем, ни капельки не страшно, — говорит она, — а только ужасно приятно. Точно катишься на бесшумном автомобиле по асфальту. А внизу все: дома, лошади, паровозы, деревья — как игрушки для самых маленьких детей.

Ника из семьи военных летчиков Прокофьевых. Ее отец — известный инструктор; его специальность — тяжелые боевые аппараты. С огромного Фармана номер тридцать он сбрасывал бомбы на немцев.

Брат Жоржик знаменит на всех аэродромах как виртуоз по высшему фигурному пилотажу; ему нет равного в изяществе и законченности петель, скольжений и штопоров. Все системы летательных машин он попробовал на личном опыте.

Другой брат Александр (Ника его зовет просто и не почтительно — Сашкой) военно-морской летчик. Он перегнал отца по службе и в шутку подтягивает его. За ним числится несколько сбитых германских машин. Он старший лейтенант, рукоятка его кортика украшена георгиевским темляком, а за последние подвиги при обороне Эзеля он непременно получит и георгиевский офицерский крест.

Ника по праву гордится своими тремя авиаторами. Даже плюшевая, потертая Никина обезьянка «Яшка» совершила множество полетов в самой боевой обстановке, укрепленная на гаргроте Сашкиного аэроплана.

Ника щурит блестящие голубые глаза, встряхивает по-мальчишески головой и отбрасывает рукой лезущие на нос короткие волосы.

— Вот вы мне вчера про собак, про гусей и про кошек... Хотите, я вам расскажу про Сашку и про Яшку. Только уговор: если что-нибудь ошибусь, не сердиться.

— Пожалуйста, Ника, пожалуйста.

Рассказ ее прекрасен. Он жив, ярок, меток и весь в движении. Но, к сожалению, его мог бы запечатлеть только граммофон, приставленный приемником к самому рту Ники, хотя и этот способ мне кажется неудобным, потому что Ника во время рассказа вертится во все стороны. От торопливости у нее вскакивают на губах и лопаются пузыри. Она выпускает одновременно множество слов, которые несутся из ее рта стремительно и без всякого порядка, так что порою кажется, будто шестнадцатое по счету слово доходит до вас раньше четвертого.

Если ее поправить в какой-нибудь технической ошибке, она — ничего, не обижается. Она охотно распишется в незнании, примет на бегу поправку и уже быстро скользит дальше, как на коньках.

По этой причине я предлагаю ее рассказ в изложении, проверенном и подкрепленном сторонними справками, давая самой Нике место лишь в известных, необходимых случаях.

II

В середине осени отряд Эзельских боевых гидропланов получил телефонное сообщение о том, что в бухте Лео замечены три германские подводки. Известие это пришло

к раннему вечеру, когда уже начинало слегка темнеть. В этот момент находился в полной готовности один только аппарат, именно мичмана Прокофьева, Никиного Сашки, и потому мичман, не теряя ни секунды на праздные размышления, лишние слова, взобрался на свое место в гидроплане, посадил рядом с собою отважного механика Блинова с двумя полупудовыми бомбами и, быстро поднявшись кверху, полетел в хорошо знакомом направлении.

Они безошибочно и очень скоро долетели до бухты Лео, обшарили ее самым тщательным образом, но никакого следа сумбарин не оказалось. Пришлось попусту возвращаться назад, к великому неудовольствию Блинова, у которого бомба чесалась в руках.

Гидроплан приблизился к своей стоянке. Уже открылся Церельский маяк. Огонь сигнального костра, нарочно разведенного на берегу, увеличивался с каждой секундой. Около него стали заметны маленькие черные копошащиеся фигуры людей.

Мичман Прокофьев управлял аппаратом одною рукою, а другую выставил за борт гондолы и нажимал пальцем кнопку электрического фонаря, давая знать о своем возвращении. С необычайной ловкостью удалось ему, остро снизив гидроплан, спуститься на воду. Блинов даже заметил, что «так хорошо, пожалуй, и днем не сядем». И вдруг случилась катастрофа. Одна из бомб взорвалась.

Судить о причине этого взрыва можно только предположительно. Вероятнее всего следующее: еще не достигнув бухты Лео, Блинов, охваченный нетерпением, начал вывинчивать в одной из бомб предохранитель и, вывинтив, держал эту бомбу в руках, готовый бросить ее по первому знаку, между тем как другая бомба лежала между его ступнями на дне гондолы. Когда, после напрасных поисков, гидроплан возвращался домой, механик вспомнил о предохранителе и стал его водворять на прежнее место, зажав бомбу коленями. Бомба имела грушевидную форму. Очевидно, она как-нибудь скользнула и упала на другую бомбу. Замечательно, что эта вторая бомба не взорвалась от детонации. Гидроплан был весь исковеркан. Блинова разорвало буквально на куски. Мичман спасся каким-то чудом.

III

Прокофьев рассказывал потом, что в этот момент он не слышал взрыва и не видел пламенного столба. Он только почувствовал, что какая-то дьявольская сила выхватила его из сиденья, взметнула на воздухе и швырнула в море. Ему удалось выбраться на поверхность с большим трудом. Долго мичман не мог отдышаться и все отплевывал горькую воду, наполнившую ему рот, горло и нос. Инстинктивно он ухватился за какой-то плававший обломок разрушенного крыла...

Он вынырнул спиной к костру и не сразу сообразил это. Всего лишь за пять минут назад перед его глазами горели знакомые огни, все приближаясь и вырастая, — теперь же ничего не было, кроме черного, зловещего, вздыбленного моря, плеска мрачных волн и полного одиночества. И он крикнул к темному беззвездному небу:

— Господи! Как ужасно!

Потом он несколько раз зывал в пустое безбрежное пространство:

— Помогите! Помогите!

Но силы покидали его, голос хрипнул и слабел. Он не мог себе представить, что произошло с аппаратом. Не наскочили ли они на камень? И куда девался Блинов? И где же, наконец, огни маяка и костра?

Потом его поразило то, что он совсем не чувствует правой ногой свою левую ногу, как ни старается к ней прикоснуться. Но вскоре он случайно нащупал ее рукою. Она всплыла вся изуродованная, переломанная, и болталась почти на поверхности, вслед за движением тела, колеблемого волнами. И в ту секунду он услышал торопливое пыхтение подходящего катера. Это был миг яркого сознания и глубокой радости. Вслед за ним наступил упадок и сонное оцепенение.

Прокофьев почти не сознавал, что с ним было дальше: как его вытаскивали из воды в катер, как довели до берега, как делали первую перевязку и как везли восемьдесят верст до Аренсбурга в автомобиле, доверху набитом сеном.

Смутно он помнил, что где-то какой-то врач, при свете лампы, обстригал ему ножницами обнаженные, торчавшие наружу из разорванного мяса косточки отрезанных

на ногу пальцев и спрашивал: «Не больно ли». А он отвечал, стиснув зубы: «Нет, не больно, но кончайте, кончайте скорее...»

Из Аренсбурга его отправили на пароходе в Ревель, а оттуда дали знать по телеграфу отцу, в Петербург.

«Папа сидел на диване, а мама сидела тут же рядом,— рассказывает Ника.— Вдруг принесли телеграмму. Папа распечатал, прочитал и схватился за затылок. Протянул ее маме: «Вот, прочти. Нога сломана в двух местах. Оторвана ступня... Надо ехать в Ревель».

Они поехали втроем.

Из игрушек Нике позволили взять с собою только одну, самую любимую, с которой ей расстаться было уж никак невозможно: обезьянку, мохнатую плюшевую, с премилой выразительной мордочкой.

— Может быть, она немного развлечет Сашу,— сказала Ника, укутывая обезьянку одеяльцем.

IV

Мичману Прокофьеву было, пожалуй не до развлечений. Длинный и неудобный путь, большая потеря крови, мучительные перевязки, бессонница — все это истомило и обесслило его.

— Был он такой худой, худой и бледный, бледный, как мертвец,— тонким жалобным голоском говорит Ника,— а губы были белые, пребелые.

Глядя на него, отец не мог удержать слез. Заплакал и сам мичман, прошептав еле слышно:

— Неужели мне больше не летать?..

Подумать только: он жалел не о своей молодой, полной всяческих прелестей и великих надежд, прекрасной жизни, не о грозившем ему ужасе непоправимого калечества... Нет, точно каменная плита, угнетала его одна лишь мысль о том, что судьба отняла у него невыразимую словами радость смелых взлетов вверх, сквозь облака, в чистую лазурь, к сияющему солнцу, когда победный рокот мотора сливается с гордым биением сердца.

Да, в этих слезах вылилась настоящая свободная душа человека-птицы!

Но, как ни странно, плюшевая обезьянка Яшка в самом деле развлекала Прокофьева и вызвала на его блед-

ные губы улыбку, когда он, усадив ее к себе на грудь, погладил нежную шерстку и уморительную мордочку. В нем, разбитом, обескровленном, хранился скрытый глубоко внутри большой запас крепкой, цепкой, неистощимой энергии жизни.

— Когда мы собрались уходить, Сашка пристал ко мне: «Оставь, пожалуйста, Никишка, обезьянку у меня ночевать. Ну, что тебе стоит?» Мне, конечно, было жалко, но он так просил, что я не могла отказать, и оставила. А на другой день опять выпросил. А потом еще и еще. Такой попрошайка. Говорит: «Если бы ты знала, Ника, какой Яшка милый. По ночам мне не спится, все болит, а он сидит со мною рядышком и утешает меня, уговаривает потерпеть. Оставь мне его еще на денек».

Так Яшка к нему и совсем привык, и остался у него навсегда, и домой не хотел после ехать. Ходил с Сашкой на перевязки и даже на операции.

Мичману отняли ногу немного пониже колена. Доктор не ручался за исход операции: больной был чересчур слаб. Но стойкая, живучая натура вынесла. После операции, сделанной в Кронштадте, Прокофьева перевезли в Петербург, в лазарет адмирала Григоровича, где он стал с каждым днем быстро и заметно поправляться.

Там, совсем для него неожиданно, в палату к нему привезли и положили приятного соседа — родного брата Жоржика. Так же, как и месяц назад, получил отец летчика телеграмму с гатчинского аэродрома:

«Подпоручик Георгий Прокофьев упал; перелом обеих ног».

И теперь пришлось уже отцу, матери и Нике ехать зараз к двум больным.

— Жоржик был скучный, все нянчил свою закутанную ногу, — говорит Ника. — А Сашка ничего — точно это и не ему ногу отрезали. Смеялся и пел под гитару веселые стишки. Свои собственные, на мотив «Маргариты».

А Прокофьев о ноге не тужит,
С деревяшкой Родине послужит...

А между кроватями, очень важно, сидел на стуле Яшка. Преважный. Меня он и не узнал даже. У него тоже одна нога была забинтована. Так, за компанию с Сашкой и Жоржиком.

Мичману Прокофьеву сделали искусственную ногу. В долгие дни, пока он к ней приучался, все его мысли и разговоры (а, вероятно, и сны и молитвы) были сплошь полны тревожным вопросом: сможет ли он послужить Родине с деревяшкой, или не сможет? Оказалось, смог.

Надо только представить себе его буйную радость, когда ранним свежим июньским утром он отделился от земли и свободно поплыл в высь, и аэроплан, как и прежде, с чуткой готовностью был послушен тонким движениям его пальцев, а рыже-бурый Яшка, прикрепленный к гаргроту на носу лодки, надменно глядел в небо, растопырив руки и ноги и вызывающе завернув голову вбок и назад. «Знай наших!»

С той поры Никин Сашка и храбрая обезьяна Яшка стали неразлучны. Надо сказать, что у большинства летунов есть свои талисманы, фетиши и амулеты. Французские авиаторы, например, носят на цепочке серебряные или золотые жетончики с изображением пророка Елисея. Другие хранят у себя на груди ладонку, в которую зашит псалом девяностый «Живый в помощи вышнего».

У капитана Казакова, сбившего шестнадцать немецких аппаратов, всегда был укреплен на носу гондолы образ Николая чудотворца. Иные не расстаются в полетах с фетишами вроде плюшевых мишек, мопсов и слонов.

Мичман Прокофьев вдвойне дорожил Яшкой: и как амулетом и как памятью о козе-егозе-стрекозе, о быстроногой, востроглазой, розовоносой Нике. Он, как и все летающие воины, бросал бомбы, производил разведки, вступал в воздушный бой с немецкими аэропланами, и Яшка на своем месте взирал в лицо смерти с наглым, вызывающим высокомерием.

Так-то они вдвоем раз и приняли участие в воздушном бое, который длился около двух часов. Один из четырех сбитых вражеских аэропланов был снижен Прокофьевым вместе с лейтенантом Дитериксом и остался спорным. Но слава победы над другим досталась ему целиком. После долгих воздушных хитростей Прокофьев зашел в хвост мощному немецкому «Альбатросу» и, при-

близившись к нему на жутко близкое расстояние, стал буквально поливать его из пулемета.

Мичман ясно видел (и никогда этого зрелища потом не забыл), как германский летчик судорожно возился над своим пулеметом, но пулемет, что называется, «заело», и он ничем не мог заставить его вновь работать. Мотор немца начал заикаться перебоями, аппарат накрепился и стал снижаться. Вспыхнул огонь. Прокофьев видел, как немец сначала с отчаянием схватился за голову, а потом повернул к русскому летчику искаженное яростью, багровое лицо, бешено затряс над головою огромными кулаками и выкрикнул, страшно выкатив глаза, злобное ругательство. И вместе с пылающим аэропланом полетел, кувыркаясь, вниз, с высоты двух тысяч метров, и упал в море.

VI

Вернувшись на стоянку, Никин Сашка, легко раненный в руку, пересчитал пробоины в своем аппарате. Их оказалось, шрапнельных и пулеметных,— около тридцати. На его счастье, ни одна пуля, ни один осколок не угодили в более жизненные места летающей лодки.

Прокофьев за этот бой получил чин лейтенанта и золотое оружие. А Ника говорит с гордостью:

— Мой Сашка и мой Яшка, оба получили по Георгию. У Сашки белый крест на кортике, а у Яшки георгиевская медаль на груди. Так и в приказе было напечатано.

— Полно, Ника. Неужели в приказе?

— Ну, я не знаю, наверное. Но во всяком случае оба имеют по Георгию. Впрочем, поглядите сами...

Она лезет в самую свою сокровенную шкатулочку и достает оттуда раскрашенную фотографию. Действительно, с карточки смстрит открытое, худощавое лицо двадцатидвухлетнего лейтенанта Прокофьева, у которого рука в косынке. И тут же развалился плюшевый, потрепанный боями, немного удивленный, но не потерявший высокомерия, раскрашенный Яшка. У него рука забинтована, а на груди в самом деле красуется огромная картонная золоченая медаль на полосатой ленточке.

— Правда твоя, Ника, правда. Прости. Когда у Сашки нога была в повязке, была и у Яшки нога забин-

тована. А также и руки. И, когда Сашку поливали пулеметным огнем, поливали и Яшку. И если у Сашки теперь золотое оружие, как же и Яшке не щеголять с черно-оранжевой ленточкой?

Вот Никин рассказ и окончен. Остается прибавить, что одноногий лейтенант Прокофьев успел сбить еще два германских аэроплана в Моонзундском наступлении. Он был свидетелем того, как немцы бомбардировали Церельские укрепления четырнадцатидюймовыми снарядами. Когда от своего начальства он получил приказание улететь с отрядом истребителей в Ревель, то церельские артиллеристы взмолились:

— Останьтесь, пожалуйста, лейтенант. *Он* без вас совсем нас закроет.

Прокофьев ответил:

— Я прежде всего солдат и слепо повинуюсь приказанию. Снеситесь по радио.

Они снеслись и получили такой ответ:

«Лейтенант может остаться, но это зависит *только* от его желания».

Он остался, и оставался до тех пор, пока ангары и жилые двухэтажные постройки на аэродроме не превратились в жалкие кучи мусора под действием чудовищных немецких семидесятипудовых снарядов. Тогда лишь он приказал своему отряду сняться и лететь в Ревель, а сам улетел последним, попав в перекрестный огонь, в котором был контужен.

Германцы хорошо его знали. Их пленники летчики с почтением произносили его имя и называли имена аппаратов, которые он снизил. Конечно, они слышали и о Яшке. Да, впрочем, у каждого из них был свой фетиш.

ГУСЕНИЦА

Не особенно давно, весной прошлого года, один мой приятель показывал мне довольно диковинную вещь — фотографический альбом для руководства филеров по политической службе. Это была небольшого формата, но довольно толстенькая книжка, которая развевталась и складывалась, как гармония, с карточками на обеих сторонах, словом нечто вроде карманного альбома видов какого-нибудь города или морского побережья. Попала она к нему очень кружным путем в те дни февральской революции, когда громились и сжигались полицейские участки. Кажется, он перекупил ее у какого-то уличного маклака.

Мы рассматривали этот альбом вместе с пожилым агрономом, специалистом по виноградарству и по филлоксере. Помню, меня очень заинтересовала разница в выражении лиц снятых мужчин и женщин, и я обратил на это обстоятельство внимание своего соседа. «Поглядите, какая странность: у всех мужчин лица искажены либо страданием, либо смертельной усталостью, либо нестерпимым презрением. Очевидно, фотографировали их в охранке сейчас же после погони или борьбы. Иные, без сомнения, в момент съемки находили в себе мужество сделать умышленную гримасу, чтобы нарушить фотографическое сходство. Но вот женщины: Вера Фигнер и Засулич, обе в молодости, Екатерина Константиновна Брешковская, Коноплянникова, Спиридонова, Маня Школьник, Нина и

Наташа — севастопольские героини, и еще и еще. Посмотрите, как спокойны и просты их лица и что за прекрасное выражение в этих ясных, таких *человеческих* глазах. Чувствуешь, но не расскажешь словами. Тут и нежная доброта, тут чистота мысли, и светлая печаль, и какая-то счастливая обреченность, и великая любовь, и непоколебимая твердость решения... и — взгляните — какая мягкая, какая естественная женственность! Вот я точно вижу, что идет по улице такая женщина, чтобы убить какого-нибудь усмирителя. В сумочке у нее восьмизарядный браунинг, а мысль о неизбежности собственной смерти так уже перемолота в душе, что стала совсем привычным второстепенным будничным вопросом. А около лавчонки ревет пресопливы, прегрязный мальчишка, бутуз лет пяти, — потерял копейку. И вот она зашла, купила ему пару маковников, утерла замурзанную мордашку, одернула рубашонку и пошла дальше на суровое, неженское дело, на смертный путь, на Голгофу».

Агроном закрутил винтом острие маленькой жесткой седоватой бородаки и ответил задумчиво:

— Да, это так. Я в партии собственно не был, но много мне приходилось видеть этих славных девушек и чудесных женщин. Некоторые из них есть и в этом альбомчике. И вы верно сказали: я всегда чувствовал, что из них лучится какая-то внутренняя неиссякаемая святая теплота. Я замечал, что бесчестный человек, лжец или трус не выдерживал и на секунду их прозрачного и тихого взгляда. И то непередаваемое выражение любви и доброты, о котором вы говорите, я видел не только у революционеров, но также и у настоящих сестер милосердия на передовых позициях, под огнем. Оно бывает у всех русских женщин, когда ими овладевает высокая идея, овладевает не так, как мужской душой частично, а поглощает целиком, без остатка, до последней мысли, до тончайшего изгиба сердца... Да, да, да... Я такое именно выражение увидел как-то в лице одной женщины, совсем обыденной земной тусклой женщины, когда уважение к героизму и живое деятельное сострадание подняли всего на минуту ее душу к небесам. Хотите расскажу? Это коротко.

Так вот: время действия — осень 1905 года, место — южный берег Крыма, небольшой рабочий поселок, неда-

леко от Севастополя. Теперь там большой приморский и виноградный курорт, а тогда это дело только еще началось, но все-таки было в поселке пять кофеен, гостиница, завод рыбных консервов, летний театришко вроде сарая, трое докторов, больница, аптека, фотография, два училища, почтовое отделение, библиотека... вот, кажется, и все.

К осени все виноградные больные разъехались на север. Остались в местечке только коренные жители, греки-рыболовы, да мы — случайная малая кучка интеллигентов. Давно, еще летом, все перезнакомились и уже успели порядком надоест друг другу, но все-таки сходились, распивали чай, шумно, безрезультатно и грубовато спорили, пережевывали вслух, как новость, содержание передовиц из либеральных газет — словом, делали все, что полагается русским передовым человеком, томящимся в собственном соусе.

Исключение составлял зазимовавший в поселке писатель... Да, впрочем, какой он был писатель. По целым суткам пропадал с рыбаками в море, а вернутся они с уловом белуги, налегают на белого вина, как лошади, и ходят гурыбый, обнявшись, по набережной и орут самыми недопустимыми голосами дурацкую песню в унисон:

Ах, зачем нас забрали в солдаты,
Посылают нас на Дальний Восток?
Неужели мы в том виноваты,
Что вышли ростом на лишний вершок.

Собирались мы чаще всего у Бориса Мурузова, приват-доцента, зоолога. Был он болен чахоткой и, кажется, сам это знал и потому весь был пропитан едкой и нетерпливой злобой. Но из нас он считался самым левым и даже, кажется, сидел когда-то на Шпалерной, и этот революционный стаж вместе с его язвительной авторитетностью во мнениях делал его как бы главою нашего случайного кружка. Все мы значились лишь в сочувствующих и негодующих, а он все-таки до известной степени мог сойти за деятеля с прошлым.

Особняком держалась его жена, Ирина Платоновна. Была она такая распрорусская женщина, бывшая институтка, но совсем простецкая баба, добрая, толстая, немного распустиха, все поселковые новости раньше всех

знала. Газет никогда не читала и от наших мировых впросов зевала самым неприкрытым образом...

Муж был несправедлив к ней, срывал часто на ней свою внутреннюю тоскливую злобу, грубо осаживал при посторонних, высмеивал беспощадно... Надо сказать правду, нехорошо это у него выходило. И все из-за пустяков. Скучала очень Ирина Платоновна на юге, изнывала вся, особенно когда задувал на неделю ветер монтано; места себе, бывало, не найдет, мечется по комнатам, как белый медведь в клетке. Все о севере тосковала. Раз она как-то и скажи: «У нас, говорит, в Зарайске, крыжовник теперь поспел, большущий такой да мохнатый. Его хорошо в сиропе из вишневых листьев варить». А Борис усмехнулся криво, одной щекой и съехидничал: «Ты не женщина, а гусеница. Ты пяденица крыжовниковая *abagaxas grossulariata*. Вот ты кто». Зло это было сказано, что и говорить, но как-то прилипло к ней это словечко. Так заочно и звали ее Гусеницей. Конечно, в добром смысле. Кто-нибудь в разговоре вдруг скажет: «А как наша добрая Гусеница поживает?» И правда, была она самого ангельского характера. Вспоминаю я ее живо: всегда в широком капоте, с открытой жирной, белой шеей, а перед платья непременно стеарином закапан. И всегда она, с утра до вечера, теряла и искала свои ключи. «Ах, куда я мои ключи девала? Господа, не видал ли кто, куда я ключи положила?» Но замечательно вкусно кормила. Такой кефали, жареной на шкаре с помидорами, я никогда не ел.

Так-с. А тут пошли большие события. Началась все-российская забастовка. Прекратились почта и телеграф, стали железные дороги. Вскоре конституцию объявили: куценькую, правда, лживенькую, но и то какие упования были! Да и все это время... я про теперешнюю революцию ничего не скажу... дело веселое. Но тогда, тогда!.. Сколько радости было, надежд и светлого опьянения какого-то... И сколько любви! Ах, тогда многие люди проявляли свою душу в таком масштабе, который превосходил все отпущенные человеку размеры!

Вдруг вспыхнуло восстание в Черноморском флоте, шмидтовские дни... Потом расстрел «Очакова». Канонада и до нас доносилась, даром что мы в тридцати верстах жили. По морю гулко звук идет, а дни стояли безветренные.

А на другой день после «Очакова» Борис спешно послал за мной и за другими. Мы собрались к нему. Сам Мурузов был злой, взлохмаченный, нахмуренный, то молчит, то по комнате быстро ходит. А на диване сидит незнакомая девушка, вернее сказать, девочка, тоненькая, хрупкая, с детским милым личиком, но в глазах, в душе этих больших серых глаз именно та глубокая человеческая красота, и ласка, и чистота — все, о чем вы вот сейчас говорили по поводу альбома. Борис на нее рукой ткнул: «Это товарищ Тоня. Она вот все расскажет. А это мои приятели, люди порядочные, на них можно положиться...».

Она нам и рассказала все, что в Севастополе произошло на этих днях и вчера. О том, как матросы заняли караулы в городе, как Шмидт поднял флаг на «Очакове», как он объезжал корабли с адмиральского борта, как с ним от страшного переутомления случился припадок и как Чухнин приказал обстрелять крейсер «Очаков». Говорила она сжато, деловито, сухо и каждое словечко отчеканивала, как строгая учительница, объясняющая детям задачу, но глаза блестели, точно звезды. Многие матросы, по ее словам, сгорели заживо, другие пробовали спастись вплавь на своих туфлячках и на кругах, но этих у берега расстреливали солдаты из пулеметов или прикалывали штыками. Иные потонули, не смогли долго держаться — вода была чересчур холодна. Но часть матросов все-таки спаслась на другой берег, и теперь десятеро из них здесь неподалеку спрятались в балке, в кустарнике. Надо во что бы то ни стало достать им денег и вольную одежду. Паспорта уже есть. А главное, дать им несколько часов передохнуть в безопасности после тех ужасов, которые они пережили за эту ночь. «И затем скройте их на несколько дней, рассейте где-нибудь по окрестным имениям и виноградникам. Думайте! Думайте! Шевелите головами, товарищи! Помните, что каждому из этих самоотверженных людей грозит наверняка смертная казнь, если они попадутся в руки жандармов. Я все оставляю на вас, Борис, а сама сейчас же еду дальше. Мне сегодня дела выше головы».

И уехала. Ах, какая умница она была, какая прелесть, какая отреченная от себя, какая повелительная! Другая ее партийная кличка была «Конфетка». Я бы ее назвал революционной Жанной д'Арк.

Она уехала. И тут Борис Мурузов вдруг скис и смяк, царство ему небесное, и довольно противно это у него вышло. Говорил о том, что он давно уже потерял с партией связь, что партия собственно не имела права взваливать на него ответственных поручений, что он вовсе не уверен в полномочиях товарища Тони, которую видел в первый раз, и пошел, пошел. Но как на него великолепно прикрикнула Ирина Платоновна!..

— Трус, не прячясь за угод,— твою тень видно! Люди всю ночь в студеной воде дрогли, не спали, не ели, каждую секунду смерть перед глазами видели, а ты про полномочия! У них петля на шею накинута, а ты разводы разводишь. Не можешь — не надо, тебя никто не осудит, ты — человек больной. Но молчи, ради бога, молчи и не стыди ты меня!

Ну и принялась же она за дело. Кипяток! В какой-нибудь час обегала всех интеллигентов и выжала, выкрутила из них все, что только возможно по части денег, обуви и одежды. Некоторые упирались: «Да я и так сколько передавал на эти сборы и подписки. Да я человек семейный и не имею права рисковать жизнью жены и детей». Старая песня. Но она вцеплялась в них, как такса в ухо кабана. «А вольнодумствовать любите? А кукиш в кармане кажете? А тиранов проклинаете в тряпочку? А «Вставай, подымайся» напеваете шепотком? Ну вот вам поднялся народ, встал. Чего еще хотите? Так и помогайте ему! От вас жизни никто не требует, а только старых брюк и немного денег из бабушкина чулка».

Потом она удивительно ловко распорядилась доставкой одежды матросам, залегшим в кустистой балке. Переодетые, они входили в поселок по одному, а мы сидели и стояли на перекрестках, как маяки, и незаметными кивками головы указывали, куда поворачивать. Трех она направляла в больницу, тогда, по счастью, пустовавшую, двух — к фотографу, а пятерых на время приотлила у себя. Рассмотрел я их хорошо. Все крепкий народ, кряжистый, но очень уже они были изнурены: глаза ввалились, взгляд тяжелый, неподвижный, рты полуоткрыты и губы запеклись. И видно было, что все они мыслью, воображением еще там, в огне, в ночном море, близко, близко от смерти.

Они сидели за непокрытым столом, а мы жались вокруг, растерянные, неумелые, какие-то деревянные,

неестественные и точно виноватые. Разговор никак не выходил, и было нам всем очень нудно. Да тут еще Борис с одним теоретиком марксизма начали словесный диспут на тему — кто кого главнее, эсдэки или эсеры, и кому из них человечество обязано черноморским восстанием, — глупый спор, вязкий, ребяческий, а в той обстановке и вовсе нелепый. А матросы сидят и молчат и дышат с трудом, как загнанные волки. Но тут, спасибо, выручил вот этот самый, что называл себя писателем. Явился, чорт его знает откуда, весь в рыбьей чешуе, но с водкой, с колбасой, с таранью и с жареной камбалой. И грубый какой! «Нечего, говорит, вам здесь петрушку валять. Ну-ка, ребятушки, тяпнем после трудов праведных». Кто-то было захотел возмутиться: «Позорно в дни таких великих событий думать о пьянстве». Но если бы вы только видели, как они накинулись на еду и с каким наслаждением пили водку. И Ирина Платоновна, когда вернулась, очень благодарила писателя за находчивость. Все они, я заметил, дрожали от холода и от переутомления. А на одного белобрысого паренька мне прямо жутко было смотреть. Он был такой узколобый, с мутными глупыми глазами, с огромным расстоянием между носом и ртом. Чувствовалось в его лице что-то напряженное до последней степени, какая-то обморочная бледность души. Казалось, вот-вот вскочит он из-за стола, выбежит на улицу и заорет: «Вяжите, берите меня, братцы, только не рубите мне буйную головушку!» Но выпил водки, поел и отошел. И лицо людское стало.

А Ирина Платоновна заехала только на секундочку, посидела, поглядела и опять заторопилась по делам. Наняла единственного в поселке пароконного извозчика и объездила на нем соседние хутора, где интеллигенты занимались виноградом и фруктами. Я уж не знаю, как она там молила, просила и требовала, но добилась обещаний взять где двух, где трех, где четырех поденных пришлых рабочих на плантаж и на перекопку яблонь. Все ей удавалось в этот день. Да, вероятно, это так всегда и бывает: когда человека обуяла и точно электричеством его переполнила великая, самоотверженная мысль, то его невольно слушаются и люди, и животные, и события. Не правда ли?

Самое трудное было вывести матросов ночью из поселка, который весь, как бутылка к горлышку, сужался

к шоссе. В самом переезде всегда по ночам торчал городской Федор, человек подозрительный и, по слухам, служивший в тайной политической полиции, а через тридцать шагов, справа от шоссе, находился дом пристава Цемко. Но опять помог писатель. Он сказал: «Я разрешу все самым простым способом. Я заволоку Федора в низок к македонцу, спрошу побольше вина и усажу его с Колей Констанди играть в домино. Верьте мне, что до конца смены он не оторвется. А сам пойду к приставу и буду всю ночь слушать его вранье, как он был на Кавказе джигитом. Он, дурак, думает, что я все это в газетах опишу. И то, что я обещаю, верно, как в прописи».

Ирина Платоновна и я проводили свою партию, четырех матросов, довольно далеко, верст за восемь. Мы оставались тогда, когда в рассвете можно было разглядеть крыши хутора «Василь-Дере» и расслышать лай тамошних собак. Заря всходила над степью. Было холодно. Трава обиндевела и торчала белой жесткой щетиной.

Ирина Платоновна одного за другим молча перекрестила всех четырех. И они молчали, обнажая стриженные головы. Я сбоку глядел на нее. Как помолодело и похорошело ее лицо, освещенное розовым мягким светом, сколько в нем было того интимно прекрасного, глубоко человеческого, за что единственно можно и должно любить человека, и нельзя не любить. А главное все, что она сделала, ей ровно ничего не стоило. Это истекало из несложной и радостной потребности ее теплой русской души. Вот вам и пяденица крыжовничная!

И, замечательно, никто не проболтался об этом дне и об этой ночи. Хитрые, проницательные греки, зоркие рыболовы, правда, что-то знали, о чем-то догадывались, но не лезли ни с расспросами, ни с намеками. Да ведь матрос рыбаку — брат. Одно море их гресолило.

Позднее стали показываться в поселке жандармы. Один даже переоделся матросом и, подсев на набережной к Юре Капитанаки, завел с ним тонкий, ухищренный разговор. Он-де матрос с «Очакова», тонул при расстреле, спасся чудом и вот теперь разыскивает дорогих товарищей... Но тот с презрительным спокойствием поглядел ему в глаза, потом постепенно перевел взгляд на грудь, на живот и на сапоги. И сказал после долгой паузы:

— Дурак. Штаны надел навыпуск, а нашпорники забыл.

ЦАРСКИЙ ПИСАРЬ

I

Знакомство мое с Кузьмой Ефимычем относится к тому бесконечно далекому времени, когда при устьи Невы стоял не Петроград, а Петербург, когда извозчик от Николаевского вокзала до Новой деревни рядился не за два с половиной, а ехал за восемь гривен, когда малая французская булка с хрустящей корочкой стоила три копейки, а десяток папирос «Мечта» — шесть, когда монументальный постовой городской был кумом, сватом и желанным гостем на пироге с визигой у всех своих кротких подданных, когда в субботу вечером, встретясь с другом на улице, никто не стыдился признаться, что он идет от всемошней в баньку.

Тогда на углу Фонтанки и Чернышева переулка существовала пивная лавка, невзрачная снаружи, темноватая внутри, но бойко торговавшая «Старой Баварией», к которой бесплатно подавалось пять-шесть крошечных блюдечек с заедками: пряничками, моченым горохом, снитками, строганой воблой, ржаными сухариками и микроскопическими ломтиками кобылячьей колбасы. А гордостью заведения были «свежие раки», варившиеся очень вкусно, с перцем, луком, лавровым листом и громадным количеством соли и потому требовавшие к себе великого пива.

Кузьма Ефимыч был там постоянным ежедневным посетителем лет, должно быть, уже более тридцати, и хотя за пьянство не пользовался особым почетом, но если, случалось, он не приходил в свое обычное время, четверть первого, то и толстый лысый хозяин в кожаных нарукавниках и расторопные любимовцы-услугающие чувствовали некоторое беспокойство: нет-нет, а заглянут мимоходом в окно и скажут, точно про себя:

— А нашего Кузьму Ефимыча что-то не видать...

И все они с каким-то облегчением, немножко покровительственно, немножко насмешливо улыбались, когда в дверях появлялся этот худой, жилистый старикан, с важной, мелкой и неторопливой походкой, с высокомерно поднятой головой, с сизым носом лепешкой и с трясущимися до первой рюмки руками.

У Кузьмы Ефимыча было в пивной свое любимое, насиженное годами местечко, справа от окна, напротив стойки. На стене, на уровне его головы, через месяц после того как меняли обои, уже обозначалось темное сальное овальное пятно от трения влево и вправо его седого затылка. Здесь он с суровой надменностью жреца принимал своих клиентов, тех маленьких людей, кому надо было подать к высоким людям деловую или просительную бумагу, изложенную в одном длинном курчавом предложении и написанную великолепнейшим почерком.

У него была своего рода прочная известность. Приходила иногда в пивную какая-нибудь старушонка в допотопном шелковом салопе на лисьем меху и спрашивала хозяина:

— А где у вас здесь, батюшка, царский писарь?

Ей молчаливо указывали рукой на Кузьму Ефимыча. Она подсаживалась и говорила о своих вдовьих нуждишках. Для верности руки на столе появлялась сороковка. Мальчишка отряжался в писчебумажный магазин за особой царской бумагой. «Ты смотри, Митя, там скажешь, чтобы дали не директорской бумаги и не министерской, а именно царской. Для меня, скажи, для Кузьмы Ефимыча». — «Не беспокойтесь, знаю, Кузьма Ефимыч. Не в первый раз». И бережно приносил бристоольский лист в обертке, не помяв его и не согнув, а также и новое перо № 86. Тут уже никто в пивной не смеялся. Все понимали,

что дело идет серьезное. А пригубившая винца почтенная женщина заранее слезилась.

— Ты, матка, не утопай в подробностях, — говорил Кузьма Ефимыч, оседывая нос черепаховыми очками. — Дело требует ясности и простоты. Писать прошение на высочайшее имя — это тебе не роман сочинять. Ну, так ты говоришь, что вдова зверовщика?

— Да, отец мой, вот, вот, зверовщика, зверовщика.

— Говоришь, загрыз его медведь?

— Загрыз, батюшка, загрыз. Но медведь-то адесь без внимания. Одно только слово, что зверь был, а проще теленка. Четыре года за ним покойник мой ходил. Совсем почти что ручной. Мы сами-то егеря гатчинские при царской охоте, значит, остоим, так кого угодно спросите, хоть господина начальника охоты, хоть генерала Птицына, хоть самого корытничего Баранова, который при меделянах. Вам каждый мои слова заудостоверит. А только какой-то охаверник возьми и страви зверю бутылку винища. Правда, муж не доглядел. А как пошел к нему в яму, он его припер в дверях и не пропускает. Ну, а он...

— Короче, вдова. О чем просишь?

— Да вот хоть бы пенсиюшку бы превеличили. Дорого теперь все стало. Курочек я держу, так овес по рублю пуд. Подумайте! Да и это не суть важно. А вот чтобы детишек на каменный счет воспитать. Нельзя ли это как-нибудь?

— Мм... Сыновья? Дочери?

— Внуки, батюшка, внуки. Две девочки и мальчонка... Старшей-то девочке...

— Внуки. Так. А ну, матушка, помолчи малость. Стало быть, Завертяева Анна Архиповна? вдова зверовщика? жительствоешь...

— Так, так, так, батюшка, вдова, вдова. Жительствоую.

— Улица? номер дома?

— Пиши: Гатчино, Пильня, Крайняя улица, дом Распопова, № 94, как раз против лавки купца Трескунова.

— Про лавку лишнее. Довольно. Теперь засохни на минуту. Не скворчи.

И он писал своим круглым военным писарским почерком, точно печатал, незбылемый текст прошения.

— Ваше императорское величество, всепресветлей-

ший, державнейший великий государь и самодержавец всероссийский, просит вдова зверовщика гатчинской охоты Сергия Михеева Завертяева, Анна Архиповна Завертяева, к сему:

Припадая к отеческим стопам твоим, обожаемый монарх, и омывая оные вдовьими слезами, всеверноподданнейше прошу...

Через четверть часа бумага бывала готова, и трудно было поверить, что человеческой рукой, а не машиной вырисованы эти ровные, твердые, чистые, как подобранные жемчужины, буквы и строки. Вдова доставала носовой платок, развязывала узелок и почтительно подавала Кузьме Ефимычу сложенную в шестьдесят четыре раза рублевку. Бумага, перо и конверт были тоже на ее счет.

— Так ты говоришь, Кузьма Ефимыч, что верное мое дело? — спрашивала старуха, тревожимая последним беспокоеством.

Кузьма Ефимыч не отвечал, потому что занят был заказыванием порции любимых сосисок с хреном. За него уверенно говорил хозяин из-за своего прилавка, на котором он лежал локтями, брюхом и грудью:

— Будьте, бабушка, без сомнения. Кузьма Ефимыч как стрельнет, так в самую центру, без промаха. Воистину золотым пером человек обладает. Шутка ли сказать — царский писарь. Если бы не эта самая ихняя слабость...

— Ты там помолчи в тряпочку, — перебивал Кузьма Ефимыч, поднимая на него суровый взгляд своих прищуренных и опухших глаз. — Знай свою стойку, русский американец из Ярославской губернии. А ты, вдова, ступай себе с богом. В канцелярии у швейцара узнаешь, кому надо сунуть. И ему дашь полтинник. И нечего тебе, почтенной женщине, по пивным размножаться. Гряди, вдовица, с миром.

Да, в нем было довольно-таки много чувства собственного достоинства — в этом живом свидетеле николаевских времен, похожем на те обломки старины, которым мох, зелень и разрушение придают такой значительный вид. На людей толпы он глядел свысока, точно поверх их голов, как часто глядят на новое поколение старые знаменитости, ушедшие на покой от шума и соблазнов, но еще сохранившие их в памяти сердца.

Людьми пожилыми, даже не отличающимися особенно тонкой наблюдательностью, давно уже замечено, что среди современников исчезает мало-помалу простое и милое искусство вести дружескую беседу. Несомненно, что главная причина этого явления — уторопленность жизни, которая не течет, как прежде, ровной, ленивой рекой, а стремится водопадом, увлекаемая телеграфом, телефоном, поездами-экспрессами, автомобилями и аэропланами, подхлестываемая газетами, удесятеренная в своей поспешности всеобщей нервностью.

В литературе стал редкостью большой роман: у авторов хватает терпения только на маленькую повестушку. Четырехактная комедия разбилась на четыре миниатюры. Кинематограф в какие-нибудь два часа покажет вам войну, охоту на тигров, скачки в Дерби, ловлю трески, кровавую трагедию и уморительный до слез водевиль, а также виды Калькутты и Шпицбергена, бурю в Атлантическом океане, Альпы и Ниагару.

Устный рассказ сократился до анекдота в двадцать слов. Но, главное, совершенно пропало умение и желание слушать. Исчез куда-то прежний внимательный, но молчаливый собеседник, который раньше переживал в душе все извивы и настроения рассказа, который отражал невольно на своем лице всю мимику рассказчика и с наивной верой воплощался в каждое действующее лицо. Теперь всякий думает только о себе. Он почти не слушает, стучит пальцами и двигает ногами от нетерпения и ждет не дождется конца повествования, чтобы, перехватив изо рта последнее слово, поспешно выпалить:

— Подождите, это что! А вот со мной какой случай случился...

Про самого себя я скажу без похвальбы — да тут и хвастовство-то самое невинное — про себя скажу, что я обладаю в значительной степени этим даром слушать с толком, с увлечением и со вкусом, или, вернее, не утратил его еще со времен детства. Может быть, именно оттого-то неслабоохотливый и по-своему гордый Кузьма Ефимыч изредка расшевеливался в беседе со мною и даже снисходил до эпического монолога.

Случалось это в зимние вечера, так что-то часов около трех-четырех. Обыкновенно в этот пустой деловой промежуток в пивной совсем не бывало посетителей, и хозяин, из экономии, еще не приказывал зажигать ламп. Но зато топилась печка, весело шипели и потрескивали дрова, а по стенам трепетно бегали, путаясь вперемежку, красивые пятна от огня и длинные быстрые тени. Иногда из темноты выделялись то короткая седая борода Кузьмы Ефимыча, похожая на розовую пену, то его блестящий прищуренный глаз с дрожащим заревом в зрачке, то рука с пивной кружкой. Бывало уютно, праздно, мечтательно тихо.

— Вот вы удивляетесь моему почерку, что я так его сохранил до моих мафусаиловых лет,— говорил Кузьма Ефимыч неторопливым, сипловатым басом.— Но удивительного ничего. Привычка. Возьмите вы к примеру, скажем, столяра-краснодеревца, хотя бы самого старого-престарого. У него какие материалы под руками? Пемза, замша, наждачная шкурка, политура, лак, столярный клей. Средства все грязные, грубые, и руки у него от работы скрюченные, корявые, черные, в мозолях. А сдаст он заказ без малейшей фальши, без пятнышка. В стол красного дерева можно, как в зеркало, глядеться. Никакому белоручке так чисто не разделать. И если он выпьет малую толику, то сие не только не во вред, а как бы для поднятия духа. Так вот и мы, старинные писаря. Особливо царские.

Мы, молодой человек, когда учились-то? С кантонистов еще, при блаженной памяти государе Николае Павловиче. Тогда, брат, учение было не нынешнему чета. Тогда тебя не особенно спрашивали, к какому ты мастерству, миленький мой, склонен, а прямо определяли пророчески, по физиогномии наружности: этому играть в оркестре на турецком барабане, этому быть чертежником, тому петь в церковном хоре басом, другому служить фельдшером, а третьему быть писарем. И вышколивали. Семь шкур с человека спустят, а доведут до совершенства точки.

Тогда во всем господствовало однообразие и равнение направо. Все равнялись: люди, лошади, будки, ябвахты, студенты, фонари и улицы. Все чтобы было в линию и двух цветов — желтого и черного — императорских. Слышали, наверно, рассказ? Делал однажды смотр Николай Павлович лейб-гвардии сводной роте, назначенной в почетный караул к германскому королю. Человек к человеку

были подобраны. Все трынчики, ухорезы. Так вот подошел государь к правому флангу, пригнулся чуть-чуть и смотрит вдоль фронта. А уж, сами понимаете, каков строй: ружье в ружье, кивер в кивер, нос в нос. Усы у всех ваксой с салом начернены, сбоку поглядеть — одна черная полоса во всю длину. Посмотрел, посмотрел государь минуты с три, но потом выпрямился и изволил глубоко вздохнуть. Тут рядом, позади, находился приближенный генерал Бенкендорф, так осмелился спросить: «Дышут, ваше императорское величество?» А государь ему с прискорбием: «Дышут подлецы!» Вот какие, голубчик мой, истуканные времена были.

Тоже и в нашем писарском искусстве. Учили нас всех писать единообразно, почерком крупным, ясным, чистым, круглым и весьма разборчивым, без всяких нажимов, хвостов и завитушек. Он и назывался особо: военно-писарское рондо, — чай, видели в старинных бумагах? Красота, чистота, порядок. Полковая колонна, а не страница.

Сколько я из-за этого рондо жестокой учебы принял, так и вспомнить страшно. Сидишь, бывало, за столом вместе с товарищами и копируешь с прописи: Ангел, Бог, Век, Господь, Дитя, Елей, Жизнь... а учитель ходит кругом и посматривает из-за плеч. Ну, бывало, не остережешься, поставишь чиновника, сиречь кляксу, или у «ща» хвостик завинтишь на манер поросычьего, а он сзади сграбастает тебя за волосы на макушке и учтет в бумагу носом тыкать: «Вот тебе рондо, вот тебе клякса, вот тебе вавилоны». Всю бумагу, бывало, собственными красными чернилами зальешь.

Зато и учитель у меня был. Орел! Всегда важнейшие бумаги на высочайшее писал. Сидоров, — может быть слышали? Нет? Мудреного мало. Времена давнишние. А был он человек замечательный, этот Тихон Андреич Сидоров, царство ему небесное. В некотором отношении даже историческая личность.

Государь Николай Павлович, по своей сверхчеловеческой природе, был ужас какой обонятельный, то есть я хочу сказать, до чрезвычайности чувствительный ко всяким запахам. Однажды, принимая доклады, взял он из рук министра какую-то бумагу, чтобы ее лично поближе рассмотреть, и поморщился. Спрашивает министра: «Что это ты, неужели табак нюхать начал?» У того коленки

друг о дружку застучали. «Подобным делом никогда не занимался, ваше императорское величество. Должно быть, писарь как-нибудь не уберется». — «Какой такой писарь?» — «Сидоров, ваше императорское величество» — «Внушить Сидорову, чтобы впредь был осмотрительнее. А почерк у него, каналы, хороши, даром что нюхальщик».

В тот же день Сидорову внушили. Сами можете вообразить, каково было внушение: две недели человек не мог ни на табурет сесть, ни на спину лечь. Если бы не милостивое царское слово напоследок о почерке, то, может, и в живых бы Тихон Андреич не остался... Но, все равно, и так погиб... Запил мой учитель с этого часа, подобно змию... До лютости. С утра до вечера ходил, как дым, пьяный. Но почерка, заметьте, не утратил, даже как бы окреп в нем и ожесточился.

И вот через полгода — новое чудо. В одно утро был опять наш министр с высочайшим докладом, и, должно быть, на этот раз император изволил проснуться в легком и светлом расположении духа. Был милостив и даже слегка шутив. Попался ему на глаза какой-то доклад. Он указал перстом и говорит: «Какой отличный почерк. А ведь я, говорит, даже узнал, кем писан. Это писал мой знакомый писарь Сидоров, тот, что нюхает табак. Ну, что, угадал?»

Всем известно, что Николай Павлович памятью отличался почти божеской. Но если бы даже и не отгадал... так разве цари могут ошибаться? Министр, конечно, подтвердил, но сердце у него было, как ледяная сосулька. «Вдруг, думает, бумага опять табаком провоняла? Ну, думает, подожди ты у меня, расщучий сын Сидоров, угощу я тебя такой понюшкой, что твои правнуки чихать будут. По зеленой улице проведу!» А зеленая улица — это значило сквозь строй. До смерти забивали.

Однако вышло совсем наоборот. Николай Павлович улыбнулся благосклонно и промолвил: «Награждаю моего писаря...» Так и сказать изволил: *моего писаря*. «Награждаю, говорит, моего писаря Сидорова серебряной табакеркой с изображением государственного герба и с надписью: «Моему писарю».

Тут пошла уже другая музыка. Все начальство, как есть, кинулось лично поздравлять Тихона Андреича, от самой мелкой сошки до директора департамента, и министр ему собственноручно табакерку царскую преподнес.

Однако недолго Сидоров на государев. дар порадовался. Первое — не мог он от своего виновкушения отрешиться, а второе — сошел с ума на гордости. Требовал себе от всех рабского почтения и страшно разоврался. Под конец начал такую околесину плести, что будто и лично он с государем виделся много раз, и будто государь с ним о важных делах Российской империи советовался, и будто чай он во дворце, в царской семье, пил с ромом и с тминными крендельками. И кончил он жизнь у «Всех скорбящих».

Оно и не удивительно было маленькому существу от такой царской милости в уме помешаться. Ведь какого масштаба император был! Единым взором мог человека в соляной столб обратить, на манер жены Лота. Я вот как-то с одним старым генералом разговорился: был у него по нашему, по писарскому делу. Не из нынешних паркетных шелкунов, а старого закала генерал, боевой. Он мне и рассказал следующее. Произвели их из кадетского корпуса в первый офицерский чин, и поехал он в теткиной одноконной карете делать визиты. Известно, что вновь испеченному прапорщику море по колено, и в первые три дня веселятся они напрапалую. Ну, а этот возьми да в своей карете и закури сигару — так, больше из модного шику, да еще из молодого озорства, потому что курить тогда на улице всем и каждому строжайше воспрещалось. И вот как раз около кондитерской Доминика навстречу ему Николай Павлович на паре серых. Мчится, как молния! Прямо, точно памятник! От ветра орлиные перья на каске раздуваются, пелерина по воздуху трепещет! И вдруг сквозь каретное стекло увидел прапорщика с сигарой. Только взглянул и пальцем ему погрозил.

Так генерал говорил мне: «Я, говорит, этого взгляда по самый гроб не забуду. Все я в жизни перенес: сражения, восстания, опасности, раны, смерть близких людей, но подобного ужаса ни разу не испытывал. Проснусь, говорит, иногда ночью, вспомню взор этих грозных глаз, и от испуга головой под одеяло. И умирать буду — не о смерти подумаю, а об этом страшном взгляде».

Да-с. Вот внучка у меня есть — Глашенька, Глафира Денисовна, служит она в библиотеке. Так, что она мне говорит, если бы вы, молодой человек, послушали! «Твой Николай был палач, говорит, коронованный убийца,

душитель слова и мысли, жандарм Европы!» И пойдет, и пойдет. «Всю Россию, кричит, исполосовал розгами и залил кровью, на три века остановил страну в развитии, унизил и оподлил ее хуже всякого рабства!» Что мне ей отвечать на все эти слова? Я молчу. Умом знаю, что Глашенька права, но вот тут, в груди, в душе-то, не могу, не смею его осуждать. Как родился его рабом, так рабом и подохну. Я думаю, когда у собаки помрет строгий хозяин, то она, наверно, с умилением вспоминает, как он лупил ее плеткой, и плачет в своем собачьем сердце...

III

Кузьма Ефимыч углубляется в тень и молчит некоторое время. Потом, откашлявшись, он прихлебывает из кружки и продолжает гораздо спокойнее:

— Ну вот, значит, объявили освободительный манифест. Сократили и прежний срок военной службы. Вышел я в чистую отставку и очень скоро порастерял своих прежних товарищей: кто из них умер, кто возвратился на рядину, а прочие исчезли где-то в неизвестности.

Нас, царских писарей, осталось очень мало, все наперечет, и с каждым годом число наше убывало. Нельзя, конечно, сказать, чтобы не нарождалось новых людей с хорошими почерками. Но одно дело — каллиграфия, а другое — военно-писарское рондо. У молодого поколения не было той железной выучки, как у нас, не было нашего терпения, нашего опыта, нашей смелости руки, нашей чистой работы, уверенности и глазомера. Мы были сидоровской выучки, так сказать, высокой старинной марки, редкого заводского тавра. Это в департаментах знали и чувствовали. Хотя с освобождением и рухнули многие великие столпы, и закатились многие яркие звезды, но нас, царских писарей, этот переворот не коснулся. А так как все мы стали вольнонаемными, то, стало быть, и пришел на нашу улицу праздник.

В канцеляриях мы были, если говорить по-нынешнему, гастролерами, вроде, например, как знаменитый наш Шаляпин. И понимали о себе ничуть не меньше, чем он. Придешь, бывало, в министерство оборванным, в опорках, чуть-чуть хмельной, но на всю эту чиновничью мелюзгу

как с высокой колокольни смотришь. Что мне в его карде? Их, титулярных советников и коллежских регистраторов, может быть, сто тысяч в одном Петербурге, а нас, царских писарей, во всей России шести десятков не наберется. И жалование он получает шестнадцать целковых с копейками, а я шутя сто и полтора ста выбью. И он прикован, как пес на цепи, к своему столу, а я — свободный художник, и мое имя люди высокого звания произносят с одобрением: «Пьет, прохвост, но единственный мастер писать на высочайшее».

Но и надо сказать: того, что мы могли сделать, того уже не повторят ни теперешнее поколение, ни будущие. Мы были остатками какого-то геройского, вымирающего племени, чем-то вроде последних кавказских черкесов. Конечно, в своей области. Хотите я вам сейчас расскажу случай, первый, который мне подвернулся на язык?

Если вы днем поглядите вот в это окно, то как раз напротив, через Фонтанку, налево от Чернышева моста, увидите большое, желтое с белым, здание. В нем помещается министерство, а в министерстве был когда-то экзекутором Николай Константинович. Прежде служили подолгу. Министры, и те лет по пятнадцати оставались на посту. А Николай Константинович, я полагаю, чуть ли не с самого дня постройки этого здания пребывал в нем экзекутором.

Тогда он был в своей должности замечательный, тончайший знаток дела и душ человеческих, но и величайший во всем свете ругатель. Его одного мы, царские писаря, боялись. Не брезговал он иной раз и от руки сделать внушение. Но нашей буйной братией он все-таки дорожил, знал нам цену и, когда надо, прятал нас за свою широкую спину и выгораживал из разных житейских невзгод и злоключений, коим и числа не было. И как он нашу работу понимал досконально! Бывало, поднесет бумагу плашмя на глаз к свету, точно прицелится из нее, и сразу все видит, где ножичком подчищено, где лаком притерто. И тотчас за вихор дернет или бумагой в лицо швырнет. «Переписать! — крикнет, — В другой раз за порчу царской бумаги штрафовать буду. У меня чтобы без помарок, без подчисток, без лаку и без сандараку!»

Когда приходилась в одном из нас какая-нибудь казенная надобность и одного писаря не оказывалось внизу,

в швейцарской, то уж было известно, что следует только послать курьера в эту самую полпивную, где мы с вами сидим. Тут мы постоянно и заседали, занимаясь частной клиентурой. Но бывали случаи, когда мы требовались в значительном количестве, и тогда уж мы сами рыскали по всему городу в погоне друг за другом. И вытаскивали товарищей из самых злых мест.

Так-то однажды, часа в два пополудни, Николай Константинович и издал устный приказ: «Собрать царских писарей елико возможно больше, хоть всех, кто еще держится на ногах, и привести их немедленно в министерство. Работа срочная и очень важная. Придется, вероятно, просидеть всю ночь. Плата тройная, против обычая, не считая того, что за спешку и за аккуратность пожалуют директор и министр. И чтобы немедленно!»

Чиновники уже уходили со службы, когда мы явились в пятером к Николаю Константиновичу и все сравнительно в добром порядке, и за старшего у нас Гаврюшка Пантелеев, знаменитый мастер распределять на глазомер материал. Осмотрел нас экзекутор взглядом острым и испытующим и пожевал губами.

— Маловато вас, братцы!

А Гаврюшка ему в ответ из модной тогдашней пьесы

— Немного нас, но мы — славяне!

— Знаю я, говорит, тебя, славянин, как ты в жениной кацавейке по Александровскому рынку бегал. Ну, однако, за дело, ребята. Каждая секунда дорога. К семи часам утра поспеть надо во что бы то ни стало. Случилось так, что государю угодно было весьма заинтересоваться одним вопросом по школьному делу, и он при министре выразил желание как можно скорее иметь подробную записку. А министр, по рассеянности, или по забывчивости, или просто так у него с языка от усердия соскочило, возьми и ляпни, что, дескать, доклад уже готов. Тогда государь сказал: «Вот и прекрасно, вы всегда, граф, предупреждаете мои мысли. Пришлите мне эту бумагу завтра пораньше. Я еду на два дня в Петергоф и там на досуге ее прочитаю и сделаю свои пометки». А о записке этой ни один человек в министерстве ни сном, ни духом.

Граф, когда узнал, за волосы схватился. «Если не хотите моей и вашей гибели, то чтобы к завтраму непременно доклад был готов. Хоть чудо совершите, хоть на-

дорвитесь и ослепните, но записка должна быть составлена!» Ну, мы, конечно, обещали ему хоть в лепешку расшибиться, но его не подвести. «Теперь наверху Филипп Филиппович с Благовещенским да юрисконсульт с правителем в четыре руки катают. Через полчаса, пожалуй, окончат. И, значит, тогда, ребяташки, вся остановка за вами. Уж вы, братцы, не выдайте, а я вас, проходимцев, как и всегда, своими заботами не оставлю. Ведь я за вас, подлецов, перед директором слово дал».

Гаврюшка опять высунулся:

— Мы для вас, Николай Константинович, готовы свой живот положить. Но, не в обиду вам будь сказано, вы уж сообразовали нам одну четвертную бутылку пожертвовать.

— Ведь облопаетесь, черти вы этакие?

— Будьте покойны. Мы свою меру знаем. Разве мы не понимаем, за какое строгое дело беремся?

— Ну, ладно, говорит, хорошо, будь по-вашему. Только уж отсюда я вас больше не выпущу, и обижайтесь или не обижайтесь, а я вас всех сейчас обезножу и обезглавлю.

И крикнул дежурному курьеру:

— Эй, Толкачев! Возьми-ка у царских писарей сапоги, шапки и собольи ихние шубы и спрячь под замок, а ключ мне передай. Водки же я вам сейчас пришлю.

А Гаврюшка опять:

— По вашему гениальному уму, Николай Константинович, вам бы государственным канцлером быть. А все-таки прикажите нам и закусочки принести.

— Это дело. Чего же вам?

— Да так... Хлебца черного, ломтиками нарезанного, да соли покрупнее... четверговой. А если другая закуска, то, неровен час, пятно сделаешь на докладе.

— Молодчина, Пантелеев. Тебе бы, по твоей дальновидности, частным приставом быть.

А тем временем, пока мы так любезно промеж себя рассуждали, принесли нам и черновики. Гаврюшка, наш главный закройщик, примерил на глаз и, даже при самом Николае Константиновиче, свистнул. Оказалось, по его расчету, с полями страниц полтора ста нашего обычного почерка рондо, по тридцати страниц на брата. Тридцать страниц — пустяки, можно их и в три часа наворковать, но ведь не на высочайшее же имя! Тут на страницу клади

двадцать минут, а то и двадцать пять! Это выйдет десять часов такой работы, без отъема. Жутковато нам стало. Но, однако, мы свое знамя высоко держали и от такого подвига не отступили. «Часам к девяти, говорим, пожалуй, управимся».

— Братцы, нельзя ли, черти еловые, пораньше?

— Постараемся, Николай Константинович. Вы сами николаевский служака и помните, как в наше время говорили: невозможного нет. А теперь извольте итти и больше нам не мешайте.

— Иду, иду, говорит, только вы уж, пожалуйста, олухи мои возлюбленные, без помарок, без подчисток, без лаку, без сандараку.

Мы смеемся.

— Да у нас с собою и принадлежностей для этого нет.

— Ну и прекрасно. Эх, запер бы я и вас самих на ключ в этой комнате, как запер вашу одежку, да, чай, вы тоже люди живые. Однако без сапог далеко не уйдете.

Мы опять смеемся:

— Всяко бывает. Однако до приятного свидания, Николай Константинович. И раньше восьми с половиной просим нас не беспокоить.

Ушел он. Сейчас Гаврюшка нам черновик разметил, кому откуда докуда списывать. Изумительный он имел талант на это дело. Так в письме я был и бойчее и сноровистее его, а вот насчет разметки, право, не мог никогда постичь, какая это у него пружина в мозгу действует. И вот засели мы за работу вплотную.

Тишина была, как в церкви ночью. Только перья скрипят, нет-нет кто-нибудь бумагой зашелестит... Сальные свечи потрескивают... Да изредка то один, то другой протянет руку к сосуду — буль-буль-буль-буль-буль... Стаканчик звякнет... Хлоп! И опять все тихо... Что вы думаете? Раньше восьми окончили. Николай Константинович, как было уговорено, заглянул к нам в половине девятого и ужаснулся. Видит, все мы пятеро спим, склонив буйные головы на стол, а на столе перед нами не одна четверть, а две, и обе пустые. Это Гаврюшка Пантелеев среди ночи, босиком, без пальтишка и без шапки, к Пяти углам за второй посудинкой стрельнул. А дело было зимю, и на улицах, по случаю мороза, костры горели.

Однако взял Николай Константинович аккуратно сложенную стопку переписанных листов, поглядел ее и так, и на свет, своим многоопытным взглядом и, не говоря ни слова, вышел на цыпочках и дверь тихонько притворил, и приказал нас не будить. А в канцелярии он показывал нашу работу чиновникам и говорил со слезами на глазах:

— Вам, прекрасные молодые люди, с этакой работой и вдесятером не управиться, хоть бы вы из кожи вылезли. Оттого, что у них в деле душа, а у вас только ум, да и тот цыплячий.

Кузьма Ефимыч опять надолго замолкает. Потом произносит медленно и печально:

— Рассказывал я об этом случае Глашеньке, моей внучке. Ничего она не поняла. Даже рассердилась на меня. Говорит: «Мне не то страшно, что на такие пустяки люди тратили все свои жизненные силы, но меня ужасает, что они в этом полагали свое самолюбие». Так и сказала...

У него дрожит при этих словах голос, и мне кажется, что я в темноте вижу, как от обиды трясется его нижняя губа. Но уже поздно. Я слышу, как хозяин чешет пятерней под фартуком свой живот. Затем он длинно и вкусно зевает. И, наконец, голосом, еще тусклым от зевоты, говорит:

— А я тут было вздремнул под ваши веселые истории. Пора и свет пускать. Эй, Митюшка, Лаврентий, зажигайте лампы.

Кузьма Ефимыч встает, важно кивает мне головой, не спеша идет к дверям и выходит на улицу. Где он живет — никто не знает, и никто этим не интересуется. А если он перестанет ходить этак с неделю, то в пивной равнодушно скажут:

— А наш-то Кузьма Ефимыч, должно быть, помер...

ЛИМОННАЯ КОРКА

Этот смешной и трагический анекдот почерпнут нами из редкой книжки «The Book of Eminent Boxers» (изд. W. Stewart, London¹, 1843), которая ссылается на еще более редкую книгу Пьери Эгона, опирающегося в свою очередь на полуспортивные английские газеты конца XVIII столетия.

Полную фамилию лорда Томаса Б. (трижды пэра Англии, герцога за год до своей смерти в 1802 году) все три источника не оглашают по вполне понятной причине, которая вскоре будет ясна и читателям; по той же причине и мы не называем целиком его имени. Достаточно будет сказать, что лорд Б. неоднократно встречался с Вильямом Питтом, лорд-канцлером графом Турлоу, и казначеем флота Дундасом; был близко знаком с Бурком, Адиссоном и Диком Стилем, четыре вечера подряд обыгрывал в карты Чарльза Фокса и однажды перепил на портвейне и шотландской виски его светлость Вильяма-Генриха герцога Кларенса, утонувшего, как известно, в бочке мальвазии. Его величественная фигура и надменное лицо увековечены Рейнольдсом на портрете, хранящемся и поныне в одной частной коллекции, в Америке.

Лорд Томас Б. оставил по себе тройную память: как вельможа, очень богатый даже по тому времени, как

¹ «Книга о знаменитых боксерах», изд. У. Стюарта, Лондон (англ.).

исключительный скупец и как ярый поклонник боксерского спорта. Последнее влечение иногда перетягивало в нем даже его бережливость, вошедшую в поговорку. Газеты того времени называют его имя в связи с именами знаменитых боксеров — голландского еврея Самуэля, Крибба, Джека Рандаля, Молинэ, «Боевого Петуха», Джона Джексона и других, которым он оказывал свое довольно щедрое покровительство. Надо сказать, что тогда, в эпоху всеобщего увлечения боксом, этот жестокий вид спорта пользовался гораздо большим почетом, чем в наши дряблые времена. Высокородные лорды не стеснялись публично, на пристани, засучивать рукава и вступать в состязание с каким-нибудь здоровенным лодочником с Темзы или держать сюртук своего фаворита-профессионала в те минуты, когда тот дрался внутри канатного барьера.

Последним из боксеров, кого взял под свою высокую опеку лорд Б., был Сюлливан, — кажется, ирландец по происхождению, смелый и стойкий малый, замечательный как страшной силой своих ударов в схватках, так и привлекательным характером в частной жизни. Лорд Б. нашел его в очень бедственном положении, больным, полуголодным, на каком-то холодном чердаке, где он медленно оправлялся после своего громкого состязания с «Чернокожим Ричмондом» в Ньюкестле.

Попечения, которыми лорд Б. окружил Сюлливана, можно было бы назвать поистине отеческими, если бы к ним не примешивался дальновидный расчет, основанный на корысти и тщеславии. Дело в том, что «Чернокожий Ричмонд» (теперь нам неизвестно, был ли он мулат, креол или квартерон) и Сюлливан были не только двумя самыми сильными боксерами своего времени, но и давними заклятыми врагами. В спортивной публике глухо поговаривали о том, что причиной этой взаимной ненависти служила не так профессиональная ревность, как глубокая обида, нанесенная когда-то чернокожим семье ирландца. Замечательно было то, что в их неоднократных и свирепых встречах обидчик проявлял гораздо больше злобы, чем обиженный, ибо судьям приходилось нередко предотвращать со стороны Ричмонда недозволенные приемы.

Анонимный автор цитируемой нами книжки, склонный, как и все писатели XVIII столетия, к моральным рассуждениям, говорит по этому поводу:

«Как часто бывает, что благодетель привязывается сердцем к облагодетельствованному, и как нередко, причинив человеку зло, мы сами начинаем его за это ненавидеть».

Разыскать неизвестного боксера с большими задатками, прозреть в нем будущую звезду спорта, обеспечить ему приличное существование, дать необходимый тренинг, а потом выпустить его в свет для блестящей карьеры считалось тогда в высшем английском обществе столь же достойным и похвальным для настоящего джентльмена, как ныне считается шикарным видеть цвета своей конюшни побеждающими на скачках в Дебри и Ипсومه. Не надо также забывать и того, что во время боксерских состязаний заключались между джентльменами очень крупные пари, доходившие иногда до нескольких десятков тысяч фунтов.

Чернокожий Ричмонд и Сюлливан были одинаково известны. Они встречались уже неоднократно и каждый раз жестоко избивали друг друга, но окончательное первенство между ними еще не было установлено ввиду постоянной перемены счастья. Последняя их встреча не дала решительного результата, так как была прервана вмешательством полиции из-за скандала, поднятого публикой. Тогда многие зрители уверяли, что будто бы из боевой перчатки метиса выпала тяжелая монета времен королевы Елизаветы; впрочем, это, по мнению арбитров, доказано не было.

Знаючи, однако, уверяли, что за Ричмондом насчитывалось более шансов на звание чемпиона. Он был значительно выше ростом, чем Сюлливан, тяжелее его (если оба находились в своих лучших формах) на пятнадцать фунтов, обладал длинными руками, отличался малой чувствительностью к боли. Словом, теперь понятно, до какой степени общественное внимание было привлечено к обоим боксерам и к лорду Б., взявшему под свое покровительство ирландца.

Сначала Сюлливан вел спокойную и деятельную жизнь в подгородном имении лорда. Трижды в день он поглощал сочные кровавые бифштексы с небольшим ко-

личеством поджаренного хлеба и запивал их пингюю доброго двойного шотландского эля; в промежутках, переварив еду, он тренировался со своими лидерами четверть часа, полчаса и час, а для того чтобы «открыть дыхание», пробегал ежедневно десять миль вместе со своим бультерриером Фипси; в остальное время он купался или спал.

Его молодое тело быстро восстанавливало здоровье и крепость. А главное, к Сюзливану постепенно возвращались его превосходные душевные качества: воля, уверенность и терпение, чего совсем не было в чернокожем, который был страшен в первых нападениях, но при малейшей неудаче терял спокойствие, падал духом и становился трусливым, злым и суетливым.

Сюзливан отлично учитывал — как все преобладающие шансы Ричмонда, так и свои достоинства. Но, к сожалению, их взвешивал не менее точно и сам лорд Б. Дальновидный человек и расчетливый игрок — он хорошо понимал, что его ставки за Сюзливана могут окупить расходы по покровительству и принести значительный барыш только в том случае, если победа Сюзливана явится для прочных игроков полной неожиданностью. Равенство закладов с той и другой стороны уже ввело бы скупого лорда в значительные убытки. А между тем шила в мешке не утаишь, и, как ни старался лорд Б. держать в секрете тренинг Сюзливана, — прекрасные шансы этого боксера не сегодня завтра могли сделаться известны широкой публике.

И вот покровитель начал сначала осторожно, в виде намеков, указаний и дружеских советов, а потом все настойчивее и грубее торопить ирландца к состязанию. Сюзливан однажды позволил себе мягко возразить лорду:

— Подождите еще немного, сэр. Теперь я в состоянии выдерживать с негром полтора часа. Дайте мне, сэр, еще несколько дней, и у меня будет достаточный запас сил для того, чтобы в последнем круге (round) раздробить Ричмонду нижнюю челюсть.

Но лорд Б., подстрекаемый своей жадностью, становился с каждым днем нетерпеливее. Однажды он дошел в своей назойливости до такой степени, что дал понять Сюзливану о том, как дорого обходится его содержание. С ирландцами можно производить всякие психологические опыты. Но попрекать их хлебом никогда не следует.

Сюлливан ответил коротко:

— Сэр, я готов.

Вскоре был назначен день матча. За два дня до него оба соперника были допрошены репортерами спортивных газет.

Чернокожий Ричмонд сказал:

— Вы увидите, как я быстро отправлю душу этого ирландца в ее католический рай.

Сюлливан высказался значительно и не без юмора:

— У Ричмонда кулаки в полтора раза больше моих. Следовательно, при одинаковом весе перчаток, каждый дюйм его кулака жестче в полтора раза. Но я предпочел бы драться с ним вовсе без перчаток.

Эта шутка, если в ней разобраться, имела характер самого смелого вызова. К стыду тогдашних спортсменов надо сказать, что они иногда допускали бокс и без перчаток, голыми руками, но такие состязания всегда вели к тяжкому калечению и часто к смерти. Может быть, именно по этой причине Ричмонд настоял в выборе города на мягкосердечном Брайтоне, а не на Мульзее, который имелся в виду раньше и в котором судьи действительно могли разрешить этот жесточайший род бокса.

Щадя нервы читателей, я не буду переводить на русский язык описание всех двадцати четырех раундов (схваток), сделанных боксерами в день их встречи. Любителя сильных ощущений я отсылаю к прекрасному и мало известному рассказу Конан-Дойля «Мастер из Кроксвилля» Прочитав его, он до известной степени может представить себе, какое отвратительное и героическое, постыдное и прекрасное занятие — бокс.

Я только отмечу, что раунды были трехминутные, с минутным перерывом между ними. Боксер, упавший на пол и не поднявшийся на ноги в течение одиннадцати секунд, должен был считаться побежденным, если только эти одиннадцать секунд не переходили за конец условленного трехминутного срока.

Еще до начала состязания лорд Б. натолкнулся на неприятную неожиданность. Вопреки всем расчетам и вероятностям, вопреки здравому смыслу игра составлялась не за Чернокожего, а за Сюлливана, в размере 5 против 4. После первого раунда разности закладов возросли

до 7 против 3, после четвертого они выразились в цифрах: Сюзливан — 9, Ричмонд — 2.

Лорд Б. был немного бледнее обыкновенного, но ничем не обнаруживал своего беспокойства. После пятой схватки он подозвал к себе известного маклера Моисея, отдал ему на ухо какие-то распоряжения и затем с невозмутимым видом продолжал сидеть в первом ряду, у самого каната. Время от времени он отпивал из большой кружки свой любимый пунш из рейнвейна и виски и, вынимая ложкой ломтики лимона, медленно их обса-сывал.

После седьмого раунда ставки за Ричмонда неожиданно для всех стали подыматься; к пятнадцатому они даже дошли до *al pari*¹. Никто не мог объяснить себе причину этого нелепого явления. Все видели, что Чернокожий Ричмонд вышел на состязание пьяным. Если его нападения и были необычайно свирепыми в первых схватках, то с двенадцатого круга он уже заметно начал сдавать². Он весь лоснился, тяжело дышал и однажды споткнулся, но не от удара, а по собственной неловкости. Между тем Сюзливан, который до сих пор только защищался, не переходя в атаку, был свеж, бодр и дышал глубоко и спокойно, как спящий ребенок.

Игра на Ричмонда также быстро падала, как и подымалась, едва только Сюзливан начал наступление. Давно уже старые поклонники бокса не видали таких молниеносных выпадов, такой быстроты и точности движений, такого чудесного соединения расчета, отваги, гибкости и находчивости. От боковых ударов ошеломленный метис шатался между руками Сюзливана, как кулек выбиваемого тряпья; беспощадные прямые удары заставляли его отступать к самому канату, и раза три он уже обращался в бегство вокруг каната, сопровождаемый свистками и ругательствами зрителей.

Все поняли, что Чернокожий Ричмонд кончен. Теперь уже самые слепые и безрассудные игроки отказались от него. Один только маклер Моисей упрямо принимал ставки, предлагая за гинею три шиллинга, потом два и,

¹ равного положения (*итал.*).

² Автор книги и здесь приводит мудрую сентенцию: вино похоже на неверного друга, который сначала льстит, а потом предает. (*Прим. автора.*)

наконец, даже один. Джентльмены смеялись ему прямо в лицо и записывали свои заклады без всякого увлечения, ради курьеза. Конец матча был ясен всем, до последнего мальчишки, продававшего морс и мятные лепешки.

Когда Ричмонд вышел на двадцать четвертый раунд, на него было жалко и забавно смотреть. Он шатался, колени у него подгибались, рот был открыт. Только глубокий инстинкт опытного боксера еще держал его в стоячем положении и не давал ему упасть, а большие приемы водки в перерывах будили его угасавшее сознание.

В начале третьей минуты Сюлливан поймал метиса в мышеловку, то есть зажал его голову под свой левый локоть, притиснув ее к боку, а правой стал быстрыми и короткими ударами снизу превращать его глаза, губы, нос и щеки в одну кровавую массу. Ричмонд был весь мокрый от пота. Ему как-то удалось, втянув в себя скользкую шею и упираясь руками в тело противника, вырвать голову из этого живого кольца. Боксеры мгновенно разъединились, но разрыв этот был так силен и внезапен, что Ричмонд с размаху шлепнулся на пол в сидячем положении, а Сюлливан мелкими и частыми шажками понесся назад, спиной к барьеру. Но вдруг он как-то нелепо взмахнул руками и грузно упал на землю, на правый бок. Несколько раз он делал усилие, чтобы встать, подымал на руках свое туловище и опять со стоном припадал к полу.

— ...Четыре, пять, шесть...— считал вслух секунды один из судей

На шестой секунде Ричмонд поднялся и стал среди площадки, покачиваясь и размазывая пот, кровь и пыль по своему страшному лицу.

— ...Семь, восемь...

Сюлливан делал судорожные усилия, как раздавленный червяк, но не подымался.

— ...Девять!..

— Стоп! — воскликнул второй судья, подняв вверх руку. — Три минуты. Антракт.

Одна секунда спасла Сюлливана от поражения. Его секунданты бросились к нему, желая помочь ему встать на ноги. Но он одним знаком остановил их.

— У меня, кажется, сломана нога,— сказал он.— Это пустяки. Но поглядите на это... вот на это...

Один из секундантов нагнулся и поднял с досок эстрады маленькую, растоптанную боксерским башмаком, скользкую корочку от лимона.

Невольно взгляды всех зрителей обратились к лорду Б., который направлялся к выходу со своим всегдашним надменным и спокойным видом. Маклер Мойсей, занятый в дальнем углу залы приемом закладов, сделал было торопливое движение, точно намереваясь подбежать к нему. Но одним движением ресниц лорд Б. приковал его к месту.

ОДНОРУКИЙ КОМЕНДАНТ

Рассказ этот написан по воспоминаниям о том, как его рассказывал в 1918 году Ефим Андреевич Лешик, человек середины прошлого столетия, то есть тех времен, когда еще не совсем исчезли из обихода: взаимная учтивость, уважение к старикам и женщинам, а также прелесть неторопливого и веского устного рассказа, ныне вытесненного анекдотом в три строчки или пересказом утренней газеты. Когда я расстался с Ефимом Андреевичем, ему было сильно за семьдесят, но он сохранил отлично, вместе с четкою памятью, все свои зубы цвета старых фортепианных клавиш, звучность и полноту голоса, густоту серебряных волос и зоркую твердость взгляда серых прищуренных глаз под нависшими толстыми веками. Большое свое тело он держал прямо и бодро и, по старинной моде, отпускал бакенбарды — висячие, «штатские», какие в его времена носили министры, дипломаты, банкиры, а впоследствии камердинеры; военные же предпочитали бакенбарды, распушенные вширь: на галопе и против ветра они придавали генеральским грозным лицам батальную картинность.

Ефим Андреевич провел жизнь большую и серьезную. Приключений не искал, от судьбы не бегал, узнал своевременно и войну, и любовь, и власть, простодушно веровал в бога и в евангелие, не испытал ни бессмысленных увлечений, ни праздных раскаяний, вывел большую

семью, которую держал в ласке и повиновении, не курил, но перед обедом неизменно выпивал серебряную древнюю чарочку ромашковой настойки.

Разговор его был важен, нетороплив и насыщен содержанием, причем о себе очень редко, разве в силу необходимой связи. Рассказывал он увлекательно, особенно если чувствовал непритворное внимание. В моей передаче, я знаю, пропадет самое главное: прелесть старинных, иногда чуть-чуть книжных, иногда чисто народных оборотов речи, юмор не словечек, а положений, многозначительность пауз, меткие, лепкие сравнения... Жаль — нет у нас привычки записывать по свежей памяти: все нам некогда.

Рассказ, который сейчас последует, начался по смешному поводу. Сын Ефима Андреевича нанял в Гатчине для себя и своей семьи небольшую дачную квартиру такого странного расположения, что на улицу она выходила полутора этажами, а во двор одним без малого, то есть иными словами пол в кабинете Лещика номер два приходился немного ниже уровня двора. И вот каждое утро, точно в три часа и в пять, повадился приходить к кабинетному окну огромный красно-желто-сине-зеленый с золотом лоншанский петух и орал неистово во все свое петушиное горло, будя и мешая вновь заснуть. Ничто не действовало на горлана, сколько на него ни махали руками, ни кричали, ни стучали в стекла. Проорет и станет недвижно, глядя внимательно и удивленно строгим, холодным, круглым оком в окно. «Удивляюсь! Если я и солнце встали, то какой же смысл в позднем сне?» — Понимаете ли, — закончил молодой Лещик, человек весьма кроткий и тихий, — никогда я не смел воображать, что можно так ненавидеть самого заклятого врага, как я ненавижу эту разноцветную наглую тварь со шпорами.

Ефим Андреевич добродушно улыбнулся, отчего бакенбарды раздвинулись в стороны.

— Я тоже, — сказал он, — был близко знаком с одним таким петухом, по выражению великого Крылова. Так близко, как ближе нельзя. Это был знаменитый скобелевский петух в Бухаресте. Михайла Дмитриевича Скобелева. Но тут дело вышло иначе: и петуха румынского постигла печальная петушинная судьба, и Белому Гене-

ралу досталось много неприятностей. Вот послушайте, как это все случилось.

Были дни второй Плевны. Я в то время состоял бессменным ординарцем при Скобелеве II, при Михаиле Дмитриевиче. Первое наступление на Плевну, как вам известно, окончилось неудачей. Подготавливалось второе. Но подготавливалось наспех. Штаб хотел, чтоб непременно его приурочить к тридцатому августа, к тезоименитству государя Александра Николаевича, вроде как бы именинного пирога, чтобы поднести взятую Плевну на серебряном блюде. Скобелев был против. Он дальше глядел, чем любимчики из свитских и из штабных, и лучше знал, что солдат думает и чувствует про себя, и говорил им: «Рано, не время».

А надо сказать, что в штабе тогдашнего главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича старшего, Скобелева терпеть не могли. Может быть, и боялись. Конечно, не великий князь, а генералы. Карьера у него слагалась уж очень головокружительная, солдаты на него молились, да и был Белый Генерал как-то не по шерсти штабным, чересчур самостоятелен и свободен на язык.

Понятно, его не послушались. Решили на тридцатое общую атаку, решили наудачу, на кривую. Очень бранился Скобелев у себя в ставке. Такие слова говорил, что и теперь неловко повторить. Это все очень явственно мы оба слышали — я, его бессменный ординарец, да еще Круковский, архиплут великий, лентяй, грубиян и каналья — знаменитый денщик Скобелева. Понять я никогда не мог, за что Михаил Дмитриевич держит у себя такую бестию, за какие качества?

Скобелев был назначен в лоб. В истории все записано, какие чудеса он творил в тот день со своей железной дивизией, с Костромским полком, с Галицким, Архангелогородским и Углицким...¹ Выбили турок из редутов, заняли редуты. Солдаты в крови, в лохмотьях, черные от дыма. Держались до вечера. Турки наседали отчаянно. Солдаты держались. Майор Горталов, давши слово Скобелеву не отступать, выстоял до тех пор, пока у него перебили всех людей, а самого его подняли турки

¹ Так перечислял Е. А. Лещик. (Прим. автора.)

на штыки. Одного за другим слал Скобелев адъютантов и ординарцев в штаб: «Поддержите, мол, пришлите подкрепление, гибнем», и — ничего: ни гласа, ни послушания. Потом уж увертывались по-своему: не могли-де мы ослаблять резерва, где у нас находилась драгоценная особа государева брата. Вранье! Тогда мы все, армейские, хорошо их мысли раскусили. Увидели они вскоре, что их именинный подарок задуман слепо, и оставили одного Скобелева кашу расхлебывать. Удастся чудом атака, мы ее поддержим, а в реляциях припишем нашим мудрым распоряжениям, не удастся — Скобелева и вина, и ответ. Пришлось Скобелеву отойти. Силою выгоняли солдат из окопов — до чего озлобились. Стон стоял, как они ругали штаб. Да и что их осталось-то — меньше четверти. На ногах не стояли...

Видел я генерала, когда он приехал в ставку. Страшно было глядеть. Так осунулся, что только нос огромный и глаза, страшные, как у сумасшедшего. Не говорил — лаял. Стал за домом умыться. Круковский ему на руки сливал из кувшина, а рядом стоял один пехотный полковой командир, очень храбрый полковник. Скобелев его чтит и любил. Разговаривали. Вдруг Скобелев как всплеснет руками, как бросится ничком и давай кататься по земле и по грязи. «Предатели, кричит, продажные души, губят армию и Россию!» Я заплакал. Но тут Круковский — отчаянный он человек был — подошел он к Скобелеву и стал грубо под руку подымать. «Одумайтесь, говорит, ваше превосходительство, люди ведь кругом, смотрят, слушают, срам-то какой! Пожалуйте в комнаты». Успокоил.

Да что Скобелев? Вся Россия от горя поникла. Злые шутки тогда между народа ходили. «Стряпали, мол, именинный пирог из солдатского мяса, да не выпекся».

А Скобелев отпросился в отпуск, в Бухарест, по причине нервного расстройства. Он и вправду заболел разлитием желчи, пожелтел, сначала вроде лимона, а потом лицо у него ударилось как бы в бурый цвет с крапинками. И уехал.

В Бухаресте жил он весьма причудливо, а на глаз врагов и завистников даже зазорно, и это, где следует, ему на счет записывалось. Кутил он, надо сказать, шибко. Однако мало кто видел, как он по ночам работал.

Выльет ему, бывало, Круковский несколько кувшинов ледяной воды на голову, он пофыркает, вытрется мохнатым полотенцем и сейчас же за карты, за книги, за чертежи. Приводили к нему каких-то тамошних человек, черномазых, усатых, носатых, и он с ними часами по-французски разговаривал. Спал урывками.

Вот тут-то и о петухе. Повалился к нему под окно каждое утро такой же, как и к тебе, Володя, султан турецкий. Орет — ничего с ним не поделаешь. Круковский, бывало, его и камнями, и метлой гонял, и водой окачивал — никакого, подлец, внимания, — орет. А генерал из себя выходит. И, наконец, не выдержал, лопнуло терпение, решил предать петуха военному суду.

Самый форменный был суд, с дознанием, с протоколами. Следователь допрашивал и генерала, и меня с Круковским. Собрались судьи, все офицеры, ввели петуха, секретарь прочел обвинительный акт, говорил прокурор — громы и молнии, вслед за ним вышел защитник, у того были слезы на глазах, и голос трепетал... Потом суд удалился, посовещался минуточку и вынес постановление. «Ввиду, дескать, того, что генерал-лейтенант Скобелев, будучи занят важными военными вопросами и делами, ко славе русского оружия относящимися, а оный злоумышленный петух, по подкупу или подговору коварного врага, сим важным государственным занятиям чинит вред и помеху и в том деле явно и подло упорствует, то оногo петуха, к посрамлению противника и к вящему торжеству Всероссийской державы; предать смертной казни через отрезание головы и сварения его тела в кипятке на предмет изготовления из него болгарского пилава».

Так и сделали, как порешили. Круковский, по слабости натуры боялся кур резать. Я зарезал. Я же и приготовил из него пилав. Знаменитый вышел пилав: с красным стручковым перцем и с паприкой, с томатами, с луком-чесноком, с укропом-петрушкой-сельдереем, — не пилав, а адский пламень. И полит он был обильно шампанским вдовы Кликo.

Этот петух обошелся Михаилу Дмитриевичу не дешево. Всегда про него в штабах хихикали и шептались: у солдат-де популярности, нщет, на белом коне в белом кителе разъезжает под пулями, к ротному котлу приса-

живается, а сам людей ради своей славы не жалеет. Теперь стали прибавлять: над военным судом шутовство устроил, петуха к смертной казни приговорил. И такого пустого генерала назначают на ответственные посты!.. Косо на него тогда начальство глядело.

Но не армия. Русский солдат все понимает. Пусть генерал петухов судит, пусть хоть сам перед фронтом петушинит; пускай иной чудака поплакать склонен, а другой ругается такими словами, что чорту в преисподней страшно становится,—солдат всегда почувет, есть ли у генерала настоящая душа и вера, или он из позолоченного картона, а внутри свистулька. Третья Плевна показала всей России, что такое Скобелев!

— А для Белого Генерала она была новым огорчением. И не так его то обидело, что дали ему не «графа», как он мечтал и предполагал, а всего только вензеля¹, а то, что остановились русские войска в виду Константинополя — рукой подать,—но запретили им итти дальше англичанка с Бисмарком. Плакал он тогда в Бургасе, говорят, как малый ребенок от гнева. И уехал с горя в Хиву.

Я считаю так, что он был великий человек и гораздо умнее всех своих современников. Вот мы теперь п.....и к такой-то матери эту проклятую войну. А он за двадцать пять лет до нас ее предвидел. Говорил, что самый наш главный, природный и единственный враг — немец и что нет удобнее минуты, чтобы свернуть ему голову, а то потом будет поздно. Он не таил своих мнений, высказывал их громко. Говорят, что и раньше он говорил об этом же всенародно, перед французами. Правда ли это? Ну вот, видите, значит, правда. Какого полета мысли был человек! Какой прозорливости! И с тогдашними своими солдатами он все мог бы сделать. Ах, пропал у нас надолго генерал герой, генерал в белом кителе и на белом коне!

Пусть не болтают глупости, что умер он от пресыщения излишествами. Он? Богатырь? Такие люди умирают на поле брани или от отравы. Вся Москва знала и говорила, что, по воле Бисмарка, поднесен ему был в бокале вина неотразимый яд и в час его смерти выехал из

¹ Оставляю на памяти и совести рассказчика. (Прим. автора.)

Москвы в Петербург специальный агент на экстренном поезде.

Как Москва провожала его тело! Вся Москва! Этого невозможно ни рассказать, ни описать. Вся Москва с утра на ногах. В домах остались лишь трехлетние дети и недужные старики. Ни певчих, ни погребального звона не было слышно за рыданиями. Все плакали. офицеры, солдаты, старики и дети, студенты, мужики, барышни, мясники, разносчики, извозчики, слуги и господа Белого Генерала хоронит Москва! Москва ведь!

* * *

Я всю семью Скобелевых хорошо знал. Управлял имением Михаила Дмитриевича и Дмитрия Ивановича, и господ Богарне. Про Дмитрия Ивановича немного рассказывать. Ум у него не был приспособлен для дел, так сказать, государственных, а был простой, хозяйственный ум, с помощью которого он и прожил всю свою жизнь с пользой для себя и не во вред людям. Был храбрый генерал, но — как бы выразиться — без особенной стратегии и без чрезмерного честолюбия. Михаил Дмитриевич иногда поддразнивал отца тем, что перегнал его по службе, и шутя подтягивал. Старик обижался, но не очень. В армии ему было прозвание «Паша», и это не за какую-нибудь там слабость или склонность, а так иногда, бывало, на него находила полоса самодурства. Заупрямится, забурлит, закричит, ногами затопает, не слушает никаких резонов. Такие взрывы за ним все знали — и на военной службе и дома, в имении, — так же, как знали и рецепт против них: не возражать ни звуком, а дать «Паше» выкипеть. Тогда он понемногу стихал, проглатывал слюну и спрашивал, точно проснувшись: «А? В чем дело?»

Хороший был человек, солидный, серьезный. Пыли в нос никому не пускал. Рассказывали про него, что представлялся он однажды государю Александру Второму. Царь и спрашивает его: «Так ты, значит, Скобелев? Отец и сын знаменитых Скобелевых?» Ну, что ему было отвечать? «Так точно, ваше величество».

Но из всех Скобелевых меня более других увлекала и занимала фигура Скобелева первого, Однорукого

Коменданта, Ивана Никитича, дедушки Белого Генерала. И судьба его, и жизнь, и самый характер — все у него было как-то ни на что не похоже: горячо, странно и трогательно, и жестоко — совсем не по-писанному. Впрочем, и то-сказать, какие времена тогда были! Времена железных людей, орлов, великанов! Земной шар служил у них шариком в садовой игре, именуемой бильбоке... Умели тогда повелевать и умирать. Красивые годы были и... кровавые.

Я.Однорукого Коменданта, конечно, не застал. Когда он кончил свое земное поприще, я, должно быть, еще и на свет не появлялся, или, по крайности, пешком под стол ходил. Но вел я близкое знакомство, даже дружбу, в имении с древней старушкой Анной Прохоровной, нянькой еще Дмитрия Ивановича, жившей потом на покое. Та Ивана Никитича и его жизнь помнила до мельчайшей черточки и многое мне о нем рассказывала. Рассказчица на удивление — курский соловей, дар от бога, златоуст во вдвоем темном платье.

Происходил он из дворян-однодворцев. Настоящая фамилия его была просто Кобелев. А на военную службу этот однодворец Кобелев пошел охотником. Не рекрутом, за кого-нибудь, а по своему собственному желанию, добровольно. По тогдашнему времени и по тогдашней военной тяжкой службе — редкий случай до необычности.

Анна Прохоровна была его землячка, родом из соседней деревни. Так она уверяла, будто бы пошел он под присягу с отчаяния, из-за жены. Будто бы женился он совсем мальчишкой, не по своему желанию, а по воле родителей, на девке гораздо старше себя, а та оказалась в бабах, хоть и красивой, но никуда: вздорная, лентяйка, неряха, к тому же путаница и вдобавок выпивала.

Это, может быть, так и было. Но я думаю, что не одна эта причина — бабья доука — его погнала под ранец с выкладкой; должно быть, бывают такие люди, особенно буйные по натуре; везде и всегда им тесно, а страха и угомона на них нет. Я часто глядел на портрет литографический Иван Никитича, сделанный с масляного портрета его, не так, чтоб очень молодым, а скорее зрелых лет. Огоны!

Но, с другой стороны, не мимо сказано в премудростях Иисуса сына Сирахова: «Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели со злою женою». А в притчах Соломона говорится так: «Горе — жена блудливая и необузданная; ноги ее не живут в доме ее». А впрочем, трудно нам ныне судить по делам тех людей, которые больше полвека спят в могиле. Тут лучше помолчать.

Отличился Иван Никитич сперва в последнем походе Суворова, при императоре Павле Петровиче. Вышел на линию офицера. Моложе его в отряде был только Милорадович. Потом дрался против Наполеона под Кульмом, Аустерлицем и Лейпцигом и во всю Отечественную войну. Под Смоленском он командовал полком, и там ему ядро оторвало левую руку. В другом сражении потерял он два с половиною пальца на правой руке. Кроме этого, имел ран и контузий без числа.

Участвовал он и в славной Бородинской битве, покрыв себя неуязвимой славой. Весь его полк poleg на поле брани ранеными и убитыми, окруженный французскими полками. Остались на ногах только Скобелев, да знаменщик со знаменем, да трубач с барабанщиком и еще пять солдат. Сомкнулись кучкой для последней смертной минуты. Сам Наполеон это видел и приказал не трогать храбрецов, а доставить ему живыми. Так и было сделано. И что же вы думаете, как поступил император французов? Велел выстроиться своим войскам и отдать русским героям воинскую почесть, с ружьями на караул, с музыкой и преклонением знамен! Почтил храбрость во враге. Он понимал эти высокие вещи и умел их показывать своим солдатам. Со своей груди снял орден Почетного Легиона, прикрепил его на грудь Скобелеву. И объявил русским, что они свободны и могут возвращаться к себе.

А когда увидел, что Скобелев едва держится на ногах от потери крови и усталости, то предложил ему остаться на несколько дней во французском лагере, где за ним будет смотреть и ухаживать самый знаменитый врач, личный лейб-медик самого Наполеона. Но Скобелев отвечал на эту любезность со всевозможной учтивостью, что, мол, похвала и внимание такого великого полководца, — хотя он и вождь неприятельских войск, — есть лучшая

награда за военную доблесть, но что у него, Скобелева, остался в обозе первого разряда один чудодейственный ротный фельдшер, который до тонкости знает свое жи-водерное ремесло и который уже не раз составлял, сращивал и заживлял ему всякие разрубленные, проколотые и продырявленные места.

Тогда Наполеон не только отпустил Скобелева с миром, но еще повелел дать под него и под знаменщика со знаменем свою собственную раскидную коляску, а войска проводили русских героев с музыкой и с отданием чести.

Главнокомандующий, князь Кутузов, встретил Скобелева по приезде из плена, обнял его, поцеловал, заплакал и много хвалил (да его и сам Суворов не обходил своей крутой солдатской похвалой), а потом, когда Скобелев подлечился, послал к государю Александру Павловичу с донесением. Государь его принял отменно ласково, однако сказал: «А все-таки не пора ли тебе, Скобелев, в отставку? Повоевал ты за двадцать человек. Не будет ли? Отдохнул бы? Теперь у тебя, чай, и места нет цельного, по какому тебя можно рубить». Но Скобелев обиделся. «Если я своими культипками еще могу креститься и ложку ко рту подносить, то и на твоей, государь, службе сумею держать поводья и саблю». Так в отставку и не пошел. Служил в боевой армии до самого конца Отечественной войны, в Париж верхом въехал впереди своей дивизии и при Ватерлоо, вместе с другими, поставил точку Наполеонову величию. Наполеона же до конца дней чтил, по справедливости, как первейшего полководца всех веков.

После войны взошла высоко скобелевская звезда. Известно, какая обычная судьба у героев: прошла в них нужда — их и забыли. Но у Иван Никитича был какой-то особый добропоспешный ангел, который мудро направлял его бурную и вдохновенную жизнь. Надо тоже сказать, что все его почтенные увечья не позволяли о нем забыть. Государь пребывал к нему неизменно милостив, в свете его ласкали и баловали.

Несмотря на то, что инвалид, был он необыкновенно хорош собою, — в таком, представьте себе, мужественном, геройском штиле. Я вам давеча про портрет упоминал. Ну, уж и портрет — прямо на ананасную конфету! Левый

рукав бантом к плечу припилен, правая рука выставлена вперед и на ней двух средних пальцев нет совсем, а на третьем только один сустав остался. Но поворот головы! Вверх и вбок! Лев! Глаза огненные. Волосы в курчавом беспорядке. На бритых устах усмешка гордая и любезная: гордая для соперников, любезная для прекрасного пола.

Одна петербургская графиня, первая раскрасавица и ужасная богачка, в него донельзя влюбилась. И он отвечал ей расположением. Тогда, по распоряжению высших властей, повелено было его первый брак с непутевой женой расторгнуть, а ему было разрешено вступить в новый брак с графиней. И к фамилии его, с высочайшего соизволения, была приписана вначале литера «слово», то есть стали — он и его будущие потомки — именоваться для благозвучия не Кобелевыми, а Скобелевыми.

Жил он беспечно и весело с молодою женою в собственном доме на Английской набережной. Вся петербургская знать их дом охотно посещала. Иван Никитич, кроме своих военных заслуг, почитался не напрасно одним из лучших тогдашних собеседников. Разговор его был острый и приятный, а при его знании жизни и большом опыте также и поучительный. Притом же владел он и пером весьма свободно. Много им было написано и напечатано премилых и презанятных рассказов про солдат, мужиков и господ. Я, находясь в имении Дмитрия Ивановича, брал сочиненные им книжки из библиотеки и читывал.

Очень занимательное и полезное чтение. Тогдашние писатели писали просто и понятно. Теперь это не в моде, и их уже забыли и не читают. Не знаю, похвально ли это. Даже имен ихних никто не помнит.

В ту пору Иван Никитич был генерал-адъютантом, генерал-лейтенантом и состоял в звании начальника Петербургского гарнизона. В ту же пору, и по тому же званию, с ним произошла большая неприятность.

Как всегда, был назначен на первое мая парад всем частям Петербургского гарнизона на Марсовом поле. С утра свели на плац полки. Съехалась высокопоставленная публика в особо устроенные ложи. Собрался весь генералитет. Приехала царская семья, и, наконец, прибыл сам государь Николай Павлович.

Всегда на этом параде полагалось: как только государь изволит проследовать на Марсово поле, то все рогатки мигом запирают, и больше пропуска никому уже на парад не бывало. Так поступили и в это утро, по всей строгости устава.

Но дернула нелегкая какого-то посланника опоздать на три минуты. Не знаю, был ли это германский или австрийский посол, помню одно, что немец. Подъезжает он к одной рогатке — нет пропуска, к другой, к третьей — тот же поворот от ворот. Николаевский солдат был какой? Скажут привести — самого чорта приведет за шиворот, не пускать — ангела господня не пропустит. Посол спрашивает: «Кто запер рогатки?» — «Начальник гарнизона, генерал Скобелев». — «Где он?» — «А вот там, где кончается Лебяжья Канавка, у Цепного Моста».

Немец к нему. Видит, сидит на коне инвалид... «Как это так, что меня не пропускают?» — «Точно так. И не пропустят», — отвечает Скобелев. «Да вы знаете ли, кто я?» — «Может быть, и знаю, но в сей момент вы для меня есть лицо, приехавшее после прибытия государя, а потому впущены за цепь быть не можете, в силу закона». — «Как вы смеете со мной разговаривать таким тоном!»

Иван Никитич имел характер ровный, любезный и терпеливый, но был подвержен вспыльчивости и не жаловал немцев. Когда на него посол закричал, он рассердился и ответил сурово:

«Точно таким же образом я разговаривал с императором Наполеоном в его ставке в день Бородинского сражения. И он не только на меня не кричал, подобно вашему превосходительству, но пожаловал меня собственноручно орденом Почетного Легиона за мою беззаветную службу государю и Родине». — «Хорошо же, — погрозил посол. — Вы меня узнаете. Нынче же обо всем будет доложено императору...» — «Ваше дело. А теперь налево кругом марш. Капральный, проводить генерала!»

Немец, конечно, смолчал бы при других обстоятельствах, тем более что сам провинился опозданием. Но стерпеть «Наполеона» он не мог. Почел за оскорбление всей своей нации и вправду пожаловался государю. Может быть, и от себя чего-нибудь наплел. Государь разгневался и на докладе по этому делу начертать изволил собственно-

ручно: «Ретивого грубияна убрать с должности, без внесения, впрочем, в послужной список».

Так Скобелева и убрали с должности «без внесения», но никуда, однако, вновь не определив, оставив его, некоторым образом, висеть в воздушном пространстве, без точки опоры, как это показывают магнетические фокусники над усыпленной девицей. В то время, как и теперь, можно было приспособиться жить без руки или без поги, но без службы тогда человек был немыслим.

И вот зажил Скобелев нудной и бездеятельной жизнью. Царская немилость от него многих светских друзей оттолкнула. Развлекался он, как мог. Гулял по набережной и в Летнем саду, ездил слушать почтамтских певчих и сам подтягивал верным баском, писал свои мемуары и повести. В эту же пору ему кто-то подарил большого зеленого попугая, который потом своим разговорным талантом прославился на весь Петербург. От нечего делать Скобелев учил этого попугая разным словечкам и изречениям. Но какая же утеха для гордого и горячего духа учение попугая, или почтамтские певчие, или, скажем, литература? Стал Иван Никитич хмуриться, скучать, раздражаться.

И вот как-то утром вышел он прогуляться на Английскую набережную. А навстречу ему государь. Идет пешком, быстрыми шагами. Пелерина развевается. На каске реют разноцветные перья. Иван Никитич, как полагается по уставу, сошел с тротуара, стал во фронт, фуражку снял. «А! Здравствуй, Скобелев. Что это тебя не видно, не слышно?» — «Так и так, ваше величество, сижу все дома, размышляю и никак не могу доискаться, за что лишен монаршей милости». — «Вот ты как? Хорошо же. С завтрава упрячу тебя в крепость». — «Вашему величеству, конечно, виднее, что я заслужил за мою службу престолу и Родине». — «Молчи, молчи, грубиян. Прощай. Завтра жди». — «Слушаю, ваше величество».

И, правда, упрятал: на другое же утро получил Иван Никитич личное назначение от государя: быть ему комендантом Петропавловской крепости. Пост видный, почетный и спокойный. До конца своих дней оставался Скобелев в этой должности, каждую весну после ледохода переплывал на лодке через Неву, открывая навигацию, и ежедневно в полдень палил из пушки, чтобы все жители

Питера знали, что наступил адмиральский час, когда надо проверять часы и пить водку с соленой закуской.

В Петропавловской крепости Однорукий Комендант повел жизнь тихую и единообразную — нынче говорят меланхолическую, — ибо вскоре скончалась его горячо любимая супруга. Да и сам комендант, — хотя в нем и сидело двадцать средних человеческих жизней, — дожил до того предела, когда время охлаждает самый пылкий военный нрав, а почетные раны и увечья дают себя знать по ночам, напоминая о смертном часе.

Вернувшись от ранней обедни, Иван Никитич обыкновенно кушал, не торопясь, кофе: по скоромным дням с топлеными сливками, по постным — с ложечкой рома. Попугай в этот час выпускался из клетки и свободно разгуливал по кабинету. Очень он любил присесть к своему коменданту на плечо. Присядет и трется головкой о комендантову щеку, и тянется кривым клювом в чашку. И хитрый был попрошайка: чтобы подольститься, возьмет и начнет передразнивать смену караула или рапорт дежурного офицера, а то голосом самого Ивана Никитича проговорит целый кусок из его утренней молитвы. Коменданту все это очень нравилось. Чесал он попугая шейку и угощал его на отдельном блюдечке сахаром или сухарем, омоченным в кофе.

Нужно также сказать, что было у Скобелева, в промежутках между делами службы, одно приватное занятие, весьма важное и таинственное. Давным-давно завел он себе особую огромную тетрадь, размером с церковную библию екатерининских времен, в переплете из толстой телячьей кожи и с тяжелой золотой застежкой, которая запиралась на ключ. Ключ же этот Иван Никитич носил на шейной крестовой цепочке. И вот, когда выдавалась свободная или вдохновенная минутка, отпирал Однорукий Комендант своими культиками книгу и писал в ней с большим тщанием, прилежно и углубленно. Окончивши же писать, опять аккуратно запирал. Никому не было известно, какие высокие сюжеты и важные размышления наполняли эту книжищу, и никто не видал ее раскрытой или незапертой. Кроме, конечно, попугая.

Но пришлось однажды так, что в одно утро, когда комендант, понежничав с приятелем-попугаем, раскрыл уже свою серьезную книгу, — его вдруг спешно позвали

по какому-то неотложному делу государственной значительности. И столь дело было торопливо, что впервые позабыл Иван Никитич о ключике и о застежке. Выбежал, оставив книгу за столом развернутой.

Сделал он, что ему полагалось, отдал, какие нужно, распоряжения, возвращается в кабинет и — о, ужас! — что же он видит! Попугай, удобно примостившись на столе, уже успел выдрать из таинственной книги десятка полтора листов, захватил их в лапу и нещадно дерет своим жестким и острым клювом на мелкие куски. Тут комендант сверхъестественно вспыхнул. Схватил своей изуродованной рукой линейку и на попугая! Попугай в страшном перепуге на этажерку, комендант за ним. Попугай на комод, на лампу, на карниз, на портрет государев, на кресло, куда придется — комендант все его догоняет. Наконец забился под диван, к самой стене. Иван Никитич на карачках елозит по полу, изогнувшись, шарит линейкой под диваном и кричит: «Выходи, покажись, мерзавец, сейчас я тебя исколочу, негодяя!» А попугай от смертельного страха принялся вдруг лепетать, что ему первое попало в голову: «Молитвами святых отец наших, боже, милостив буди мне грешному».

Ну, тут отошло комендантово сердце, отхлынул гнев от груди. «Ладно уж, вылезай, подлец этакой. Бить тебя не стану, а иначе накажу. Ты попомнишь, как портить книги!»

Велел принести себе гуммиарабику, прозрачной бумаги и приказал, чтобы гретые утюги всегда были готовы. И много дней он утюжил, приглаживал и склеивал разорванные попугаем в клочки рукописные страницы. Попугай же в эти дни был оставлен без кофе, без сухарей и без сахара. Уж как он заискивал, как подольщался. То закричит: «Шай! На кра-ул!», то «Отче наш» бормотать начнет. Скобелев только возьмет и постучит своими обрубками о твердый телячий переплет: «Помни, прохвост, как важные бумаги рваты!..» Ну, потом, конечно, простил. Только уж больше не забывал о ключике и застежке.

Второй случай с попугаем был посерьезнее, и тут перепугался не один попугай, но и сам неустрашимый Однорукий Комендант.

Государь Николай Павлович весьма часто посещал Петропавловскую крепость и ее собор — усыпальницу русских императоров. И каждый раз, встречаемый и провожаемый комендантом, государь непременно заходил к нему на несколько минут для деловых или просто приятных разговоров, потому что, после прежней немилости, стал он особо любить и жаловать Ивана Никитича. И попугая государь тоже очень хорошо знал.

Так вот, чтобы сделать лестный сюрприз своему императору и благодетелю, обучил Однорукий Комендант своего попку отвечать на царские приветствия и вопросы. Николаю Павловичу эта шутка весьма понравилась и никогда не уставала забавлять его внимание. Только, бывало, изволит войти в комендантов кабинет, с аналогом перед образом и узкой холщовой походной кроватью в углу, сейчас же к попке своим могущественным голосом: «Здорово, попка!» А тот: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» — «Кто я?» — «Государь и самодержавец вся России!» И всегда смеяться добродушно изволил Николай Павлович.

Но только раз приехал государь в крепость совсем в тяжелом расположении духа. Равнодушно поздоровался с караулом, рассеянно выслушал обедню. Погода, что ли, была такая особенно гадкая, петербургская, или дела отечественные не веселили... неизвестно. После обедни, по обыкновению, зашел к коменданту. Увидел попугая. И, больше по привычке, сказал ему: «Здравствуй, попка!»

А попугай тоже в этот день находился, верно, в расстроенных чувствах, сидел кислый, сгорбившись, распушив перья. Ни слова на царское приветствие. Государь опять: «Здорово, попка!» Тот опять молчит. Тогда государь для разнообразия изменил обращение. Спрашивает: «Кто я?» А попугай совсем из другого репертуара возьми да и брякни явственно:

«Дур-рак!»

Ивана Никитича, точно пороховую бочку, взорвало. Позор-то какой! Рванулся на попугая: «Голову оторву!» И давай за ним гоняться по кабинету: «Убью! Своими собственными руками задушу подлую скотину! У меня в доме! Моему государю. Не уйдешь ты, гадина, от моей руки!..»

Император уж сам стал его успокаивать: «Оставь, Скобелев. Птица — тварь неразумная. Грех ее убивать. Оставь».

Но куда! «Нет уж, ваше величество, позвольте мне в первый и единственный раз вашей воли послушаться. Этого разбойника мне моя христианская совесть приказывает уничтожить. Эй, кто там, денщики, вестовые, драбанты! Дайте мне мой заряженный кухенрейторовский новый пистолет. Он в соседней комнате на ковре висит. Обязан я убить подлого этого попугая».

Но Николай Павлович его, наконец, утихомирил.

«Не трогай птицу, храбрый Однорукий Комендант. Я тебе скажу, что его голосом сам бог говорил. Он правду выразил, сказав, что я дурак. Нынче за обедней я совсем не о молитве думал и больше полагался на собственные измышления, чем на божескую помощь... Не убивай же этого попугая...»

Так и спас государь попугаеву жизнь. И попугай не только пережил своего доброго и вспыльчивого хозяина, но еще прожил, после его смерти, сорок лет в скобелевском доме на Английской набережной. Дальше его судьба потерялась из преданий.

Вот и все о комендантском попугае. Но, видите ли, попугай связан с таинственной книгой, а таинственная книга имела близкое отношение к кончине Однорукого Коменданта. Значит, надо довести рассказ до точки.

Пришла для Иван Никитича пора закончить все свои земные дела и итти отдавать отчет праведному судье. Никогда он в жизни ничем не хворал, кроме как от ран, а тут слег, чтобы больше уже не вставать. К смертному часу готовился он безропотно и в полном сознании.

Услышав об этом, Николай Павлович приехал попрощаться со своим любимцем и почитаемым героем. Говорил с ним долго и ласково. «Все ли свои земные долги исправил, Иван Никитич?» — «По мере сил, разума и памяти, государь». — «Не найдешь ли ты чего-нибудь у меня попросить? Исполню все, как последнюю волю родного брата». — «Ах, ваше величество, осыпан я монаршими милостями свыше моих скромных солдатских заслуг. Все мне дала царская служба: и чины, и имяние, и почет. Отхожу к высшему владыке вашим благодарным молитвен-

ником». — «Хорошо, Скобелев. Но все-таки подумай, не отыщешь ли чего в памяти? — рад быть твоим душеприказчиком».

Тут Иван Никитич помолчал, поразмыслил некоторое время и сказал нерешительно и даже робко:

— Вот разве что, ваше величество... Только боюсь выговорить...

— Ничего. Говори все. Слушаю тебя сердцем.

— Вот что, государь! Есть у меня к тебе две заветные просьбы: одна для моего последнего утешения, другая для блага великой России и твоей бессмертной славы.

— Говори, Иван Никитич.

— Первое. Всегда была у меня дерзкая мечта: быть похороненным в ограде здешнего собора, но так, чтобы головой к ногам обожаемого мною императора Петра Первого.

— Так и будет. Сказывай вторую просьбу.

— Другая еще дерзновеннее. Заранее прошу, не прогневайся, государь. Ах, если бы ты даровал волю всем русским крестьянам, наградив их, по твоей высокой справедливости, землею. О государь! взамен ста миллионов рабов, ты имел бы сто миллионов свободных подданных, которые ежечасно благословляли бы твое имя и всегда были бы готовы пролить за тебя и государство, тебе врученное, всю кровь до последней капли. Какое царствование! Какая мощь русской земли! Весь мир будет у твоих ног, государь! Изволите видеть, ваше величество, на столе эту большую книгу с застежкой? Там у меня все по этой части сказано, со всеми планами и соображениями. Плод двадцатилетней упорной работы. Возьми, государь, эту книгу. Вот и ключик к ней, у меня на шейной цепочке.

Но император нахмурился и прервал Скобелева резко:

— Как тебе не стыдно, беспутный старик! Лежишь на смертном одре, а болтаешь детские глупости. Прощай. Думай о грехах. Молись.

И вышел от него разгневанный.

В ту же ночь тихо, точно заснул, скончался Однорукий Комендант. В ту же ночь приехал, по особому повелению, в крепость генерал Дуббельт. Описал все комендантовы бумаги и увез с собою. В том числе и огромную таинствен-

ную книгу в переплете с застежкой. Куда она потом девалась — никому неизвестно.

А первую просьбу Однорукого Коменданта Николай Павлович все-таки повелел исполнить. Доселе в церковной ограде Петропавловского собора можно видеть мраморную плиту, обращенную изголовьем на север, прямо к стопам Петра Первого, покоящегося внутри храма, и на ней золотыми буквами высечено, что здесь покоится прах коменданта Петропавловской крепости генерала-адъютанта, генерала от инфантерии, Ивана Никитича Скобелева.

Ю - Ю

Если уж слушать, Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косички...

Звали ее Ю-ю. Не в честь какого-нибудь китайского мандарина Ю-ю и не в память папирос Ю-ю, а просто так. Увидев ее впервые маленьким котенком, молодой человек трех лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы трубочкой и произнес: «Ю-ю». Точно свистнул. И пошло — Ю-ю.

Сначала это был только пушистый комок с двумя веселыми глазами и белорозовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом... И мы сами не помним, когда это вдруг вместо черно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу города и предмет зависти любителей.

Ника, вынь указательный палец изо рта. Ты уже большая. Через восемь лет — невеста. Ну что, если тебе навяжется эта гадкая привычка? Приедет из-за моря великолепный принц, станет свататься, а ты вдруг — палец в рот! Вздохнет принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь издали его золотую карету с зеркальными стеклами... да пыль от колес и копыт...

Выросла, словом, всем кошкам кошка. Темнокаштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая

манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся лоснится, задние лапки в широких штанишках, хвост как ламповый ерш!

Ника, спусти с колен Бобика. Неужели ты думаешь, что щенячье ухо это вроде ручки от шарманки? Если бы так тебя кто-нибудь крутил за ухо? Брось, иначе не буду рассказывать...

Вот так. А самое замечательное в ней было — это ее характер. Ты заметишь, милая Ника: живем мы рядом со многими животными и совсем о них ничего не знаем. Просто, — не интересуемся. Возьмем, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой — своя особенная душа, свои привычки, свой характер. То же у кошек. То же у лошадей. И у птиц. Совсем как у людей...

Ну, скажи, видала ли ты когда-нибудь еще такую непоседу и егозу, как ты, Ника? Зачем ты нажимаешь мизинцем на веко? Тебе кажутся две лампы? И они то съезжаются, то разъезжаются? Никогда не трогай глаз руками...

И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут: осел глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалек умом, упрям и ленив, — его деликатно называют ослом. Запомни же, что, наоборот, осел — животное не только умное, но и послушное, и приветливое, и трудолюбивое. Но если его перегрузить свыше его сил или вообразить, что он скаковая лошадь, то он просто останавливается и говорит: «Этого я не могу. Делай со мной, что хочешь». И можно бить его сколько угодно — он не тронется с места. Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее: осел или человек? Лошадь — совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает ее силы, и тут же подохнет от усердия...

Говорят еще: глуп, как гусь... А умнее этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи. Идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору — гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор — сейчас же гусиный переполох: «Га-га-га! Га-га-га! Кто это шляется по чужим домам?»

А какие они... Ника, не жуй бумагу. Выплюнь... А какие они славные отцы и матери, если бы ты знала! Птен-

цов высиживают поочередно — то самка, то самец. Гусь даже добросовестнее гусыни. Если она в свой досужий час заговорится через меру с соседками у водопойного корыта, — по женскому обыкновению, — господин гусь выйдет, возьмет ее клювом за затылок и вежливо потащит домой, ко гнезду, к материнским обязанностям. Вот как-с!

И очень смешно, когда гусиное семейство изволит прогуливаться. Впереди он — хозяин и защитник. От важности и гордости клюв задрал к небу. На весь птичник глядит свысока. Но беда неопытной собаке или легкомысленной девочке вроде тебя, Ника, если вы ему не уступите дороги: сейчас же зазмеит над землею, зашипит, как бутылка содовой воды, разинет жесткий клюв, а назавтра Ника ходит с огромным синяком на левой ноге, ниже колена, а собачка все трясет ущемленным ухом.

А за гусем — гусенята, желто-зеленые, как пушок на цветущем вербном барашке. Жмутся друг к дружке и пищат. Шеи у них голенькие, на ногах они не тверды — не веришь тому, что вырастут и станут, как папаша. Маменька — сзади. Ну, ее просто описать невозможно — такое вся она блаженство, такое торжество! «Пусть весь мир смотрит и удивляется, какой у меня замечательный муж и какие великолепные дети. Я хоть и мать и жена, но должна сказать правду: лучше на свете не сыщешь». И уж переваливается с боку на бок, уж переваливается... И вся семья гусиная — точь-в-точь как добрая немецкая фамилия на праздничной прогулке.

И отметь еще одно, Ника: реже всего попадают под автомобили гуси и собачки-таксы, похожие на крокодилов, а кто из них на вид неуклюжее — трудно даже решить.

Или, возьмем, лошадь. Что про нее говорят? Лошадь глупа. У нее только красота, способность к быстрому бегу да память мест. А так — дура дурой, кроме того еще, что близорука, капризна, мнительна и непривязчива к человеку. Но этот вздор говорят те люди, которые держат лошадь в темных конюшнях, которые не знают радости воспитать ее с жеребячьего возраста, которые никогда не чувствовали, как лошадь благодарна тому, кто ее моет, чистит, водит коваться, поит и задает корм. У такого человека на уме только одно: сесть на лошадь верхом и бояться, как бы она его не лягнула, не куснула, не сбросила. В голову ему не придет освежить лошади рот, воспользоваться в

пути более мягкой дорожкой, во-время попоить умеренно, покрыть попонкой или своим пальто на стоянке... За что же лошадь будет его уважать, спрашиваю я тебя?

А ты лучше спроси у любого природного всадника о лошади, и он тебе всегда ответит: умнее, добрее, благороднее лошади нет никого, — конечно, если только она в хороших, понимающих руках.

У арабов — лучшие, какие только ни на есть, лошади. Но там лошадь — член семьи. Там на нее, как на самую верную няньку, оставляют малых детей. Уж будь спокойна, Ника, такая лошадь и скорпиона раздавит копытом и дикого зверя залягает. А если чумазый ребенок уползет на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи, лошадь возьмет его нежненько за ворот рубашонки или за штанишки и оттащит к шатру: «Не лазай, дурачок, куда не следует».

И умирают иногда лошади в тоске по хозяину и плачут настоящими слезами.

А вот как запорожские казаки пели о лошади и об убитом хозяине. Лежит он мертвый среди поля, а —

Вокруг его кобыльчина ходе,
Хвостом мух отгоняе,
В очи ему заглядае,
Пырська ему в лице.

Ну-ка? Кто из них прав? Воскресный всадник или природный?..

Ах, ты все-таки не позабыла про кошку? Хорошо, возвращаюсь к ней. И правда: мой рассказ почти исчез в предисловии. Так, в древней Греции был крошечный городишко с огромнейшими городскими воротами. По этому поводу какой-то прохожий однажды пошутил: смотрите бдительно, граждане, за вашим городом, а то он, пожалуй, ускользнет в эти ворота.

А жаль. Я бы хотел тебе рассказать еще о многих вещах: о том, как чистоплотны и умны оклеветанные свиньи, как вороны на пять способов обманывают цепную собаку, чтобы отнять у нее кость, как верблюды... Ну, ладно, долой верблюдов, давай о кошке.

Спала Ю-ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверх нотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах, подползши под верхний лист: в

типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния, а кроме того, бумага отлично хранит тепло.

Когда дом начинал просыпаться, первый ее деловой визит бывал всегда ко мне, и то лишь после того как ее чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною.

Ю-ю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, вспрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щеку розовый нос и говорила коротко: «Муррм».

За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук «муррм». Но было в нем много разнообразных оттенков, выражавших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ, то благодарность, то досаду, то укор. Короткое «муррм» всегда означало: «Иди за мной».

Она прыгивала на пол и, не оглядываясь, шла к двери. Она не сомневалась в моем повиновении.

Я слушался. Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор. Блестя желто-зелеными хризолитами глаз, Ю-ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырехлетний молодой человек со своей матерью. Я приотворял ее. Чуть слышное признание «мрм», s-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, — и Ю-ю скользнула в детскую.

Там — обряд утреннего здраванья. Сначала — почти официальный долг почтения — прыжок на постель к матери. «Муррм! Здравствуйте, хозяйка!» Носиком в руку, носиком в щеку, и кончено; потом прыжок на пол, прыжок через сетку, в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная.

«Муррм! Муррм! Здравствуй, дружок! Хорошо ли почитал?»

«Ю-юшенька! Юшенька! Восторгательная Юшенька!»

И голос с другой кровати:

— Коля, сто раз тебе говорили, не смей целовать кошку! Кошка — рассадник микробов...

Конечно, здесь, за сеткой, вернейшая и нежнейшая дружба. Но все-таки кошки и люди суть только кошки и люди. Разве Ю-ю не знает, что сейчас Катерина принесет сливки и гречневую размазню с маслом? Должно быть, знает.

Ю-ю никогда не попрошайничает. (За услугу благодарит кротко и сердечно.) Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкости. Если она снаружи, то непременно ждет говядину на крыльце, а если дома,— бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая костяная ручка, как в детской, а медная, длинная. Ю-ю с разбегу подпрыгивает и виснет на ручке, обхватив ее передними лапками с обеих сторон, а задними упирается в стену. Два-три толчка всем гибким телом — кляк! — ручка поддалась, и дверь отошла. Дальше — легко.

Бывает, что мальчуган долго копается, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-ю зацепляется когтями за крайину стола и начинает раскачиваться вперед и назад, как циркач на турнике. Но — молча.

Мальчуган — веселый, румяный, смешливый ротозей. Он страстно любит всех животных, а в Ю-ю прямо влюблен. Но Ю-ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд — и прыжок в сторону. Она горда! Она никогда не забывает, что в ее жилах течет голубая кровь от двух ветвей: великой сибирской и державной бухарской. Мальчишка для нее — всего лишь кто-то, приносящий ей ежедневно мясо. На все, что вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет.

Я любил исполнять ее приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипывая у дынь лишние побеги — здесь нужен большой расчет. Жарко от летнего солнца и от теплой земли. Беззвучно подходит Ю-ю.

«Мрум!»

Это значит: «Идите, я хочу пить».

Разгибаюсь с трудом. Ю-ю уже впереди. Ни разу не обернется на меня. Посмею ли я отказать или замедлить? Она ведет меня из огорода во двор, потом на кухню, затем по коридору в мою комнату. Учтиво отворяю я перед нею все двери и почтительно пропускаю вперед. Придя ко мне, она легко вспрыгивает на умывальник, куда проведена живая вода, ловко находит на мраморных краях три опорные точки для трех лап — четвертая на весу для баланса,— взглядывает на меня через ухо и говорит:

«Мрум. Пустите воду».

Я даю течь тоненькой серебряной струйке. Изящно вытянувши шею, Ю-ю поспешно лижет воду узким розовым язычком.

Кошки пьют изредка, но долго и помногу. Иногда, для шутливого опыта, я слегка завинчиваю четырехлапую никелевую рукоятку. Вода идет по капельке.

Ю-ю недовольна. Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два желтых топаза смотрят на меня с серьезным укором.

«Муррум! Бросьте ваши глупости!..»

И несколько раз тычет носом в кран.

Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускаю воду бежать как следует.

Или еще.

Ю-ю сидит на полу перед оттоманкой; рядом с нею газетный лист. Я вхожу. Останавливаюсь. Ю-ю смотрит на меня пристально неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на нее. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-ю я ясно читаю:

«Вы знаете, что мне нужно, но притворяетесь. Все равно — просить я не буду».

Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на оттоманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу — только пушистый хвост, но и он понемногу вытягивается, вытягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся — и конец. Ю-ю спит. Ухожу на цыпочках.

Бывали у меня с Ю-ю особенные часы спокойного семейного счастья. Это тогда, когда я писал по ночам: занятие довольно изнурительное, но, если в него втянуться, в нем много тихой отрады.

Царапаешь, царапаешь пером, вдруг нехватает какого-то очень нужного слова. Остановился. Какая тишина! Шипит еле слышно керосин в лампе, шумит морской шум в ушах, и от этого ночь еще тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и Колины игрушки в соседней комнате. Даже собаки, и те не лают, заснули. Косят глаза, расплываются и пропадают мысли. Где я: в дремучем лесу или на верху высокой башни? И вдруг ездрогнешь от мягкого упругого толчка. Это Ю-ю легко

вскочила с пола на стол. Совсем неизвестно, когда пришла.

Поворачается немного на столе, помнется, облюбовывая место, и сядет рядышком со мною у правой руки, пушистым, горбатым в лопатках комком; все четыре лапки подобраны и спрятаны, только две передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются наружу.

Я опять пишу быстро и с увлечением. Порою, не шевеля головою, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в три четверти. Ее огромный изумрудный глаз пристально устремлен на огонь, а поперек его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, черная щелочка зрачка. Но как ни мгновенно движение моих ресниц, Ю-ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою изящную мордочку. Щелочки вдруг превратились в блестящие черные круги, а вокруг их тонкие каемки янтарного цвета. Ладно, Ю-ю, будем писать дальше.

Царапает, царапает перо. Сами собою приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии строятся фразы. Но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки: того и гляди, профессиональная судорога вдруг скорчит их, и перо, как заостренный дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли?

И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение: следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водит глазами за пером, и притворяется перед самой собою, что это я выпускаю из него маленьких, черных, уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтра.

За окном уже можно различить смутные очертания моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах, на одеяле.

Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жести была его болезнь; до сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек, и какие огромные, неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели.

У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не погружаются их проверить. Так, тебе, например,

из тысячи человек девятьсот девяносто девять скажут: «Кошка — животное эгоистическое. Она привязывается к жилью, а не к человеку». Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, согласишься!

Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнет что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И ее недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно. Да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя, ее толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таком кошатнем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой:

— Комичный у вас кот. Дежурит! Это курьезно.

Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьезно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Ю-ю за ее звериное сочувствие...

И вот что еще было странно. Как только в Колиной болезни, за последним жестоким кризисом, наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, — кошка каким-то особенно тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безногая отошла от Колина изголовья, защелкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, называл даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала «мрм», прыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать: спокойное величие души!..

Дальше, моя милая Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не согласишься. Все, кому я это

ни рассказывал, слушали меня с улыбкой — немного недоверчивой, немного лукавой, немного принужденно учтивой. Друзья же порою говорили прямо: «Ну и фантазия у вас, у писателей! Право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видано, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?»

А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло.

Встал с постели Коля худой, бледный, зеленый; губы без цвета, глаза ввалились, ручки на свет сквозные, чуть розоватые. Но уже говорил я тебе: великая сила и неистощимая — человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки, в сопровождении матери, верст за двести, в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и, при некоторой настойчивости, могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это все очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса: сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и веселый детский.

Ю-ю с отъездом двух своих друзей — большого и маленького — долго находилась в тревоге и недоумении. Ходила по комнатам и все тыкалась носом в углы. Ткнется и скажет выразительно: «Мик!» Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что оно значило по-кошачьи, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало, примерно, так:

«Что случилось? Где они? Куда пропали?»

И она озиралась на меня широко раскрытыми желто-зелеными глазами; в них я читал изумление и требовательный вопрос.

Жилье она себе выбрала опять на полу, в тесном закутке между моим письменным столом и тахтою. Напрасно я звал ее на мягкое кресло и на диван — она отказывалась, а когда я переносил ее туда на руках, она, посидев с минутку, вежливо спрыгивала и возвращалась в свой темный, жесткий, холодный угол. Странно: почему в дни огорчения она так упорно наказывала самое себя? Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всем их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя?

Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню в какой из моих разговоров с санаторией я застал Ю-ю сидящей у моих ног; знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла свое место жилья в переднюю.

Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных: животные — людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Ю-ю очень поздно, лишь тогда, когда однажды, среди моего нежного разговора с Колей, она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравнилась и протянула вперед из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами.

Я подумал: «Слух у кошки превосходный, во всяком случае лучше, чем у собаки, и уж гораздо острее человеческого». Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-ю, узнав издали наши шаги, выбежала к нам навстречу за третью перекрестную улицу. Значит, она хорошо знала своих.

И еще. Был у нас знакомый, очень непоседливый мальчик Жоржик, четырех лет. Посетив нас в первый раз, он очень досаждал кошке: трепал ее за уши и за хвост, всячески тискал и носился с нею по комнатам, зажав ее поперек живота. Этого она терпеть не могла, хотя по своей всегдашней деликатности ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз потом, когда приходил Жоржик — будь это через две недели, через месяц и даже больше, — стоило только Ю-ю услышать звонкий голосишко Жоржика, раздававшийся еще на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала спасаться: летом выпрыгивала в первое отворенное окно, зимою ускользала под диван или под комод. Несомненно она обладала хорошей памятью.

«Так что же мудреного в том, — думал я, — что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть: где же спрятан ее любимый дружок?»

Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения, и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые

слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкиному уху.

Вскоре получил ответ. Коля очень тронут памятью Ю-ю и просит передать ей поклон. Говорить со мною из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выедут домой.

И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-ю стояла рядом на полу. Я взял ее к себе на колени — иначе мне трудно было бы управляться с двумя трубками. Зазвенел веселый свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений и знакомств! Сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений! Я едва-едва успел вставить мою просьбу:

— Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-юшке к уху телефонную трубку. Готово! Говори же ей твои приятные слова.

— Какие слова? Я не знаю никаких слов, — скучно отозвался голосок.

— Коля, милый, Ю-ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее.

— Да я не зна-аю. Я не по-омню. А ты мне купишь на-ружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна.

— Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-ю поговорить.

— Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забы-ыл

В трубке вдруг что-то щелкнуло, крикнуло, и из нее раздался резкий голос телефонистки.

— Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты ждут.

Легкий стук, и телефонное шипение умолкло.

Так и не удался наш с Ю-ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка, или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным «муррум».

Вот и все про Ю-ю.

Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живет кот-воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз.

ЗОЛОТОЙ ПЕТУХ

Не могу точно сказать, когда случилось это чудо. Во всяком случае, если не в день летнего солнцестояния, 21 июня, то очень близко к нему. А происходило оно на даче, в Виль-д'Аврэ, в десяти километрах от Парижа.

Я тогда проснулся еще до света, проснулся как-то внезапно, без мутного перехода от сна к яви, с чувством легкой свежести и со сладкой уверенностью, что там, за окнами, под открытым небом, в нежной ясности занимающегося утра происходит какое-то простое и прелестное чудо. Так иногда меня ласково пробуждали до зари — веселая песня скворца или дерзкий, но мелодичный свист черного дрозда.

Я распахнул окно и сел на подоконник. В еще холодном воздухе стояли наивные ароматы трав, листьев, коры, земли. В темных паникадилах каштанов еще путались застрявшие ночью, как тончайшая кисея, обрывки ночного тумана. Но деревья уже проснулись и поеживались, открывая радостно и лениво миллионы своих глаз: разве деревья не видят и не слышат?

Но веселый болтун скворец и беззаботный свистун дрозд молчали в это утро. Может быть, они, так же как и я, внимательно, с удивлением, прислушивались к тем странным, непонятым, никогда доселе мною не слышанным звукам — мощным и звонким, — от которых, казалось, дрожала каждая частица воздуха.

Я не вдруг понял, что это пели петухи. Прошло много секунд, пока я об этом догадался. Мне казалось, что по

всей земле трубят золотые и серебряные трубы, посылая ввысь звуки изумительной чистоты, красоты и звонкости.

Я знаю силу и пронзительность петушиного крика. В прежние времена, охотясь на весенних глухариних токах в огромных русских лесах, в десяти, пятнадцати верстах от какого-либо жилья, я перед восходом солнца улавливал своим напряженным слухом лишь два звука, напоминающих о человеке: изредка отдаленный паровозный свисток и петушиные крики в ближних деревнях. Последними земными звуками, которые я слышал, поднимаясь в беззвучном полете на воздушном шаре, всегда были свистки уличных мальчишек, но еще дольше их доносился победоносный крик петуха. И теперь, в этот стыдливый час, когда земля, деревья и небо, только что выкупавшиеся в ночной прохладе, молчаливо надевали свои утренние одежды, я с волнением подумал: ведь это сейчас поют все петухи, все, все до единого, старые, пожилые, молодые и годовалые мальчуганы, — все они, живущие на огромной площади, уже освещенной солнцем, и на той, которая через несколько мгновений засияет в солнечных лучах. В окружности, доступной для напряженного человеческого слуха, нет ни одного городка, ни одной деревни, фермы, двора, где бы каждый петух, вытягивая голову вверх и топорща перья на горле, не бросал в небо торжествующих прекрасно-яростных звуков. Повсюду — в Версале, в Сен-Жермене и Мальмезоне, в Рюелле, Сюрене, в Гарше, в Марн-ла-Кокет, в Вокресоне, Медоне и на окраинах Парижа — звучит одновременно песня сотен тысяч восторженных петушиных голосов. Какой человеческий оркестр не показался бы жалким в сравнении с этим волшебным и могучим хором, где уже не было слышно отдельных колен петушиного крика, но полнозвучно льется мажорный аккорд на фоне пурпурно-золотого *do!*

Временами ближние петухи на несколько мгновений замолкали, как будто выдерживая строгую, точную паузу, и тогда я слышал, как волна звуков катилась все дальше и дальше, до самых отдаленных мест и, точно отразившись там, возвращалась назад, увеличиваясь, нарастая, взмывая звонким певучим валом до моего окна, до крыш, до верхушек деревьев. Эти широкие звуковые валы раскатывались с севера на юг, с запада на восток в какой-то чудесной, непостижимой фуге. Так, вероятно, войска велико-

лепного древнего Рима встречали своего триумфатора-цезаря. Когорты, расположенные на холмах и высотах, впервые успевали увидеть его торжественную колесницу и приветствовали ее отдаленными восклицаниями радости, а внизу кричали металлическими голосами восторженные легионы, чьи ряды один за другим уже озарились сияющим взглядом его лучезарных глаз.

Я слушал эту чудесную музыку с волнением, почти с восторгом. Она не оглушала ухо, но сладостно наполняла и насыщала слух. Что за странное, что за необыкновенное утро! Что случилось сегодня с петухами всей окрестности, может быть всей страны, может быть всего земного шара? Не празднуют ли они самый долгий солнечный день и радостно воспевают все прелести лета: теплоту солнечных лучей, горячий песок, пахучие вкусные травы, бесконечные радости любви и бурную радость боя, когда два сильных петушиних тела яростно сталкиваются в воздухе, крепко бьются упругие крылья, вонзаются в мясо кривые стальные клювы и из облака крутящейся пыли летят перья и брызги крови. Или, может быть, сегодня празднуется день трехсотого тысячелетия памяти Древнего Петуха — праотца всех петухов на свете, того, кто, как воин и царь, не знавший выше себя ничьей власти, полновластно господствовал над необозримыми лесами, полями и реками?

И, наконец, может быть, думал я, — сегодня, перед самым длинным трудовым днем лета, тучи на востоке задержали солнце на несколько мгновений, и петухи-солнцепоклонники, обожествившие свет и тепло, выкликают в священном нетерпении своего огнеликого бога.

Вот и солнце. Еще никогда никто — ни человек, ни зверь, ни птица — не сумел уловить момента, когда оно появляется, и подметить секунды, когда все в мире становится из бледного, розового — розово-золотым, золотым. Вот уже золотой огонь пронизал все: и небо, и воздух, и землю. Напрягая последние силы, в самозабвенном экстазе, трепеща от блаженства, закрыв в упоении глаза, поет великолепное славословие бесчисленный петушиный хор! И теперь я уже не понимаю — звенят ли золотыми трубами солнечные лучи, или петушиный гимн сияет солнечными лучами? Великий Золотой Петух выплывает на небо в своем огненном одиночестве. Вот он, старый пре-

красный миф о Фениксе — таинственной птице, которая вчера вечером сожгла себя на пышном костре вечерней зари, а сегодня вновь восстала на Востоке из пепла, дыма и раскаленных углей!

Постепенно смолкают земные петухи. Сначала близкие, потом дальние, еще более дальние, и, наконец, где-то совсем уже на краю света, почти за пределами слуха, я улавливаю нежнейшее пианиссимо. Вот и оно растаяло.

Целый день я находился под впечатлением этой очаровательной и могущественной музыки. Часа в два мне пришлось зайти в один дом. Посреди двора стоял огромный лоншанский петух. В ярких солнечных лучах почти ослепительно сверкало золото его мундира, блестели зеленые и голубые отливы его доспехов вороненой стали, развевались атласные ленты: красные, черные и белые. Осторожно обходя этого красавца, я нагнулся и спросил: «Это вы так хорошо пели сегодня на заре?»

Он кинул на меня боковой недовольный взгляд, отвернулся, опустил голову, черкнул туда и сюда клювом по песку и пробормотал что-то недовольным хриплым баском. Не ручаюсь, чтобы я его понял, но мне послышалось, будто он сказал:

— А вам какое дело?

Я не обиделся. Я только сконфузился. Я знаю сам, что я всего лишь слабый, жалкий человек, не более. Мое сухое сердце не вместит неистовых священных восторгов петуха, воспевающего своего золотого бога. Но разве не позволено и мне скромно, по-своему, быть влюбленным в вечное, прекрасное, животворящее, доброе солнце?

ПУНЦОВАЯ КРОВЬ

В Сен-Совере, в этом благоуханном зеленом, быстроводном уголке горных Пиренеев, я однажды утром прочитал на базаре большую афишу о том, что:

«В воскресенье 6 сентября 1925 г. на байонской арене состоится *строго подлинная* коррида при участии трех знаменитых матадоров: дона Антонио Ганеро, Луиса Фрега и Никанора Вияльта, которые, в сопровождении своих полных кадрилией пикадоров, бандерильеров и пунтильеров, сразятся каждый с двумя быками и пронзят шпагами в общем шесть великолепных быков славной ганадерии Феликса Морена-Арданьи из Севильи».

А внизу мелким шрифтом — шесть параграфов договора с публикой:

«§ 1. Коррида начнется ровно в 4 часа 30 минут полонудни.

§ 2. В случае дождя коррида переносится на другой день. Печатных оповещений об этом администрация не делает.

§ 3. Деньги за взятые билеты не возвращаются никогда и никому.

§ 4. Выпускать лишних быков или заменять одного быка другим администрация отказывается.

§ 5. Ни за какие несчастные случаи администрация не отвечает.

§ 6. Покорнейше просят почтенную публику не баловаться (*pas jouer*) палками и бутылками».

Параграф пятый (о несчастных случаях) мне был понятен. У меня еще живо держалась в памяти прошлогодняя газетная заметка о роковом событии на одной из мадридских коррид. Очень известный эспада¹, нанося решительный удар быку (эстокада) ткнул неудачно острием в кость позвонка. Шпага сломалась пополам. Свободный ее конец с визгом перелетел барьер, попал в сердце молодого зрителя из второго ряда и убил его на месте. Какая сила и быстрота удара!

Страшна и таинственна была смерть этого юноши. Он точно сам выбрал свой жребий, уступив свое первоначальное, лучшее место незнакомой даме, которая его об этом и не просила. Смысл последнего параграфа я постиг два дня спустя, когда воочию убедился, до какого стихийного напряжения могут достигать страсти десятитысячной толпы. Тогда же поверил я от всего сердца тем занимательным историям, которые мне вечером, накануне корриды, рассказывал, за чашкою чая с флердоранжем, хозяин гостиницы «Святого духа» в Байоне, почтенный господин Пинья, крепкий южанин с серебряной головой и с юношеским огнем в черных глазах, глубоко сидящих по сторонам величественного красного носа. Стиль его разговора я не могу передать,— для этого самому нужно быть французом, да еще южанином,— но смысл точен.

«Байонская арена окончилась постройкой в тысяча восемьсот пятьдесят втором году. Несомненно, это был царственный, широкий, хотя и противозаконный дар пылкой испанке, Евгении Монтихо, от ее августейшего супруга. Начиная с тысяча восемьсот пятьдесят третьего года императорская чета присутствовала неизменно на всех особенно громких корридах, где блистали высоким искусством матадоры: Кюшарес, Эль-Тато, Санз, Мора и другие знаменитые эспада. Многие из наших стариков до сих пор еще помнят императрицу Евгению, которая, легко облокотясь на краснобархатный барьер ложи и обмахиваясь быстрыми движениями веера, глядела с очаровательной улыбкой на кровь, на смерть, на отвагу и на красоту корриды. Говорили, что она была прекрасна. Вся блестящая

¹ Ш п а г а — название матадора. (Прим. автора.)

знать Второй империи сопровождала своих монархов на байонскую арену. В переполненном амфитеатре можно было узнать таких изысканных литераторов, как Теофиль Готье, де-Карменен, Поль де Сен-Виктор, Аме-де Ашар и Проспер Мериме. Ведь это Теофиль Готье определил однажды бой быков, как «самое великолепное зрелище в мире, которое только он видел!»

— Подождите, мой друг,— сказал господин Пинья,— я сейчас покажу вам очень редкую вещь, программу пятидесяти четвертого года, одну из тех программ, что печатались специально для императорской ложи.

Он пошел, достал откуда-то из-под прилавка небольшую перламутровую шкатулку, принес ее, раскрыл и вынул изящную афишку, напечатанную чудесным старинным шрифтом на розовом муаре и отчетверенную вырезным кружевом, с наполеоновским черным одноглавым орлом наверху.

Я с умилением рассматривал этот прелестный лоскуток, которому было семьдесят пять лет, а хозяин продолжал говорить. Странно: у байонского трактирщика были утонченные, аристократические взгляды на благородное искусство тавромахии.

«Этому великому искусству больше тысячи лет. Не из-за денег, а ради рыцарской славы и улыбки прекрасной дамы ему служили знатнейшие гранды Испании, и первым между ними был герой народной легенды Сид Кампеадор. Верхом на боевом коне, он сражался один на один с диким быком и закалывал его насмерть своим тяжелым копьём.

Потом эта рыцарская игра стала платным зрелищем для толпы. Грандов сменили специалисты-матадоры, входящие против быка пешими, со шпагою в девяносто сантиметров длину. Страшный удар копыя с высоты седла отошел в область преданий, да у современных людей уже и нехватало бы силы и ловкости его нанести. Лошадь теперь участвует в корриде лишь в силу многолетней традиции и для удовлетворения жажды крови.

Но у матадоров было свое классическое время. Посмотрите внимательно на эту старую афишу. На ней указано имя каждого из быков, и их имена стоят впереди имен ма-

тадоров и членов их кадрилий. Это была джентльменская вежливость к опасному и почетному противнику, потому что последний короткий бой между быком и эспадой ведется честно и открыто, и ни один, даже самый прославленный, торреро никогда не бывает уверен в том, что сегодня его не понесут с песка арены ногами вперед.

В те времена, еще совсем недалекие от нас, требовалось, чтобы эспада убил своего быка лицом к лицу, прямо, бесстрашно, правильно и красиво. Но постепенно низкий уровень толпы, ее грубые кровожадные вкусы, а в особенности холодное любопытство англичан, принудили лучших матадоров прибегать к рискованным фокусам, к жуткому заигрыванию со смертью. Я не хочу сказать, что это ежеминутное скольжение на волосок от гибели не заключает в себе безумной отваги, но я думаю, что прекрасное искусство тавромахии существует для насыщения стойких и твердых душ, а не для щекотания притупленных и избалованных нервов. Храбрость должна быть горда и добра, а не услужлива.

Так думаем мы, старые и верные посетители корриды. Вот завтра вы увидите Никанора Вияльта. Он — Вияльта — один из редких ныне представителей классического метода. Мы, спокойные знатоки, его высоко ценим, но он не для большой публики. В прошлом году, на одной из блестящих мадридских коррид, он убил подряд двух своих быков с такой простотой, с таким изяществом и с такой математической точностью, каких давно не видали понимающие люди. Вы, конечно, знаете, в чем заключается высшая награда матадору? По решению судей, у убитого быка отрезают правое ухо и торжественно подносят его особенно отличившемуся победителю. Так вот, все знатоки и настоящие любители корриды требовали, чтобы этот лестный подарок был присужден Никанору Вияльта. Но в составе судей преобладали, вероятно, поклонники стиля модерн. Они не поняли всего того совершенства, с которым работал Вияльта, и отказали. Тогда представители прессы, сложившись, поднесли через несколько дней образцовому эспада бычачье ухо, сделанное из чистого золота. Вот это — славный почет!..

Конечно,— продолжал Пинья, протягивая мне портсигар с тонкими сигаретками,— конечно, это злоупотребление эффектными трюками — явление временное, и мода

на них может так же легко уйти, как и пришла. Классическая коррида со своим почти религиозным строгим порядком не исчезнет до тех пор, пока существует Испания. Ведь недаром же испанский национальный флаг состоит из двух цветов — желтого и красного: это — неизменный песок арены и проливаемая на нем тысячу лет кровь.

Впрочем, и Байона крепко держится за традиции арены. Лет шесть, а может быть и восемь тому назад, французское гуманное правительство решило совсем искоренить бои, включающие *mise à mort* (смертный исход) для быков и лошадей. Там, на севере, эта игрушечная коррида, где бык считается пораженным, если ему успели налепить кокарду между рогов, привилась без ропота, но и без особого интереса, среди анемичных французов. Здесь же, на юге, живет слишком много испанцев, итальянцев и басков, в жилах которых быстро бежит очень красная горячая кровь. Слухи о введении вегетарианской корриды, правда, у нас носились задолго, но все от них только презрительно отмахивались, как от явного вздора. Но однажды, в августе, афиши вышли с объявлением, что коррида состоится без смертельного конца. Однако никто этому не поверил, и арена была, как всегда, переполнена сверху донизу. Но когда публика убедилась в отсутствии лошадей и когда украшенного кокардой быка стали загонять обратно за кулисы, — толпа пришла в негодование и устроила скандал, неслыханный и невиданный за все семидесятилетнее существование байонской арены».

— Забава с палками и бутылками? — спросил я лукаво.

— О, гораздо серьезнее! Толпа так ревела, что слышно ее было на вокзале, за четыре километра. Растерянная администрация вызвала полицию. Это окончательно взбесило ослепленных яростью южан. Мгновенно все, что находилось в здании арены деревянного, — скамейки, спинки, перегородки, барьеры, стулья, столбы, перила, перекладины, — все было вырвано и переломано на куски. Сложили огромный костер на середине арены, облили его керосином и зажгли. Я теперь не помню, какими мерами удалось прекратить народное возмущение, которое уже начало разливаться по улицам. Целую ночь напролет

бодрствовали военные наряды и пожарная команда. Страшный был день.

— Воображаю! — согласился я.

А господин Пинья прибавил:

— Но зато теперь наша арена — сплошь из камня и железа. Ее не сожжешь.

Я уговорился с моими русскими друзьями, ночевавшими в Биаррице, встретиться в моей гостинице заблаговременно, часов около двух с половиной, а если возможно, то и пораньше, чтобы успеть до начала и видеть съезд. Но напрасно я их ждал на террасе до трех, и до трех с половиной, и до четырех без четверти. Мимо меня от вокзала проехал верхом на огромной гнедой кляче, в необыкновенно высоком деревянном седле, о двух торчащих лунках, пикадор. На нем была черная лакированная тяжелая шляпа с широченными полями, укрепленная под подбородком ремнем; курточка, сплошь унизанная, как кольчуга, красными камушками из поддельного граната и толстой кожи, желтые сапоги, от ступни до бедер. Мне очень понравилось его румяное и чернобровое, серьезное, несмотря на молодость, лицо с узкими дорожками бакенбардов, идущих от висков. Тут я почувствовал, что мне пора идти, и притом не ленясь. Милый господин Пинья проводил меня крепким рукопожатием и пожеланием доброй корриды. Сам он ждал своих знакомых, которые должны были заехать за ним в коляске.

Мне ни у кого не надо было спрашивать дорогу к арене. Вся Байона шла туда по широким улицам, по прекрасным мостам через Адур и Гав-де-По. Нетерпение охватило меня, и я часто перегонял пешеходов. Помню просторную зеленую от травы площадь, по которой многочисленными радиусами стекались люди все к одному пункту — к станции электрического трамвая. После станции шел поворот в узкую улицу, где стало очень тесно, потому что в нее вливается также дорога, соединяющая роскошный Биарриц, этот вечный приют скучающих миллиардеров, со скромной Байоной. Бесчисленное количество сверкающих роль-ройсов, шикарных лимузинов и других гордых «собственных» автомобилей протискивалось сквозь толпу,

уплотняя ее и прижимая к стенам и заборам. Так, в пыли, в душной человеческой гуще, оглушаемый рывканьем моторов, я добрался, наконец, до голого загородного выгона, на котором увидел арену.

Это гигантское круглое здание без крыши занимает столь огромное место на земле, что, несмотря на высоту его стен, оно кажется приземистым. Окраска его невыразительно красная, с тем ржавым, желтоватым оттенком, какой принимает высыхающая кровь. Вынесенное за город, окруженное низкой пыльной притоптанной травой с одной стороны и колючими ожинками кукурузы с другой, оно производит будничное, одинокое, унылое и скупое впечатление, точно городская бойня, резервуар газового завода или главная нефтяная цистерна. Над ее стеною по всей окружности тихо шевелятся на высоких шестах красно-желтые испанские флаги. Вместо окон — ряд круглых больших отверстий, сквозь которые видны ступени серых каменных лестниц. Внутри арены ведут восемь зияющих темнотою арок, обозначенных литерами; в них беспрерывно льются черные человеческие потоки.

Нашу литеру «Б» я отыскиваю скоро и без труда. Один из моих друзей уже прошел и стоит сзади контроля. О времени и месте нашей встречи он забыл и слегка журит меня за опоздание. Третий компаньон забежал по дороге на телеграф и сейчас явится.

Смотрим на часы: без двух минут половина пятого. «Не волнуйтесь и не горячитесь, — успокаивает меня приятель. — Сложное представление на открытом воздухе, да еще на юге: у нас в запасе верных четверть часа». И правда: у меня ноги горят и сердце бьется от страстного нетерпения. Увидеть бой быков — моя пламенная мечта с пятнадцати лет.

Уже мое настороженное ухо ловит медные глухие звуки марша, когда появляется третий компаньон. Он, видите ли, был уверен, что наша литера «Г», и ждал нас все время в соответствующей арке. Мы немножко ссоримся по этому поводу (о Калуга! о Тамбовская губерния!), но все-таки торопливо бежим по коридору. Третий друг — спасибо ему — человек с опытом: на ходу он успевает взять напрокат три подушки, набитые сеном, по франку штука. Мы находим свою каменную лестницу, страшно крутую

и узкую, как щель. Медленно поднимаемся вверх в середине ползущей сплошной человеческой гусеницы. Сворачиваем на открытый балкон — и перед нами открывается песчаная арена.

Опоздали! Церемониальное прохождение всех кадрий окончилось. Мы застаем только уходящий хвост, состоящий из упряжных вороных мулов в красной сбруе и пеонов третьего разряда, в красных блузах, с головами, туго обвязанными красными платками. Отыскиваем свои номера, напечатанные черными цифрами прямо на каменных сидениях из темносерого шершавого камня, кладем подушки и садимся на них.

Половина амфитеатра в глубокой тени, половина на ярком свете. Круглая арена разделена надвое тонкой и кривой, как лезвие серпа, линией: справа песок горит, точно чистое золото, слева на нем лежит черно-голубой воздушный покров. И как теперь прекрасна, как она сказочно великолепна, эта столь нелюбимая мною толпа, тесно залившая, облепившая ложи, балконы, граден и все проходы!

Солнечная сторона переливается всеми цветами, какие есть на свете, и вся она в непрестанном движении, колыбании, трепете. Быстро-быстро машут невидимые руки веерами и программами. Нет сравнений, чтобы передать эту упоительную, волшебную игру красок. Как будто бы миллионный рой бабочек — голубых, белых, синих, лиловых, красных, желтых, черных, коричневых, фиолетовых, зеленых, малиновых, оранжевых и розовых — спустился вдруг на высокую гору, покрыл ее всю и, услаженный солнцем, радостно бьется в воздухе и дрожит своими легкими, полупрозрачными крылышками. Теневая сторона гуще и глубже красками. И она почти неподвижна. Она похожа, по-моему, на те роскошные французские цветники-партеры, в которых на обширном пространстве тесно перемешаны в восхитительном беспорядке цветы всех форм и всех красочных тонов. На солнечном полуамфитеатре я видел лишь горячие ослепительные пятна; здесь, мне кажется, я вижу тончайшие линии, мельчайшие узоры. И с нежной признательностью я пью глазами эту живую несравненную прелесть.

Над нами высоко распростирается бледносапфировое небо. Как чист воздух! Вон, вверху, на самой стене стоит

отдельный человек. Он мне кажется, на широком фоне неба, маленьким, как обычная типографская буква, но с поразительной точностью я схватываю все очертания его фигуры.

Мы поместились очень хорошо. Прямо перед нами арка, откуда показываются быки; над нею узкая печатная вывеска: «Cuadrilla de Genego»¹. По левую руку — высоко расположенная судейская ложа. По правую — вход для матадоров и членов корриды.

Ложы все построены высоко над землею. Кроме того, они отделены от песка сплошным красным барьером, почти в человеческий рост. Таким образом, между ложами и ареной идет круговой коридор.

Из первых дверей выехали два всадника на вороных конях в черных средневековых одеждах с позументами и кружевами, в высоких черных шляпах с черными страусовыми перьями. Один из них, высокий и худой, сидел на долговязой тощей лошади; другой, толстый и короткий, имел под собою маленькую жирную и, кажется, жеребую кобылу. Это были альгвазильи. Может быть, они изображали бессмертных испанских героев: Дон-Кихота и Санчо-Пансу? За ними, немного в стороне и сзади, ехал, сдерживая строгим мундштуком статную, горячую, красивую светлую рыжую лошадь, дон Ганеро — первый, по очереди, из нынешних матадоров, бывший капитан королевской кавалерии. Он весь в черном шлеме, только голова его обвязана клетчатым розовым платком, кончики которого торчат наружу ушками из-под черного берета, и это, представьте, вовсе не смешно, а, наоборот, мужественно и красиво.

Я не успел заметить, что такое делали альгвазильи у барьера под судейской ложей. Я видел только, как, повернув лошадей, они медленно и торжественно пересекли арену и скрылись за барьерною дверью. Не получили ли они ключей от помещений, где содержатся быки?

Дон Ганеро сделал вслед за ними круг по арене. Он заставлял свою лошадь то идти испанским шагом, высоко закидывая вверх передние ноги, то подниматься, через

¹ Кадрилья Ганеро (испан.).

шаг, на дыбы. Публика безмолвствовала. Это она привыкла видеть в каждом плохоньком цирке. Она ждала дальнейшего, зная, что дон Ганеро, вопреки традиции, или, вернее, по великой традиции Сиды-Кампеадора, не признает ни работы пикадоров, ни зрелища распоротых лошадиных животных.

Двое его бандерильеров показались на арене с ярко пунцовыми плащами, перекинутыми через руки. Раскрылись прямо перед нами барьерные двери, и вышел, именно не выскочил, а вышел большой черный рогастый и очень равнодушный бык. Ослепленный солнцем, изумленный непривычной обстановкой, он сделал несколько шагов, остановился и, внезапно повернувшись спиной к публике, неторопливой рысцой направился обратно к выходу. Но двери уже были замкнуты. Подбежавшие бандерильеры стали его дразнить своими пунцовыми плащами. Тогда он, несколько живее, перебежал вкось арену, ткнулся в барьер, подумал и встал, как собака, на задние ноги, упираясь передними в стенку. Публика сдержанно смеялась. Бандерильеры опять отвлекли его на середину арены. Но бык, повидимому, решил во что бы то ни стало вернуться домой. Сделав ленивую и неудачную попытку боднуть одного из бандерильеров, он сразу понесся галопом к тому же самому месту барьера и вдруг с необыкновенной легкостью, мягко и беззвучно через него перепрыгнул, вызвав несколько случайных женских вскриков.

Пеоны, с головами, обвязанными красными платками, засуетились в коридоре. Прошла минута — и бык снова показался во входных дверях.

Теперь миролюбие и рассудительность покинули его. Увидев вблизи себя развевающийся яркий плащ, он кинулся на него со склоненными низко рогами и ударил. Но плащ в то же мгновение метнулся, вскинулся в воздухе и исчез, а с другой стороны уже дразнил его наливавшиеся кровью глаза новый плащ, который стелился и змеился по земле.

Дону Ганеро подали из-за барьера его специальную бандерилью, длиною почти с копьё, и он свободным галопом помчался на быка. Бык увидел это и, глухо заревев, бросился в атаку. Но, почти наскочив на животное, почти коснувшись его, дон Ганеро сделал на скаку крутой ловкий вольт. Удар быка пришелся впустую. Увидев снова

лошадь и всадника, бык кинулся их преследовать, но не мог догнать и повернул в сторону, чтобы броситься на людей с плащами. Ловкий и быстрый Ганеро уже опять крутился около него и вдруг, улучив момент, с такою силою вонзил ему в затылок бандерилью, что она вошла глубоко под кожу и застряла в ней, раскачиваясь при каждом движении быка. От боли бык обернулся назад, сделал несколько поворотов вокруг себя, точно стараясь схватить зубами досадный раздражающий предмет, и опять заревел.

Эта тонкая, ловкая и жуткая игра велась долго, и... как странно вела себя, глядя на нее, взыскательная публика! В ней все время раздавался тихий, вежливый, но упорный свист. Это свистали дон Ганеро, как отступнику от традиции, освященной привычкой. Но каждый его ловкий и дерзкий маневр, каждый меткий удар встречался дружными аплодисментами.

Морда у быка уже опенилась, и черная шея покрылась потоками крови, которая на черной шерсти — влажной, гладкой и блестящей — казалась не красной, а темно- и густо-пунцовой. Заунывный звук труб пронесся откуда-то сверху. Сигнал, возвещающий смерть быку, или...

Дон Ганеро спешил к барьеру, под судейской ложей. Ему подали девяностосантиметровую шпагу и красную мулету. Бык был подведен бандерильерами совсем близко. После нескольких приемов дон Ганеро ударил, но неудачно. Только после второго удара бык, спустя некоторое время, упал. Откуда-то появился специальный быкоубийца — пунтиллеро — с коротким кинжалом в руке. Он склонился над быком, нанес быстрый удар в затылок, и бык растянулся на песке, пятная его пеной и кровью.

Из барьерных ворот пеоны вывели пятерку горячих мулов, красная упряжь которых оканчивалась массивным железным крюком. Почуввав кровь, животные долго артачились и бесились, пока не удалось служителю зацепить крючок за шею и черную тяжелую тушу рысью поволокли встревоженные мулы за кулисы. Ничего жалкого или некрасивого, не было в мертвом быке. Низменными и противными показались все движения человека, dokonчившего его жизнь кинжалом.

Не существует более делового и точного зрелища, чем коррида. В ней нет места ни вступлениям, ни объяснениям, ни антрактам, ни задержкам. Только что убрали труп первого быка, и пеон едва успел заровнять граблями следы крови на песке, как из отворенных ворот быстро выбежал второй бык. Он был немного меньше ростом, чем предыдущий, но легче его, суше и ладнее; тоже черной масти, переходящей на крупе в серо-железный цвет. Бык не дожидался нападений, а нападал сам, обнаруживая большую энергию и увертливость. Первую бандерилью дон Ганеро, сидя уже на новой, свежей лошади, воткнул в него неудачно. Она подержалась несколько секунд и упала. Бык остановился, медленно нагнул до земли голову, понюхал окровавленное острие и в бешенстве стал взрывать песок передними ногами. При этом он ревел, и в его реве — негромком, но чрезвычайно глухом и низком — слышалась сдержанная, сжатая, злобная угроза. И как только мелькнул перед его глазами дон Ганеро на лошади, бык тотчас же полетел за ними вдоль барьера, не отставая ни на вершок. Весь амфитеатр ахнул, когда, наконец, полным карьером настигнул лошадь, бык успел толкнуть ее рогами в зад, но толкнул не острием, а боком. Вот когда я увидел воистину «коня бледного»! Лошадь под доном Ганеро вообще горячилась, и ее шея, там, где она соприкасалась с поводьями, была слегка взмылена. Но после толчка, нанесенного быком, она сразу вся покрылась белой пеной, и дон Ганеро должен был ускакать в коридор, чтобы пересесть на третьего коня.

Над этим подвижным быком было тяжело работать. Кавалер-матадор сделал много промахов, пока не вонзил трех бандерильей. И убить себя бык дал не легко. Поверженный вторым ударом шпаги, он упал на землю и некоторое время лежал на животе, подогнув под себя передние ноги. Пунтиллоро уже подходил к нему со скрытым в складках одежды кинжалом и уже нагибался над ним предательским движением Яго... Но бык вдруг, одним толчком, вскочил на все четыре ноги и с такой неожиданной, бешеной яростью бросился на окружающих его врагов, что они рассыпались в разные стороны. Публика разразилась единодушным взрывом аплодисментов. Но силы уже оставили это достойное, храброе животное; оно снова упало и повалилось на бок. Его прикончили.

На барьере повесили новый аншлаг: «Cuadrilla de Freg»¹. И сейчас же как из-под земли выросла и разбежалась по арене эта кадрилиа. По публике пронеслось, подобно электричеству, сдержанное оживление. От Луиса Фрега ждали многого. Ему только тридцать пять лет, но он самый старший из современных матадоров. Он носит титул доктора тавромахии, данный ему самим Лагартилло Чико; в высокое звание матадора его посвятил великий Мазантинито. В двадцать третьем году он был опасно ранен быком из ганадерии Матнаса Санхеса, но уже в двадцать четвертом году он одержал много блестящих побед, а в сентябре прошлого года убил своих двух быков на мадридской корриде с таким мастерством, что был восторженно приветствован десяти тысячной толпой и вынесен на руках с арены. Печать за его дерзкую отвагу дала ему прозвище «Torero de l'emotion» — тореодор, дающий сильные ощущения. Он сам невысокого роста и строен; в движениях его есть наигранная шаблонная грация, и ему присущи несколько актерские жесты.

Выехали двое пикадоров на высоченных костлявых лошадах. У каждой левый глаз был нанскось завязан темной косынкой. Они расположились под нами в небольшом расстоянии друг от друга, спинами к публике.

Выбежал бык, черный, как и все «Торо» ганадерии Арданья, с серыми просединами на крупе и на ляжках, очень живой и предприимчивый. Но напрасно мы ожидали горячей борьбы и жутких ощущений. Фрег ежедневно терял удобные моменты, часто отступал, промахивался или вонзал бандерильи так слабо, что они тотчас же валились на песок. И вся его кадрилиа работала вяло, не вдохновляемая примером своего главы. Только лишь один из бандерильеров, в голубом шелковом костюме, сплошь затканном золотом, выгодно выделялся из всех. Он невольно обращал на себя внимание изяществом и уверенностью движений. От разъяренного быка он не спасался бегством, но подпускал его вплотную к себе в его разбеге, давал ему дорогу и вежливо пропускал.

Указывая на него, мой приятель, далеко не впервые посетивший корриду, сказал мне тоном знатока:

¹ Кадрилиа Фрега (испан.).

— Посмотрите на этого, голубого с золотом. Его ждет большая карьера.

Заунывная труба возвестила срок выступления пикадоров. Один из них, на серой длинной кляче, выдвинулся вперед, и бандерильеры, маневрируя своими яркими плащами, подвели быка, незаметно для него, совсем близко к лошади. Бык увидел и остановился. Тогда пикадор шпорами и поводом повернул лошадь так, что она пришлось к быку левым боком и левым глазом. Все остальное произошло в мгновение. Низко склонив голову, бык рванулся к лошади и, ударив ее рогами в живот, поднял на воздух. Копье пикадора не остановило его ни на секунду. Мигом здесь образовалась пестрая каша: бык, лошадь, упавший пикадор, Фрег, бандерильеры и пеоны. Но голубой с золотом быстро отвел быка своим пунцовым плащом. У серой лошади жалко подгибались задние ноги, и из разорванного живота выползали наружу кишки: серые и желтые, тускло блестящие слизью под ослепительным солнцем. Наконец она присела на зад и повалилась на бок. Ах, нет! Я не знаю более печального зрелища, чем издыхающая или дохлая лошадь в лежащем положении. Ее живот кажется таким раздутым, плечи такими узкими, шея такой плоской и длинной, а голова такой маленькой! Я до сих пор помню острые слезы, которые закипели в моей груди, когда в конце тысяча девятьсот семнадцатого года я увидел лошадиную падаль, валявшуюся на Измайловском проспекте, у Плевненского памятника, и никем не убираемую несколько дней... Но, впрочем, к чему эти домашние воспоминания? Мимо!..

Первую лошадь доколол пунтиллоро. Вторую, гнедую, бык убил наповал: она, лежа на песке, только подрыгала немного задними ногами, судорожно вытягивая их, и замерла. Тотчас же прибежали пеоны и покрыли оба трупа брезентами. Получились плоские, серенькие, сморщенные могильные холмики. Роковая труба возвестила между тем последнее единоборство.

И тут-то Луис Фрег оказался бесконечно ниже своей прославленной, мировой репутации. Неудача за неудачей, неловкость за неловкостью преследовали его. Он колебался, пятился от быка, робко пропускал выгодные моменты. Два раза выпады его были безрезультатны. Тут я кстати запомнил одну подробность, которую не уловил

у дона Ганеро; всадив клинок в быка глубоко, но не смертельно, матадор не извлекает его обратно, а оставляет его торчать в теле, рукояткою наружу. А ему подают через барьер новую и новую шпаги. Перед третьим ударом Фрег казался совсем беспомощным и бесцельно совал острием в воздухе. Чей-то грубый бас с галерки крикнул нетерпеливо. «*Máta lol!*» (убей его!).

И мгновенно весь амфитеатр подхватил этот крик: «*Máta lol Máta lol!*»

Тысячи оглушительных свистков пронзили воздух. Тысяча здоровых глоток закричала грозно и зловеще: «Угу! Угу! Угу!» — совсем так, как кричат по ночам наши северные огромные белые филины, только грубее, громче и ниже тоном. И мне стало немного жутко.

Мне кажется, что третий удар Фрег нанес, закрыв глаза. Бык после него стоял на месте, а Фрег отступал назад, слегка пошатываясь. Тогда один из бандерильеров, подойдя близко к быку, потряс у него перед глазами плащом и сразу повел плащ назад. Бык круто повернулся вслед плащу телом, но ноги не успел передвинуть: они переплелись, и бык рухнул на землю. В ту же секунду пунтиллеро оседлал его сзади и прикончил мгновенным ударом. Свист, крик, визг, ругательства и проклятия переполнили всю арену сверху донизу. Когда мертвого быка увезли мулы, то на том месте, где он упал, осталась огромная черно-пунцовая лужа крови.

Коррида не знает остановок и перерывов. Со следующим быком немедленно должен был сразиться все тот же злополучный Фрег. Но чья-то милостивая душа дала ему передышку. На арену вышла кадрияля Никанора Вияльта во главе со своим молодым матадором, в котором я и мой сосед тотчас же узнали изящного бандерильера, голубого с золотом, так незаметно блиставшего в предыдущем состязании.

Это участие с его стороны было рыцарской услугой товарищу и почет старшему мэтру. Я позднее узнал о том, что именно Луисом Фрегом был посвящен Никанор Вияльта в высокое звание матадора шестого августа тысяча девятьсот двадцать второго года в Сен-Себастиане, а мне давно известно, каким бескорыстным

уважением окружают люди силы, риска и отваги своих учителей.

Эта часть программы прошла безукоризненно при неослабевающем восторге зрителей Кадрилья, прекрасно одетая и чудесно подобранная, работала легко и весело, точно забавлялась игрою со смертью. Вияльта показал себя во всем блеске молодости, естественной грации и совершенного владения страшным искусством тавромахии. И бык, с которым суждено было сразиться этому голубому с золотом матадору, являл собою образец дикой красоты и свирепой мощи.

Он не вышел, а ворвался ураганом на арену. Не дожидаясь вызова со стороны людей, он бросился на первую мелькнувшую ему в глаза, сверкавшую золотом фигуру и погнал ее вдоль барьера, но вдруг бросил ее, круто повернулся вбок и помчался за пунцовым плащом. И с разбега внезапно остановился на самой середине амфитеатра, застыв неподвижно, как великолепное изваяние из черного мрамора. Я четко видел его в профиль. Он казался мне черным силуэтом на золотом фоне. Какой плавной дивной линией была очерчена его фигура: крутая мощная морда, широкая и короткая шея с надменным подгрудником и стройное возвышение холки, переходящее в покатуую крепкую спину. Он был на низких тонких ногах, широкогрудый и поджарый, вовсе не родственник корове или теленку,— дикий зверь, равный по своеобразной красоте лошади, но превосходящий ее выражением силы и отваги. Вокруг меня заматерелые поклонники боя быков сладостно вздыхали и чмокали языками, глядя на него. Право, как жалко, что в наши дни программы не сообщают имен таких благородных быков.

А в это время Никанор Вияльта переходил неторопливо от судейской трибуны на противоположную сторону, пересекая тень и свет, лежавшие на арене. Он держался прямо, непринужденно и со спокойным достоинством. Его походка была уверенна, легка и красива, голова высоко поднята. И весь он был воплощением красоты мужского тела. Он близко прошел мимо быка, и оба они точно не заметили друг друга, не повернули голов. Но моей фантазии показалось, что на короткую секунду их боковые взоры встретились и сказали: сейчас увидимся.

Весь амфитеатр, все десять тысяч человек следили, не отрываясь, за каждым его движением. Зрители высунулись вперед и перегнулись на своих сидениях, задние легли на плечи передних. Стало тихо.

Вияльта подошел к красному барьеру, остановился против одной из лож. Не спеша снял правой рукой берет и сделал глубокий почтительный поклон. Вокруг меня торопливо зашептали растроганные голоса:

— Мам! Мам! Мадре! Мам! Мадре! Это его мать!

Вияльта выпрямился и, легко поворачиваясь назад, круглым ловким жестом бросил, не глядя, из-за спины свой берет в черную многочисленную людскую массу. Тотчас же десятки услужливых рук передали его туда, куда следует. Худенькая, еще не старая женщина, желтолицая и черноглазая, в темном платье, с черной кружевной шалью на голове, спокойно приняла берет и ответила соседу медленным едва заметным поклоном. Так посвятил Вияльта своей матери этого прекраснейшего из быков, которого он сейчас убьет во славу Испании и в честь обожаемой женщины — матери!

И закипела, закружилась, завертелась, засверкала блеском золота и яркостью красок коррида. Никанору Вияльта подали две бандерильи, обвитые и разукрашенные лентами. Он взял их кулаками за тупые концы и высоко поднял над головой, остриями вниз и, так держа их, побежал прямо на быка, едва прикасаясь голубыми ногами к желтому песку. Бык понесся ему навстречу. Ни человек, ни животное не сворачивают с прямой линии. Сейчас они столкнутся. Хочется закрыть глаза от ужаса... и не можешь!

И вот столкновение! Поднятые вверх руки Вияльты быстро разом опускаются. Бык мгновенно остановился. Вияльта делает шаг в сторону. В затылке у быка торчат, наклонившись в разные стороны, и покачиваются две острые бандерильи. «Оле, Вияльта! Оле! Оле!» — кричат оглушительно зрители и плещут ладонями. Пунцовый плащ бандерильера застилает на минуту глаза быку и увлекает его в другую сторону. А пeon подает Никанору Вияльта две новые бандерильи. И так четыре раза подряд, с той же ловкостью и точностью украсил смелый матадор своего быка восемью колючими, многоленточными, яркими стрелами.

Был здесь, в этой грациозной и опасной игре, один момент, почти неуловимый, но заставивший всю десятилетиячную толпу одновременно ахнуть от ужаса. Небрежно и изящно мелькая перед глазами быка, дразнимого пунцовым плащом, и уходя от него красивыми пируэтами, Вияльта довел его к тому месту, где за барьером, в ложе, всего в десяти шагах, сидела мать эспады. Там Вияльта остановился. Бандерильеры опустили свои плащи. Остановился и бык. Совсем маленькое расстояние разделяло животное и человека. И вот Вияльта делает полшага к быку. Протягивает прямо руку между остроконечными рогами.

Я вижу в бинокль, как его вытянутая ладонь бестрепетно, кончиками пальцев, касается несколько раз крутого темени. Бык в тяжелом недоумении стоит застывши, как прекрасное изваяние из черного мрамора. Напряженная тишина на арене. Вияльта делает еще четверть шага вперед, дотрагивается до пестрой бандерильи, свесившейся над мощным черным лбом, и — какая дерзкая отвага! — осмеливается слегка покачать ее. И вдруг — как пестрым ярким вихрем взметнуло и завертело доселе недвижимую группу. В том, что так мгновенно произошло, никто не дал бы себе верного отчета. Я увидел лишь, как бык быстро и низко склонил голову. Как Вияльта внезапно очутился спиной к нему, между широкой развилиной его рогов. Потом мощный и тупой толчок крупного черного лба... И Вияльта упал.

Вся арена разом вздохнула, точно вздохнула одна исполинская грудь. Послышались тонкие женские крики. Но Вияльта был в целости. Вследствие близкого расстояния бык не успел или не догадался уклонить морду рогом вбок, а Вияльта не потерялся. Падая, он лишь полусогнул одно колено и одной рукой плотно уперся в песок. Тотчас же перед глазами быка замелькал, закрутился пунцовый плащ бандерильера, и животное яростно бросилось в сторону.

Эта ужасная сцена заняла лишь долю секунды, но сидевшая так близко пожилая черноглазая испанка в черной шали, мать своего милого любимого Никанора, — что она думала и чувствовала в этот коротенький миг?

А Вияльта, высоко подняв кверху две бандерильи, уже бежал беззаботно и легко, точно на крыльях, на-

встречу быку, у которого только что побывал почти на рогах.

Этот бык долго не уставал и не утишал своего гнева. Двух лошадей он поднял на рога и бросил на землю с поразительной силой и быстротою; один из пикадоров ушел с арены без шляпы, держась обеими руками за ушибленную голову. Та же судьба постигла бы и третью выведенную на арену лошадь, если бы не запел свою грустную мелодию медный рожок, зовущий к последнему поединку.

Никанору Вияльта принесли мулету — красный квадратный флаг, нанизанный одной стороной на невидимую тонкую палку. (Во всей корриде единственный чисто красный цвет — это цвет мулеты.) Держа ее в левой руке, он подошел к барьеру под судейской ложей. Ему подали шпагу с длинным узким клинком, холодно и тускло блестящим бело-синей сталью. Его поднятая кверху голова была обнажена, и можно было видеть на затылке традиционную косичку, наивно связанную узлом. Так он стоял, произнося короткую клятву в том, что убьет своего быка, — согласно древним священным обычаям, в прямом и открытом бою, не прибегая ни к каким уловкам или ухищрениям, — во славу Испании, в честь обожаемой женщины и для возвеличения благородного искусства тавромахии. Затем он передал в правую руку мулету, тщательно прикрыв красной материей зловещую сталь шпаги. Бык должен увидеть обнаженную шпагу лишь перед самым последним, самым решительным, самым страшным моментом. Таков строгий закон старины!

Играя красной мулетой перед глазами быка, скользкая небрежными пируетами перед самыми остриями его рогов, Вияльта с математической точностью подводит его к тому месту, на котором он приносил присягу. Здесь он останавливается. Приближаются бандерильеры, размещаясь сзади и сбоку быка. Бык весь в пунцовой крови и с пеной у рта, но он так же свеж и силен, как при своем появлении на арене. Глядя на мерные движения его боков, я чувствую, что его дыхание неспешно и глу-

боко. Если понадобится, он пробежит еще двадцать верст и перебросит через себя любую лошадь, как ржаной сноп.

И вот, охватив левой рукой красную материю мулеты, точно ножны, Вияльта медленно вытягивает из нее шпагу, так медленно, как будто бы он обтирает сталь от крови. И, когда шпага обнажена, он тихо опускает ее сверху и вытягивает горизонтально над головой быка, между завитыми, острыми, грозными рогами. Это прямой вызов. Теперь человек ждет ответа от животного. Их разделяет только два шага, и одному богу известно, чья душа — человека или животного — пойдет сейчас по тому неведомому пути, о котором допытывался Экклезиаст!

И бык принимает вызов. Он чувствует, что вся предыдущая борьба, где люди были так жестоки, так ненавистны и так неуловимы, окончилась.

Тот, что стоит теперь неподвижно перед ним, сверкая золотом, не побежит и не отступит. Остается одно: быстро склонить голову и мгновенным напором вонзить рога в это столь близкое и тонкое тело. И бык делает это с той звериной быстротою, которая теперь уже непостижима и недоступна слабому, выродившемуся человеку. Но, убрав вниз голову, он на одну неуловимо малую долю секунды открывает для шпаги свой подзатыльник. Один миг! Человек и бык точно скользнули друг на друга. Какая тишина кругом!

И вот Вияльта отступил на полшага, опустив вниз теперь уже обезоруженные руки. Бык остается на месте. Среди кадрильи движение; она готова броситься и помочь, но Вияльта повелительно вытягивает вперед руку с поднятой ладонью: «Нельзя!» Бык все еще стоит на четырех ногах, но уже слегка покачивается. Ноги его начинают вздрагивать, коленигибаются. Он теряет устойчивость и падает. Проует подняться. Нет. Все кончено. Ложится на бок. Судороги бегут по его телу и по конечностям.

Какая буря воплей и аплодисментов! Приняв с низким поклоном свой берет из ложи, Вияльта идет вдоль барьера. Шляпы, портсигары, платки, браслеты, сигары летят по его пути на арену. Он без всякого усилия нагибается, поднимает эти предметы и необыкновенно ловко

бросает их обратно, заставляя вращаться на лету. Радостно смотреть на его обращенное кверху лицо. Оно блещет торжеством победы и великолепным счастьем жизни.

О втором выступлении Фрега не стоит и говорить. В промежутках между неудачными эстокадами он от волнения пил воду, и стакан дрожал в его руке. Он пробовал ударить быка не голой шпагой, а под прикрытием мулеты, за что был освистан и обруган толпой. Ему кричали: *A la puerta!* (за двери! вон!) и другие, непонятные мне, громкие слова. Бедный совсем «потерял сердце», что случается не только у матадоров, но и у жокеев, и у авиаторов, и у боксеров. От этого мгновенного, неожиданного ослабления нервов не застрахован самый испытанный, самый дерзостный храбрец. Профессионалы риска относятся к этому несчастью, внезапно постигшему товарища, с той же молчаливой деликатностью, как к смерти друга, как к тяжелой болезни близкого.

Умолчу и о втором туре Вияльта. Ему попался огромный, грубый, тупонервный, черногрязный бык, с мрачной наружностью профессионального убийцы. Его правое ухо по постановлению судей, было отрезано и поднесено Никанору Вияльта.

Но не могу не упомянуть о моем утреннем гранатовом пикадоре, участвовавшем в последней корриде. Он трижды и прямо, с железной неуступчивостью и с необычайной энергией, отражал свою пикою бешеные атаки свирепого исполина. Вероятно, он обладает исключительной физической силой. После третьего раза публика стала аплодировать, и это было добрым знаком для его долговязой гневной клячи: ее пощадили. Пикадор торжественно уехал на ней за кулисы, а раскланяться на рукоплескания вышел уже пешим. И, знаете, на кого он мне показался в эту минуту поразительно похожим? На красавца и обладателя великолепнейшего баса, на Малинина, отца протодиакона Смоленского кладбища в Петербурге.

Лицо его сияло от счастья и от солнца, а гранатовые стеклышки на его куртке переливались и сверкали тысячами красных огоньков.

Начался разъезд. На площадке перед ареной стояли пеоны, с головами, повязанными красными платками, и продавали бандерильи со следами запекшейся крови.

Рыжий верзила, с моноклем в глазу, выскочил из автомобиля, купил одну штуку и поднес ее своей немолодой и некрасивой даме с таким поклоном, точно он презентовал ей свадебный букет.

Прошло месяцев пять-шесть после байонской корриды. Очерк этот давно уже был написан и сдан в типографию. И вот заглянул в мое парижское жилье, проездом из Мадрида в Брюссель, мой недавний, но очень приятный знакомый, господин Р. де С., секретарь испанского посольства при одной из европейских держав.

Вечером за бутылкой сладкого белого бордо мы хорошо и непринужденно разговорились, и так как байонские впечатления, трижды мною пережитые — на камнях арены, в воспоминаниях и на бумаге, — еще были свежи, то разговор, естественно, коснулся боя быков.

— О да, да, — с сожалением покачал головою господин С. — Жестокое зрелище... Темное пятно на Испании. Пережиток грубых и диких времен... А кстати, вы где же видели корриду?

— Этим летом в Байоне.

— Ах, вам надо было бы поехать в Мадрид или в Севилью, если вас как художника интересует красочная сторона.

— Но вы сами знаете, как трудно с визами, особенно нам, русским.

— О, в этом отношении я всегда к вашим услугам. В Мадриде вы все увидите в размерах великолепных и грандиозных. Мадридская арена вмещает тридцать тысяч зрителей, а на ней выступают самые знаменитые эспада. Это не Байона...

Я несмело возразил:

— Однако и байонская коррида произвела на меня сильное впечатление.

С. сбоку, недоверчиво взглянул на меня.

— Гм... Кого же вы там видели?

— Ну, например, дон Ганеро.

— А-а! Это прекрасный, исключительный матадор. Сколько раз и как страшно его калечили быки, но он остался чуждым робости. Ганеро — любимец наследного

принца. Этот инфант — первый дал ему, кавалерийскому офицеру, мысль выступить против быка верхом на лошади, согласно старым рыцарским легендам. Да, да,— Ганеро очень ценим аристократией арены... Кто же еще?

— Никанор Вияльта.

— О, вам посчастливилось, мой друг,— воскликнул оживленно господин С.— Замечательный матадор! Вне классов и сравнений. Многие мои знакомые — и я вместе с ними — мы считаем его первой шпагой Испании. Какая чистая, классическая работа!

Я поддержал от души:

— И какое изящество!

— Да, да. И какой глазомер! Какая точность!

— Какое спокойствие!

— Какая красота тела, поз и движений!

— Какая легкость, уверенность удара!

В моем собеседнике загорелась старая, пунцовая кровь предков. С большой готовностью, даже с увлечением он рассказал мне очень многое из жизни матадоров: об их обычаях, набожности и суевериях, об их боевых приемах и тренировке, о точном распорядке дня выступления, о подробностях костюма и о гонорах. Но все это очень густо изложено в известной книге Бласко Ибаньеса «Кровь и песок», к которой я и отсылаю читателя.

Между прочим, я вскользь упомянул о *mise à mort*, о последней встрече быка и матадора, в которой смерть грозит обоим сторонам. Я сказал о том, как молниеносно скор и трудно уловим этот момент.

Господин С. быстро поднялся со стула. Он высокого роста, но в ту минуту почему-то показался мне выросшим на целую голову.

— Видите ли,— заговорил он горячо,— есть два способа нанесения быку смертельного удара. Один — когда эспада вызывает быка на атаку и принимает ее. Другой — когда он сам атакует.

— Вот поглядите... У меня в руке шпага,— господин С. легко и красиво стал *en garde* (в первую позицию фехтовальщика):— Бык кидается на меня, наклонив вниз голову и открывает мне *fente* (место для удара). Я наношу его по верхней линии приемом кварта или сикста, как мне будет удобнее. (Он сделал быстрый выпад.)

В другом случае, повернув плоско клинок, я наступаю и пронзаю быка по линии сверху вниз приемами септима или октава, судя по его положению.

И, закончив эти слова блистательным ударом в пространство, господин С. остановился против меня с победоносным видом и разгоревшимися глазами.

Я долил его стакан, и мы чокнулись за Никанора Вияльта. Потом я сказал, признаюсь,— не без лукавства:

— Прекраснейшее зрелище — коррида, но ужасно жалко лошадей и противно видеть все подробности...

Господин С. как-то сразу увял и нехотя, слабо отмахнулся кистью руки.

— Ах, и не говорите. Варварство! Низменное и грубое развлечение! Я сам бываю на корридах только по обязанности, чтобы не огорчить добрых друзей отказом. Но, рассуждая теоретически, без этих несчастных лошадей коррида потеряла бы девять десятых своей жестокой прелести. Подумайте только: в лошади и в пикадоре, включая сюда и вес тяжелого седла, не менее трехсот, а то и триста двадцать, триста сорок кило. Но бык без всякого усилия, одним взмахом рогов подбрасывает эту тяжесть в воздух и швыряет о землю. Тогда человек кажется в сравнении с ним жалкой щепкой. Вы видите много крови — лошадиной и бычьей. Но сейчас мужчина с бесстрашным сердцем предстанет прямо перед мордой свирепого животного, и, может быть, через секунду прольется его, человеческая, драгоценная кровь. И это видят и сознают все: и тысячи зрителей, и кадрили, и сам стройный, элегантный, спокойный по внешности эспада... Да, тут есть что-то нелепое, но и героическое, вернее, нелепо-героическое. Особенно, когда подумаешь об одряхлении современного человечества.

— Говорят,— сказал я,— говорят, что уже вырабатывается испанским правительством проект о запрещении выводить лошадей на арену для этой беспощадной бойни?

— Говорят,— неохотно подтвердил господин С.— И эту гуманную меру нельзя не приветствовать.

— Несомненно,— согласился я.— Но народ? Что скажет народ, обожающий свою кровавую корриду? Примите во внимание тысячелетнюю наследственную

привычку. Кроме того, южный темперамент, пылкие сердца...

Господин С. поглядел на меня серьезно, но где-то в глубине его зрачков я увидел тонкие искры насмешки. Он сказал внушительно:

— Я не отрицаю, конечно, страстности и нетерпеливости нашего национального характера. Но испанцы — это народ в сущности добрый, религиозный и законопослушный...

Мне вспомнился рассказ милого господина Пинья о том, как была подожжена байонская арена.

Тут пришла моя очередь сказать «гм»... Но я сделал это со всей осторожностью, точно слегка откашлялся.

ОЛЬГА СУР

Эту цирковую историю рассказал мне давным-давно, еще до революции и войны, мой добрый приятель, славный клоун Танти Джеретти. Я передаю ее, как могу и умею; конечно, мне теперь уже не воскресить ни забавной прелести русско-итальянской речи моего покойного друга, ни специальных цирковых технических словечек, ни этого спокойного, неторопливого тона...

* * *

Вы, конечно, знали, синьор Алессандро, цирк папаши Сура? Это был очень известный в России цирк. Сначала он долго ездил из города в город, разбивая свое полотняное шapитo на базарных площадях, но потом прочно укрепился в Киеве, на Васильковской улице, в постоянном деревянном здании. Тогда еще Крутиков не строил большого каменного цирка, а имел собственный частный манеж, где и показывал знакомым своих прекрасно выезженных лошадей, всех на подбор масти Изабелла, светлого кофе с молоком, а хвосты и гривы серебряные.

Старик Сур знал свое дело отлично, и рука у него была счастливая: оттого-то и цирк у него всегда бывал полон, и артистов он умел ангажировать первоклассных. Достаточно вспомнить Марию Годфруа, Джемса Кука, Антонио Фосса, обоих Дуровых и прочих. Да. И все

семейство Сур было очень талантливо. Ольга — грациозная иездица, Марта — высшая школа езды, младший сын Рудольф прекрасно работал «малабриста», то есть жонглировал, стоя на галопирующей лошади, всевозможными предметами, вплоть до горящих ламп. Старший сын Альберт занимался исключительно дрессировкой лошадей. Раньше он неподражаемо работал «жокея»; иные знатоки ставили его рядом с самим Куком. Но случилось несчастье, неловкий каскад с лошади за барьер, и Альберт сломал ногу. Конечно, это беда небольшая: нужно было бы только, чтоб его лечили свои, цирковые, по старым нашим тысячелетним способам. Но мамаша Сур оказалась женщиной с предрассудками: она обратилась к какому-то известному городскому врачу, ну и понятно: нога срослась неправильно, Альберт остался на всю жизнь хромым. Но, подумайте, пожалуйста, синьор Алессандро: если великий живописец ослеп, если великий компонист оглох, если великий певец потерял голос, — разве они для самих себя, внутри, не остались великими артистами? Так и Альберт Сур. Пусть он хроمال, но он был настоящей душой цирка. Когда на репетициях или на представлениях он, прихрамывая, ходил с шамбарьером в центре манежа, то и артисты и лошади чувствовали, как легко работать, если темп находится в твердой руке Альберта. Он одним быстрым взглядом замечал, что проволока натянута косо, что трапеция подвешена криво. И, кроме того, он так великолепно ставил большие пантомимы, как уже теперь никому не поставить. Впрочем, выходит теперь из моды прекрасное зрелище — пантомима.

У него был ангельский характер. Его все любили в цирке: лошади, артисты, конюхи, ламповщики и все цирковые животные. Он был всегда верным товарищем, добрым помощником, и как часто заступался он за маленьких людей перед папашей Суром, который, надо сказать, был старик скуповатый и прижимистый. Все это я так подробно рассказываю потому, что дальше расскажу о том, как я однажды решил зарезать Альберта перочинным ножом...

Если Альберт считался сердцем цирка, то, по совести, его главной красой и очарованием была младшая сестра Ольга. Старшая — Марта — была, пожалуй, краси-

вее — высокая, стройная, божественно сложенная и пер-
воклассная артистка. Но от работы ее веяло холодом и
математикой, а поклонников своих она держала на рас-
стоянии девятнадцати шагов, на длину манежного диа-
метра: так она была суха, горда, величественна и нераз-
говорчива. Ольга же вся, от волос, цвета лесного ореха,
до носочков манежной туфельки, была сама прелесть.
Впрочем, вы видели Ольгу, а кто ее видел, тот, наверное,
никогда не позабудет ее нежного лица, ее ласкового
взгляда, ее веселой невинной улыбки и милой грации всех
ее движений. Мы же, цирковые, знали и о ее природной
простодушной доброте.

Что же удивительного в том, что в Ольгу были влюб-
лены мы все поголовно, в том числе и я, тогда тридца-
тилетний мальчишка, работавший на пяти инструментах
в семье музыкальных клоунов Джеретти.

Я хорошо помню это утро. В пустом цирке было полу-
темно. Свет падал только сверху из стеклянного купола.
Ольга в простой камлотовой юбочке, в серых чулочках
репетировала с Альбертом. Мы, шестеро Джеретти, си-
дели, дожидаясь своей очереди, в первом ряду паркета.

Ольге все не задавался один номер. Она должна была,
стоя на панно, сделать подряд два пируэта, а затем пры-
жок в обруч. Всего четыре темпа короткого лошадиного
галоп: пируэт, пируэт, выдержка, прыжок. Но вот бы-
вают же такие несчастные дни, когда самая пустяжная
работа не ладится и не ладится. Ольге никак не удава-
лось найти темп для прыжка, все она собиралась сделать
его то немножко раньше, то немножко позже, а ведь скок
лошади — это непреложный закон. И вот только она со-
берет свое тело для прыжка и даже согнет ноги в коле-
нях, как чувствует, что не то, не выходит, и делает рукою
знак шталмейстеру: отведи обруч!

И так несколько кругов. Альберт не волнуется и не
сердится. Он знает, что оставить номер недоделанным ни-
как нельзя. Это тоже закон цирка: в следующий раз бу-
дет вдвое труднее сделать. Альберт только звонче шел-
кает шамбарьерным бичом и настойчивее посылает Ольгу
отрывистым: *Allez!* И еще и еще круг за кругом делает
лошадь, а Ольга все больше теряет уверенность и спо-
койствие... Мне становится ее жалко до слез. Альберт
кажется мне мучителем.

И вот, один быстрый момент. Я слышу повелительное, толкающее, точно удар, *allez!* — и одновременно вижу, как тонкий конец шамбарьера обвился вокруг стройной Ольгиной икры и дернулся назад. Ольга громко и коротко закричала. Вот так: *a!* — и в ту же секунду ловко прыгнула в обруч и опять стала на панно. Вот в этот-то момент я и вытащил из кармана мой только что купленный, ценою бог знает каких свирепых сбережений, перочинный ножик. Но напрасно я старался открыть лезвие, обломив ноготь большого пальца в узкой выемке. Пружина была нова, еще не расходилась и упорно не хотела поддаваться моим усилиям. И, конечно, только эта заминка спасла жизнь милому, доброму Альберту Суру. Пока я возился с ножиком, за это время моя тринадцатилетняя итальянская кровь перестала бурлить и клокотать. Ко мне вернулось сознание. Ведь надо сказать, что вкус, цвет и запах таких тонких блюд, как шамбарьер или рейтпейч, мне уже были знакомы с самых ранних детских дней. Но напрасно в публике и в цирковых романах ходит ошибочное мнение, что у нас будто бы учителя истязают учеников. Ведь для мальчишек нет более соблазнительного занятия, чем прыгать, скакать, кувыркаться, бороться и вообще побеждать закон притяжения. Однако в цирковых номерах бывает порою и жутковато и страшновато. Надо сделать то-то или то-то. Момент нерешительности, колебания... и вдруг тебя обожгло по задущке... Боль моментально заглушает трусость. Остается только приказание и желание ему повиноваться. Номер сделан так легко, точно ты раскусил орех. А учитель гладит всей пятерней твое мокрое лицо и говорит сразу на трех языках:

— *Brave, schön, bambino!*¹

Всю эту науку я, конечно, знал в совершенстве, но поставьте и себя на мое место: обожаемую, недостижимую богиню — и вдруг хлыстом по ноге? Чье юное сердце это вытерпит? Лучше уж хлестни лишний раз меня!

А Ольга между тем делала круг за кругом, пирует за пируетом, прыжок за прыжком, все свободнее, легче и веселее, и теперь ее быстрые, точно птичьи, крики: «*A!*» — звучали радостно. Я был в восторге. Я не утерпел и стал аплодировать. Но Альберт, чуть-чуть скосив на меня

¹ Прекрасно, мальчик (*франц., нем., итал.*).

глаза, показал мне издали хлыст. На репетициях полагается присутствующим молчание. Хлопать в ладоши — обязанность публики.

Потом Альберт скомандовал:

— Баста!

Большая, белая, в гречке, лошадь первая схватила приказание и перешла в ленивый казенный шаг. Ольга вся в поту села боком на панно, свесив свои волшебные ножки.

Альберт, быстро ковыляя, подошел к ней, взял ее обеими руками за талию и легко, как пушинку, поставил ее на тырсу манежа. А она, смеясь и радуясь, взяла его руку и поцеловала. Это — благодарность ученицы учителю.

ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА

Я уже рассказывал, синьор Алессандро, о том, какая была замечательная артистка Ольга Сур. Но у меня не хватило бы сил описать, как она была мила, добра и прекрасна. Теперь-то я понимаю, что в нее были влюблены все: и весь состав цирка, и все его посетители, и весь город Киев — словом, все, все, не исключая и меня, тринадцатилетнего поросенка. Однако влюбленность такого мальчишки ничего в себе дурного не таит. Так любит брат старшую сестру, сын молодую и красивую мать, ученик самого мелкого класса ученика выпускного класса, который уже безбоязненно курит и щиплет на верхней губе вырастающий пух первого уса.

Но как же я мог догадаться, что в Ольгу влюблен, и влюблен навеки, м-сье Пьер, незаметный артист из униформы? В цирковом порядке он был почти ничто. Им, например, затыкали конец вечера: оркестр играет галоп в бешеном темпе, а артист вольтижирует. Но вы понимаете сами: последний номер, публика уже встает, надевает шубы и шляпы, торопится выйти до толкотни... Где же ей глядеть на заключительный вольтаж? Мы-то, цирковые, понимали, как отчетлива и смела была работа Пьера, но, извините, публика никогда и ничего не понимает в нашем искусстве.

Также иногда в понедельник, в среду или в пятницу, в постные, так называемые «пустые», дни выпускали Пьера работать на туго натянутом корабельном канате:

старый номер, никого не удивляющий даже в Италии, в этой родине цирка, где цирковую работу любят и понижают. Но мы, цирковые, стоя за униформой, этого номера никогда не пропускали. Десять сальто-мортале на канате с балансиrom в руках. Это не шутка. Этого, пожалуй, кроме Пьера, никто бы не мог сделать в мире.

Устраивался иногда в цирке, чаще всего в рождественские и масленичные дни, так, для потехи градена, общий конкурс прыганья. Принимали в нем участие почти все артисты. Униформы, клоуны и шталмейстеры — все, кто умел крутить в воздухе сальто-мортале. Укреплялась на высоте второго яруса, около входа, гибкая длинная доска в виде трамплина, а на середине манежа постился большой матрац. Вот мы и прыгали все по очереди, а с каждым туром матрац отодвигался все дальше от трамплина, и с каждым разом выходили из игры один за другим соперники, у которых нехватало мужества или просто мускулов. Так представьте себе: Пьер всегда побеждал и оставался один для последнего прыжка, который он делал чуть не во всю длину манежного диаметра!

Теперь вы видите, что был он артистом первоклассным, а для цирка очень ценным и полезным. Однако судьба осудила его на полную безвестность. Ведь слава часто приходит не от труда, а от счастливого случая. Прибавлю еще, что Пьер был очень добр, скромен, услужлив и всегда весел. Его в цирке любили, но как-то всегда затирали на третье место.

Повторяю, был я тогда совсем желторотый птенец. Мне и в голову не могло прийти, что этот бесцветный старый Пьер (ему тогда было лет тридцать, но, по моему клопинуму масштабу, он казался мне чрезвычайно пожилым), что наш, незаметный Пьер смеет любить, да еще кого, саму Ольгу Сур, первую артистку цирка, мировую знаменитость, дочь грозного и всесильного директора, страшнее и богаче которого не было никого на свете. Я только с удивлением заметил его восторженные взгляды, когда он устремлял их на Ольгу во время репетиций и спектаклей.

Но наши, цирковые, давно уже поняли Пьерову болезнь. Случалось, что они добродушно подтрунивали над Пьером. Острили, что после вечера, на котором Пьеру удавалось держать обруч для Ольги, или помочь ей вско-

чить на панно, или подать ей руку, когда она, убегая по окончании номера с манежа, перепрыгивала через воображаемый барьер, Пьер шел на другой день в костел и там, полный благодарности, распластывался крестом перед статуей мадонны.

Тогда мне Пьер был смешон и жалок. Теперь-то, в моем очень зрелом возрасте, я понимаю, что Пьер был бесконечно смелым человеком. Однажды утром, во время репетиции, он наскоро перекрестился да взял и пошел к самому Суру в его директорский кабинет: «Господин директор, я имею честь просить у вас руку и сердце вашей младшей дочери, мадемуазель Ольги».

Старый Сур от великого изумления выронил одновременно и перо, которым только что подводил счета, и длинную вонючую австрийскую сигару, которую только что держал во рту. Он позвал свою старую жену и сказал:

— Послушай, Марижен, нет, ты послушай только, что говорят этот молодой человек, м-сье Пьер... Повторите-ка, молодой человек, повторите.

Старый Сур говорил ничтожному Пьеру на «вы»! Это был злейший признак. Никому во всей вселенной он не говорил «вы», за исключением местного пристава. Душа у Пьера дрогнула, но все-таки, прижав руку к середине груди, он сказал негромко:

— Мадам Сур, я сейчас имел честь и счастье просить у господина директора руку и сердце вашей прекрасной...

Мамаша Сур мгновенно вскипела:

— Как он осмелился, этот нищий конюх? Выброси сию же минуту этого негодяя из труппы и из цирка, чтобы им и не пахло больше!

Но старый Сур одним коротким поднятием ладони заставил ее успокоиться:

— Штилы!

Мадам Сур сразу поняла, что директор намерен немного позабавиться, и замолчала.

Старый Сур, не торопясь, достал с пола свою черную сигару и старательно вновь раскурил ее. Утопая в клубах крепкого дыма, начал он пробирать Пьера едкими, злыми словами. Так сытый и опытный кот подолгу играет с мышью, полумертвой от ужаса.

Как это Пьер мог додуматься до идеи жениться на дочери директора одного из первоклассных цирков? Или

он не понимает, что расстояние от него до семьи Суров будет больше, чем от земли до неба? Или, может быть, Пьер замаскированный барон, граф или принц, у которого есть свои замки? Или он переодетый Гагенбек? Или у него в Америке есть собственный цирк вместимостью в двадцать тысяч человек, но только мы все об этом раньше не знали?

А впрочем, не свихнулись ли у Пьера набок мозги при неудачном падении и не надлежит ли ему обратиться к психиатру? Только сумасшедший человек или круглый идиот может забыть до такой степени свое ничтожное место. Кто он? Безымянный служитель из униформы, которого обязанность подметать манеж и убирать за лошадьми их кротт. Действительно, вот приходит молодой человек, у которого в одном кармане дыра, а в другом фальшивый гривенник, и это вся стоимость молодого человека. Он приходит и говорит: господин Сур, я желаю жениться на вашей дочери, потому что я ее люблю и потому что вы дадите за нею хорошенькое приданое, и потому что я благодаря жене займу в цирке выдающееся положение. Нечего сказать — блестящая афера. Нехватало бы еще того, чтобы старый Сур передал этому бланбеку главное управление цирком!

Так, очень долго, пиявил, язвил и терзал бедного Пьера раздраженный Сур. Наконец он сказал:

— Ну, я понимаю, если бы у тебя было громкое цирковое имя или если бы ты изобрёл один из тех замечательных номеров, которые артисту дают сразу и славу и деньги. Но у тебя для этого слишком глупая голова. Поэтому — вон!

И это «вон» старый Сур выкрикнул таким повелительным громовым грлосом, что рядом, в конюшне, лошади, услышав знакомый директорский окрик, испуганно заматались в стойлах и затоптали ногами.

Бедный Пьер с похолодевшим сердцем выскочил из директорского кабинета. Но тут в темноте циркового коридора нежная женская рука легла ласково на его руку.

— Я все слышала, — сказала ему на ухо Ольга. — Не отчаивайтесь, Пьер. Говорят, что любовь делает чудеса. Вот, назло папе, возьмите и выдумайте совсем новый номер, самый блестящий номер, и тогда с вами будут говорить иначе. Прощайте, Пьер.

После этого происшествия Пьер внезапно пропал из цирка. Никому из товарищей он не писал. Начали его понемногу забывать. Все реже и реже вспоминали его имя, но, надо сказать, каждый раз с теплотой.

А через год, в разгаре зимнего сезона, он опять приехал в Киев и предложил старому Суру ангажировать его на новый номер, который назывался довольно странно: «Легче воздуха». Только теперь он не звался бледным именем Пьера; его имя стало Никаноро Нанни, и оно красовалось на всех заграничных афишах большими буквами и мелкой печатью в альбомах с иностранными газетными вырезками. Отзывы были так восторжены, что хитрый Сур не устоял: подписал контракт с Никаноро Нанни. Да и как же было устоять, когда и в Италии, и в Испании, и в Вене, и Берлине, и в Париже, и в Лондоне известнейшие знатоки циркового дела писали, что такие цирковые номера появляются лишь раз в столетие и говорят об усердной, долгой, почти невозможной тренировке.

Мы видели результаты этой дьявольской работы на пробной репетиции. Необычайное зрелище! Сам старый Сур не удержался и сказал:

— Это чудо! Если бы я не видел своими глазами, я никому бы не поверил.

А номер был на неопытный взгляд как будто простой. На высоте двух хороших человеческих ростов строилась неширокая площадка для разбега; она оканчивалась на середине манежа американским ясеневым трамплином, а на другой стороне манежа укреплялся обыкновенный бархатный тамбур такой величины, что можно было только поставить ноги, окончив прыжок. И что же делает Никаноро Нанни? Он берет в каждую руку по двадцатипятифунтовой гире, затем он делает короткий, но быстрый разбег, отталкивается со страшной силой от трамплина и летит прямо на тамбур...

Но во время этого полета, в какой-то необходимый, но неуловимый момент, он бросает обе гири, и тут-то, преодолев закон тяжести, ставши внезапно легче на пятьдесят фунтов, он неожиданно взвивается вверх и потом уж кончает полет, упав на тамбур. И этот-то невообразимый полет, клянусь вам, синьоро Алессандро, производил каждый раз на нас, всего навидавшихся в цирке, ощущение какой-то внезапной светлой радости. Такое же чувство я

испытал гораздо позже, когда увидел впервые, как полз, полз по земле аэроплан и вдруг отделился от нее и пошел вверх.

Да, мы многого ждали от этого номера, но мы просчитались, забыв о публике. На первом представлении публика хотя и не поняла ничего, но немного аплодировала, а уж на пятом — старый Сур прервал ангажемент, согласно условиям контракта. Спустя много времени мы узнали, что и за границей бывало то же самое. Знатоки вопили от восторга. Публика оставалась холодна и скучна.

Так же, как и Пьер год назад, так же теперь Никаноро Нанни исчез бесследно и беззвучно из Киева, и больше о нем не было вестей.

А Ольга Сур вышла замуж за грека Лапиади, который был вовсе не королем железа, и не атлетом, и не борцом, а просто греческим арапом, наводившим ма-рафет.

ПОТЕРЯННОЕ СЕРДЦЕ

Из Гатчинской авиационной школы вышло очень много превосходных летчиков, отличных инструкторов и отважных бойцов за родину.

И вместе с тем вряд ли можно было найти на всем пространстве неизмеримой Российской империи аэродром, менее приспособленный для целей авиации и более богатый несчастными случаями и человеческими жертвами. Причины этих печальных явлений толковались различно. Молодежь летчицкая склонна была валить вину на ту небольшую рощицу, которая росла испокон десятилетий посредине учебного поля и нередко мешала свободному движению аппарата, только что набирающего высоту и скорость, отчего и происходили роковые падения. Гатчинский аэродром простирался как раз между Павловским старым дворцом и Балтийским вокзалом. Из западных окон дворца роща была очень хорошо видна. Рассказывали, что этот кусочек пейзажа издавна любила покойная государыня Мария Феодоровна, и потому, будто бы, дворцовый комендант препятствовал сношению досадительной роши, несмотря на то, что государыня уже более десяти лет не посещала Гатчины.

Конечно, молодежь могла немного ошибаться. Ведь известно, что всех начинающих велосипедистов, летчиков, конькобежцев и прочих спортсменов всегда неудержимо гнет к препятствиям, которые очень легко возможно было бы обойти.

Опытные, дальновидные начальники школы судили иначе: они принимали во внимание топографическое положение Гатчины с окружающими ее болотами и лесами, с близостью Финского залива и Дудергофской горы и, исходя из этих данных, объясняли капризность, переменчивость и внезапность местных ветров. В виде примера они приводили спортивный перелет из Петербурга в Москву штатских авиаторов: Уточкина, Лерхе, Кузьминского, Васильева и еще каких-то трех. Все они сели самым жестоким образом на ничтожных Валдайских возвышенностях, поломав вдребезги свои аппараты. Продолжать полет мог только Васильев, и то лишь потому, что Уточкин, сам с разбитым коленом, отдал ему великодушно все запасные части, помог их приладить и лично запустил мотор...

Трагическое, возвышенное и гордое впечатление производил этот угол на гатчинском кладбище, где беспокойные, отважные летчики находили свой глубокий вечный сон. Вместо памятников над ними водружались пропеллеры. Издали это кладбище авиаторов походило на высокий, беспорядочно воткнутый частокол, но, подходя к могиле ближе, каждый испытывал волнующее высокое чувство. Казалось, что вот, с необычайной высоты упала прекрасная мощная птица и, разбившись о землю, вся вошла в нее. И только одно стройное крыло подымается высоко и прямо к далекому небу и еще вздрагивает от силы прерванного полета.

Жуток и величествен был обычай похоронных проводов убившегося товарища. На всем пути в церковь и потом на кладбище его сопровождала, кружась высоко над ним, летучая эскадра из всех наличных летчиков школы, и рев аэропланов заглушал идущее к небу последнее скорбное моление: «Святой боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас».

Суров был и, пожалуй, даже немного жесток другой неписанный добровольный товарищеский обычай. Если летчику, по несчастному случаю или по неловкой ошибке, случалось угробить аэроплан, то на это крушение большого внимания никто не обращал. Если оно происходило далеко от аэродрома, то летчик телефонирует в школу,

а если близко, то его падение бывало видно с поля. Очень быстро приезжали авиационные солдаты и на телегах увозили остатки катастрофы. Но если угробливался или опасно искалечивался сам летчик, то его везли в госпиталь. И в тот же час, хотя бы его труп лежал еще тут же, у всех на виду на авиационном поле, все летчики, находящиеся на службе, выдвигали из ангаров или брали с поля готовые аппараты и устремлялись ввысь. Опытные летуны пробовали выполнить задачу, заданную на сегодня несчастному собрату, другие старались повысить собственные рекорды. Тишечно было бы искать происхождения такого вызова судьбе в параграфах военно-авиационного устава. Это был неписанный закон, священный обычай, словесный «адат» мусульман, выработанный инстинктом, необходимостью и опытом. Летчик всегда должен оставаться спокойным, даже тогда, когда его лицо обледенит близкое дыхание смерти. «Вот убили твой товарищ, одноклассник и друг. Его прекрасное молодое тело, вмещавшее столько божественных возможностей, еще хранит человеческую теплоту, но глаза уже не видят, уши не слышат, мысль погасла и душа отлетела бог весть куда. Крепись, летчик! Слезы прольешь вечером. Дыши ровно. Не давай сердцу биться. Потеряешь сердце — потеряешь жизнь, честь и славу. Руки на рукоятках. Ноги на педалях. Взревел мотор, сотрясая громадный аппарат. Вперед и выше! Прощай, товарищ! Бьет в лицо ветер, уходит глубоко из-под ног темная земля. Выше! Выше, летчик!»

В то время, незадолго до войны и в первые годы войны, чрезвычайно, даже чрезмерно многие молодые люди жадно стремились попасть в военную авиацию. Поводов было много: красивая форма, хорошее жалование, исключительное положение, отблеск героизма, ласковые взгляды женщин, служба, казавшаяся издала необременительной и очень веселой и легкой. Реже других попадали в авиационные школы люди настоящего призвания, приобщенные люди-птицы, восторженно мечтающие о терпких и сладких радостях летания в воздухе, те люди, о которых Пушкин говорил:

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог.

Но надо сказать, что эти разверзатели пространств, эти летуны милостью божиею удивительно редко встречаются в природе, и, к тому же, они совсем лишены великих даров назойливости, попрошайничества и втирательства через протекции.

Но и протекции все равно не помогали. Новичков принимали в авиационную школу, протискивая их через густое сито. Будущий летчик должен был обладать: совершенным и несокрушимым здоровьем; большой емкостью легких; способностью быстро ориентироваться как на земле, так и в воздухе; верным умением находить и держать равновесие; острым зрением, без намека на дальтонизм; безукоризненным слухом, физической силой и, наконец, сердцем, работающим при всяких положениях с холодной, неизменной точностью астрономического хронометра.

Про храбрость, смелость, отвагу, дерзость, неустрашимость и про прочие сверхчеловеческие душевные качества летчика в этом летающем мире никогда или почти никогда не говорилось. Да и зачем? Разве эти, столь редкие ныне, качества не входили сами по себе в долг и обиход военного авиатора?.. Хвалили Нестерова, впервые сделавшего мертвую петлю. Хвалили Козакова, снизившего восемнадцать вражеских аэропланов. Хвалили, но не удивлялись: удивление так близко к ротозейству!

Немудрено, что при столь строгом испытании и при такой суровой дисциплине наибольшая часть неспособных, ненужных, никуда не годящихся кандидатов в летчики отваливалась вскоре сама собою, как шлак или мусор. Оставался безукоризненный, надежный отбор. Но даже среди этих избранных, при первых опытах полета, находились еще неудачники, люди смелые, ловкие, влюбленные в авиацию, но — увы! — лишенные какого-то из великих даров приближения к небу. Те уходили молча, с горестью в душе, и старые летчики провожали их с грубоватым и дружеским сожалением, хотя иных из них приходилось провожать только до кладбища.

Овладевал, между прочим, не только молодыми, но и опытными, закаленными знаменитыми летчиками особый трудно объяснимый и неизлечимый, внезапный недуг, который назывался «потерей сердца» и о котором ни один из авиаторов не позволил бы себе отозваться насмешливо или легкомысленно.

Здесь под понятием «сердца» не надо предполагать мощный мускул на левой стороне человеческой груди, который самоотверженно и послушно многие годы нагнетает кровь во все закоулки нашего тела. Нет! Здесь подразумевается символ психологический, моральный. Потерять сердце — это для летчика значит потерять божественную свободу разгуливать в небесном пространстве по своей воле на хрупком аппарате, пронизывать облака, спокойно встречать дождь, снег, ураган и молнии, ничуть не теряясь оттого, что ты совершенно не знаешь: летишь ли ты во тьме, на юг или на запад, вверх или вниз.

Одно из поразительнейших явлений — это потеря сердца. Ее знают акробаты, всадники и лошади, борцы, боксеры, бреттеры и великие артисты. Эта странная болезнь постигает свою жертву без всяких последовательных предупреждений. Она является внезапно, и причин ее не сыщешь.

Вот так же неожиданно потерял сердце на Гатчинском аэродроме славный авиатор и отличный инструктор Фединька Юрков (ударение на о), о котором в наивной гатчинской авиационной звериnade пелось:

Кто хоть пьян, но в бой готов?
Это Фединька Юрков...
Химия, химия,
Сугубая химия... и т. д.

Поступил он в авиацию не очень рано, лет двадцати семи-восьми, из кавалерии. Надо сказать, что кавалеристам легче, чем простым смертным, давалась несложная, но все-таки требующая присутствия духа наука управления авионом, ибо работа над лошадью поводьями и шенкелями имеет много общего с маневрами летчиков.

Служил он раньше хотя и не в гвардейском, а в армейском полку, но полк от времен седой старины был покрыт исторической славой.

Замечателен он был еще тем, что в нем, как и в двух других кавалерийских полках, всему составу господ офицеров и всем вахмистрам полагалось быть холостыми, и на это крутое правило никогда не было ни исключений, ни поблажек.

Что-то было в милом Фединьке Юркове от легендарных героев кавалеристов 1812 года — от Милорадовича,

от Бурцева, еры забияки, от Дениса Давыдова, от Сеславина: хриплый командный голос с приятной сипловатостью, походка немного раскорякою; внешняя грубость и внутренняя правдивая доброта и, наконец, блестящая лихость в боевых делах. Вся русская военная авиация знала и с улыбкой вспоминала о его забавном и опасном приключении в начале войны на Западном фронте. Ему была поручена воздушная разведка. Штабу наверняка было известно, что немцы находятся где-то довольно близко, верстах в тридцати — сорока, но в каком направлении — никто не ведал.

Юрков быстро поднялся в воздух, имея позади себя наблюдателя с бомбой, знавшего прекрасно немецкий язык, бывшего ученика петербургской Петершуле, славного и сильного малого и из «русских распро-русского».

Погода в верхних слоях была моросливая с густым тяжелым туманом. Пилот вскоре потерял намеченный путь, перестал ориентироваться и решил приземлиться, чтобы опознаться в местности. Судьба и начавшийся ветерок руководили им. Он спустился как раз на широкую и теперь безлюдную площадь города Гумбинена, как раз напротив опрятного кабачка, тонувшего во въющей зелени. Город, несмотря на рев спускавшегося авиона, продолжал безмолвствовать, как в сказке о спящей царевне. Вероятно, звуки мотора были здесь обычным явлением. Из кабачка пахло кофеем и жареной колбасой. У Юркова сразу созрел план действий:

— Надо узнать, какой это город, и вытянуть, какие удастся, сведения. Итак, слушайте, Шульц: я — лейтенант кайзерской авиации, вы — мой унтер-офицер. Я ранен в горло и потому говорю совсем невнятно. Я буду хрипеть и сопеть. Так мне легче будет маскировать мое незнание немецкого языка, а берлинский жаргон я умею ловко передразнивать. Немецкие деньги у вас. Дайте сюда и идемте фриштыкать. Если возникнут недоразумения по поводу нашей формы, говорите, что наша секретная задача этого требует для заманивания в мешок этих руссише швейне, и вообще ругайте нас без всякого милосердия. Когда подкрепитесь, идите к аппарату. Ну, форвертс¹.

¹ Вперед (нем.).

В опрятной столовой они выпили кофе с молоком, съели вкусный сытный завтрак из яичницы с ветчиной, жареных толстых сосисок и доброго сыра, запивали же его онн дрянным шнапсом и отличным бархатным черным пивом.

Шульц без конца болтал на настоящем чистейшем немецком языке и ловко успел выведать, что город называется Гумбиненом, что отряды кайзера пробыли в нем четыре дня, а потом ушли куда-то на восток и теперь их не видно и не слышно уже трое суток, а в городе остались лишь раненые и инвалидная команда. Юрков произносил картаво, хрипло и густо, из самой глубины горла, односложные слова «Мозн», «маальцейт», «проозит», «коллосаль», «пирамидаль»¹, а огромного, толстого, раздутого пивом хозяина звал, хлопая его дружески по жирной спине: «Май либа фаата»².

Если Ницше называл прусский берлинский язык плохой и бездарной пародией на немецкий, то юрковская пародия выходила замечательно.

Две милые женщины прислуживали за столом: полная — чтобы не сказать толстая — хозяйка, цветущая пышной, обильной красотой сорокалетней упитанной немки, и ее дочь, свеженькая «бакфиш»³, с невинными голубыми глазами, розовым лицом, золотыми волосами и губами красными, как спелая вишня.

«Эх, пожить бы нам здесь всласть дня два, три,— мечтательно подумал Феденька.— Я бы поволочился за фрау, а фрейлен предоставил бы Шульцу. Конечно, ничего дурного! Просто — буколическая идиллия под каштанами немецкого тихого городка...»

Но в эту минуту скорым ходом вернулся от аэроплана Шульц. Он чуть-чуть кивнул головой в знак того, что все обстоит благополучно, но легкое движение его ресниц красноречиво указало на дверь.

— Извините. Одна минута,— сказал по-немецки голосом чревовещателя Юрков и вышел.

— В чем дело?

¹ От слов *Motegin* — здравствуйте; *Malzeit* — завтрак; *Prosit* — на здоровье; *Kolossal* — колоссальный; *Piramidal* — пирамидальный (нем.).

² Мой дорогой отец (нем.).

³ Девочка-подросток (нем.).

— Проезжал в шарабане немец и остановился, чтобы сказать другому немцу, что по дороге он видел с холма большой немецкий отряд, идущий в колонне на Гумбинен. Что прикажете делать, господин ротмистр?

— Сниматься с якоря. Идем попросимся с милыми хозяевами. — Он расплатился за завтрак с такой щедростью, на какую никогда бы не отважился ни один немецкий эрцгерцог, и притом расплатился не жалкими бумажками, а настоящими серебряными гульденами. Пораженная сказочной платой, хозяйка навязала почти насильно авиаторам корзиночку с провизией, и растроганный Юрков вlepил ей в самые губы сердечный поцелуй. Хозяин охотно вызвался отыскать двух сильных людей, чтобы пустить в ход пропеллер аппарата. Через десять минут мощный «Маран-Парасоль», отодравшись от земли, уже летел легко к разъяснившемуся небу, а немецкие друзья махали вслед ему шляпами и платками.

Вскоре с большой высоты они увидали сплошную гусеницу немецкой колонны, казавшейся почти неподвижной.

— Господин ротмистр, — прокричал в слуховую трубку Шульц, указывая на гнездо, в котором лежала бомба. — А не пустить ли в них этой мамашей?

На что Юрков, никогда не терявший спокойствия, ответил серьезно:

— Нет, мой молодой друг! Наше точное задание — разведка. Часто — увы! — из-за сурового долга приходится отказывать себе в маленьких невинных удовольствиях!..

Вечером, в офицерском собрании, за ужином, в который входили и гумбиненские толстые сосиски, Фединька Юрков рассказал эту историю при громком хохоте всех летчиков. Ему не чужд был соленый грубоватый юмор.

Юрков поступил в авиацию за год до войны. На войне он с успехом летал сначала на таких старых первобытных аппаратах, каких давным-давно и помину не было во всех воюющих армиях. Немцы говорили: «Самые храбрые летчики — это русские. Немецкий летчик считал бы безумием сесть на один из их аппаратов». Юркова точно чудом спасали от смерти его отвага, хладнокровие и находчивость.

За это время он успел все-таки сбить шесть вражеских

аэропланов. В тысяча девятьсот шестнадцатом году он получил две пулевых раны и был из госпиталя командирован в Гатчинскую школу, в качестве инструктора. Вернее, это был замаскированный отдых.

Как товарищ Юрков, несмотря на некоторую шершавость характера, отличался добротой, готовностью к услуге, всегдашней правдивостью и был любимейшим компаньоном. Как инструктор он был строг и крайне требователен. Он как будто бы совсем позабыл о том постепенном преодолении трудностей, о той постоянной гимнастике духа и воли, которые неизбежны при обучении искусству авиации. Большинство учеников сбегало от него к другим, более мягким, инструкторам, но зато из молодежи, обтерпевшейся в его жестких руках, выходили немногие, но первоклассные летчики.

В Гатчине Феденька Юрков выбрал своим жильем гостиницу Веревкина, на вывесках которого золотом по черному было написано: на одной «Vieux Verevkin»¹, а на другой «Распивочно и раскурочно» — старый наивный след пятидесятих годов.

Гатчина, городишко тихий, необщительный, летом весь в густой зелени, зимой весь в непроходимом снегу. Там семьи редко знакомятся друг с другом. Нет в нем никаких собраний, увеселений и развлечений, кроме гаденького кинематографа.

Никогда ни одного человека нельзя было встретить: ни в Приоратском парке, ни в дворцовом, ни в зверинце. Замечательный дворец Павла Первого не привлекал ничего внимания, пустовали даже улицы.

Вот именно в передней плохонького синема, после сеанса, Феденька и увидел Катеньку Вахтер.

Дожидаюсь, пока ее матушка разыскивала свои га-лоши, а потом кутала шею и голову вязаным платком. Катенька стояла перед зеркалом, кокетничала со своею новою шляпой и вполголоса говорила подруге о своих впечатлениях, склоняя личико то на один, то на другой бок.

— Ах, Макс Линдер! До чего он хорош! Это что-то сверхъестественное, не объяснимое никакими челове-

¹ «Старый Веревкин» (франц.).

скими словами! Какое выразительное лицо. Какие прелестные жесты!

Тут она повернула головку направо, и глаза ее столкнулись в зеркале с глазами Юркова. Она глядела прямо на летчика, но глядела машинально: она его не видела и продолжала говорить с преувеличенной страстностью, упираясь зрачками в его зрачки.

— Он безумно, безумно мне нравится! Я еще никогда не видала в жизни такого прекрасного мужчину! Вот человек, которому без колебаний можно отдать и жизнь, и душу, и все, все, все. О, я совсем очарована им!

В это мгновение восторженный образ Юркова влился в сознание барышни Вахтер. Она покраснела и поспешила спрятаться за широкую спину маменьки. Но про себя она сказала по адресу офицера, жадно пялившего на нее восхищенные глаза:

«Какой дерзкий нахал!»

Юрков отлично заметил ее гордый, небрежный и презрительный взгляд. Но... все равно... Теперь ему уже не было спасенья. Стрела амура успела пронзить в этот момент его мужественное сердце, и он сразу же заболел первой любовью: любовью нежной, жестокой, непреодолимой и неизлечимой.

В доме Вахтеров иногда бывали гатчинские летчики. Один из них, поручик Коновалов, ввел Юркова в этот дом, и с тех пор Феденька зачастил туда с визитами. Он приносил цветы и конфеты, участвовал в пикниках и шарадах, держал для мамы на распяленных пальцах мотки шерсти, водил папашу, акцизного надзирателя и старого мухобоя, в офицерское собрание, где, хоть и не без труда, но удавалось иногда выпросить стакан спирта у заведующего хозяйством школы, капитана Озеровского. Недаром в исторической записке писалось:

А чтоб достать порою спирт,
Нам с Озеровским нужен флирт,
Химия, химия,
Сугубая химия.

Скрепля сердце играл Юрков в маленькие семейные игры и танцевал под мамашину музыку самые неуклюжие вальсы, венгерки и падэспани. Всем было известно, что он без ума влюбился в Катеньку. Товарищи летчики удивлялись. Что он нашел в этой тоненькой семнадцатилетней

девчонке? Она была мала ростом, с бледным лицом в пупырышках; к тому же была у нее неисправимая, дурная привычка беспрестанно двигать кожу на лбу, так что морщины подымались вверх до корней волос, что придавало лицу Катеньки глупое и всегда удивленное выражение. Не пленила ли Феденьку ее трепетная юность?

Бывший офицер славного холостого кавалерийского полка никогда не знал чистой, свежей любви. Он, подобно своим товарищам драгунам, всегда в любовных делах занимался дальним каперством, чтобы не сказать пиратством, и вообще легкими амурами. Теперь он любил с уважением, с обожанием, с вечной иссушающей мечтой о тихих радостях законного брака. Это стремление к семейному раю порою глубоко изумляло его самого, !! он иногда размышлял вслух:

— Гм... Попался который кусался!..

Пробовал он порою закидывать косолапые намеки на предложение руки и сердца. Но куда девалось его прежнее развязное и бесцеремонное красноречие. Слова тяжело вязли во рту, а часто их и вовсе не хватало. Его жениховских подходов как будто никто не понимал...

К тому же всем давно было известно, что Катенька влюблена в Жоржа Востокова, двадцатипятилетнего летчика, который, несмотря на свою молодость, считался первым во всей русской авиации по искусству фигурного пилотажа. Кроме того, румяный Жоржик премило пел нежные романсы, аккомпанируя себе на мандолине и на рояле. Но он не обращал никакого внимания на Катюшины взоры, вздохи и на томные приглашения прокатиться на лодке по Приоратскому пруду. Вскоре он и совсем перестал бывать у Вахтеров.

Убедившись, наконец, в своей полной и бесповоротной неудаче, Юрков заскучал, захандрил, изнемог, и более двух недель он под разными предлогами не выходил из гостиницы «Vieux Verevkin» и вернулся на службу лишь после многозначительной бумаги начальника школы. Пришел он на аэродром весь какой-то мягкий, опущенный, с исхудалым и потемневшим лицом, и сказал товарищам пилотам:

— Я хворал и потому совсем раскис. Но теперь мне гораздо лучше. Попробую сегодня подняться на четыре тысячи. Это меня взбодрит и встряхнет.

Ему вывели из гаража его чуткий, послушный «Моран-Парасоль». Все видели, как ловко, круто и быстро он поднялся до высоты в тысячу метров, но на этой высоте с ним стало делаться что-то странное. Он не шел выше, вилял, несколько раз пробовал подняться и опять спускался. Все думали, что у него случилось что-нибудь с аппаратом. Потом он стал снижаться планирующим спуском. Но аэроплан точно шатался в его руках. И на землю он сел неуверенно, едва не сломав шасси... Товарищи подбежали к нему. Он стоял возле машины с мрачным и печальным лицом.

— Что с тобою, Феденька? — спросил кто-то.

— Ничего... — ответил он отрывисто. — Ничего... Я потерял сердце, как ни бился — не могу и не могу подняться выше тысячи метров, — и знаете? никогда не смогу.

Покачиваясь, он пошел через авиационное поле. Никто его не провожал, но все долго и молча глядели ему вслед.

Немного придя в себя, Юрков на другой день, и на третий, и на следующий пробовал одолеть тысячную высоту, но это ему не давалось. Сердце было потеряно навеки.

ЮНКЕРА

(Главы из романа)

ТАНТАЛОВЫ МУКИ

Первое, чему неизбежно учили каждого юного юнкера, была заповедь:

— Сначала забудьте все то, чему вас учили в кадетском корпусе. Теперь вы не мальчики, и каждый из вас, в случае необходимости, может быть мгновенно призван в состав действующей армии и, следовательно, отправлен на поле сражения. Значит, каждого указания и приказа старших слушаться и подчиняться ему беспрекословно.

И правда, очень многому, почти всему приходилось переучиваться наново.

— Чтобы плечи и грудь были поставлены правильно,— учил Дрозд,— вдохни и набери воздуха столько, сколько можешь. Сначала затаи воздух, чтобы запомнить положение груди и плеч, и когда выпустишь воздух, оставь их в том же самом порядке, как они находились с воздухом. Так вы и должны держаться в строю.

Всегда ходи и держись, даже вне строя, так, как подобает воину. Не шаркайте подметками, не везите, не волочите ног по полу. Шаг легкий, быстрый, крупный и веселый. Идете вдвоем, непременно идите в ногу. Даже

когда идешь один, в уборную, и то иди, как будто идешь в ногу. Никогда не горбиться. Для этого научись держать высоко голову, однако не выставляя вперед подбородок и, наоборот, втягивая его в себя... Александров! Сейчас вы промаршируете вперед и назад. Попробуйте итти сгорбившись, а голову как можно выше. Ну. Шагом марш! Раз-два, раз-два. Стой! Ну что, юнкер Александров? Ловко ли сутулиться, а голову держать высоко?

— Никак нет, ваше высокоблагородие (так величали юнкера офицеров в строю и по службе). Даже скорее трудно.

— Ну вот, теперь поняли? А жаль, что вы сами себя в это время не видели. Зрелище было довольно-таки гнусное... Итак, друзья мои, никогда не забывайте, что на вас вся Москва омотрит. Гляди, как орел, ходи женихом. Вы же, юнкера второго курса, следите зорко за этими желторотыми. Не скупитесь на замечания и выговоры. Им это будет только на пользу. Ибо,— и тут он возвысил голос до окрика,— ибо, как только увижу, что мой юнкер переваливается, как брюхатая попадья, или ползет, как вошь по мокрому месту, или смотрит на землю, как разочарованная свинья, или свесит голову набок, подобно этакому увядающему цветку,— буду греть беспощадно: лишние дневальства, без отпуска, арест при исполнении служебных обязанностей.

Да, это были дни воистину учетверенного нагревания. Грел свой дядька-однокурсник, грел свой взводный портупей-юнкер, грел курсовой офицер и, наконец, главный разогреватель красноречивый Дрозд, лапидарные поучения которого как-то особенно ядовито подчеркивались его легким и характерным заиканием.

Учили строевому маршу с ружьем, обязательно со скатанной шинелью через плечо и в высоких казенных сапогах, но учили также и легкой, уверенной, красивой городской походке. Учили простой стойке, с ружьем и без ружья. Учили или, вернее, переучивали ружейные приемы.

Сравнительно с легкими драгунскими берданками, которые употреблялись в корпусе, двенадцати с половиною фунтовые пехотные винтовки были с непривычки тяжеловаты. Поднять за штык на вытянутой руке такую винтовку мог среди первокурсников один Жданов.

Но больше всего было натаскивания и возни с тонким искусством отдания чести. Учились одновременно и во всех длинных коридорах и бальном (сборном) зале, где стояли портреты выше человеческого роста императоров Николая I и Александра II и были врезаны в мраморные доски золотыми буквами имена и фамилии юнкеров, окончивших училище с полными 12 баллами по всем предметам.

Здесь практически проверялась память: кому и как надо отдавать честь. Всем господам обер- и штаб-офицерам чужой части надлежит простое прикладывание руки к головному убору. Всем генералам русской армии, начальнику училища, командиру батальона и своему ротному командиру честь отдается, становясь во фронт.

— Смотри, Александров, — приказывает Тучабский. — Сейчас ты пойдешь мне навстречу. Я — командир батальона. Шагом марш, раз-два, раз-два... Неотчетливо сделал полуоборот на левой ноге. Повторим. Еще раз. Шагом марш... Ну, а теперь опоздал. Надо начинать за четыре шага, а ты весь налез на батальонного. Повторить... раз-два. Эко, какой ты непонятливый фараон! Рука приставляется к борту бескозырки одновременно с приставлением ноги. Это надо отчетливо делать, а у тебя размазня выходит. Отставить! Повторим еще раз.

Конечно, эти ежедневные упражнения казались бы бесконечно противными и вызывали бы преждевременную горечь в душах юношей, если бы их репетиторы не были так незаметно терпеливы и так сурово участливы.

Случалось, они резко одергивали своих птенцов и порою, чтобы расцветить монотонность однообразной работы, расцветчивали науку острым крупным солдатским словечком, сбереженным от времен далеких училищных предков. Но злора, придирчивость, оскорбление, издевательство или благоволение к любимчикам совершенно отсутствовали в их обращении с младшими. Училищное начальство — и Дрозд в особенности — понимало большое значение такого строгого и мягкого, семейного, дружеского военного воспитания и не препятствовало ему. Оно по справедливости гордилось ладным табуном своих породистых однолеток и двухлеток жеребчиков — горячих, смелых до дерзости, но чудесно послушных в умных руках, умело соединяющих ласку со строгостью.

Прежний начальник училища, ушедший из него три года назад, генерал Самохвалов, или, по-юнкерски, Епишка, довел пристрастие к своим молодым питомцам до степени, пожалуй, немного чрезмерной. Училищная неписанная история сохранила многие предания об этом взбалмошном, почти неправдоподобном, почти сказочном генерале.

Ему ничего не стоило, например, нарушить однажды порядок торжественного парада, который принимал сам командующий Московским военным округом. Несмотря на распоряжение приказа, отводившего место батальону Александровского училища непосредственно позади гренадерского корпуса, он приказал ввести и поставить свой батальон впереди гренадер. А на замечание командующего парадом он ответил с великолепной самоуверенностью:

— Московские гренадеры — украшение русской армии, но, согласитесь, ваше превосходительство, с тем, что юнкера Александровского училища — это московская гвардия.

И он настоял на своем. Неизвестно, как сошла ему с рук эта самодурская выходка. Впрочем, вся Москва любила свое училище, а Епишка, говорят, был в милости у государя Александра III.

Рассказывали о таком случае. Какой-то пехотный подпоручик, да еще не московского гарнизона, да еще, говорят, не особенно трезвый, придрался на улице к юнкеру-второкурснику якобы за неправильное отдавание чести и заставил его несколько раз повторить этот прием. Собралась глазастая московская толпа. Юнкер от стыда, от оскорбления и бешенства сделал чрезвычайно тяжелый дисциплинарный проступок. Заметив проезжавшего легкую рысью лихача на серой лошади, он вскочил в пролетку и крикнул: «Валяй во-всю». Примчавшись в училище, потрясенный только что случившейся с ним бедою, он прибежал к Самохвалову и рассказал ему подробно все совершившееся с ним. Епишка кричал на него благим матом с полчаса, а потом закатал его в карцер, всей полнотой своей грузной начальнической власти, под усиленный арест. Когда же прибыл в училище обиженный пехотный подпоручик со своею жалобой, Самохвалов приказал выстроить все училище.

— Юнкер моего училища,— сказал он,— не мог бы совершить такого проступка. Впрочем, сделайте милость, вот вам все мои юнкера. Ищите виновного.

Конечно, подпоручик, растерявшийся под обстрелом четырехсот пар насмешливых и недружелюбных взглядов, не нашел своего обидчика, а юнкер благополучно избег отдачи в солдаты почти накануне производства.

Много других подобных поблажек делал Епишка своим возлюбленным юнкерам. Нередко прибегал к нему юнкер с отчаянной просьбой: по всем отраслям военной науки у него баллы душевного спокойствия, но преподаватель фортификации только и знает, что лепит ему шестерки и даже пятерки... Невзлюбил сироту! И вот в среднем никак не выйдет девяти, и прощай теперь первый разряд, прощай старшинство в чине...

Тогда Епишка неизменно гнал юнкера в карцер, оставлял на две недели без отпуска и назначал на три внеочередных дежурства. А потом вызывал к себе учителя, полковника инженерных войск, и ласково, убедительно, мягко говорил ему:

— Ах, полковник! Я ведь давно позабыл высокое искусство фортификации. Помню, как сквозь сон, Вобана, Тотлебена, ну, там, какие-то барбеты, траверсы, капониры... а вы ведь в этом деле восходящая звезда первой величины. Но, согласитесь же, полковник: разве мой юнкер может знать фортификацию меньше, чем на девять, тем более такой отличный юнкер? Краса и гордость училища. Уверяю вас, он будет самым достойным офицером. Но куда же ему в инженеры? Тут необходим талант и такая светлая голова, как у вас. Ну, согласитесь же с тем, что, скрепя сердце, все-таки можно моему юнкеру натянуть на девятку?

И полковник соглашался:

— Бог с ним, с этим сумбурным Епишкой... Уж лучше с ним не связываться.

Но странно: юнкерам был забавен Самохвалов своей закидливостью и своим фейерверочным темпераментом; ценили его преданность училищу и его гордость своими александровцами. Но в глубине души не любили и не уважали его за одну несправедливую черту. Ублажая и распуская юнкеров, он с беспощадной, бурбонской жесто-

кой грубостью обращался с подчиненными ему офицерами. Необыкновенно тяжелы были его взыскания, налагаемые на офицеров, но еще труднее им было переносить, в присутствии юнкеров, его замечания и выговоры, переходящие порой в бесстыдные ругательства, оскорблявшие и их и его честь.

Впрочем, на этой почве его ждало тяжелейшее возмездие. Первым вышел из терпения штабс-капитан Квалиев, грузин, герой турецкой кампании 1877—1878 годов, георгиевский кавалер, тяжело раненный при взятии Плевны, офицер, глубоко почитаемый юнкерами. После одной из безобразных выходок Самохвалова Квалиев пришел к нему на квартиру и потребовал от него объяснений (говорят, что от лица всех офицеров). В результате этого свидания было то, что Самохвалов оставил училище и был переведен командиром бригады на крайний юг России. Про Квалиева говорили мало и темно. Были вести, что он покончил впоследствии жизнь самоубийством.

ДРОЗД

В четвертой роте числится сто юнкеров, но на рождественские каникулы три четверти из них разъехалось из Москвы по дальним городам и родным тихим гнездам: кто в Тифлис, кто в Полтаву, Полоцк, Смоленск, Симбирск, Новгород, кто в старые деревенские имения. Им хорошо: сплошь две недели отдыха, веселия, приключений, охоты, поездок ряжеными; никакой заботы и памяти об училище. Они вернутся в него лишь десятого января, осипшие от дороги, загоревшие крепким зимним загаром, потолстевшие, с большим запасом домашних варений, солений; сухих яблоков, малороссийского сала, чурчхелы, бадриджанов и прочей снеди.

А вот коренным москвичам туго. Изволь являться трижды в неделю в училище, да еще ровно к семи часам утра, и только для того, чтоб на приветствие Дрозда (командира четвертой роты, капитана Фофанова) проорать: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие». А зачем? Мы, здешние, также никуда не убежим, как и иногородние.

Приблизительно так бурчит про себя господин обер-офицер Александров, идя торопливыми большими шагами по Поварской к Арбату. Вчера была елка и танцевали у Андриевичей. Домой он вернулся только к пяти часам утра, а подняли его насилу-насилу в семь без двадцати. Ах, как бы не опоздать! Вдруг залепит Дрозд трое суток без отпуска. Вот тебе и рождество...

Глаза у Александрова еще не совсем проснулись после короткого сна, в них чувствуется резь и усталость. Но запах снега так вкусен, мороз так весел, быстрое движение так упорно гонит горячую кровь по всему телу... Через две минуты Александров спрашивает самого себя с удивлением: «Где же моя усталость, недовольство и кислота?» Их нет, исчезли. Тело не имеет больше веса. Эта невесомость одно из блаженнейших ощущений на свете, но оно негативно, оно так же незаметно и так же не вызывает благодарности судьбе, как тридцать два зуба, емкие легкие, железный желудок; поймет его Александров только тогда, когда потеряет его навсегда; так, лет через двадцать.

Снег тонко скрипит под его лакированными сапожками. Снег скрипит под ногами у всех пешеходов. Он визжит под полозьями саней, оставляющих за собою в нем блестящие скользкие полосы, а на заворотах он крепко хрустит, смятый полозьями. Из всех труб высоко над домами стоят, неподвижно устремясь в зеленое небо и там слегка курчавясь, белые, прямые столбы дыма. Вот налево Севастьянов, булочная, а наискосок Арбатской площади белое длинное здание Александровского училища на Знаменке, с золотым малым куполом над крышей, знак домашней церкви. Слава богу, минута в минуту. Не опоздал.

Портупей-юнкер Золотов — круглый сирота, ему некуда ехать на праздник, он заменяет фельдфебеля четвертой роты. Он выстраивает двадцать шесть явившихся юнкеров в учебной галлерее в одну шеренгу и делает им переключку. Все в порядке. И тотчас же он командует: «Смирно. Глаза налево». Появляется с левого фланга Дрозд и здоровается с юнкерами.

Мальчишеские прозвища удивительно метки. Капитан Фофанов вислопеч и длиннонос. Его худощавое лицо смугло и румяно. Черные волосы на голове разделены ко-

сым четким пробором; легкой красиво-неуклюжей перевалочкой и боковым наклоном головы, при внимательном и быстром взгляде, он действительно напоминает птицу, и именно черного дрозда. Он очень требователен и суров в делах службы и строевого учения. «Без отпуска», карцер, дежурства и дневальства вне очереди так и сыпятся из него в несчастливые для юнкеров дни. И все это с величайшей вежливостью: «Юнкер Александров, будьте любезны отправиться на двое суток под арест с исполнением служебных обязанностей». Но вне условий, требующих крутой дисциплины, он фамильярный друг, защитник и всегдашняя выручка. Эти его милые черты хорошо знакомы всем проказливым юнкерам четвертой роты и особенно Александрову, самому неистовому баловнику. Но зато Дрозд ненавидит малейший оттенок лжи и требует от провинившегося юнкера мгновенного и точного признания.

Однажды юнкер Александров был оставлен без отпуска за единицу по фортификации. Скитаясь без дела по опустевшим залам и коридорам, он совсем ошалел от скуки и злости и, сам не зная зачем, раскалил в камине уборной докрасна кочергу и тщательно выжег на красной фанере огромными буквами слово «Дрозд».

В понедельник утром, после утренней переклички, еще не распуская роты, выдержав паузу, капитан спросил, по обыкновению протягивая перед некоторыми словами длинный ять (он был чуть-чуть занкой):

— Э-какой это болван э-начертил в нужнике э-какую-то похабшину?

Александров в ту же секунду громко крикнул из строя:

— Я, господин капитан!

Командир совсем по-птичь окинул юнкера боковым взглядом и произнес с презрительным равнодушием:

— Э-так я и знал.— И скомандовал роте: — Разойдитесь!

Вечером, перед чаем, когда все зубрили, сидя на своих койках, уроки к завтраму, юнкер Александров увидел Дрозда, проходившего по галлерее, и подбежал к нему. Юнкер весь день томился, подавленный великодушием начальника.

— Господин капитан, позвольте мне попросить у вас прощения.

— Э-дурачок,— протянул Дрозд.— Э-пустяки. Ступай заниматься, э-чертежник ты этакий!

И слегка толкнул его ладонью в спину. Но в голосе Дрозда и его прикосновении юнкер почувствовал теплоту.

Так воспитывал Дрозд своих девятнадцатилетних птенцов в проворном повиновении, в безусловной правдивости, на широкой развязке взаимного доверия.

Дрозд, заложив руки за спину, медленно, неуклюже идет вдоль фронта, зорко оглядывая каждое лицо, каждую пуговицу, каждый пояс, каждый сапог. Рядом с Александровым стоит крепко сбитый, широкоплечий чернявый Жданов. Он нехорошо бледен, и белки его глаз слюняво-желтоваты.

— Э-нездоров? — спрашивает Дрозд.

— Никак нет, господин капитан. Здоров.

Дрозд поводит туда-сюда острым подозрительным носом.

— Э-какую гадость вчера пил? — спрашивает он брезгливо.

Юнкер жмется, но тотчас отвечает:

— В гостях давали ананасный ликер, господин капитан.

— Ффу, какая мерзость,— морщится Дрозд.— Э-это не ликер, а дерьмо. И зачем тебе пробовать э-ликеры. Ну, выпей стакан красного вина и э-довольно с тебя. А лучше и э-совсем не пей. Пьют от скуки паршивые неудачники, а перед тобою э-целый мир впереди. Будь весел и пьян э-без вина.

Подходит к концу докучный осмотр. У юнкеров чешутся руки и горят пятки от нетерпения. Праздничных дней так мало, и бегут они с такой дьявольской быстротой, убегают и никогда не вернутся назад!

Но Дрозд выходит на середину фронта, достает из отворота рукава какую-то бумажку и не спеша ее разворачивает. «Да поскорей ты, Дроздище!» — мысленно понукает его Александров.

Дрозд начинает читать, мучительно растягивая свои яти:

— По распоряжению начальника училища, сегодня наряжены на бал, имеющий быть в Екатерининском женском институте, двадцать четыре юнкера, по шести от каждой роты. От четвертой роты поедут юнкера:

Он делает небольшим молчанием двоеточие, совсем маленькое, всего в полторы секунды, но в этот короткий промежуток сотни тревожных мыслей пробегают в голове Александра.

Сегодня его день так полно и счастливо занят, что даже совсем не остается места для семейных радостей. К десяти часам он должен ждать в Зоологическом саду Наташу Манухину. Они будут кататься с великолепных ледяных гор. Какое острое наслаждение нестись стремительно вниз на маленьких салазках по отвесной сверкающей дорожке, повернув левую ногу под себя, а правой, как рулем, давая прямое направление волшебному лёту. Правда, Наташа придет не одна, а в сопровождении скучной англичанки, похожей на птицу марабу. Но, к счастью, гувернантка не любит кататься с гор и, кажется, считает это одним из русских варварств. Она будет торчать на вышке, кутая в широкое обезьянье боа свой красный британский нос. А Наташа назло ей будет требовать еще и еще, и в последний раз еще, и в самый-самый последний. Лицо Александра слегка щекочет Наташина котиковая шубка, и как сладко пахнет эта шубка мехом и тонкими, неизъяснимыми духами, и сама Наташа, наверно, гордится своим кавалером: «Так ловок и смел этот милый Александр и, кажется, немного влюблен в меня». Ах, Наташа, совсем не немного, наоборот: до безумия.

В час завтрак у Шпаковских, а после завтрака веселая репетиция водевиля «Не спросясь броду, не суйся в воду», где Александр играет Макарку, а также и в живых картинах. Должно быть, и потанцуют немного. В этом большом, уютном, безалаберном доме две девочки, три барышни и всегда множество их подруг всяких возрастов. Там с утра до вечера поют, танцуют, устраивают игры, едят, влюбляются и звонко смеются. Александру часто кажется, что он влюблен в младшую из барышень, в белокурую розовую Нину. Впрочем, все любви Александра так многочисленны и скоропалительны, что сестра в шутку зовет его — господин Сердечкин.

Потом обед у Калмыковых и тоже танцы. А затем — самое главное — вечером знаменитая елка в Благородном собрании, на которую съезжается вся молодая Москва: дети, подростки, барышни и юноши. Туда он обещал сопровождать трех приехавших из Пензы землячек: Ма-

шеньку Полубояринову, Сонечку Аничкову и Зою Скрипицыну. Бал, на котором танцуют, после того как детей увезут по домам, до тысячи молодых людей. И, если говорить по правде, уже не в Машеньку ли влюбился, понастоящему и мгновенно, несчастный юнкер в тот вечер, когда она играла Шопена, а он стоял, прислонившись к пианино, и то видел, то не видел ее нежное лицо, такое странное и такое изменчивое в темноте.

* * *

«Только не меня. Дорогой, золотой Дрозд, только, пожалуйста, не меня»,— мысленно умоляет Александров.

— Э-Рихтер,— произносит капитан.— Жжданов, Бутынский, Карганов, Прибыль...

«Пронеси, пронеси, пронеси! — умоляет судьбу Александров, изо всех сил стискивая зубы и кулаки. И вот падает холодно и непреклонно:

— И э-Александров. Кто хочет завтракать или обедать в училище, заявите немедленно дежурному для сообщения на кухню. Ровно к восьми вечера все должны быть в училище, совершенно готовыми. За опоздание — до конца каникул без отпуска. Рекомендую позаботиться о внешности. Помните, что александровцы — московская гвардия и должны отличаться не только блеском души, но и благородством сапог. Тыфу, наоборот. Затем вы свободны, господа юнкера. Перед отправкой я сам осмотрю вас. Разойдитесь.

На лестнице Александров догоняет Дрозда. Последняя, отчаянная попытка:

— Господин капитан.

Дрозд останавливается на ступеньке, а птичий недоверчивый полуоборот к юнкеру.

— Э-что еще?

— Господин капитан, позвольте вам сказать, что я катался на коньках и у меня подвернулась нога. Прямо ступить нельзя, такая боль.

— Э-врешь. Пойди в лазарет и принеси свидетельство.

Душа Александрова катится вниз, как с ледяной горы в Зоологическом.

— Господин капитан,— говорит он смущенно.— Положим, я могу себя осилить. Но у меня другие, важные причины.

— Ну?

— Нет перчаток.

Дрозд хмурится.

— Э-покажи руки.

Юнкер поворачивает обе руки ладонями вверх. Дрозд делает то же самое и сверяет глазами руки свои и его.

— Ерунда. У нас одинаковый размер. Семь или семь с половиной, э-небольшая разница. Вечером я тебе пришлю мон, спросишь у фельдфебеля. Ступай. Ну, что же ты стоишь?

— Господин капитан,— робко говорит юнкер, вновь тронутый великодушием этого чудака.— Положим, перчатки у меня есть, только очень грязные, но я их могу вымыть. Но я должен вам сказать правду (сейчас Александров подпустит маленькую лесть). Я знаю, что вы все можете простить.

Дрозд перебивает его, угрожающе вздернув подбородок вверх:

— Э-далеко не все.

— Простить очень многое, если вам говорят правду. Дрозд с сомнением косится на юнкера.

— Э-попутай-попутай у меня еще!

— И вот я вам должен признаться откровенно, что...

— Э-девчонки, должно быть?

— Точно так, господин капитан. Барышни. Приехали только на две недели в Москву из Пензы. Мои родственницы. Обещался быть в Благородном собрании на елке. Дал честное слово. Ужасно обидно будет обмануть их и подвести.

Но Дрозд упрямо трясет головою:

— Э-все равно, поедешь. А женскую душу я знаю лучше тебя. Опоздал, не пришел,— пускай сердится; в следующий раз будет ждать еще нетерпеливее. И кроме того, я тебе скажу (тут его голос смягчается), что бал Благородного собрания — это толкучка, рынок, открытый вход, открытый для всех: купеческие дочки из Замоскворечья, немки, цырюльники, чиновники и другие шпаки всякие. А в Екатерининский институт на бал можно попасть лишь по строгому выбору, по именному, личному приглашению. В Екатерининском, э-дружок мой, учатся девицы лишь из самых древних, самых настоящих, дворянских фамилий. Истинная, столбовая русская аристокра-

тия не в Петербурге, голубчик, а в Москве, у нас. Не пропускай случая. Летом выйдешь в офицеры. Придется тебе надолго, если не навсегда, законопатиться в каком-нибудь Проскурове или Кинешме, и никогда ты в жизни не увидишь подобной прелести и красоты. Ну, разве воинская доблесть вытянет тебя вверх или чудом попадешь в академию, тогда — может быть... Но вернее всего, что навсегда нынешний бал останется для тебя как прекрасный и э-неповторимый сон. И я тебе твердо говорю, что в пятницу ты сам же поблагодаришь меня. Э-иди, иди, юнкер.

Он ласково концами пальцев потрепал Александрова по плечу и поспешно стал спускаться по лестнице.

«Что же,— подумал Александров.— Видно, так и быть. Хорошо еще, что не на весь день оставил в училище. Все-таки кое-куда поспею. А Машеньке Полубояриновой пошлю записку с посыльным. Да вот еще: пораньше вымыть замшевые перчатки... Ну и Дрозд! Все-таки с ним можно жить. На все смотрю, парады, встречи и церемонии, когда назначают юнкеров по выбору, он неизменно посылает и Александрова. О, тут большая ревность! Все училище помнит, по старому преданию, о том, как застрелился в курилке юнкер Кувшинников, будучи не включенным в те двенадцать рядов со знаменем, которые были наряжены в почетный караул для встречи государя. Здесь дело чести! Да и правда, юнкер Александров не особенно красив,— признается сам себе Александров,— скажем, даже совсем некрасив. Но он лучше многих прыгает через деревянную кобылу и вертится на турнике, он отличный строевик, в танцах у него ритм и послушность всех челоуека во всем училище: юнкер роты его величества Чхеидзе и курсовой офицер третьей роты поручик Темиряев... А красота? Что такое мужская красота?»

Восемь без пяти. Готовы все юнкера, наряженные на бал. («Что за глупое слово,— думает Александров,— «наряженные». Точно нас нарядили в испанские костюмы».) Перчатки вымыты, высушены у камина; их пальцы распрялены деревянными расправилками. Все шестеро, в ожидании лошадей, сидят тесно на ближних к выходу койках.

Тут же примостился и Дрозд. Он дает последние наставления:

— Следите за своим ножом и вилкой и за опрятностью на тарелке, если позовут вас ужинать. Рыбу — только вилкой; можете помогать хлебной корочкой. Птицу в руки не брать. Ешь небольшими кусками, чтобы не быть с полным ртом, когда соседка обратится к тебе с разговором. Девчонкам глупостей не врать, всякие чувства по боку и э-к чорту-с. Начальнице и генералам кланяться придворным поклоном, как учил танцмейстер. Если начальница протянет руку, приложись, но, склонившись, не чмокай. За старшего Рихтер. Вот и все. Завидую вам.

— Поехали бы с нами, господин капитан,— говорит Александров.

— Э-куда мне. Стар.

Довод печальный, но для юнкеров убедительный. Дрозду тридцать шесть лет. Действительно, в эгоистичном измерении юнкеров — это глубокая старость. Александров, например, твердо решил дожить только до тридцати лет, а потом застрелиться. Стоит ли продолжать жить древним старцем, хладеющей развалиной!

— Вы еще совсем молоды, господин капитан,— говорит с лицемерным сочувствием цветущий армянин Карганов.

Дрозд машет рукой:

— Где уж!.. куда уж!..

Уедут юнкера туда, где свет, музыка, цветы, прелестные девушки, духи, танцы, легкий смех, а Дрозд пойдет в свою казенную холостую квартиру, где, кроме денщика, ждут его только два живые существа, две черные дворняжки, без признаков какой бы то ни было породы: э-Мальчик и э-Цыган. Говорят, что Дрозд выпивает по ночам в одиночку.

Служитель быстро взбегаєт по лестнице и навтыяжку останавливается перед Дроздом:

— Лошади поданы, ваше высокоблагородие.

— Ну, с богом,— говорит Дрозд вставая.— Верю, что поддержите блеск и славу родного училища. После танцев сразу на мороз не выходите. Остыньте сначала. Рихтер, ты за этим примотришь.

— Слушаю, господин капитан.

А служитель, коренной всезнающий москвич, возбужденно шепчет сбоку юнкерам:

— Четыре тройки от Ечкина. Ечкинские тройки. Серые в яблоках. Не лошади, а львы. Ямщик грозит: «Господ юнкерей так прокачу, что всю жизнь помнить будут». Вы уж там, господа, склотитесь ему на чаишко. Сам Фотоген Павлыч на козлах.

ФОТОГЕН ПАВЛЫЧ

— С богом. Одевайтесь, — приказал Дрозд. — Э-смотрите, носов не отморозьте. Семнадцать градусов на дворе.

Юнкера волнуются и торопятся. Шинели надеваются и застегиваются на бегу. Башлыки переброшены через плечо или зажаты подмышкой. Шапки надеты кое-как. Все успеется на улице.

Здесь — вольное, безобидное состязание с юнкерами других рот. Надо во что бы то ни стало первыми выскочить на улицу и завладеть передовой, головной тройкой. Весело ехать впереди других!

Но едва успели шестеро юнкеров завернуть к началу широкой лестницы, спускающейся в прихожую, как увидели, что наперерез им, из бокового коридора, уже мчатся их соседи, юнкера второй роты, по училищному обиходу — «Звери», или, иначе, «Извозчики», прозванные так потому, что в эту роту искони подбираются, с начала службы, юноши коренастого сложения, с явными признаками усов и бороды. А сзади уже подбежали и яростно напедают: третья рота — «Мазочки» и первая — «Жеребцы». На лестнице образовался кипучий затор.

— Четвертая, не выдавай! — кричит голосистый Жданов где-то впереди.

Александров пробуравливается сквозь плотные, сбившиеся тела и вдруг, как пробка из бутылки, вылетает на простор. Он видит, что впереди мелким, но быстрым шагом катится вниз коротконогий Жданов. За ним, как будто не торопясь, но явно приближаясь к нему, сигает за раз через три ступеньки длинный, ногастый «зверь», у которого медный орел барашковой шапки отъехал впо-

пыхах на затылок. Все трое в таком порядке сближаются на равные расстояния.

В эти доли секунды Александров каким-то инстинктивным, летучим глазомером оценивает положение: на предпоследней или последней ступени «зверь» перегонит Жданова. «Ах, если только хоть чуть-чуть нагнать этого долговязого, хоть коснуться рукой и сбить в сторону! Жданов тогда выскочит». Вопрос не в личной победе, а в поддержании чести четвертой роты.

И судьба ему помогает: правда, со внезапной грубостью. Кто-то сзади и с такою силою толкает Александрова, что его ноги сразу потеряли опору, а тело по инерции беспомощно понеслось вперед и вниз. Момент — и Александров неизбежно должен был удариться теменем о каменные плиты ступени, но с бессознательным чувством самосохранения он ухватился рукой за первый предмет, какой ему попался впереди, и это была пола вражеской шинели.

Оба юнкера упали и покатались вниз. Над ними, наступая на них, промчались бегущие ноги.

— Чорт вас возьми! — заворчал «зверь». — Это прием неправильный. Я ушиб себе коленку.

В эту минуту Александров почувствовал, что и он сам ссадил себе локоть. Подымаясь, он сказал шутливо, но с сочувствием:

— На войне все приемы правильны. Позвольте, я помогу вам встать. Меня пихнули сзади, и, уверяю вас, что без вашей невольной помощи я разбился бы в лепешку, а так только локтем стукнулся.

— Ну, да уж ладно, — засмеялся «зверь», еще морщась от боли. — До свадьбы у нас у обоих заживет. Пойдемте-ка.

В передовых санях, стоя, вы́сился Жданов и орал во весь голос:

— Четвертая рота! Господа обер-офицеры! Сюда! — Теперь уже никто из чужой роты не позволил бы себе залезть в эту тройку. Таково было неписанное право первой заявки.

Какими огромными, неправдоподобными, сказочными показались Александрову в отчетливой синеве лунной ночи рослые серые кони с их фырканием и храпом, необычайно широкие, громоздкие, просторные сани с ков-

ровой тугой обивкой и тяжелые высокие дуги у коренников, расписанные по белому неведомыми цветами.

Белый пар шел из лошадиных ноздрей и от лошадиных спин, и сквозь него знакомый газовый фонарь на той стороне Знаменки расплывался в мутный радужный круг.

Ямщик перегибается с козел, чтобы отстегнуть волчью полость. Усы у него белые от инея, на голове большая шапка с павлиньими перьями. Глаза смеются.

— Садитесь, садитесь, господа юнкера. В дороге утрясется, всем свободно будет.

— Тебя ведь Фотоген Палычем зовут? — спрашивает Бутынский.

— Совершенно верно, — отвечает ямщик, обминаясь на козлах. Голос у него приятный, уверенный и немного смешливый. — А вы откуда знаете?

Находчивый Карганов, не задумываясь, отвечает:

— Кто же не знает знаменитого Фотоген Палыча.

Другие юнкера быстро подхватывают:

— Тебя вся Москва знает. Первый троечник в Москве. Не в Москве, а во всей России. Это нам уж так повезло в твои сани попасть.

Невинная лесты! Однако она доходит до крутого ямщицкого сердца.

— Буде, буде... наговорили.

Он тихо, но густо смеется; немного похоже на то, как довольно регочет жеребец, когда к нему в стойло входит конюх с мерой овса.

— Пошли, что ли? — кричит сзади ямщик нараспев.

Фотоген Палыч, разобрав вожжи, в последний раз перезал задом на сидении и, слегка повернув голову, протянул внушительным баском:

— Тро-огай...

Заскрипели, завизжали, заплакали полозья, отдираясь от настывшего снега, заговорили нестройно, вразброд, колокольцы под дугами. Легкой рысцей, точно шутя, точно еще балуясь, завернула тройка на Арбатскую площадь, слержанно пересекла ее и красиво выехала на серебряный Никитский бульвар.

Никогда не забыть потом Александрову этой прелестной волшебной поездки! Ему досталось место лицом к лошадям, крайнее справа. Он мог свободно видеть косматую голову широкобокого коренника и всю целиком правую

пристязную, изогнувшую кренделем, низко к земле свою длинную гибкую шею, и даже ее кровавый темный глаз с тупой, злой белизной белка. С удовольствием он чувствовал, как в лицо ему летят снежные брызги из-под лошадиных копыт. Но в душе его все-таки мелькала, как, может быть, и у других юнкеров, досадливая мысль: где же, наконец, эта пресловутая безумная скачка, от которой захватывает дух и трепыхает сердце? Или она только для пьяных московских купцов? А еще грозился лихо прокатить «юнkerей»!

Но эта дурная мысль так же быстро исчезла, как и пришла. В езде Фотогена есть магическая, непонятная красота.

Пробежал назад Тверской бульвар с его нарядными освещенными особняками. Темный Пушкин на высоком цоколе задумчиво склонил свою курчавую голову. Напротив широкая белая масса Страстного монастыря, а перед ней тесная биржа лихачей и парных «голубков». Кто-то из юнкеров закурил. Александров с трудом достал свой кожаный портсигар и долго возился со спичками, упрямо гасшими на быстром движении. Когда же ему удалось разжечь папиросу и он поглядел перед собою, то он уже не мог узнать ни улиц, ни самой Москвы. Ехали какими-то незнакомыми, чужими местами.

Какой великий мастер своего дела Фотоген Палыч! Вот он едет узкой улицей. Неизъяснимыми движениями вожжей он сдвигает, сжимает, съезживает тройку и только изредка негромко покрикивает на встречные сани:

— Берегись! Поберегись, извозчик!

Но только поворотит на улицу посвободнее, как сразу распустит, развернет лошадей во всю ее ширину, так что загнущиеся пристязные чуть не лезут на тротуары. «Эй, с бочками! Держи права!» И опять соберет тесно свою послушную тройку.

«Точио закрывает и раскрывает веер,— думает Александров,— так это красиво!»

А сидящий с ним рядом смуглый Прибыль, талантливый пианист, бодает его головой в плечо и, захлебываясь, говорит непонятные слова:

— Крещендо и диминуендо...¹ Он — как Рубинштейн!

¹ Усиление и ослабление (итал.).

Временами неведомая улица так тесна и так запружена санями и повозками, что тройка идет шагом, иногда даже приостанавливается. Тогда задние лошади вплотную надвигаются мордами на задок, и Александров чувствует за собою совсем близкое теплое, влажное дыхание и крепкий приятный запах лошади.

А потом опять широкая безыменная улица, и легкий лет саней, и ладный ритм лошадиных копыт: та-та-та-та — мерно выстукивает коренник, тра-та, тра-та, тра-та — скачут пристяжные. И все так необычайно в таинственном, нездешнем городе. Вот под полотняным навесом, ярко освещенный висющим фонарем, стоит чернобородый, черноглазый, румяный, белозубый торговец около яблочного ларя. В прекрасные призмы уложены желтые, красные, белые, пунцовые, серые яблоки. Издали чувствуется в них аромат, и ясно воображается на зубах их сладкая кислинка (если бы закусить кусочек поглубже). Вот выбежала из ворот, без шубки, в сером платочке на голове, в крахмальном передничке, быстроногая горничная; хотела перебежать через дорогу, испугалась тройки, повернулась к ней, ахнула и вдруг оказалась вся в свету: краснощекая, веселая, с блестящими синими глазами, сияющими озорной улыбкой. «Поберегитесь, красавица! Задавлю!» — воркующим голосом окликает ее Фотоген и, полуобернувшись назад, говорит:

— Ладные у нас бабочки на Москве живут. — И сейчас же окрикивает замешкавшегося возчика: — Заснул, гужеед!

И вот юнкера едут по очень широкой улице. Александров почему-то вспоминается давнишняя родная Пенза. Направо и налево деревянные дома об одном, реже о двух окошках. Кое-где в окнах слабые цветные огоньки, что горят перед иконами. Лают собаки. Фотоген едет все тише и тише, отпугивая тонким, учтивым голосом лошадей.

Наконец останавливается у трактира. Там сквозь запотевшие стекла чувствуется яркое освещение, мелькают быстрые большие тени, больше ничего не видно. Слышны звуки гармонии и глухой, тяжелый топот.

Вторая тройка проезжает мимо. С нее слышится окрик:

— Чего стал, дядя Фотоген?

— Супонь, — сердито отвечает Фотоген.

А уж с третьей тройки доносится деловой бас:

— Знаем мы твою супонь.

Фотоген не спеша слезает с облучка, поддерживая, как шлейф, длинные полы армяка, и величественно передает вожжи Александрову.

— Подержи, барин. Мне тут нужно по одному делу.

Александров польщен и сразу становится важным. Но только как груба и тяжела эта огромная путаница вожжей.

Юнкера ропщут:

— Да что же это, Фотоген Палыч. Мы так последние приедем. Срам какой!

— Не тревожьтесь, юнкarya,— спокойно говорит ямщик.— С Фотоген Павлычем едете!

Он распахивает дверь и исчезает в облаках угарного пара, табачного дыма, крика и звона, которые стремительно вылетают из трактира и мгновенно уносятся вверх.

— Вот тебе и Фотоген,— уныло говорит Жданов.

Но ямщик не заставляет долго себя ждать. Через две минуты дверь кабака распахивается, и в белых облаках, упруго взвивающихся в воздух, показывается Фотоген Павлыч, почтительно провожаемый хромоногим половым в белой рубашке и в белых штанах.

— Счастливого вам пути, Фотоген Павлович,— учтиво говорит половой.

Фотоген берет вожжи из рук Александрова.

— Спасибо тебе, барин,— говорит он, влезая на козлы и что-то дожевывая.— А вы, господа юнкarya, не сомневайтесь. Только предупреждаю: держитесь крепко, чтобы вы не рассыпались, как картофель.

Он весел. На морозе необыкновенно вкусно пахнет от него вином...

— Ведь какой расчет,— говорит он, разбирая вожжи и усаживаясь половче,— они, видите, поехали прямой дорогой, только ухабистой, где коням настоящего хода нет. А у меня путь легкий, укатный. Мне лишние четверверсты — наплевать.

И вдруг дико вскрикивает:

— Ей, вы, крылатыя-я!

«Господи,— думает Александров,— почему и мне не побыть ямщиком. Ну, хоть не на всю жизнь, а так года на два, на три. Изумительная жизнь!»

Дальше впечатления Александрова были восхитительны, но сумбурны, беспорядочны и туго припоминаемые. Остались у него в памяти: резкий ветер, стегавший лицо и пресекавший дыхание, стук снежных комьев о передок, медвежья перевалка коренника со вздыбленной, свирепой гривой и такая же, будто в такт ему, перевалка Фотогена на козлах. Как во сне, припоминал он потом, что ехали они не то лесом, не то парком. По обеим сторонам широкой дороги стояли густые, белые от снега деревья, которые то склонялись вершинами, когда тройка подъезжала к ним, то откидывались назад, когда она их промелькнула.

Помнилось ему еще, как на одном крутом повороте сани так накренились на правый бок, точно ехали на одном полозе, а потом так тяжко ухнули на оба полоза, перевалившись на другой бок, что все юнкера одновременно подскочили и крикнули. Не забыл Александров и того, как он в одну из секунд бешеной скачки взглянул на небо и увидел чистую, синевато-серебряную луну и подумал с сочувствием: «Как ей, должно быть, холодно и как скучно бродить там в высоте, точно она старая больная вдова и такая одинокая».

На последнем повороте Фотоген нагнал своих. Впереди его была только вторая тройка. Он закричал, сам весь возбужденный веселым лѐтом:

— Право держи, любезный!

— У, чорт, дьявол, леший,— отозвался без злобы, скорее с восхищением обгоняемый ямщик.— Куда прешь!

Но уже показался дом-дворец с огромными ярко сияющими окнами. Фотоген въехал сдержанной рысью в широкие старинные ворота и остановился у подъезда. В ту минуту, когда Рихтер передавал ему юнкерскую складчину, он спросил:

— Лихо ли, юнкаря?

Они и слов не находили, чтобы выразить свое удовольствие. Правда, они уже искренне успели забыть о тех минутах, когда каждый из них невольно подумывал: «По-тише бы немножко».

— Назад опять со мной поедете,— говорил Фотоген отъезжая.— Только крикните меня по имени: Фотоген Павлыч.

ВАЛЬС

Вкрадчиво, осторожно, с пленительным лукавством, раздаются первые звуки штраусовского вальса. Какой колдун этот Рябов. Он делает со своим оркестром такие чудеса, что невольно кажется, будто все шестнадцать музыкантов — члены его собственного тела, как, например, пальцы, глаза или уши.

Еще находясь под впечатлением пышного полонеза, Александров приглашает свою даму церемонным, изысканным поклоном. Она встает. Легко и доверчиво ее левая рука ложится, чуть прикасаясь, на его плечо, а он обнимает ее тонкую, послушную талию.

— В три темпа или в два? — спрашивает Александров.

— Если хотите, то в три, а уж потом в два.

В этот момент она, сняв руку с плеча юнкера, поправляет волосы над лбом. Это почти бессознательное движение полно такой наивной, простой грации, что вдруг душою Александрова овладевает знакомая, тихая, как прикосновение крылышка бабочки, летучая грусть. Эту кроткую, сладкую жалость он очень часто испытывает, когда его чувств касается что-нибудь истинно прекрасное: вид яркой звезды, дрожащей и переливающейся в ночном небе, запахи резеды, ландыша и фиалки, музыка Шопена, созерцание скромной, как бы не сознающей самое себя, женской красоты, ощущение в своей руке детской, копошащейся и такой хрупкой, ручонки.

В этой странной грусти нет даже и намек на мысль о неизбежной смерти всего живущего. Такого порядка мысли еще далеки от юнкера. Они придут гораздо позже, вместе с внезапным ужасающим открытием того, что ведь и я, я сам, я, милый, добрый Александров, непременно должен буду когда-нибудь умереть, подчиняясь общему закону.

О, какая гадкая и несправедливая жестокость! Такой зловещий страх он испытывал однажды ночью во время случайной бессонницы, и этот страх его уже никогда больше не покидает. Нет. Эта грустная мгновенная тревога — другого свойства. Ее объяснить ни себе, ни другому Александров никогда не сумел бы. Она скорее всего похожа на сожаление, что этот, вот этот самый момент, уйдет назад, и уже ни за что его не вернешь, не догонишь.

Жизнь безмерна, богата. Будет другое, может быть очень похожее, может почти такое же, но эта секунда уплыла навсегда...

Должно быть, Александров инстинктивно так влюблен в земную заманчивую красоту, что готов боготворить каждый ее осколочек, каждую пылинку. Сам этого не понимая, он похож на скупого и жадного миллионера, который никому не позволяет прикоснуться к своему золоту, ибо к чужой руке могут пристать микроскопические частички обожаемого металла.

* * *

Александров не только очень любил танцевать, но он также и умел танцевать; об этом, во-первых, он знал сам, во-вторых, ему говорили товарищи, мнения которых всегда столь же резки, сколь и правдивы; наконец и сам Петр Алексеевич Ермолов на ежесубботних уроках нередко, хотя и сдержанно, одобрял его: «Недурно, господин юнкер, так, господин юнкер». В каждый отпуск по четвергам и с субботы до воскресенья (если только за единицу по фортификации Дрозд не оставлял его в училище) он плясал до изнеможения, до упаду, в знакомых домах, на вечеринках или просто так, без всякого повода, как тогда неистово танцевала вся Москва. Но и оставаясь у себя дома, он всегда имел пару в лице старшей сестры Зины, такой же страстной танцовки, причем музыку он изображал голосом. Сестра танцевала прекрасно, но всегда оставалась недовольна.

— Ты очень ловкий кавалер, Алеша,— говорила она,— но, понимаешь, ты все-таки брат, а не мужчина. С тобою я, как в институте, шерочка с машерочкой. Или точно играешь на немом пианино.

Он ей отвечал не менее любезно:

— А я тебя обнимаю точно куклу из папье-маше. Мне кажется, ты хоть и танцуешь превосходно, но сама неодушевленная.

Однако никогда еще в жизни не случилось Александрову танцевать с такой легкостью и с таким наслаждением, как теперь. Он почти не чувствовал ни веса, ни тела своей дамы. Их движения дошли до той полной согласованности и так слились с музыкой, что казалось, будто у

них — одна воля, одно дыхание, одно биение сердца. Их быстрые ноги касались скользкого паркета лишь самыми кончиками «цыпочек». И оттого было в их танце чувство стремления ввысь, чудесное ощущение воздушного полета, во вращательном движении, блаженная легкость, почти невесомость.

Подымались и опускались, вздрагивая, огни множества свечей. Веял легкий теплый ветер от раздувавшихся одежд, из-под которых показывались на секунду стройные ноги в белых чулках и в крошечных черных туфельках, или быстро мелькали белые кружева нижних юбок. Слегка, нежно звенели шпоры и пестрыми, разноцветными, глянцевыми реющими красками отражался бал в сияющем полу. А сверху лился, из рук веселых волшебников, как ритмическое очарование, упонительный вальс. Казалось, что кто-то там, на хорах, в ослепительном свете огней жонглировал бесчисленным множеством бриллиантов и расстидал широкие полосы голубого бархата, на который сыпались сверху золотые блески.

И какие-то сладко опьяняющие голоса пели о том, что этому томному танцу — танцу-полету — не будет конца.

Не глядя, видел, нет, скорее чувствовал Александров, как часто и упруго дышит грудь его дамы в том месте над вырезом декольте, где легла на розовом теле нежная тень ложбинки. Заметил он тоже, что, танцуя, она медленно поворачивает шею то налево, то направо, слегка склоняя голову к плечу. Это ей придавало несколько утомленный вид, но было очень изящно. Не устала ли она?

И точно отвечая на его безмолвный вопрос, — это было так естественно и понятно в этот необыкновенный вечер, — она сказала:

— Это я нарочно так делаю. Чтобы не кружилась голова.

Случалось так, что иногда ее прическа почти касалась его лица; иногда же он видел ее стройный затылок с тонкими вьющимися волосами, в которых, точно в паутине, ходили спиралеобразно сияющие золотые лучи. Ему показалось, что ее шея пахнет цветом бузины, тем прелестным ее запахом, который так мил не вблизи, а издали.

— Какие у вас славные духи, — сказал Александров.

Она чуть-чуть обернула к нему смеющееся, покрасневшее от танца лицо.

— О нет. Никто из нас не душится, у нас даже нет душистых мыл.

— Не позволяют?

— Совсем не потому. Просто у нас это не принято. Считается очень дурным тоном. Наша татап когда-то сказала: «Чем крепче барышня надушена, тем она хуже пахнет».

Но странная власть ароматов! От нее Александров никогда не мог избавиться. Вот и теперь: его дама говорила так близко от него, что он чувствовал ее дыхание на своих губах. И это дыхание... Да... Положительно оно пахло так, как будто бы девушка только что жевала лепестки розы. Но по этому поводу он ничего не решился сказать и сам почувствовал, что хорошо сделал. Он только сказал:

— Я не могу выразить словом, как мне приятно танцевать с вами. Так и хочется, чтобы во веки веков не прекращался этот бал.

— Благодарю вас. С вами тоже очень удобно танцевать. Но вечность! Не слишком ли это много. Пожалуй, устанем. А потом надоест... соскучимся...

Но тут случилось маленькое приключение. Уже давно сквозь вихрь и мелькание вальса успел Александров приметить одного катковского лицеиста. Этот высокий и худой, несколько сутуловатый малый вальсировал какими-то резкими рывками, а левую руку, вместе с рукой своей дамы, он держал прямо вытянутою вперед, точно длинное дышло. Все это вместе было не так смешно, как некрасиво. Теперь он неуклюже вертелся вблизи Александрова и его дамы, подходя все ближе и ближе, уже совсем готовый наехать на них. Желая выйти из его орбиты, Александров стал осторожно обходить его слева, выпустив руку своей дамы и слегка приподняв левую руку во избежание толчка. Но в эту секунду лицеист, совершенно неумевший лавировать, ринулся на них со своим двуконным дышлом. Александров успел отвести удар и предупредить столкновение, но при этом, не теряя равновесия, сильно пошатнулся. Невольно лицо его уткнулось в плечо девушки, и он губами, носом и подбородком почувствовал прикосновение к нежному, горячему, чуть-чуть влажному плечу, пахнувшему так странно цветущей бузиной. Нет, он вовсе не поцеловал ее. Это неправда. Или

нечаянно поцеловал? Во весь этот вечер и много дней спустя, а пожалуй, во всю свою жизнь он спрашивал себя по чести и совести: да или нет? Но так никогда и не решил этого вопроса.

Он только извинился и увидел, как быстро побежала красная краска по щекам, по шее, по спине и даже по груди прекрасной девушки.

— Я, кажется, немного устала,— сказала она.— Мне хочется отдохнуть. Проводите меня.

Он довел ее до галереи между колоннами, усадил на стул, а сам стал сбоку, немного позади. Увидев его смущенное, несчастное лицо, она пожалела его и предложила ему сесть рядом.

Они разговорились понемногу. Она сказала ему свое имя — Зинаида Бельшева.

— Только мне оно не очень нравится. Отдельно Ида — это еще ничего, это что-то греческое, но Зинаида как-то громоздко. Пирамида, кариатида, Атлантида.

— Очень красиво — Зина,— подсказал юнкер.

— Да, для папы и мамы,— схитрила она.— Но вы, может быть, не знаете, что есть мужское имя Зина?

— Признаться, не слыхал.

— Да, да. Я уж не помню, у кого это, у Тургенева или у Толстого есть какой-то мужик Зина. И, кажется, не очень-то порядочный.

— А Зиночка?

— Это ничего еще. Так меня зовут родные. А младший брат — просто — Зинка-резинка.

— Я вас буду мысленно называть Зиночкой,— сболтнул юнкер.

— Не смейте. Я вам это не позволяю,— сказала она, непринужденно смеясь.

— Но кто же может знать и контролировать мысли? — возразил Александров, слегка наклоняясь к ней.

Она воскликнула с увлечением:

— Вы сами. Мало быть честным перед другими, надо быть честным перед самим собою. Ну вот, например: лежит на тарелке пирожное. Оно — чужое, но вам его захотелось съесть, и вы съели. Допустим, что никто в мире не узнал и никогда не узнает об этом. Так что же? Правы вы перед самим собою? Или нет?

Юнкер поклонился головою.

— Сдаюсь. Мудрость глаголет вашими устами. Позвольте спросить: вы, должно быть, много читали?

И тут девочка рассказала ему кое-что о себе. Она дочь профессора, который читает лекции в университете, но, кроме того, дает в Екатерининском институте уроки естественной истории и имеет в нем казенную квартиру. Поэтому ее положение в институте особое. Живет она дома, а в институте только учится. Оттого она гораздо свободнее во времени, в чтении и в развлечениях, чем ее подруги...

— А теперь пойдемте еще потанцуем,— сказала она вставая.— Только не в два па. Я теперь пригляделась и нахожу, что это только вертушка, и притом очень некрасивая, и, пожалуйста, подальше от этого лицеиста. Он так неуклюж.

И она опять слегка покраснела.

ССОРА

Они танцуют третью кадрили. Их визави Жданов с прехорошенькой воспитанницей. Эта маленькая девушка, по виду почти девочка, кажется Александрову похожей на ожившую новую фарфоровую куклу. У нее пушистые волосы цвета кокосовых волокон, голубые глаза, блестящие, как эмаль, круглые румянцы на щеках, точно искусственно наведенные, и крошечный алый ротик — вишенка. Обо всех ее прелестях нельзя иначе говорить и думать, как в уменьшительном виде. Она постоянно улыбается, сверкая беленькими, остренькими зубками. Она веселится от всей души: вертится, оглядывается, трясет головою и светлыми кудряшками, ее ручки и ножки в беспрестанном нетерпеливом движении.

— Не правда ли, как мила? — вполголоса спрашивает Зиночка.

Александров наклоняется к ней.

— Просто прелесть,— говорит он.— Она наверно получила бы первый приз на выставке.

Зиночка смотрит на него с легким недоверием.

— На какой выставке? Я вас не поняла.

— На кукольном базаре. Знаете, это меня всегда удивляло: как только люди хотят сказать высшую по-

хвалу красивой барышне, они непременно скажут: ну, точь-в-точь куколка. Я не поклонник такой красоты.

Зиночка сердится, и как будто непритворно:

— Я не предполагала, что вы такой злой. Нина Забелло — это моя лучшая подруга, и у нас все ее любят. Она самая умная, самая добрая, самая веселая. А вы — зоил.

«Зоил... вот так название. Кажется, откуда-то из хрестоматии? — Александрову давно знакомо это слово, но точный смысл его пропал. — Зола и ил... Что-то не особенно лестное. Не философ ли какой-нибудь греческий, со скверною репутацией женоненавистника?» Юнкер чувствует себя неловко.

— Тогда прошу простить, — смиренно говорит он. — Как приятно иметь такого верного друга, как вы. Я пошутил и, признаюсь, неловко. Теперь я вижу, что м-зель Забелло очаровательна.

Зиночка опускает длинные темные ресницы, прикрывая чуть заметную лукавую улыбку глаз.

— Вы правы, — говорит она с кротким вздохом. — Я бы очень хотела быть такой, как она.

Юнкер чувствует, что теперь наступил самый подходящий момент для комплимента, но он потерялся. Сказать бы: «О нет, вы гораздо красивее!» Выходит коротко и как-то плоско. «Ваша красота ни с чем и ни с кем не сравнима». Нехорошо, похоже на математику. «Вы прелестнее всех на свете». Это, конечно, будет правда, но как-то пахнет штабным писарем. Да уж теперь и поздно. Удобная секунда промелькнула и не вернется. Ах, как досадно. Какой я тюлень!

Но оркестр играет вторую ригурнель. Мотив ее давно знаком юнкеру. Это кадрили — попури из русских песен. Он знает наивные и смешные слова.

Нет, нет, нет,
Она меня не любит,
Нет, нет, нет,
Она меня погубит.

Замешательство Александрова все растет. С незапамятных лет установилось неизбежное правило: во время кадрили и особенно в промежутках между фигурами кавалеру полагается во что бы то ни стало занимать свою

даму быстрой, непрерывной, неиссякающей болтовней на всевозможные темы. Но Александров с удивлением и тоскою замечает, что все его кадрилиные слова приклеились у него где-то в глубине гортани и никак не отклеиваются. Он уже во второй раз спросил Зиночку: «Нравится ли вам сегодняшний бал?» и, спросив, покраснел от стыда, поперхнулся и совсем некстати перескочил на другой вопрос: «Любите ли вы кататься на коньках?» Зиночка вовсе не помогала ему, отвечая (нарочно сухо, как показалось юнкеру): да и нет.

Ах, как мучительно завидовал он в эти тяжелые минуты беззаботному и неустойчивому, точно заводному, Жданову. Разговор у него бежал, как водопад, сверкал, как фейерверк, не останавливаясь ни на миг. Пошлет же судьба человеку такой замечательный талант! Прodelывая без увлечения, по давнишней привычке, разные шассе, круазе, шен и бальянсе, Александров все время ловил поневоле случайные отрывки из той чепухи, которую уверенной, громкой скороговоркой нес Жданов: о фатализме, о звездах, дѹхах и духах, о царь-пушке, о цыганке-гадалке, о липком пластыре, о канарейках, об антоновских яблоках, о лунатиках, о Наполеоне, о значении цветов и красок, о пострижении в монахи, об ангорских кошках, о переселении души и так далее, без начала, без конца и без всякой связи. Его дама, маленькая Ниночка Забелло, радостно хохотала, закидывая назад свою светлосеребристую кукольную головку и жмуря глаза. Александров окончательно падает духом. Ни одно легкое слово не идет на язык. Оркестр, как нарочно, поддразнивает его в пятой фигуре:

Нет, нет, нет,
Она меня не любит...

и бедный юнкер с каждой минутой чувствует себя все более тяжелым, неуклюжим, некрасивым и робким. Классная дама, в темносинем платье, со множеством перламутровых пуговиц на груди и с рыбьим холодным лицом, — давно уже глядит на него издали тупым, ненавидящим взором мутных глаз. «Вот тоже: приехал на бал, а не умеет ни танцевать, ни занимать свою даму. А еще из славного Александровского училища. Постыдились бы, молодой человек!»

Ужасно много времени длится эта злополучная кад-
риль. Наконец она кончена. Гран-рон! — кричит адью-
тант, весело раскатываясь на рр...

Зиночка Бельшева от гран-рон отказывается.

— Я не люблю этой тесноты и толкотни, — говорит она.

Но Александрову и без лишних слов совершенно ясно, что вовсе не этот путаный, затейливый танец, а именно его, юнкера Александрова, не любит Зиночка.

Зиночка садится на стуле в галлерее, за колоннами. Юнкер только что собирается со страхом и надеждой в душе присесть возле нее, как она тотчас же подымается.

— Простите. Меня зовет подруга.

И, быстро мелькая черными туфельками и белыми чу-
лочками, свободно и грациозно лавируя между танцую-
щими, она торопливо перебегает на другую сторону зала.

— Все кончено, — говорит густым трагическим ба-
сом кто-то внутри Александрова.

Однако Зиночка побежала совсем не к подруге. Алек-
сандров следил за нею. Она остановилась перед синей
дамой с рыбьим лицом, выслушала, наклонив прелестную
каштановую головку, несколько сказанных дамою слов и
чинно села рядом с нею. «Причем же здесь подруга? —
подумал огорченный юнкер. — Просто ей хочется отде-
латься от меня...»

Но нет. Вот она бросила на юнкера через всю залу
быстрый, вовсе, казалось, не враждебный взгляд и тотчас
же, точно испугавшись, отвела его и еще строже выпря-
милась на стуле, чуть-чуть осторожно косясь на синию
классную даму. «Неужели это все — только коварная
игра?»

Мрачный, ероша свою прическу бобриком, нервно по-
щипывая чуть пробивающийся пушок на верхней губе,
дожидается Александров конца затянувшегося гран-рон
и, наконец, дождался. Распорядитель объявляет польку-
мазурку. «Еще попытка! Самая последняя, а там будь что
будет. Ах, жаль, что нельзя, бросив бал, уехать прямо до-
мой на Пресню. Необходимо явиться в училище и там
ночевать. А все этот упрямый Дрозд.»

Под резвые, скачущие, лихие звуки польки-мазурики
Александров поспешно пробирается к тому месту, где си-
дит Зиночка. Он уже близко от нее. Всего десять, пят-
надцать шагов. Но, откуда ни возмись, появляется перед

нею, спиной к Александрову, усталый, пресыщенный паж. С какой небрежностью он поклонился, как снисходительно, нехотя обнял ее грациозную тонкую талию. И он совсем нарочно не хочет делать па танца. Он лишь равнодушно и даже отчасти безразлично шагает в такт. «Ого! Осмелился ли бы он так, спустя рукава, танцевать во дворце или в знатном петербургском доме? Для него здесь только Москва, жалкая провинция, а он, блестящий паж ее величества или высочества, будет потом с презрительной улыбкой говорить о московских смешных кузинах. Да. Охотно повстречался бы я с этим белобрысым прилизанным фазаном где-нибудь с глазу на глаз, без посторонних свидетелей!» — думает Александров, изо всей силы напрягая мускулы крепкого тела.

Паж сделал круг и посадил Зиночку на ее место, чуть-чуть мотнув головой. Александров торопливо подбежал и старательно поклонился.

— Можно просить вас?

— Ах! только не теперь... Я ужасно устала.

Александров медленно отступает по галлерее. Там темнее и пусто. Оборачивается, и что же он видит? Тот самый катковский лицеист, который танцевал вальс, высунув вперед руку, подобно дышлу, стоит, согнувшись в полупоклоне, перед Зиночкой, и та встает и кладет ему на плечо свою руку, медленно склоняя в то же время прекрасную головку на стройной гибкой шее.

Больше Александров не хочет и не может смотреть. Теперь он уверенно знает, что им совершена какая-то грубая, непростимая ошибка, какая-то нелепая и смешная неловкость, которую загладить уже нет ни времени, ни возможности... Пойти объясниться? Просить прощения? Нет, это значило бы громоздить глупость на глупость... Ни раздражения, ни упрека нет у него в душе против Зиночки. Распускалось, расцветало какое-то легкое, чудесное сверкающее счастье и вдруг померкло, исчезло. Весь мир теперь для юнкера вдруг окрасился желтым тоном, тусклым и скучным, точно он надел желтые очки.

Звуки резвой музыки кажутся унылыми. Печально колеблются огни оплывших огарков в люстрах и шандалах, лица, которые он видит, — все стали некрасивы, несимметричны и бледны.

Тоска!

Он вышел из зала и спустился по лестнице в швейцарскую. Великолепный пурпурно-золотой Порфирий принял его как радушный хозяин.

— Во вторую дверцу-с и направо,— показал он рукой.— Не нужно? Тогда не угодно ли будет вам, господин юнкер, освежиться холодной водицей? Одеколон есть брокеровский. Ах, вам покурить, господин юнкер? Замалялись, танцовавши?

— Нет... так как-то...

Хотелось было юнкеру сказать: «Мне бы стакан водки!» Читал он много русских романов, и в них очень часто отвергнутый герой нарезывался с горя водкою до потери сознания. Но большое усатое лицо швейцара было так просто, так весело и добродушно, что он почувствовал стыд за свою случайную дурацкую мысль.

Но Порфирий, точно каким-то волшебным чутьем угадав и эту мысль и настроение юнкера, вдруг сказал:

— А что я позволю себе предложить вам, господин юнкер? Я отроду человек не питуший, и вся наша фамилия люди трезвые. Но есть у меня вишневая наливочка, знатная. Спирту в ней нет ни капельки, сахар да сок вишневый, да я бы вам и не осмелился... а только очень уже сладко и от нервов может помогать. Жена моя всегда ее употребляет рюмочку, если в расстройстве.

— Да не надо, Порфирий. Спасибо тебе. Не стоит.

— Я сейчас...

Он скрылся в своей швейцарской норке, позвонил слегка посудой и вышел с рюмкой на подносе. Это была старинная граненая рюмка красного богемского или, как говорят в Москве, «бемского» хрусталя, с гравированными гранями. Густая темная жидкость колыхалась в ней, отсвечивая зеленым блеском.

— Кушайте на доброе здоровье, батюшка,— ласково промолвил Порфирий.— Так-то вот оно и хорошо будет. Не повторите ли?

— Нет, что ты, Порфирий. Превосходная наливка,— говорил юнкер, вытирая губы платком.— Очень тебе благодарен.

— Э, нет, нет, этого уж, пожалуйста, не надо,— затропился Порфирий, заметив, что юнкер опускает руку в карман за деньгами.— Это я за честь считаю угостить александровского юнкера, а не так, чтобы с корыстью.

Наливка — и правда — была совсем не приправлена спиртом, но от сахара и ягод в ней, должно быть, произошло свое винное брожение. У юнкера слегка, но приятно захватило дыхание и защемило гланды.

И не так наливка, как милое, сердечное, совсем московское обращение Порфирия и его славное, доброе лицо делало то, что желтый скучный газ, только что облекавший все мироздание, начал понемногу свертываться, таять, исчезать. И, должно быть, огорчение Александрова было не из тех, от которых люди запивают, сходят с ума или стреляются. Об этом минутном горе Александров вспомнит когда-нибудь с нежной признательностью, обвеянной поэзией. До зловещих часов настоящего, лютого, проклятого отчаяния лежат впереди еще многие добрые годы.

Проходя верхним рекреационным коридором, Александров замечает, что одна из дверей, с матовым стеклом и номером класса, полуоткрыта и за нею слышится какая-то веселая возня, шопот, легкие звонкие восклицания, восторженный писк, радостный смех. Оркестр в большом зале играет в это время польку. Внимательное, розовое, плутовское детское личико выглядывает зорко из двери в коридор.

— Вам можно, — говорит девочка лет двенадцати — тринадцати в зеленом платьице. — Только, чур, никому не говорите.

Александров открывает дверь.

Здесь в небольшом пространстве классной комнаты, из которой вынесены парты, усердно танцуют дружка с дружкой, под звуки «взрослой» музыки, десятка два самых младших воспитанниц, в зеленых юбочках, совсем еще детей, «малышек», как их свысока называют старшие. Но у них настоящее буйное, легкокрылое веселье, которого, пожалуй, нет и в чинном двухсветном зале. И так милы все они, по-полудетски наивно длинноруки, длинноноги и трогательно неуклюжи!.. Александров с улыбкой вспоминает словцо своего веселого дяди Кости об этом возрасте: «щенок о пяти ног».

Александров оживляется. Отличная, проказливая мысль приходит ему в голову. Он подходит к первой от входа девочке, у которой волосы, туго перетянутые снизу ленточкой, торчат вверх, точно хохол у какой-то редко-

стной птицы, делает ей глубочайший церемонный поклон и просит втиевато:

— Мадемуазель, не угодно ли будет вам сделать мне величайшую честь и отменное удовольствие протанцевать со мною, вашим покорным слугою, один тур польки.

Девочка робко, неловко, вся покраснев, кладет ему худенькую, тоненькую прелестную ручонку не на плечо, до которого ей не достать, а на рукав. Остальные от неожиданности и изумления перестали танцевать и, точно сами себе не веря, молча смотрят на юнкера, широко раскрыв глаза и рты.

Протанцовав со своею дамой, он с такой же утонченной вычурностью приглашает другую, потом третью, четвертую, пятую, всех подряд. Ну, что за прелесть эти крошечные девчонки! Александров ясно слышит, что у каждой из них волосы пахнут одной и той же помадой «Резеда», должно быть купленной самой отчаянной контрабандой. Да и сам этот сказочный детский балок под сурдинку не был ли браконьерством?

И как аккуратно, как ревностно они делают танцевальные па своими маленькими ножками, высоко поднятыми на цыпочки. От старательности, точно на строгом экзамене, они прикусывают нижнюю губку, подпирают изнутри щеку языком и даже высовывают язычок между зубами.

Когда же Александров подходит к очередной даме, то другие тесно его облепляют:

— Пожалуйста, и со мною тоже.

— И со мной, и со мной, и со мной.

— Милый юнкер, а когда же со мной?

И, наконец, тоненький комариный голосок, в котором дрожит обида:

— Да-а! Со всеми танцуют, а со мной не танцуют.

Александров справедлив. Он сам понимает. Какая редкая радость и какая гордость для девочек танцевать с настоящим взрослым кавалером, да притом еще с юнкером Александровского училища, самого блестящего и любимого в Москве. Он ни одну не оставит без тура польки.

Но он не успевает. На двух воспитанниц нехватает польки, потому что оркестр перестает играть. Увидев две миленькие, готовые заплакать мордочки, с уже вытянутыми в трубочку губами, Александров быстро находится

— Медам. Это ничего не значит. Мы сами себе музыка.

И, подхватив очередную девочку, уже почти пустившую слезу, он бурно начинает польку, громко подыгрывая голосом.

— Тра, ля, ля, ля — тра, ля, ля.

Остальные с увлечением следуют за ним, отбивая такт ладошками, и в общем получается замечательный оркестр.

Дотанцовав, он откланивается и хочет уйти. Но маленькие, цепкие лапочки хватают его за мундир.

— Не уходите, юнкер, душка, милочка, не уходите от нас.

Он обещает забежать к ним во время следующего танца и с трудом освобождается.

Только что входит Александров в большой зал, подымаясь по ступенькам галлерей, как распорядитель торжественно объявляет:

— Последний танец! Вальс!

Через всю залу, по диагонали, Александров сразу находит Зиночку. Она сидит на том же месте, где и раньше, и быстрыми движениями обмахивает лицо. Она тревожно и пристально бегаёт взором всю залу, очевидно кого-то разыскивая в ней. Но вот ее глаза встречаются с глазами Александрова, и он видит, как радость заливает ее лицо. Нет. Она не улыбается, но юнкеру показалось, что весь воздух вокруг нее посветлел и заблестел смехом. Точно сияние окружило ее красивую голову. Ее глаза звали его.

Он видел, подходя к ней, как она от нетерпения встала и резким движением сложила веер, а когда он был в двух шагах от нее и только собирался поклониться, она уже приподымала машинально, сама этого не замечая, левую руку чтобы опустить ее на его плечо.

— Что же вы совсем убежали от меня? Как вам не стыдно? — сказала она, и эти простые, ничего не значащие слова вдруг теплым бархатом задрожали в груди Александрова.

— Я... я... собственно... — начал было он.

Но она перебила его.

— Да, вы, вы, вы. Не нужно ни о чем говорить. Теперь будем только танцевать вальс. Раз-два-три, — подсчитать:

вала она под темп музыки, и они закружились опять в блаженном воздушном полете.

И тут Зиночка, щекоча невольно его висок своими тонкими волосами, дыша на него порою своим чистым свежим дыханием, в двух словах развеяла причину их странной молчаливой ссоры издали.

На балах начальство строго следило за тем, чтобы воспитанницы не танцевали с одним и тем же кавалером несколько раз подряд. Это уж было бы похоже на предпочтение; на какое-то избрничество, наконец просто на кидашущееся в глаза взаимное ухаживание. Синяя дама, с рыбьей головой, сделала Зиночке замечание, что она слишком много уделяет внимания юнкеру Александрову, что это слишком кидается в глаза и, наконец, становится совсем неприличным.

— Во время третьей кадрили она так и пронизывала меня глазами, и теперь вы понимаете, что я чувствовала себя как связанная.

— Она и на меня также глядела, — сказал Александров. — Мне даже пришло в голову, что если бы между мной и ею был стеклянный экран, то ее взгляд сделал бы в стекле круглую дырочку, как делает пуля. Ах, зачем же вы мне сразу не сказали?

— У нас уж есть такая этика. Мы можем наших классных дам всячески изводить, но жаловаться посторонним — это не принято. Но теперь мне все равно. *J'ai jeté le bonnet par dessus les moulins*¹. Завтра она пожалуется папе.

— А папа?

— Папа будет от души смеяться. Ах, папочка мой такая прелесть, такой душенька. Но довольно об этом. Вы больше не дуетесь, и я очень рада. Еще один тур. Вы не устали?

ПИСЬМО ЛЮБОВНОЕ

Кончились зимние каникулы. Тяжело после двух недель почти безграничной свободы втягиваться снова в суровую воинскую дисциплину, в лекции и репетиции, в

¹ Будь, что будет (франц.).

строевую муштру, в раннее вставание по утрам, в ночные бессонные дежурства, в скучную повторяемость дней, дел, мыслей.

Есть у юнкеров в распорядке дня лишь два послеобеденных часа (от четырех до шести) полного отдыха, когда можно петь, болтать, читать посторонние книги и даже прилечь на кровати, расстегнув верхний крючок куртки. От шести до восьми снова зубрежка или черчение под надзором курсовых офицеров.

Александров подсел на кровать к Жданову: так они каждый день ходят друг к другу в гости. Крикнули ротного служителя и послали его в булочную Севастьянова, что наискось от училища через Арбатскую площадь, за пирожными — пара пятачок. Жданов, как более солидный и крепкий, заказал себе два яблочных и два тирольских; более легковесный Александров — две трубочки с кремом и два миндальных. Поедая пирожные, как-то говорится слаще, занятнее. Самая любимая, никогда не иссякающая тема их разговора — это, конечно, прошлый недавний бал в Екатерининском институте, со множеством милых маленьких воспоминаний. Вспоминают они, как все девицы, окружив тесным прекрасным роем графа Олсуфьева, упрашивали его не уезжать так скоро, пробыть еще полчасика на балу, и как он, мелко топчась на своих согнутых подагрой ногах, точно приплясывая, говорил:

— Не могу, мои красавицы. Сказано в премудростях царя Соломона: время строить и время разрушать, время старому гусару Олсуфьеву танцевать на балу и время ехать домой спатиньки.

— Прелесть граф Олсуфьев? А? — говорит Александров.

— Правда. Молодчина, — соглашается Жданов. — А какой шикарный был ужин, какая осетрина, какой ростбиф?

Но Александрову ближе и милее другие воспоминания. Как ласково и просто сказала княгиня-директриса: «Mesdames, просите ваших кавалеров к ужину». Вот это так настоящая аристократка! Хочется юнкеру сказать и еще кое о чем, более нежном, более интимном; ведь на то и дружба, чтобы поверять друг другу сердечные секреты. Переход из зала в столовую шел по довольно узкому коридору. Было тесно, подвигались с трудом. Плечи Зи-

ночки и Александрова часто соприкасались. Кисть ее руки легко лежала на рукаве Александрова. И вот вдруг, на бесконечно краткое время, Зиночка сжала руку юнкера и прильнула к нему упругим сквозь одежду телом. Конечно, это вышло случайно, от толкотни, но, кто знает, может быть, здесь была и крошечная, микроскопическая доля умысла? Нет, Жданову он об этом не скажет ни слова. Пусть их связывает восьмилетняя корпусная дружба (оба оставались на второй год, хотя и в разных классах), но Жданов весь какой-то земной, деревянный, грубоватый, много ест, много пьет, терпеть не может описаний природы, смеется над стихами, любит рассказывать похабные анекдоты. Родом он донской казак из Тульской губернии. Он не поймет.

Возвращаются они памятью и к последней минуте, к отъезду из института. Когда спускались юнкера по широкой растреллиевской лестнице в прихожую, все воспитанницы облепили верхние перила, свешивая вниз русые, золотые, каштановые, рыжие, соломенные, черные головки.

— Благодарим вас! Спасибо, милые юнкера, — кричали они уходящим, — не забывайте нас! Приезжайте опять к нам на бал! До свиданья! До свиданья!

И тут Александров вдруг ясно вспомнил, как, низко перегнувшись через перила, Зиночка махала прозрачным кружевным платком, как ее смеющиеся глаза встретились с его глазами и как он ясно расслышал снизу ее громкое:

— Пишите! пишите!

* * *

С этого момента, по мере того как уходит в глубь прошлого волшебный бал, но все ближе, нежнее и прекраснее рисуется в воображении очаровательный образ Зиночки и все тревожнее становятся ночи Александрова, — им все настойчивее овладевает мысль написать Зиночке Бельшевой письмо. Конечно, оно будет написано вежливо и почтительно, без всякого, самого малейшего, намека на любовное чувство, но уже одно то будет бесконечно радостно, если она прочтает его, прикоснется к нему своими невинными пальцами. Александров пишет письмо за письмом на самой лучшей бумаге, самым лучшим, старательным почерком и затем аккуратно складывает их в шесть-

десять четвертую долю. Само собой разумеется, что письмо пойдет не по почте, а каким-нибудь обходным таинственным путем.

В первое же воскресенье он к двум часам дня отправляется в Екатерининский институт. Великолепный огромный швейцар Порфирий тотчас же с видимым удовольствием узнает его.

— Добро пожаловать, господин юнкер. Как изволите поживать? Как драгоценное здоровье? Чем служу вам? Александров осторожно закидывает удочку:

— Прошлый раз, Порфирий, угощал ты меня вишневой наливкой. Изумительная была наливка, но только в долгу, как хочешь, оставаться я не люблю. Вот...

Он протягивает швейцару зеленую трехрублевую бумажку, еще теплую, почти горячую от нервно тискавшей ее руки.

Левое веко у Порфирия чуть-чуть играет, готовое лукаво подмигнуть.

— Да вы бы попросту, господин юнкер. Сказали бы, в чем дело-то? А денежки извольте спрятать.

Запинаясь, отворачивая лицо, Александров говорит малосвязно:

— Тут это... вот... моя двоюродная сестра... Это... барышня Бельшева... Зинаида... Письмо от родственников...

— С удовольствием, с великим моим удовольствием-с, господин юнкер. Передам без малейшего замедления. Только кому раньше предоставить: классной даме или самому господину профессору? Как я состою по присяге...

«Чорт! Не вышло!» — говорит про себя Александров и уходит посрамленный. Он сам чувствует, как у него от стыда колюче покраснело все тело.

* * *

Но уже, как маньяк, он не может отвязаться от своей безумной затеи. Учитель танцев, милейший Петр Алексеевич Ермолов? Но тотчас же в памяти встает величавая, важная фигура, обширный белый вырез черного фрака, круглые плавные движения, розовое, полное, бритое лицо в седых гладко причесанных волосах. Нет, с тремя руб-

лями к нему и обратиться страшно. Говорят, что раньше юнкера пробовали, и всегда безуспешно.

Но с Ермоловым повсюду на уроки ездит скрипач, худой маленький человечек с таким ничего не значащим лицом, что его, наверно, не помнит и собственная жена. Уждав время, когда, окончив урок, Петр Алексеевич идет уже по коридору к выходу на лестницу, а скрипач еще закутывает черным платком свою дешевую скрипку, Александров подходит к нему, показывает трехрублевку и торопливо лепечет:

— Понимаете ли?.. Здесь ничего нет дурного или предосудительного... Тут только одно семейное дело о наследстве. Необходимо уведомить, чтобы не попало в чужие руки... сделайте великое одолжение.

Но скрипач отмахивается обеими руками вместе с закутанной в черное скрипкой:

— Да упаси меня бог! Да что вы это придумали, господин юнкер? Да ведь меня Петр Алексеевич мигом за это прогонят. А у меня семья, сам-семь с женою и престарелой родительницей. А дойдет до господина губернатора, так он меня в три счета высылит навсегда из Москвы. Не-ет, сударь, старая история. Имею честь кланяться. До свиданья-с! — и бежит торопливо следом за своим патроном.

* * *

Но громадная сила — напряженная воля, а сильнее ее на свете только лишь случай. Как-то вечером, в часы отдыха, юнкера сбились кучкой человек в десять между двумя соседними постелями. Левис-оф-Менар рассказывал наизусть содержание какого-то переводного французского романа, не то Габорию, не то Понсон де Террайля. Вяло, без особого внимания подошел туда Александров и стал лениво прислушиваться.

— Тогда-то,— продолжал медленно Левис,— кроважные преступники и придумали коварный способ для своей переписки. Они писали друг другу самые обыкновенные записки о самых невинных семейных делах, так что никому не пришло бы никогда в голову придаться к их содержанию. Но на чистом листке они передавали свои хищнические планы при помощи пера, обмокнутого в лимонный сок. Некоторую покоробленность бумаги они

сглаживали горячим утюгом, а получателю стоило только поддержать этот белый листок около огня, как немедленно и явственно выступали на нем желтые буквы...

Слова Левиса сразу, точно молния, озарили Александра.

«Вот что мне нужно! А там суди меня бог и военная коллегия!»

В ближайшую субботу он идет в отпуск к замужней сестре Соне, живущей за Москва-рекой, в Мамонтовском подворье. В пустой аптекарский пузырек выжимает он сок от целого лимона и новым пером № 86 пишет довольно скромное послание, за которым, однако, как кажется юнкеру, нельзя не прочесть пламенной и преданной любви:

«Знаю, что делаю дурно, решаясь писать Вам без позволения, но у меня нет иного средства выразить глубокую мою благодарность судьбе за то, что она дала мне невыразимое счастье познакомиться с Вами на прекрасном балу Екатерининского института. Я не могу, я не сумею, я не осмелюсь говорить Вам о том божественном впечатлении, которое Вы на меня произвели, и даже на попытку сделать это я смотрю, как на кощунство. Но позвольте смиренно просить Вас, чтобы с того радостного вечера и до конца моих дней Вы считали меня самым почтенным слугой Вашим, готовым для Вас сделать все, что только возможно человеку, для которого единственная мечта — хоть случайно, хоть на мгновение снова увидеть Ваше никогда не забываемое лицо. Алексей Александров, юнкер четвертой роты третьего Александровского военного училища на Знаменке».

Когда буквы просохли, он осторожно разглаживает листик Сониным утюгом. Но этого еще мало. Надо теперь обыкновенными чернилами, на переднем листе, написать такие слова, которые, во-первых, были бы совсем невинными и неинтересными для чужих контрольных глаз, а во-вторых, дали бы Зиночке понять о том, что надо подогреть вторую страницу.

Очень быстро приходит в голову Александрову (немножко поэту) мысль о системе акростиха. Но удается ему написать такое сложное письмо только после многих часов упорного труда, изорвав сначала в мелкие клочки чуть ли не десь почтовой бумаги. Вот это письмо, в кото-

ром начальные буквы каждой строки Александров выделял чуть заметным нажимом пера:

Дорогая Зизи,

Помнишь ли ты, как твоя старая тетя Оля тебя так называла? Прошло два года, что от тебя нет никаких писем. Я думаю, что ты теперь выросла совсем большая. Дай тебе боже всего лучшего, светлого и, главное, здоровья. С первой почтой шлю тебе перчатки из козьей шерсти и платок оренбургский. Какая радость нам, ангел мой, если летом приедешь в Озерище. Уж так я буду оберегать тебя, что пушинке не дам сесть. Няня тебе шлет пренизкие поклоны. Ее зимой все ревматизмы мучали, Мнша в реальном училище. Учится хорошо. Увлекается акростихами. Целую тебя крепко. Вашим пишу отдельно. Твоя любящая

Тетя Оля.

На конверт прилепляется не городская, а (какая тонкая хитрость!) загородная марка. С бьющимся сердцем опускает его Александров в почтовый ящик. «Корабли сожжены», — пышно, но робко думает он.

* * *

На другой день ранним утром, в воскресенье, профессор Дмитрий Петрович Бельшев пьет чай вместе со своей любимицей Зиночкой. Домашние еще не вставали. Эти воскресные утренние чаи вдвоем составляют маленькую веселую радость для обоих: и для знаменитого профессора и для семнадцатилетней девушки. Он сам приготавливает чай с некоторой серьезной торжественностью. Сначала в сухой горячий чайник он всыпает малую пригоршеньку чая, обливает его слегка крутым кипятком и сейчас же сливает воду в чашку.

— Это для того, — говорит он серьезно, — что необходимо сначала очистить зелье, ибо собирали его и приготавливали язычники-китайцы, и от их рук чай поганный.

В этом по крайней мере уверено все Замоскворечье.—Затем он опять наливает кипяток, но совсем немного, закрывает чайник толстой суконной крышкой в виде пелуха, для того чтобы настоялся лучше, и спустя несколько минут наливает его уже до полна. Эта церемония всегда смешит Зиночку.

Затем Дмитрий Петрович своими большими добрыми белыми руками, которыми он при помощи скальпеля разделяет тончайшие волокна растений, режет пополам дужку филипповского калача и намазывает его маслом. Отец и дочка просто влюблены друг в друга.

В дверь стучат.

— Войдите.

Входит Порфирий в утренней тужурке.

— Почта-с.

Профессор не спеша разбирает корреспонденцию.

— А это тебе, Зиночка,— говорит он и осторожно перебрасывает письмо через стол.

Зина вскрывает конверт и долго старается понять хоть что-нибудь в этом письме. Шутка? Мистификация? Или, может быть, кто-нибудь перепутал письма и конверты?

— Папочка. Я ничего не понимаю,— говорит она в недоумении и протягивает письмо отцу.

Профессор несколько минут изучает письмо, и чем дальше, тем больше расплывается на его умном лице веселая улыбка.

— Тетя Оля? — восклицает он.— Да как же ты ее не помнишь? Вспомни, пожалуйста. Такая высокая, стройная. У нее еще были заметные усики. И танцевать она очень любила. Возьми, возьми, почитай повнимательней.

* * *

Через неделю после молитвы и переключки командир четвертой роты Фофанов, он же Дрозд, проходит вдоль строя, передавая юнкерам письма, полученные на их имя. Передает он также довольно увесистый твердый конверт Александрову. На конверте написано: «Со вложением фотографической карточки».

— Э-э, не покажешь мне?

— Так точно, господин капитан.

Юнкер торопливо разрывает оболочку. Это прелестное личико Зиночки, и под ним краткая надпись: «Зинаида Бельшева».

— Э-э... очень хороша,— говорит Дрозд.— Ну, что? Теперь жалеешь, что поехал на бал?

— Никак нет.

RENDEZ-VOUS¹

Утренняя переключка — самый важный и серьезный момент в дневной жизни роты. После оклика всех юнкеров поочередно фельдфебель читает приказы по полку. Он же назначает на сутки одного дежурного из старшего курса и двух дневальных из младшего, которые чередуются через каждые четыре часа, он же объявляет о зысканиях, налагаемых начальством.

Наконец, по окончании переключки, выдавались юнкерам полученные на их имя письма. Последнее обыкновенно делал сам Дрозд, и не без некоторой значительности. По уставу, он мог бы всякую корреспонденцию юнкеров предварительно просматривать, но он их передавал в нетронutom виде. Он, вероятно, инстинктом понял великую аксиому власти: «Взаимное доверие сильнее связывает начальника с подчиненным, чем подозрение и репрессии». К тому же он понимал, что письмо с воли в закрытое заведение всегда дает радость и тепло, а тронутые чужими руками как-то вянет и охладевает.

В конце февраля Александров получил из рук Дрозда такое трогательно малюсенькое письмо, что его марка, казалось, покрывала весь конверт.

— Гм! — сказал Дрозд, — какая воробыная переписка!

В строю решительно немисливо заниматься чем-нибудь иным, как строем: это первейший военный завет. Маленькое письмецо жгло карман Александрова до тех пор, пока в столовой, за чашкой чая с калачом, он его не распечатал. Оно было больше чем лаконично, и от него чуть-чуть пахло теми прелестными прежними рождественскими духами!..

¹ Свидание (франц.).

«На второй день масленицы, в два часа пополудни, приходите на каток Чистых прудов. Я буду с подругой. Ваша З. Б.».

Ваша! О господи! Ваша! Это словечко точно горячей водою облило юнкера и на минуту сладко закружило его голову.

В этот день первой лекцией для юнкеров старшего курса четвертой роты была лекция по богословию. Читал ее доктор наук богословских, отец Иванцов-Платонов, настоятель церкви Александровского училища, знаменитый по всей Европе знаток истории церкви.

Будучи на первом курсе, Александров с жадным вниманием слушал его поразительные лекции о римских папах эпохи Возрождения и о Саванаролле. Но теперь он читал о разрыве церквей, об исхождении святого духа, о причастии под одним или под двумя видами, о непогрешимости пап и о Соборах. Эта тема была суха, схоластична, трудно понимаема.

Александров и вместе с ним другие усердные слушатели отца Иванцова-Платонова очень скоро отошли от него и перестали им интересоваться. Старый мудрый протоиерей не обратил никакого внимания на это охлаждение. Он в этом отношении был похож на одного древнего философа, который сказал как-то: «Я не говорю для толпы. Я говорю для немногих. Мне достаточно даже одного слушателя. Если же и одного нет — я говорю для самого себя».

У Иванцова-Платонова было много занятий в Троице-Сергиевской духовной академии, в разных богословских обществах, и, кроме того, ему едва хватало времени для издания и корректур его многих и замечательных книг. Он отлично знал, что в училище богословие считается предметом почти необязательным, экзамена по нему не полагалось. И он со спокойным равнодушием ставил всем юнкерам по двенадцати баллов. Также ему было все равно, чем занимаются юнкера на его лекциях. Он даже не глядел на них, произнося свои веские мудрые ученые слова... А юнкера в это время подзубривали военные науки для близкой репетиции, чертили профили и фасы, заданные профессорами артиллерии и фортификации, упражнялись в топографическом искусстве, читали книжки Дюма-отца или попросту срисовывали лысую, почти го-

лую, мощную голову прославленного пастыря. Требовалась только условная минимальная тишина, ибо Иванцов-Платонов готовился к ближайшей лекции в более серьезном месте.

Александров, как и всегда, сел рядом с Венсаном и протянул ему полученное письмецо. Венсан неторопливо с серьезным видом рассмотрел и отдал назад.

— Ну что же, Александров, ты — счастливец, — сказал он с дружеской улыбкой. (У них уже давно вошло в обычай говорить друг другу «вы» по делам училищным, и «ты» — по делам дружбы, тонких чувств и любви.)

— Вчера, только вчера ты не осмеливался прикоснуться губами к ее фотографическому портрету, а, смотри, сегодня она тебе назначила randevu на катке, где ты поцелуешь не кусок картона, а, может быть, живую теплую душистую перчатку на маленькой ручке. Ох уж вы мне, скрипучие пессимисты!

— А погляди, погляди, — волновался Александров, — погляди, как она, мое божество, подписалась. «Ваша». Это значит — моя, моя, моя, моя. Моя.

Суровый реалист Венсан не согласился.

— Ваша — это не значит — твоя. Ваша или ваш — это только условное и не очень почтительное сокращение обычного окончания письма. Занятые люди нередко, вместо того чтобы написать: «теперь, милостивый государь мой, разрешите мне великую честь покорнейше просить Вас увериться в совершенной преданности, глубоком почтении и неизменной готовности к услугам Вашим покорнейшего слуги Вашего...» Вместо всей этой белиберды канцелярской, умный и деловитый человек просто пишет: «Ваш Х.», и все тут.

Александров сделал кислое лицо.

— Ну вот, ты всегда такой практик. Все ты через серые очки видишь. А ты обратил внимание на подругу?

— Как же, обратил. Это, наверное, будет дунья, барышня постарше и поне красивее, строгого характера, и потому я заранее отказываюсь от удовольствия сопровождать тебя на Чистопрудный каток и занимать на морозе апатичную, неразговорчивую дурнушку.

— Ах, Венсан!

— Нет, голубчик, — смягчился дружок. — У меня на второй день масленой недели тоже приглашение и — тоже

на каток, но только на Патриаршем пруду, от Машеньки Шелкевич, от моей прекрасной еврейки.

— Эх, пропало мое дело,— уныло сказал Александров и причмокнул языком.

— Почему пропало? Я хоть и реалист и практический человек, но зато верный и умный друг. Посмотри-ка на письмо Машеньки: она будет ждать меня к четырем часам вечера, и тоже с подругой, но та превеселая, и ты от нее будешь в восторге. Итак, ровно в два часа мы оба уже на Чистых прудах, а в четыре без четверти берем порядочного извозчика и катим на Патриаршие. Идет?

— Ах, дорогой мой, как ты хорошо распорядился! А у меня уж было печенки заболели. Ты добр и великодушен, бледнолицый брат мой.

— То-то.

В субботу юнкеров отпустили в отпуск на всю неделю масленицы. Семь дней перерыва и отдыха посреди самого тяжелого и напряженного зубрения, семь дней полной и веселой свободы в стихийно разгулявшейся Москве, которая перед строгим великим постом вновь возвращается к незапамятным языческим временам и вновь впадает в широкое идолопоклонство на яростной тризне по уходящей зиме, в восторженном плясе в честь весны, подходящей большими шагами.

Вчера еще Москва ела жаворонков. булки, выпеченные в виде аляповатых птичек, с крылышками, с острыми носиками, с изюминками-глазами. Жаворонок — символ выси, неба, тепла. А сегодня настоящий царь, витязь и богатырь Москвы — тысячелетний блин, внук Дажбога. Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всесогревающее солнце, блин полит растопленным маслом,— это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин — символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей.

О языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с семушкой и с сижком, с балычком осетровым и с белорыбьим, с тешечкой и с осетровыми молоками, и с копченой стерлядкою и со знаменитым снет-

ком из Бела Озера. Едят и с простой закладкой, и с затейливо комбинированной.

А для легкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев. Тут и классическая, на смородинных почках, благоухающая садом, и тминная, и полынная, и анисовая, и немецкий доппель-кюмель, и всеисцеляющий зверобой, и зубровка, настойка на березовых почках, и на тополевых, и лимонная, и перцовка и... всех не перечислишь.

А сколько блинов съедается за масленую неделю в Москве — этого никто никогда не мог пересчитать, ибо цифры тут астрономические. Счет приходилось бы начинать пудами, переходить на берковцы, потом на тонны, и вслед за тем уже на грузовые шестимачтовые корабли.

Ели во славу, по-язычески, не ведая отказа. Древние старожилы говорили с прискорбием:

— Эх! не тот, не тот ныне народ пошел. Жидковаты стали люди, не емкие. Посудите сами: на блинах у Петросеева Оганчиков-купец держал пари с бакалейщиком Трясиловым — кто больше съест блинов. И что же вы думаете? На тридцать втором блине, не сходя с места, богу душу отдал! Да-с, измельчали люди. А в мое молодое время, давно уже этому, купец Коровин с Балчуга свободно по пятидесяти блинов съедал в присест, а запивал непременно лимонной настойкой с рижским бальзамом.

Но Александров блинного объедания не понимает и к блинам особой страсти не чувствует. Съел парочку у мамы, парочку у сестры Сони и стал усиленно готовиться ко вторичной встрече. Его стальные коньки, лежавшие без употребления более года в чулане, оказывается, кое-где успели заржаветь и в чем-то перепачкались; пришлось над ними порядочно повозиться, смазывая их керосином, обтирая теплым деревянным маслом и, наконец, полируя наждаком особенно неподатливые ржавчинки.

Когда же коньки были приведены в полный порядок, Александров вспомнил о том, что он уже давно, уже более года не занимался благородным спортом бегания на коньках. Надо было немедленно заняться необходимой тренировкой. Правда, девушки в конькобежном искусстве всегда стоят гораздо ниже молодых людей, однако Александрову приходилось дважды в своей жизни видеть совершенно обратные примеры, оба на большом катке

Зоологического сада. Один раз это была датчанка, другой — суровая норвежская девица. В быстроте и выносливости их не мог победить ни один из московских профессионалов-мужчин. Но в фигурном заезде выше их по очкам оказывался каждый раз преподаватель гимнастики в Александровском училище — Постников, знаменитый московский спортсмен.

Ну, конечно, Зиночка Бelyшева не датчанка, не норвежка, но, судя по тому, как она ходит, и как танцует, и как она чутка к ритму, и гибка, и ловка в движениях, можно предположить, что она, пожалуй, очень искусна в работе на коньках. А вдруг я окажусь не только слегка слабее ее, а гораздо ниже. Нет! Этого унижения я не могу допустить, да и она меня начнет немного презирать. Иду сейчас же упражняться.

Самый близкий каток от Кудрина был как раз на Патриарших прудах, но за вход на его заботливо содержимое ледяное поле и за музыку полагалось со своими коньками десять копеек... И отсюда-то и начались лютые горести и моральные муки для бедного вновь влюбленного юнкера в звании обер-офицера, Алексея Александрова.

Смета его предполагаемых расходов была колоссально велика, даже считая в обрез: суббота, воскресенье, понедельник — три дня, каждый день по два упражнения на Патриарших, итого шесть раз — шестьдесят копеек. Вход на Чистые пруды — гривенник, итого семьдесят копеек. Угостить чем-нибудь Зиночку. Довезти ее домой на извозчике. Заплатить за нее услужнице.

А у Александрова не было ни единой копейки. О, свинская, о, подлая бедность! Неужели придется отказаться? не прийти? сказать через Венсана, что заболел мгновенно дифтеритом или сломал ногу?

Прости-прощай навсегда светлый, милый, нежный облик Зиночки, ласковой волшебницы, такой прелестной душеньки, с которой не сравняются никакие знаменитые красавицы. Прощай, любовь моя! И все это из-за жалких копеек!

Он мог бы обратиться к матери и попросить ее, но он давно знал, как она непоколебима в своих убеждениях, внушенных ей чужим злобным и глупым авторитетом

Была у мамы такая давняя, необычайно почитаемая старшая подруга, Мария Ефимовна Слепцова — самая

важная, самая либеральная и самая неоспоримо умная особа в Вышнем Волочке. Она в год раза четыре приезжала в Москву по делам, навещала маму и всегда-то всех учила, делала замечания, прорицала, предостерегала и т. п.

Мать, в силу многолетнего, еще с девичества ненарушимого преклонения, внимала ей, как гласу ангельскому с небес, и, сама очень свободолюбивая по натуре, считала ее индюшечью болтовню непререкаемым кладезом мудрости и опыта.

Однажды, перед вечером, когда Александров, в то время кадет четвертого класса, надел казенное пальто, собираясь итти из отпуска в корпус, мать дала ему пять копеек на конку до Земляного вала, Марья Ефимовна зашипела и, принявшись теребить на обширной своей груди старинные кружева, заговорила с тяжелой самоуверенностью:

— Я тебя не понимаю, Люба,— разве это педагогично давать детям или, скажем, юношам деньги на руки? К чему они ему? (Александров-то знал — к чему: на пару тирольских пирожных у корпусного разносчика Егорки). Он, слава богу, обут, одет и учится в хорошем, теплом и хорошо освещенном помещении. Куда же ему девать деньги? На конку? Но для мальчика его возраста пройти пешком от Кудрина до Лефортова одно только удовольствие! А мы не раз видали, и слышали, и читали, к каким плачевным, роковым результатам приводит молодежь раннее знакомство с деньгами и с тем, что можно получить за деньги.

— Вы правы, Марья Ефимовна, вы совершенно правы,— говорила покорно Алешина мать.— Я приму ваши золотые слова к самому сердцу. Как вы добры и мудры!

Вышневолоцкая пифия совсем рассиропилась и продолжала томным голосом:

— В особенности я об этом говорю потому, что знаю, Любочка, твое совсем небогатое положение. Но я надеюсь, что ты позволишь мне, на основании нашей старой дружбы, подарить твоему милому мальчику вот этот рубль, который ты будешь расходовать на его маленькие невинные забавы.

Александров быстро надел фуражку и пошел к двери.

— Алеша, поблагодари! Алеша, прости с Марьей Ефимовной! — тревожно кричала мать.

— Не стоит, — ответил дрожащим голосом кадет и хлопнул дверью.

Александров молчал, предаваясь унылым думам. Мать тоже молча вышивала гарусом по канве, и часто слышался роговой тихий стук ее спиц.

«Нет, у мамы стыдно и бесполезно просить. Ведь она для себя никогда не жила. Все для нас. Выезжать надо было сестрам — продала две родовые деревнюшки Зубово и Щербатовку с землей. Приданое понадобилось — отдала пополам бабушкино наследство. Пошли дети у сестер — она и бабкой и нянькой, — сама из рожка кормила. И всегда она нас в детстве вывозила летом на дачу из пыльной, пламенной Москвы и там бывала нам и кухаркой и горничной. А мне, балбесу, лентяю и грубияну, не могшему одолеть первых начал алгебры, разве не нанимала она репетиторов, или, как она сама называла, «погонялок».

Ах! К ней никак невозможно и, стало быть, — пропал счастливый второй день масленицы. Жестокая моя жизнь!

Но есть в мире удивительное явление: мать с ее ребенком еще задолго до родов соединены пуповиной. При родах эту пуповину перерезают и куда-то выбрасывают. Но духовная пуповина всегда остается живой между матерью и сыном, соединяя их мыслями и чувствами до смерти и даже после нее.

— Ты что же, Алеша, надулся, как мышь на крупу? — сказала тихонько мать. — Иди-ка ко мне. Иди, иди скорее! Ну, положи мне голову на плечо, вот так.

— Да я, мамочка... так...

— Ну, говори, рассказывай. Я уж давно чувствую, что ты какой-то весь смутный и о чем-то не переставая думаешь. Скажи, мой светик, скажи откровенно, от матери ведь ничто не скроется. Чувствую, гложет тебя какая-то забота, дай бог, чтобы не очень большая. Говори, Алешенька, говори — вдвоем-то мы лучше разберем.

Милый, с колыбели родной голос, нежные, давно привычные слова растопили угрюмость юнкера. Мать гладила его волосы, и он рассказывал все по порядку: блестящий рождественский бал в Екатерининском институте, куда его почти насильно отправил Дрозд. Танцы. Знаком-

ство с Зиной Бельшевой. Летучая ссора, наивное примирение. Первая любовь, настоящая, пылкая и на веки вечные (прежние дачные любвишки не в счет. Так — бабство, обезьянство, подражание прочитанным романам). Рассказал также Александров о том, как написал обожаемой девушке шифрованное письмо лимонными чернилами с акrostихом выдуманной тетки, и как Зиночка прислала ему очаровательный фотографический портрет, и как он терзался, томясь долгой разлукой и невозможностью свидания.

— Ведь ты же, мама, понимаешь меня? Ты же была в свое время влюблена, прежде чем выйти замуж?

— Нет, нет, Алешенька, мой милый, — тихо засмеялась мать. — В мое время таких влюблений у нас не бывало. Пришли ко мне твои дедушка и бабушка и сказали: «Любушка, к тебе сватается председатель мирового съезда Николай Федорович Александров; человек он добрый, образованный и даже играет на скрипке. Фамилия его хорошая, дворянская. Место почтенное. Ну, как ты скажешь? Пойдешь? Не пойдешь?» — «Как вы, папенька, маменька, скажете». Так я и вышла замуж неполных шестнадцати лет; даже после венчания все куклы свои в мужнин дом перевезла. А ты говоришь влюбление.

— Ах, мамочка, то было — тогда, а теперь — теперь совсем другое.

— Да, ладно, хорошо. Верю тебе, что нынче иное. А ты дальше говори.

— А дальше то, что Зиночка прислала мне в училище вот это коротенькое письмецо, и я теперь не знаю, что делать...

Мать, не торопясь, надела на нос большие в металлической оправе очки и внимательно прочитала записочку. А потом надела очки на лоб и сказала:

— Быстрая барышня, деловитая и живая. Она из каких же Бельшевых? Не профессора ли Дмитрия Петровича дочка?

— Да, мамочка. Она самая — Зинаида Дмитриевна.

— Ну что же? Не мое право его укорять, что он дочку на такой широкой развязке держит... Однако он человек весьма достойный и по всей Москве завоевал себе почет и уважение. Впрочем — это не мое дело. Ты лучше прямо

мне скажи, что тебе так до смерти нужно? Денег, наверное? Так?

— Так, мамочка. Только мне очень, очень стыдно у тебя просить.

— Ну, стыд не велик. Я еще твоя должница. В прошлом году ты мне шевровые башмаки подарил. Но к чему мне шевро? Я не модница. Стара стала. Я пошла в этот магазин, где ты покупал, и там хорошие прюнелевые ботинки присмотрела и разницу себе взяла. Ну что же, пяти целковых тебе довольно? Хватит?

Александров прильнул губами к ее морщинистой шее и, горячо целуя ее, растроганно забормотал:

— Этого довольно, совсем довольно. Ах, какая ты у меня восторгательная, мамочка! Какая ты золотая, бриллиантовая! Ты подумай только, мама, что бы теперь сказала Мария Ефимовна Слепцова, если бы увидела твою непомерную расточительность!

Мать улыбнулась той милой, славной стародавней улыбкой, которую так знал и любил Алексей и в которой так наивно скользило беззлобное лукавство:

— Ах, Алешенька! Здесь нас только двое. Никто чужой не услышит. Не в укор и не в осуждение, скажу тебе, что моя Марья Ефимовна при всех своих прекрасных чертах — порядочная-таки дурища, дай ей бог всякого счастья и здоровья. Она еще и в Пензе этим качеством отличалась. Но, однако, при всей своей глупой гордости и при вечном всезнайстве она чрезвычайно добра и всегда готова оказать помощь. Но и тебе, мой Алеша, я должна сказать: научись ты, ради бога, обуздывать свой неумный татарский нрав. Много ты несчастий через него в жизни перетерпишь. Кровь у тебя уж чересчур вспыльчивая.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

В ту же субботу ранним вечером успел Александров сбегать с коньками на небольшой, но уютный и близкий от дома каток Патриарших прудов. Там нынче не было музыки, но зато беговое ледяное поле, находившееся под присмотром ревностных членов конькобежного клуба, отличалось замечательной чистотой и зеркальной гладкостью. Над деревянной кабинкой, где спортсмены надевали

на ноги коньки, пили лимонад и отогревались в морозные дни,— висел печатный плакат: «Просят г.г. посетителей катка без надобности не царапать лед вензелями и не делать резких остановок, бороздящих паркет».

Александров сначала опасался, что почти шестимесячная отвычка от «пatinaжа» даст себя знать тяжестью, неловкостью и неумелостью движений. Но, когда он быстрым полубегом-полускоком обогнул четыре раза гладкую поверхность катка и поплыл большими круглыми, перемежающимися размахами, то сразу радостно почувствовал, что ноги его попрежнему работают ловко, послушно и весело и отлично помнят конькобежный темп.

Какой-то пожилой, толстый спортсмен, с крошечной круглой шапочкой на голове, воскликнул, сбегая на коньках с деревянной лестницы:

— Bravo, господин юнкер. Bravo, bravo, молодцом.

Александров с широкой улыбкой приложил правую руку к своей барашковой орленой шапке и подумал не без гордости: «Это еще пустяки. А вот ты лучше погляди на меня в следующий вторник, на Чистых прудах, где я буду без шинели, без этого нелепого штыка, в одном парадном мундире, рука об руку с ней, с Зиной Бельшевой, самой прекрасной и грациозной барышней в мире...»

Так он проминал и упражнял свое тело до глубоких сумерек. Когда уже стало ничего не видно вокруг, тогда, приятно усталый и блаженно расслабленный, он с трудом дошел до дома.

Но на другой день, с самого раннего утра, стали давать знать себя последствия неумеренной тренировки, затеянной через большой промежуток пустого времени. Он проснулся с таким чувством, будто его руки, ноги, спина и все тело избито до синяков. Каждый мускул болел и ныл и не позволял до себя дотрагиваться. Чтобы встать с постели, Александрову пришлось держаться за стул и кряхтеть совсем по-старчески. Он подумал, что заболел, катаясь вчера на коньках, и, чтобы не тревожить мать, попросил принести ему утренний чай в постель, чего раньше никогда не делал, считая еду в лежачем положении ужасным свинством.

Но мать сама принесла ему чай и калач с маслом. Она сразу увидела, как ее сын мается от ломоты и через силу, с трудом передвигает свои члены, и участливо спросила:

— Что, Алешенька? Никак перекатался вчера?

— Да, немножко, мамочка. Но сам не понимаю, почему меня всего так и тянет, так и разбирает, точно у меня лихорадка. Нехватало еще такой глупости, чтобы захворать на масляной неделе.

Мать поцеловала его в лоб (так она всегда измеряла температуру у своих детей) и сказала:

— Слава богу, никакой болезни нет. А твое недомогание — вещь простая и легко объяснимая: просто маленькое растяжение мускулов. Бывает оно у всех людей, которые занимаются напряженной физической работой, а потом ее оставляют на долгое время и снова начинают. Эти боли знакомы очень многим: всадникам, гребцам, грузчикам и особенно циркачам. Цирковые люди называют ее корруптурой или даже колупотурой.

— А как же от нее лечатся? — спросил Александров, вспомнив о недалеком вторнике.

— Да просто никак, Алешенька. Здесь ни массажи, ни втирания, ни внутренние средства не помогают. Поможет только время. А самое лучшее, что я тебе посоветую, Алеша, — это — иди сейчас же на каток и начни снова упражняться по-вчерашнему.

— Батюшки, да у меня все тело, сверху донизу, точно расплзается на части. Мне даже шевелиться больно.

— А все-таки возьми да и пошевелись. Клин клином надо вышибать. Это старая народная мудрость. Ногам больно — встань на ноги, да пойдя. И пойдя прямо на каток. Преодолей сам себя и перетерпи всякую боль. А там — как рукой снимет. Ты уж верь мне. Я сколько раз это лечение употребляла. Дядюшка твой, а мой брат, совсем не почтенный Аркадий Алексеевич, был самый отчаянный татарин и самый страстный лошадиный во всей Пензенской и Тамбовской губерниях. О боже, сколько он надурил в течение своей жизни. Так, например, он уверял всех, а в особенности меня, тогда девчонку лет тринадцати, что во мне зарыт великий талант дикой, неподражаемой и несравненной наездницы, который надо только развить и отшлифовать и — тогда мне будут свободны все дороги по лошадиной части: в цирк, так в цирк, на роль грандиозной наездницы Эльфриды. А то на скачки: женщина-жокей, первая в мире и никем не побеждаемая. Если захочу — в Аравию, тамошних первоклассных лошадей

объезжать, или поступлю к английской королеве, шефом ее личной конюшни... Всегда врал князь Аркадий, как непутевый, однако, по правде сказать, был у меня какой-то прирожденный, потомственный дар к лошадям. Я их всегда любила, и они меня любили и слушались. Так что же ты думаешь, этот братец мой, Аркаша, сорви-голова, для моего обучения придумал. (Тогда уже он, с такими же любезными братцами — татарскими князьями — успел наш прекрасный пра-прадедовский конный завод разорить дотла своими кутежами всякими и фокусами.) Поедет он, бывало, далеко в киргизские степи и пригонит оттуда большой косяк тамошних лошадей — неуков. А лошади эти были замечательные, и любители их очень ценили. Отличались они, при сравнительно небольшом росте, необыкновенно широкой грудью, четырьмя продушинами в ноздрях и таким долгим духом в скачке, какого у других пород не существует. И свободно ходили иноходью. Но, кроме всех подобных качеств, эти кооматые киргизы, как на подбор, были злы, упрямы и непослушны до крайности. Они постоянно и между собой грызлись, и с чужими лошадьми, и человека всегда норовили искушать или копытом ударить. И, когда злились, то визжали и скрежетали зубами, как, прости господи, озверелые черти. Вот их-то и объезжал возлюбленный мой братец Аркаша, а потом продавал помещикам-любителям. На них он и начал развивать мой замечательный лошадиный дар. Сначала сажал меня верхом, по-мужски, без седла, на потнике. Посадит, даст мне хлыст в руку да как огреет степняка арапником. Да еще мне кричит вдогонку: ты его пори, пори все время. Уж и что же со мной эти киргизы выделывали. Теперь и вспомнить страшно. Вся я ходила в синяках, в рубцах, во шрамах, в шишках. А все-таки старшим не жаловалась. Моя мама, а твоя бабушка, Елизавета Григорьевна, была святой человек, и никто ее не боялся и не слушался, а огорчать ее жалобой было как-то стыдно. А уж признаться по правде, должна сказать, что эти Аркашины лошадиные зверства были для меня приятнее всякой книжки и слаще всех конфет. Случалось иногда со мною, как вот и с тобою нынче, что полгода, год не приходилось мне верхом на лошадь сесть, а потом сразу наезжусь доотвала — и пойдут у меня эти прострелы да ло-

моты, что еле хожу и все стенаю от боли. Тут непременно является Аркадий со своей ветеринарной помощью:

— Эй, непревосходимая всадница! Люмбагой изволите страдать? Пожалуйте на конюшню. Да не шагом, когда вам берейтор приказывает, а поле-галопом. Ну-с! — и сам арапником щелкает оглушительно. Поневоле побежишь. Он даже сам на седло посадит и коня сзади воодушевит посылом и марш-марш в широкое поле. Конечно, больно сначала всем суставам. А вернешься домой, и, глядишь, все твои недуги как рукой сняло, без всяких бобковых мазей и перувианских бальзамов. Вот я и тебе, Алешенька, советую, прибегни ты к этому стародавнему героическому средству.

Александров послушался мудрого материнского совета и пошел на Патриаршие пруды, охая, морщась и потирая ноющие места. Прикреплять коньки к каблукам ему казалось невероятно трудным, но еще труднее, неловче и больнее давались ему разгоны по льду. Так он долго с наморщенным лицом и со срывающимся криком тщетно пытался восстановить давно знакомые ему круги и повороты, и потом он сам не мог понять, как это наступил момент, когда он сам себя спросил: «Позвольте, а где же моя боль? Куда девалась моя досадливая боль?» Медвежье пензенское средство оказалось превосходным.

В этот день (в воскресенье) Александров еще избегал утруждать себя сложными номерами, боясь возвращения боли. Но в понедельник он почти целый день не сходил с Патриаршего катка, чувствуя с юношеской радостью, что к нему снова вернулись гибкость, упругость и сила мускулов.

Во вторник Венсан и Александров встретились, как между ними было уговорено, у церкви Большого Вознесения, что на стыке обоих Никитских улиц — Большой и Малой. По истинно дружеской деликатности они оба поспешили и пришли на место свидания минутами двадцатью раньше условленного срока.

— Давайте, — сказал Венсан, — пойдем, благо времени у нас много, по Большой Никитской, а там мимо Иверской по Красной площади, по Ильинке, и затем по Маросейке прямо на Чистые пруды. Крюк совсем малый, а мы полюбуемся, как Москва веселится.

Они пошли рядышком, по привычке в ногу, держась подтянуто, как на ученье, и с механичной красивой точностью отдавая честь господам офицерам.

Белые барашки доверчиво и неподвижно лежали на тонком голубом небе. Мороз был умеренный и не щипал за щеки и откуда-то, очень издалека, доносился по воздуху томный и волнующий запах близкой весны и первого таяния.

Москва была вся откровенно пьяная и весело добродушная. Попадались уже в толпе густо сизые и пламенно багровые носы, заплетающиеся ноги и слышались меткие острые московские словечки, тут же вычеканенные и тут же, для сохранности, посыпанные крепкой солью.

— Не мешайте Москве,— сказал глубокомысленно Венсан,— творить свое искусство слова.

Красная площадь вся была переполнена, и по ней приходилось пробираться с трудом. Гроздья бесчисленных воздушных шаров, цветов красной и белой смородины, висели высоко в воздухе и точно порывались ввысь. Стаи здешних прирученных голубей беспорядочно кружились над толпою, и часто отдельные растерявшиеся голуби чертили крылами по головам людей. Истоптанный снег и плитки халвы казались одного цвета. Белые лоханки с мочеными яблоками, пересыпанными красной клюквой, стояли длинными рядами, и московский студент, купив холодное яблоко, демонстративно ел его, громко чавкая от молодечества и от озноба во рту. Есть моченые яблоки на масленой — это старый обряд московских студентов. И везде блины, блины, блины. Блины ходячие, блины стоячие, блины в обжорном ряду, блины с конопляным маслом, и везде горячий сбитень, сбитень, сбитень, паром поднимающийся в воздухе. Живые американские чортики в узких, длинных сткляночках. Солдатики оловянные в берестяных коробочках, солдатики деревянные раздвижные, работы балбешников из Троице-Сергиевой лавры, их же медведи с мужиками, и множество всяких живых предсказателей будущего, которые вытаскивают билетки из пачки на счастье: чижи, клесты, овсянки, снегири, скворцы.

— Идем, пора,— говорит Венсан.

— Сию минуту, голубчик,— отвечает Александров,— я только свое счастье вытащу.

Он подходит к ларьку, за которым в клетке беспрестанно прыгает и кувыркается белка.

— Сколько?

— Две копейки-с.

— Давай.

Белка вынимает ему предсказательный билетик, и он спешит присоединиться к товарищу. Они идут поспешным шагом. По дороге Александров разворачивает свой билетик и читает его: «Ту особу, о коей давно мечтает сердце ваше, вы скоро лицезрете и с восторгом убедитесь, что чувства ваши совпадают и что лишь злостные препоны мешали вашему свиданию. Месяц ваш Яннуарий, созвездие же Козерог. Успех в торговых предприятиях и благолепие в браке».

— Можно поглядеть? — спрашивает Венсан.

— Нет, все это пустяки, — отвечает Александров, скомкивая бумажку и пряча ее в карман. Предсказание кажется ему удивительно прозорливым.

Юнкера приходят на Чистые пруды почти в два часа, всего без трех, четырех минут.

— Не беспокойся, — говорит Венсан волнуемому Александрову. — Четверть часа — это минимум их опоздания, а максимум — они вовсе не приходят. Пойдем ко входу с Мясницкой, тут прямо путь от Екатерининского бульвара.

Александров согласен. Но в эту секунду молчавший до сих пор военный оркестр Невского полка вдруг начинает играть бодрый, прелестный, зажигающий марш Шуберта. Зеленые большие ворота широко раскрываются, и в их свободном просвете вдруг появляются и тотчас же останавливаются две стройные девичьи фигуры.

— Странно, — говорит Венсан с одобрительной улыбкой, — не то оркестр их ждал, не то они дожидались оркестра.

А Александров, сразу узнавший Зиночку, подумал с чувством гордости: «Она точно вышла из звуков музыки, как некогда гомеровская богиня из морской пены», — и тут же сообразил, что это пышное сравнение не для ушей прелестной девушки.

Юнкера быстро пошли навстречу приехавшим дамам. Подруга Зиночки Бельшевой оказалась стройной, высокой — как раз ростом с Венсана — барышней. Таких ярко-

рыжих, медно-красных волос, как у нее, Александров еще никогда не видывал, как не видывал и такой ослепительно белой кожи, усеянной веснушками.

А между тем эта девушка была поразительно красива, и ее высоко поднятая голова придавала ей вид гордый и самостоятельный.

— Это моя милая подруга Дэлли,— сказала Зина.— Она ирландка и ровно ничего не понимает по-русски, но по-французски она говорит отлично.

В эту минуту Александров представил Зиночке своего товарища:

— Венсан, мой лучший друг.

Она светло улыбнулась и сказала:

— Надеюсь, и мне вы будете хорошим другом.

Венсан свободно и недурно владел французским языком и потому был очень удобным кавалером для рыжей мисс Дэлли. Впрочем, и по виду они представляли такую крупную, ладно подобранную пару, что на них охотно заглядывалась публика катка.

— Ведите меня в ту будку, где можно надеть коньки,— сказала Зиночка, нежно опуская левую руку на обшлаг серой шинели Александрова.— Боже, в какую жесткую шерсть вас одевают. Это верблюжья шерсть?

Теперь Александров мог свободно наглядеться на свою возлюбленную. Она очень изменилась за время, прошедшее от декабря до марта, но в чем состояла перемена, трудно было угадать. Как будто бы в ней отошел, выветрился прежний легкий налет невинного и беспечного детства. Как будто про нее уже можно было сказать: «Да. Она бесспорно красива. Но в ней есть нечто более ценное, более редкое и упоительное, чем красота. Она мила. Мила тем необъяснимым, сладостным притяжением, о котором простонародье так чутко говорит: «не по хорошу мил, а по милу хорош». И не есть ли эта загадочная, всепобеждающая «милость», видимая глазами, только бледный портрет, только слабый отголосок, только невинный залог расцветающих прелестей ума, души и тела?

Александров привел Зиночку в деревянный барак, где публика вешала свои пальто на крючки, где продавались бутерброды, чай и ланинские шипучие воды и где давали коньки напрокат.

У Зиночки и Александрова были коньки собственные. Александров опустился на одно колено и сказал:

— Будьте, Зинаида Дмитриевна, пожалуйста, со мною совсем без церемонии. Поставьте вашу ногу на мое колено. Я в один миг надену вам коньки и закреплю их крепко-накрепко.

— Отчего же? — улыбнулась дружески Зиночка, — я вам буду очень благодарна.

Она проворно сняла свою легкую шубку из шеншеля и повесила ее на крючок. Потом сбросила калоши и поставила ножку на согнутое колено Александрова.

— Вот вам мои коньки. Возьмите. А я немного помогу вам. Она ловко склонилась и слегка приподняла суконную юбочку. Перед глазами юнкера, на мгновение, показалась изящная ножка с высоким подъемом. Это вдруг умилило Александрова чуть не до слез:

«Господи, какая она прелесть и душенька. И как я люблю ее. Пусть вся ее жизнь будет радостна и светла».

— Вам ловко? Вам не больно? Вам удобно? — спрашивает он с нежной заботливостью. Но Зиночка чувствует себя превосходно. Коньки сегодня точно веселят ноги, и какой день чудесный выдался. Она сходит по ступенькам на лед, громыхая сталью по дереву и с очаровательной неуклюжестью поддерживая равновесие. На льду она делает широкий, красивый круг и, остановившись у лестницы, возбужденно кричит Александрову:

— Сходите скорее на лед. Побежим вместе, да живо, живо.

Александров сбрасывает с себя шинель и шумно бежит вниз. Они берутся за руки и плывут по длинному катку, одновременно набирая инерцию короткими и сильными толчками. Александров с восторгом чувствует в ней отличную конькобежицу.

— Снимите перчатки, — предлагает она, — теперь не холодно, а без перчаток удобнее и приятнее.

«Ах, в миллион раз приятнее!» — восторженно думает Александров, осторожно и крепко держа в своей грубой ладони ее доверчивую, ласковую, нежную ручку. Они переплетают свои руки наискось и так летят, близко, близко касаясь друг друга, и, как тогда, в вальсе, Александров

слышит порою чистый аромат ее дыхания. Потом они садятся на скамейку отдохнуть.

— Помните наш вальс в институте? — спрашивает Зиночка.

— Как же, — отвечает юнкер, — до конца моих дней не забуду. — И спрашивает в свою очередь: — А помните, как нас чуть не опрокинул этот долговязый катковский лицеист?

Он ловит в ее многоцветных зрачках какие-то задорные искры и молчит. Она же отвечает, с едва-едва сдерживаемым смехом, но и с легкой краской стыда:

— Представьте, не помню. Вероятно, забыла. Помню только, что танцевать с вами было так приятно, так удобно и так ловко, как ни с кем.

Этот случай с лицеистом повлек за собою новые воспоминания из их коротенького прошлого, освещенного сиянием люстр, насыщенного звуками прекрасного балльного оркестра, обвеянного тихим ароматом первой, наивной влюбленности.

— А вы помните, как мы поссорились? — спрашивает Зиночка.

— И как мило помирились, — отвечает Александров. — Боже, как я был тогда глуп и мнителен. Как бесился, ревновал, завидовал и ненавидел. Вы одним взглядом издаleка внесли в мою несчастную душу сладостный мир. И подумать только, что всю эту бурю страстей вызвала противная, замаринованная классная дама, похожая на какую-то снулую рыбу, не то на севрюгу, не то на белугу...

Зиночка осторожно положила пальцы на его горячую руку.

— Оставьте, оставьте, не надо. Нехорошо так говорить. Что может быть хуже заочного, безответственного глумления. Нашекина умная, добрая и достойная особа. Не виновата же она в том, что ей приходится строго исполнять все параграфы нашего институтского подмонастырского устава. И мне тем более хочется заступиться за нее, что над ней так жестоко смеется... — она замолкает на минуту, точно в нерешимости, и вдруг говорит: — ...смеется мой рыцарь без страха и упрека.

Александров потрясен. Он еще не перерос того юношеского козлиного возраста, когда умный совет и благожелательное замечание так легко принимается за оскорбле-

ние и вызывает бурный протест. Но кроткая и милая нотация из уст так прекрасно вырезанных в форме натянутого лука, заливает все его существо теплом, благодарностью и преданной любовью. Он встает со скамейки, снимает барашковую шапку и в низком поклоне опускает ее до ледяной поверхности.

— Прошу простить мне мою дурацкую выходку, — говорит он с неподдельным раскаянием, — также примите мои глубокие извинения перед madame Нащекиной.

— Наденьте скорее шапку, — говорит Зиночка, — Вы простудитесь. Ах! Наденьте же, наденьте.

И они опять сидят на скамейке, слушая музыку. Теперь они прямо глядят друг другу в глаза, не отрываясь ни на мгновение. Люди редко глядят так пристально один на другого. Во взгляде человеческого есть какая-то мощная сила, какие-то неведомые, но живые излучающиеся флюиды, для которых не существует ни пространства, ни препятствий. Этого волшебного излучения никогда не могут переносить люди обыкновенные и обыкновенно настроенные: им становится тяжело, и они невольно отводят глаза, отворачивают головы в первые же моменты взгляда. Люди порочные, преступные и слабовольные совсем избегают человеческого взгляда, как и большинство животных. Но обмен ясными, чистыми взорами есть первое инстинктивное блаженство для скромных влюбленных.

«Любишь?» — спрашивают искристые глаза Зиночки, и белки их чуть-чуть розовеют.

«Люблю, люблю, — отвечают глаза Александрова, сияющие выступившей на них прозрачной влагой. — А ты меня любишь?» — «Люблю». — «Любишь?» — «Люблю...» — «Любишь?» — «Люблю». — «Любишь?» — «Люблю...»

Самого скромного, самого застенчивого признания не смогли бы произнести их уста, но эти волнующие, безмолвные возгласы: «Любишь? Люблю» — они посылают друг другу тысячу раз в секунду, и нет у них ни стыда, ни совести, ни приличия, ни осторожности, ни пресыщения. Зиночка первая стряхивает с себя магическое сладостное влияние флюидов: «Люблю, но ведь мы на катке», — благоразумно говорят ее глаза, а вслух она приглашает Александрова:

— Пойдемте еще покатаемся. Попробуем теперь голландскими шагами. Или как надо говорить — гигантскими?

Они опять берутся за руки, но теперь, по требованию фигурного номера держаться на большом расстоянии, идут параллелью. Они одновременно вычерчивают правыми ногами огромный полукруг, склоняясь всем телом на правую сторону, и, окончив его, тотчас же переходят на другой большой полукруг, делая его левыми ногами и наклоняясь круто влево. Чем шире круг и чем ниже наклоны, тем красивее и чище считается фигура. Но голландские шаги не очень легкое упражнение. Чтобы вычертить особенно правильный и особенно широкий круг, надо сделать толчок по льду с наибольшей силой, и эти старания скоро утомляют. Опять Зиночка сидит с Александровым, и опять их глаза поют чудесную многовековую песню: «Любишь — люблю. — Любишь — люблю...» — простую, но самую великую в мире песню.

Но к ним, на сильном разбеге, подлетают мисс Делли с Венсаном.

— Ну, я вам скажу, и барышня, — говорит восхищенно Венсан. — Ах, какая артистка на коньках. Я в сравнении с ней в полотерные мальчишки не гожусь. Неужели все ирландские красавицы такие искусницы?.. Кстати, не хотите ли вы взглянуть образцы высшего фигурного пати-нажа? Сейчас только что приехал на каток знаменитый конькобежец Постников. Он, между прочим, заведует гимнастическими упражнениями в нашем Александровском училище. Пойдемте, пока не навалила публика. Потом не протолпишься.

Они пошли к судейской площадке. На ней стоял в белой фуфайке и белом берете давно знакомый юнкерам Постников, стройный и казавшийся худощавым, бритый по-английски, еще молодой человек, любимец всей спортивной Москвы, — впрочем, не только спортивной...

Постников издали узнал юнкеров и, снявши с головы берет, высоко помахал им:

— Здравствуйте, господа юнкера александровцы.

Юнкера ответили со смехом:

— Здравие желаем, господин учитель.

И тогда Постников, очевидно давно знавший вес и

силу публичной рекламы, громко сказал кому-то, стоявшему с ним рядом на площадке:

— Самые лучшие мои ученики. Прекрасные гимнасты Александровского военного училища.

В толпе, теперь уже довольно большой, послышались густые, прерывистые звуки, точно холеные лошади зареготали на принесенный овес. Москва, в числе своих фаворитов, неизменно включала и училище в белом доме на Знаменке, с его молодцеватостью и вежливостью, с его оркестром Крейнбринга и с превосходным строевым порядком на больших парадах и маневрах.

— Нет, это вам не жидкий, золотушный Петербург, а московские богатыри, кровь с молоком.

Венсан и мисс Дэлли успели пробраться в первые ряды зрителей. Зиночка с Александровым очутились (вероятно, случайно) на другом конце, где впереди их был высокий забор, а позади чья-то спины. Впереди громко зааплодировали. Александров обернулся к своей даме, и она в ту же минуту посмотрела на него, и опять их глаза слились, утонули в сладостном разговоре — «любимь — люблю, люблю. — Всегда будешь любить. — Всегда, всегда». И вот Александров решает сказать не излучающимися флюидами, а грубыми, неподатливыми словами то, что давно уже собиралось и кипело у него в голове. Ему стало страшно. Подбородок задрожал.

— Зинаида Дмитриевна, — начал он глухим голосом. — Я хочу сказать вам нечто очень важное, такое, что переменяет судьбы людей. Позвольте ли вы мне говорить?

Лицо ее побледнело, но глаза сказали: «Говори. Люблю».

— Я вас слушаю, Алексей Николаевич.

— Я — вот что... Я... Я давно уже полюбил вас.. полюбил с первого взгляда там... там, еще на вашем балу, И больше... больше любить никого не стану и не могу. Прошу, не сердитесь на меня, дайте мне... дайте высказаться. Я в этом году, через три, три с половиною месяца стану офицером. Я знаю, я отлично знаю, что мне не достанется блестящая вакансия, и я не стыжусь признаться, что наша семья очень бедна и помощи мне никакой не может давать. Я также отлично знаю тяжелое положение молодых офицеров. Подпоручик получает в месяц сорок три рубля с копейками. Поручик — а это уже три года

службы — сорок пять рублей. На такое жалование едва-едва может прожить один человек, а заводить семью совсем бессмысленно, хотя бы и был реверс. Но я думаю о другом. Рая в шалаше я не понимаю, не хочу и даже, пожалуй, презираю его, как эгоистическую глупость. Но я, как только приеду в полк, тотчас же начну подготавливаться к экзамену в Академию генерального штаба. На это уйдет ровно два года, которые я и без того должен был бы прослужить за обучение в Александровском училище. Что я экзамен выдержу, в этом я ни на капельки не сомневаюсь, ибо путевой звездой будете вы мне, Зиночка.

Он смутился нечаянно сказанным уменьшительным словом и замолк было.

— Продолжайте, Алеша,— тихо сказала Зиночка и от ее ласки буйно забилося сердце юнкера.

— Я сейчас кончу. Итак, через два года с небольшим я — слушатель Академии. Уже в первое полугодие выяснится передо мною, перед моими профессорами и моими сверстниками, чего я стою и насколько значителен мой удельный вес, настолько ли, чтобы я осмелился вплести в свою жизнь — жизнь другого человека, бесконечно мною обожаемого. Если окажется мое начало счастливым — я блаженнее царя и богаче миллиардера. Путь мой обеспечен — впереди нас ждет блестящая карьера, высокое положение в обществе и необходимый комфорт в жизни. И вот тогда, Зиночка, позвольте ли вы мне прийти к Дмитрию Петровичу, к вашему глубокочтимому папе, и просить у него, как величайшей награды, вашу руку и ваше сердце, позвольте ли?

— Да,— еле слышно пролепетала Зиночка.

Александров поцеловал ее руку и продолжал:

— Я по материнской линии происхожу от татарских князей. Вы знаете, что по-татарски значит «кадым»? Это — выкуп, даваемый за девушку. Но я знаю и больше. В губерниях Симбирской, Калужской и отчасти в Рязанской есть такой же обычай у русских крестьян. Он просто называется выкупом и идет семье невесты. Но он незначителен, он берется только в силу старого обряда. Главное в том — оправдал ли себя парень перед женитьбой. То есть, имеется ли у него свой дом, своя корова, своя лошадь, свои бараны и своя птица и, кроме того, почет в ар-

тели, если он на отхожих промыслах. Вот так и я хочу себя оправдать перед вами и перед папой. Не могу ни видеть, ни слышать о жалких тлях, гоняющихся за приданным. Это — не мужчины. Конечно, до того времени, пока я не совью собственную лачугу, вы абсолютно свободный человек. Делайте и поступайте всячески, как хотите. Ни на паутинку не связываю я вашей свободы. Подумайте только: вам дожидаться меня придется около трех лет. Может быть, и с лишним. Ужасно длинный срок. Чересчур большое испытание. Могу ли я, и смею ли я ставить здесь какие-либо условия или брать какие-либо обещания? Я скажу только одно: истинная любовь, она, как золото, никогда не ржавеет и не окисляется... Она... — и тут он замолк. Маленькая нежная ручка Зиночки вдруг обвилась вокруг его шеи, и губы ее коснулись его губ теплым, быстрым поцелуем.

— Я подожду, я подожду, — шептала еле слышно Зиночка. — Я подожду. — Горячие слезы закатали на подбородок Александрова, и он с умиленным удивлением впервые узнал, что слезы возлюбленной женщины имеют соленый вкус.

— О чем вы плачете, Зина?

— От счастья, Алеша.

Но к ним уже подходили, пробираясь сквозь толпу, Венсан с огненно-рыжей ирландкой, мисс Дэлли.

ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНИЯ И СТАТЬИ

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Он между нами жил...

Бывало, в раннем детстве, вернешься после долгих летних каникул в пансион. Все серо, казарменно, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день — еще крепнешься кое-как, хотя сердце нет-нет — и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движение.

Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, — о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами, и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя. И вот тогда-то понимаешь впервые весь потрясающий ужас двух неумолимых вещей: невозвратимости прошлого и чувства одиночества. Кажется, что сейчас же с радостью отдал бы всю остальную жизнь, перенес бы всяческие мучения за один только день того светлого, прекрасного существования, которое никогда не повторится. Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку. И жестоко терзаешься мыслью, что по небрежности, в суете и потому, что время представлялось неисчерпаемым, — ты не воспользовался каждым часом, каждым мгновением, промелькнувшим напрасно.

Детские скорби жгучи, но они тают во сне и исчезают с завтрашним солнцем. Мы, взрослые, не чувствуем их так страстно, но помним дольше и скорбим глубже. Вскоре после похорон Чехова, возвращаясь с панихиды, бывшей на кладбище, один большой писатель сказал простое, но полное значения слова:

— Вот похоронили мы его, и уже проходит безнадежная острота этой потери. Но понимаете ли вы, что навсегда, до конца дней наших, останется в нас ровное, тупое, печальное сознание, что Чехова нет?

И вот теперь, когда его нет, особенно мучительно чувствуешь, как драгоценно было каждое его слово, улыбка, движение, взгляд, в которых светилась его прекрасная, избранная, аристократическая душа. Жалеешь, что не всегда был внимателен к тем особенным мелочам, которые иногда сильнее и интимнее говорят о внутреннем человеке, чем крупные дела. Упрекаешь себя в том, что из-за толкотни жизни не успел запомнить, записать много интересного, характерного, важного. И в то же время знаешь, что эти чувства разделяют с тобою все те, кто был близок к нему, кто истинно любит его, как человека несравненного душевного изящества и красоты, кто с вечной признательностью будет чтить его память, как память одного из самых замечательных русских писателей.

К любви, к нежной и тонкой печали этих людей я обращаю настоящие строки.

I

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой сверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, — она походила бы на здания в стиле *modernisme*, если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окруженная цветником.

К саду, со стороны, противоположной шоссе, примыкало отделенное низкой стенкой старое, заброшенное татарское кладбище, всегда зеленое, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилах.

Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой. Росли в нем груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. В последние годы сад уже начал приносить кое-какие плоды, доставляя Антону Павловичу много забот и трогательного, какого-то детского удовольствия. Когда наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в чеховском саду. Лежали они обыкновенно маленькой горкой в гостиной на подоконнике, и, кажется, ни у кого не хватало жестокости брать их, хотя их и предлагали.

А. П. не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху, с аутского шоссе, и что сад плохо снабжен водою. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи, наконец, шел дождь, наполнявший водою запасные глиняные цистерны!

Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами:

— Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? — прибавлял он вдруг с серьезным лицом, тоном глубокой веры. — Знаете ли, через триста — четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна.

Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отзывавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его задушевных, наиболее лелеемых мыслей. Как часто, должно быть, думал он о будущем счастье человечества,

когда, по утрам, один молчаливо подрезывал свои розы, еще влажные от росы, или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. И сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения!

Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это не было ни жадное любопытство к тому, что будет после меня, ни завистливая ревность к далеким поколениям. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости — от всего ужаса и темноты современных будней. И потому-то под конец его жизни, когда пришла к нему огромная слава и сравнительная обеспеченность, и преданная любовь к нему всего, что было в русском обществе умного, талантливого и честного, — он не замкнулся в недостижимости холодного величия, не впал в пророческое учительство, не ушел в ядовитую и мелочную вражду к чужой известности. Нет, вся сумма его большого и тяжелого житейского опыта, все его огорчения, скорби, радости и разочарования выразились в этой прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом счастье.

— Как хороша будет жизнь через триста лет!

И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, пролагаемыми человеческим умом и знанием. Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, живо интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скучал в обществе специалистов. Он с твердым убеждением говорил о том, что преступления, вроде убийства, воровства и прелюбодеяния, становятся все реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей, докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая, истинная культура облагородит человечество.

Рассказывая о чеховском саде, я позабыл упомянуть, что посредине его стояли качели и деревянная скамейка. И то и другое осталось от «Дядя Вани», с которым Художественный театр приезжал в Ялту, приезжал, кажется,

с исключительной целью показать больному тогда А. П-чу постановку его пьесы. Обоиими предметами Чехов чрезвычайно дорожил и, показывая их, всегда с признательностью вспоминал о милом внимании к нему Художественного театра. Здесь у места также упомянуть, что эти прекрасные артисты своей исключительной деликатной чуткостью к чеховскому таланту и дружной преданностью ему самому много окрасили последние дни незабвенного художника.

II

Во дворе жили: ручной журавль и две собаки. Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, к которым он питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной «Каштанке», о мелеховских таксах «Броме» и «Хинче» он вспоминал так тепло и в таких выражениях, как вспоминают об умерших друзьях. «Славный народ — собаки!» — говорил он иногда с добродушной улыбкой.

Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, набожным слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причем уморительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.

Одну собаку звали «Тузик», а другую — «Каштан», в честь прежней, исторической «Каштанки», носившей это имя. Ничем, кроме глупости и лени, этот «Каштан», впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светлошололадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за «Тузиком» он лаил на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину и начинал уютливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью:

— Уйди же, уйди, дурак... Не приставай...

И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:

— Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.

Но однажды случилось, что «Каштан», по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фазтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее нодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего «Каштана»:

— Ах, ты, глупый, глупый... Ну как тебя угораздило?.. Да тише ты... легче будет... дурачок...

Приходится повторять избитое место, но несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову. Иногда приходила к А. П. одна больная барышня, приводившая с собою девочку лет трех-четырех, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между крошечным ребенком и пожилым, грустным и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная и доверчивая дружба. Подолгу сидели они рядом на скамейке, на веранде; А. П. внимательно и сосредоточенно слушал, а она безумолку лепетала ему свои детские смешные слова и путалась ручонками в его бороде.

С большой и сердечной любовью относились к Чехову и все люди попроще, с которыми он сталкивался, — слуги, разносчики, носильщики, странники, почтальоны, — и не только с любовью, но и с тонкой чуткостью, с бережностью и с пониманием. Не могу не рассказать здесь одного случая, который передаю со слов очевидца, маленького служащего в «Русском о-ве пароходства и торговли», человека положительного, немногословного и, главное, совершенно непосредственного в восприятии и передаче своих впечатлений.

Это было осенью. Чехов, возвращавшийся из Москвы, только что приехал на пароходе из Севастополя в Ялту и еще не успел сойти с палубы. Был промежуток той сумятицы, криков и бестолочи, которые всегда поднимаются

вслед за тем, как опустят сходни. В это-то суматошное время татарин-носильщик, всегда услуживавший А. П-чу и увидевший его еще издали, раньше других успел взобраться на пароход, разыскал вещи Чехова и уже готовился нести их вниз, как на него внезапно налетел бравый и свирепый помощник капитана. Этот человек не ограничился одними непристойными ругательствами, но в порыве начальственного гнева ударил бедного татарина по лицу.

«И вот тогда произошла сверхъестественная сцена,— рассказывал мой знакомый.— Татарин бросает вещи на палубу, бьет себя в грудь кулаками и, вытаращив глаза, лезет на помощника. И в то же время кричит на всю пристань:

«Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты — вот кого ударил!»

И показывает пальцем на Чехова. А Чехов, знаете ли, бледный весь, губы вздрагивают. Подходит к помощнику и говорит ему тихо так, раздельно, но с необычайным выражением: «Как вам не стыдно!» Поверите ли, ей-богу, будь я на месте этого мореплавателя,— лучше бы мне двадцать раз в морду плюнули, чем услышать это «как вам не стыдно». И на что уж моряк был толстокож, но и того проняло: заметался-заметался, забормотал что-то и вдруг испарился. И уж больше его на палубе не видели».

III

Кабинет в ялтинском доме у А. П. был небольшой, шагов двенадцать в длину и шесть в ширину, скромный, но дышавший какой-то своеобразной прелестью. Прямо против входной двери — большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным оконцем; в нише — турецкий диван. С правой стороны, посредине стены — коричневый кафельный камин; наверху, в его облицовке, оставлено небольшое, незаделанное плиткой местечко, и в нем небрежно, но мило написано красками вечернее поле с уходящими вдаль стогами — это работа Левитана. Дальше,

по той же стороне, в самом углу — дверь, сквозь которую видна холостая спальня Антона Павловича, — светлая, веселая комната, сияющая какой-то девической чистотой, белизной и невинностью. Стены кабинета — в темных с золотом обоях, а около письменного стола висит печатный плакат: «Просят не курить». Сейчас же возле входной двери направо — шкаф с книгами. На камине несколько безделушек и между ними прекрасная модель парусной шкуны. Много хороших вещей из кости и из дерева на письменном столе; почему-то преобладают фигуры слонов. На стенах портреты — Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей. По обоим бокам окна спускаются прямые, тяжелые темные занавески, на полу большой, восточного рисунка, ковер. Эта драпировка смягчает все контуры и еще больше темнит кабинет, но благодаря ей ровнее и приятнее ложится свет из окна на письменный стол. Пахнет тонкими духами, до которых А. П. всегда был охотник. Из окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко к морю, и самое море, окруженное амфитеатром домов. Слева же, справа и сзади громоздятся полуколыбом горы. По вечерам, когда в гористых окрестностях Ялты зажигаются огни и когда во мраке эти огни и звезды над ними так близко сливаются, что не отличишь их друг от друга, — тогда вся окружающая местность очень напоминает иные уголки Тифлиса...

Всегда бывает так: познакомишься с человеком, изучишь его наружность, походку, голос, манеры и все-таки всегда можешь вызвать в памяти его лицо таким, каким его видел в самый первый раз, совсем другим, отличным от настоящего. Так и у меня, после нескольких лет знакомства с А. П., сохранился в памяти тот Чехов, каким я его увидел впервые, в общей зале «Лондонской» гостиницы в Одессе. Показался он мне тогда почти высокого роста, худощавым, но широким в костях, несколько суровым на вид. Следов болезни в нем тогда не было заметно, если не считать его походки, — слабой и точно на немного согнутых коленях. Если бы меня спросили тогда, на кого он похож с первого взгляда, я бы сказал: «на земского врача или на учителя провинциальной гимназии». Не было

в нем также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное — в лице, в говоре и в оборотах речи, была также какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность в манерах. Именно такое первое впечатление выносили многие, и я в том числе. Но спустя несколько часов я увидел совсем другого Чехова, — именно того Чехова, лицо которого никогда не могла уловить фотография и которое, к сожалению, не понял и не прочувствовал ни один из писавших с него художников. Я увидел самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человеческое лицо, какое только мне приходилось встречать в моей жизни.

Многие впоследствии говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до странного общая всем, знавшим его. Глаза у него были темные, почти карие, причем раек правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А. П., при некоторых поворотах головы, выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков — словом, у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо А. П. часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты (увы, столь редкие в последние годы), когда им овладевало веселье и когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсне и покачиваясь взад и вперед на кресле, раздражался милым, искренним и глубоким смехом. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько исподлобья. И вот — удивительно — каждый раз, когда я гляжу на этот снимок, я не могу отделаться от мысли, что у Чехова глаза были действительно голубые.

Обращал внимание в наружности А. П. его лоб — широкий, белый и чистый, прекрасной формы: лишь в самое последнее время на нем легли между бровями, у переносья, две вертикальные, задумчивые складки. Уши у Чехова были большие, некрасивой формы, но другие та-

кие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека — у Толстого.

Однажды летом, пользуясь добрым настроением Антона Павловича, я сделал с него несколько снимков ручным фотографическим аппаратом. Но, к несчастью, лучшие из них и чрезвычайно похожие вышли совсем бледными, благодаря слабому освещению кабинета. Про другие же, более удачные, сам А. П. сказал, посмотрев на них:

— Ну, знаете ли, это не я, а какой-то француз.

Помнится мне теперь очень живо пожатие его большой, сухой и горячей руки, — пожатие, всегда очень крепкое, мужественное, но в то же время сдержанное, точно скрывающее что-то. Представляю также себе и его почерк: тонкий, без нажимов, ужасно мелкий, с первого взгляда — небрежный и некрасивый, но, если к нему приглядеться, очень ясный, нежный, изящный и характерный, как и все, что в нем было.

IV

Вставал А. П., по крайней мере летом, довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно одетым; также не любил он разных домашних вольностей вроде туфель, халатов и тужурок. В восемь-девять часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда, безукоризненно, изящно и скромно одетого.

Повидимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставить: в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Зато нередко в хорошие теплые утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном месте дачи, где вдоль белых стен стояли кадки с олеандрами и где им самим был посажен кипарис. Там сидел он иногда по часу и более, один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море.

Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. В это же время на железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висли целыми часами, раз-

нув рты, девицы в белых войлочных, широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову: ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессора, светские люди, сенаторы, священники, актеры — и бог знает, кто еще. Часто обращались к нему за советом, за протекцией, еще чаще с просьбой о просмотре рукописи; являлись развязные газетные интервьюеры и просто любопытствующие; были и такие, которые посещали его с единственной целью «направить этот большой, но заблудший талант в надлежащую, идейную сторону». Приходила просящая беднота — и настоящая и мнимая. Эти никогда не встречали отказа. Я не считаю себя вправе упоминать о частных случаях, но твердо и наверно знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношению к учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его более чем скромные средства.

Бывали у него люди всех слоев, всех лагерей и оттенков. Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова: он из первых рук, из первоисточников, ознакомился со всем, что делалось в данную минуту в России. О, как ошибались те, которые в печати и в своем воображении называли его человеком равнодушным к общественным интересам, к мятущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности. Он за всем следил пристально и вдумчиво; он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо было видеть, как в проклятые, черные времена, когда при нем говорили о нелепых, темных и злых явлениях нашей общественной жизни, — надо было видеть, как сурово и печально сдвигались его густые брови, каким страдальческим делалось его лицо и какая глубокая, высшая скорбь светилась в его прекрасных глазах.

Здесь уместно вспомнить об одном факте, который, по моему, прекрасно освещает отношение Чехова к глупостям русской действительности. У многих в памяти его отказ от звания почетного академика, известны и мотивы этого отказа, но далеко не все знают его письмо в академию по этому поводу — прекрасное письмо, написанное с простым и благородным достоинством, со сдержанным негодованием великой души.

«В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики, и я не замедлил повидаться с А. М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что, ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст., выборы признаются недействительными, причем было точно указано, что это извещение исходит из Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно, и я же признавал выборы недействительными — такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложении с меня звания почетного академика.

А. Чехов».

Странно — до чего не понимали Чехова! Он — этот «неисправимый пессимист», — как его определяли, — никогда не уставал надеяться на светлое будущее, никогда не переставал верить в незримую, но упорную и плодотворную работу лучших сил нашей родины. Кто из знавших его близко не помнит этой обычной, излюбленной его фразы, которую он так часто, иногда даже совсем не в лад разговору, произносил вдруг своим уверенным тоном:

— Послушайте, а знаете что? Ведь в России через десять лет будет конституция.

Да, даже и здесь звучал у него тот же мотив о радостном будущем, ждущем человечество, который отзывался во всех его произведениях последних лет.

Надо сказать правду: далеко не все посетители щадили время и нервы А. П-ча, а иные так просто были безжалостны. Помню я один случай, поразительный, почти анекдотически невероятный по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо артистического как будто бы звания.

Было хорошее, не жаркое, безветренное летнее утро. А. П. чувствовал себя на редкость в легком, живом и беспечном настроении. И вот появляется, точно с неба, толстый господин (оказавшийся впоследствии архитектором), посылает Чехову свою визитную карточку и просит свидания. А. П. принимает его. Архитектор входит, знакомится и, не обращая никакого внимания на плакат: «Простят не курить», не спрашивая позволения, закуривает вонючую, огромную рижскую сигару. Затем, отвесив, как неизбежный долг, несколько булыжных комплиментов хозяину, он приступает к приведенному его делу.

Дело же заключается в том, что сынок архитектора, гимназист третьего класса, бежал на-днях по улице и, по свойственной мальчикам привычке, хватался на бегу рукой за все, что попадалось: за фонари, тумбы, заборы. В конце концов он напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапал ладонь. «Так вот, видите ли, глубокоуважаемый А. П.,— заключил свой рассказ архитектор,— я бы очень просил вас напечатать об этом в корреспонденции. Хорошо, что Коля ободрал только ладонь, но ведь это — случай! Он мог бы задеть какую-нибудь важную артерию — и что бы тогда вышло?» — «Да, все это очень прискорбно,— ответил Чехов,— но, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я не пишу, да никогда и не писал корреспонденций. Я пишу только рассказы».— «Тем лучше, тем лучше! Вставьте это в рассказ,— обрадовался архитектор.— Пропечатайте этого домовладельца с полной фамилией. Можете даже и мою фамилию проставить, я и на это согласен... Или нет... все-таки лучше мою фамилию не целиком, а просто поставьте литеру: господин С. Так, пожалуйста... А то ведь у нас только и осталось теперь два настоящих либеральных писателя — вы и господин П.» (И тут архитектор назвал имя одного известного литературного закройщика.)

Я не сумел передать и сотой доли тех ужасающих пошлостей, которые наговорил оскорбленный в родительских чувствах архитектор, потому что за время своего визита он успел докурить сигару до конца, и потом долго приходилось проветривать кабинет от ее зловонного дыма. Но, едва он, наконец, удалился, А. П. вышел в сад совершенно расстроенный, с красными пятнами на щеках. Голос у него дрожал, когда он обратился с упреком к своей сестре

Марии Павловне и к сидевшему с ней на скамейке знакомому:

— Господа, неужели вы не могли избавить меня от этого человека? Прислали бы сказать, что меня зовут куда-нибудь. Он же меня измучил!

Помню также,— и это, каюсь, отчасти моя вина,— как приехал к нему выразить свое читательское одобрение некий самоуверенный штатский генерал, который, вероятно желая доставить Чехову удовольствие, начал, широко расставив колени и упершись в них кулаками вывороченных рук, всячески поносить одного молодого писателя, громадная известность которого только еще начинала расти. И Чехов тотчас же сжался, ушел в себя и все время сидел с опущенными глазами, с холодным лицом, не проронив ни одного слова. И только по быстрому укоряющему взгляду, который он бросил при прощании на знакомого, приведшего генерала, можно было видеть, как много огорчения принес ему этот визит.

Так же стыдливо и холодно относился он и к похвалам, которые ему расточали. Бывало, уйдет в нишу, на диван, ресницы у него дрогнут и медленно опустятся, и уже не поднимаются больше, а лицо делается неподвижным и сумрачным. Инойда, если эти неумеренные восторги исходили от более близкого ему человека, он старался обратить разговор в шутку, свернуть его на другое направление. Вдруг скажет ни с того ни с сего, с легким смешком:

— Ужасно люблю читать, что обо мне одесские репортеры пишут.

— Почему так?

— Смешно очень. Все врут. Ко мне прошлой весной явился один из них в гостиницу. Просит интервью. А у меня как раз времени не было. Я и говорю: «Извините, я теперь занят. Да, впрочем, пишите, что вздумается. Мне все равно». Ну, уж он и написал. Меня даже в жар бросило.

А однажды он с самым серьезным лицом сказал:

— Что вы думаете: меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорят: «А-а! Чехов? Это который читатель? Знаю». Почему-то называют меня читателем. Может быть, они думают, что я по покойникам читаю? Вот вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь...

В час дня у Чехова обедали внизу, в прохладной и светлой столовой, и почти всегда за столом бывал кто-нибудь приглашенный. Трудно было не поддаться обаянию этой простой, милой, ласковой семьи. Тут чувствовалась постоянная нежная заботливость и любовь, но не отягощенная ни одним пышным или громким словом, — удивительная деликатность, чуткость и внимание, но никогда не выходящая из рамок обыкновенных, как будто умышленно будничных отношений. И, кроме того, всегда замечалась истинно чеховская боязнь всего надутого, приподнятого, неискреннего и пошлого.

Было в этой семье очень легко, тепло и уютно, и я совершенно понимаю одного писателя, который говорил, что он влюблен разом во всех Чеховых.

Антон Павлович ел чрезвычайно мало и не любил сидеть за столом, а все, бывало, ходил от окна к двери и обратно. Часто после обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, Евгения Яковлевна (мать А. П.) говорила тихонько, с беспокойной тоской в голосе:

— А Антоша опять ничего не ел за обедом.

Он был очень гостеприимен, любил, когда у него оставались обедать, и умел угощать на свой особенный лад, просто и радушно. Бывало, скажет кому-нибудь, остановившись у него за стулом:

— Послушайте, выпейте водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устает, едва домой дойдешь, а перед обедом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!..

После обеда он пил чай наверху, на открытой террасе, или у себя в кабинете, или спускался в сад и сидел там на скамейке, в пальто и с тросточкой, надвинув на самые глаза мягкую черную шляпу и поглядывая из-под ее полей прищуренными глазами.

Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видеть А. П.-ча, постоянно кто-нибудь приезжал. Приходили знакомые с просьбами о карточках, о надписях на книгах. Бывали здесь и смешные курьезы.

Один «тамбовский помещик», как окрестил его Чехов, приехал к нему за врачебной помощью. Тщетно А. П. уве-

рял, что он давно бросил практику и отстал в медицине, напрасно рекомендовал обратиться к более опытному доктору, — «тамбовский помещик» стоял на своем: никаким докторам, кроме Чехова, он не хочет верить. Волей-неволей пришлось дать ему несколько незначительных, совершенно невинных советов. Прощаясь, «тамбовский помещик» положил на стол два золотых и, как его не уговаривал А. П., ни за что не соглашался взять их обратно. Антон Павлович принужден был уступить. Он сказал, что, не желая и не считая себя вправе брать эти деньги как гонорар, он возьмет их на нужды ялтинского благотворительного общества, и тут же написал расписку в их получении. Оказывается, только того и нужно было «тамбовскому помещику». С сияющим лицом, бережно спрятал он расписку в бумажник и тогда уж признался, что единственной целью его посещения было желание приобрести автограф Чехова. Об этом оригинальном и настойчивом пациенте А. П. рассказывал мне сам — полусерьезно, полусердито.

Повторяю, многие из этих посетителей порядком доносили Чехова и даже раздражали его, но, по свойственной ему изумительной деликатности, он со всеми оставался ровен, терпеливо-внимателен, доступен всем, желавшим его видеть. Эта деликатность доходила порою до той трогательной черты, которая граничит с безволием. Так, например, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется в день его именин, огромного сидячего мопса, сделанного из раскрашенного гипса, аршина в полтора высотой от земли, то есть раз в пять больше натурального роста. Мопса этого посадили внизу на площадке, около столовой, и он сидел там с разъяренной мордой и оскаленными зубами, пугая всех, забывавших о нем, своей неподвижностью.

— Знаете, я сам этого каменного пса боюсь, — признавался Чехов. — А убрать его как-то неловко, обидятся. Пусть уж тут живет.

И вдруг, с глазами, загоравшимися лучистым смехом, он прибавлял неожиданно, по своему обыкновению:

— А вы заметили, что в домах у богатых евреев такие гипсовые мопсы часто сидят около камина?

В иные дни его просто угнетали всякие хвалители, порицатели, поклонники и даже советчики. «У меня такая

масса посетителей,— жаловался он в одном письме,— что голова ходит кругом. Трудно писать». Но все-таки он не оставался равнодушным к искреннему чувству любви и уважения и всегда отличал его от праздной и льстивой болтовни. Как-то раз он вернулся в очень веселом настроении духа с набережной, где он изредка прогуливался, и с большим оживлением рассказывал:

— У меня была сейчас чудесная встреча. На набережной вдруг подходит ко мне офицер артиллерист, совсем молодой еще, подпоручик. «Вы А. П. Чехов?» — «Да, это я. Что вам угодно?» — «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» И покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись.

Всего лучше чувствовал себя А. П. к вечеру, часам к семи, когда в столовой опять собирались к чаю и легкому ужину. Здесь иногда — но год от году все реже и реже — воскресал в нем прежний Чехов, неистощимо веселый, остроумный, с кипучим, прелестным, юношеским юмором. Тогда он импровизировал целые истории, где действующими лицами являлись его знакомые, и особенно охотно устраивал воображаемые свадьбы, которые иногда кончались тем, что на другой день утром, сидя за чаем, молодой муж говорил вскользь, небрежным и деловым тоном:

— Знаешь, милая, а после чаю мы с тобой оденемся и поедem к нотариусу. К чему тебе лишние заботы о твоих деньгах?

Придумывал он удивительные — чеховские — фамилии, из которых я теперь — увы! — помню только одного мифического матроса Кошкодавленко. Любил он также, шутя, старить писателей. «Что вы говорите, — Бунин мой сверстник, — уверял он с напускной серьезностью. — Телешов тоже. Он уже старый писатель. Вы спросите его сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у И. А. Белоусова. Когда это было!» Одному талантливому беллетристу, серьезному идейному писателю, он говорил: «Послушайте же, ведь вы на двадцать лет меня старше. Ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор Кукольник...»

Но никогда от его шуток не оставалось заноз в сердце, так же как никогда в своей жизни этот удивительно неж-

ный человек не причинил сознательно даже самого маленького страдания ничему живущему.

После ужина он неизменно задерживал кого-нибудь у себя в кабинете на полчаса или на час. На письменном столе зажигались свечи. И потом, когда уже все расходились и он оставался один, то еще долго светился огонь в его большом окне. Писал ли он в это время, или разбирался в своих памятных книжках, заносил впечатления дня,— это, кажется, не было никому известно.

VI

Вообще мы почти ничего не знаем не только о тайнах его творчества, но даже и о внешних, привычных приемах его работы. В этом отношении А. П. был до странного скрытен и молчалив. Помню, как-то мимоходом он сказал очень значительную фразу:

— Только спаси вас бог читать кому-нибудь свои произведения, пока они не напечатаны. Даже в корректуре не читайте.

Так он и сам поступал постоянно, хотя иногда делал исключения для жены и сестры. Раньше, говорят, он был щедрее на этот счет.

Это было в то время, когда он писал очень много и очень быстро. Он сам говорил, что писал тогда по рассказу в день. Об этом же рассказывала и Е. Я. Чехова. «Бывало, еще студентом, Антоша сидит утром за чаем и вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза, а я знаю, что он уж ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро-быстро. И опять задумается...»

Но в последние годы Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее: держал рассказы по нескольку лет, не переставая их исправлять и переписывать, и все-таки, несмотря на такую кропотливую работу, последние корректуры, возвращавшиеся от него, бывали кругом испещрены знаками, пометками и вставками. Для того чтобы окончить произведение, он должен был писать его не отрываясь. «Если я надолго оставлю рассказ,— говорил он как-то,— то уж не могу потом приняться за его окончание. Мне надо тогда начинать снова».

Где он черпал свои образы? Где находил свои наблюдения и сравнения? Где он выковывал свой великолепный, единственный в русской литературе язык? Он никому не поверял и не обнаруживал своих творческих путей. Говорят, после него осталось много записных книжек; может быть, в них со временем найдутся ключи к этим сокровенным тайнам? А может быть, они и навсегда останутся неразгаданными? Кто знает? Во всяком случае мы должны довольствоваться в этом направлении только осторожными намеками и предположениями.

Я думаю, что всегда, с утра до вечера, а может быть даже и ночью, во сне и бессоннице, совершалась в нем незримая, но упорная, порою даже бессознательная работа — работа взвешивания, определения и запоминания. Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто, среди живого разговора, можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, совершавшееся в его душе. Тогда-то А. П. и делал свои странные, поражавшие неожиданностью, совсем не идущие к разговору вопросы, которые так смущали многих. Только что говорили и еще продолжают говорить о неомарксистах, а он вдруг спрашивает: «Послушайте, вы никогда не были на конском заводе? Непременно поезжайте. Это интересно». Или вторично предлагает вопрос, на который только что получил ответ.

Внешней, механической памятью Чехов не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которою так часто обладают в сильной степени женщины и крестьяне и которая состоит в запоминании того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов и какие сапоги, какого цвета волосы. Просто эти детали были для него неважны и неинтересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок и уже знал, как очертить его главную, внутреннюю суть двумя-тремя штрихами.

Однажды Чехов с легким неудовольствием говорил о своем хорошем знакомом, известном ученом, который, несмотря на давнюю дружбу, несколько утеснял А. П.-ча своей многословностью. Как только приедет в Ялту, сей-

час же является к Чехову и сидит с утра до обеда; в обед уедет к себе в гостиницу на полчаса, а там опять приезжает и сидит до глубокой ночи, и все говорит, говорит, говорит... И так каждый день.

И вдруг, быстро обрывая этот рассказ, точно увлекаемый новой, интересной мыслью, А. П. прибавлял оживленно:

— А ведь никто не догадывается, что самое характерное в этом человеке. А я вот знаю. То, что он профессор и ученый с европейским именем — это для него второстепенное. Главное то, что он считает себя в душе замечательным актером и глубоко верит в то, что только по воле случая он не приобрел на сцене мировой известности. Дома он постоянно читает вслух Островского.

Однажды, улыбаясь своему воспоминанию, он вдруг заметил:

— Знаете, Москва — самый характерный город. В ней все неожиданно. Выходим мы как-то весенним утром с публицистом С-ным из Большого Московского. Это было после длинного и веселого ужина. Вдруг С-н тащит меня к Иверской, здесь же, напротив. Вынимает пригоршню меди и начинает оделять нищих — их там десятки. Сунет копеечку и бормочет: «О здравии раба божия Михаила». Это его Михаилом зовут. И опять: «Раба божия Михаила, раба божия Михаила...» А сам в бога не верит... Чудак...

Тут я должен подойти к щекотливому месту, которое, может быть, не всем понравится. Я глубоко убежден в том, что Чехов с одинаковым вниманием и с одинаковым проникновенным любопытством разговаривал с ученым и с разносчиком, с просящим на бедность и с литератором, с крупным земским деятелем, и с сомнительным монахом, и с приказчиком, и с маленьким почтовым чиновником, отсылавшим его корреспонденцию. Не оттого ли у него в рассказах профессор говорит и думает именно как старый профессор, а бродяга как истый бродяга? И не оттого ли у него тотчас же после его смерти отыскалось такое множество «закадычных» друзей, за которых он, по их словам, был готов в огонь и в воду?

Думается, что он никому не раскрывал и не отдавал своего сердца вполне (была, впрочем, легенда о каком-то его близком, любимом друге, чиновнике из Таганрога), но ко всем относился благодушно, безразлично в смысле

дружбы и в то же время с большим, может быть бессознательным, интересом.

Свои чеховские словечки и эти изумительные по своей сжатости и меткости черточки брал он нередко прямо из жизни. Выражение «не идравится мне это», перешедшее так быстро из «Архиерея» в обиход широкой публики, было им почерпнуто от одного мрачного бродяги, полупьяницы, полупомешанного, полупророка. Также, помню, разговорились мы с ним как-то о давно уже умершем московском поэте, и Чехов с яркостью вспомнил и его, и его сожителю, и его пустые комнаты, и его сенбернара «Дружка», страдавшего вечным расстройством желудка. «Как же, отлично помню,— говорил А. П., весело улыбаясь,— в пять часов к нему всегда входила эта женщина и спрашивала: «Людор Иванович, а Людор Иванович, а что, вам не пора пиво пить?» Я тогда же неосторожно сказал: «Ах, так вот откуда это у вас в «Палате № 6»?» — «Ну да, оттуда»,— ответил А. П. с неудовольствием.

Были у него также знакомые из тех средостенных купчих, которые, несмотря на миллионы, и на самые модные платья, и на внешний интерес к литературе, говорили «седеал», «принципально». Иные из них часами изливались перед Чеховым: какие у них необыкновенно тонкие, «нервные» натуры и какой бы замечательный роман мог сделать «гинеяльный» писатель из их жизни, если бы все рассказать. А он ничего, сидел себе и молчал, и слушал с видимым удовольствием,— только под усами у него скользила чуть заметная, почти неуловимая улыбка.

Я не хочу сказать, что он искал, подобно многим другим писателям, моделей. Но мне думается, что он всюду и всегда видел материал для наблюдений, и выходило у него это поневоле, может быть часто против желания, в силу давно изощренной и никогда не искореняемой привычки вдумываться в людей, анализировать их и обобщать. В этой сокровенной работе было для него, вероятно, все мучение и вся радость вечного бессознательного процесса творчества.

Ни с кем не делился он своими впечатлениями, так же как никому не говорил о том, что и как собирается он писать. Так чрезвычайно редко сказывался в его речах художник и беллетрист. Он, отчасти нарочно, отчасти инстинктивно, употреблял в разговоре обыкновенные,

средние, общие выражения, не прибегая ни к сравнениям, ни к картинам. Он берег свои сокровища в душе, не позволяя им расточаться в словесной пене, и в этом была громадная разница между ним и теми беллетристами, которые рассказывают свои темы гораздо лучше, чем их пишут.

Происходило это, думаю, от природной сдержанности, но также и от особенной стыдливости. Есть люди, органически не переносящие, болезненно стыдящиеся слишком выразительных поз, жестов, мимики и слов, и этим свойством А. П. обладал в высшей степени. Здесь-то, может быть, и кроется разгадка; его *кажущегося* безразличия к вопросам борьбы и протеста и равнодушия к интересам злободневного характера, волновавшим и волнующим всю русскую интеллигенцию. В нем жила боязнь пафоса, сильных чувств и неразлучных с ним несколько театральных эффектов. С одним только я могу сравнить такое положение: некто любит женщину со всем пылом, нежностью и глубиной, на которые способен человек тонких чувств, огромного ума и таланта. Но никогда он не решится сказать об этом пышными, выпренными словами и даже представить себе не может, как это он станет на колени и прижмет одну руку к сердцу и как заговорит дрожащим голосом первого любовника. И потому он любит и молчит, и страдает молча, и никогда не отважится выразить то, что развязно и громко, по всем правилам декламации, изъясняет фат среднего пошиба.

VI

К молодым, начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков. Никто от него не уходил подавленным его огромным талантом и собственной малозначительностью. Никому никогда не сказал он: «Делайте, как я, смотрите, как я поступаю». Если кто-нибудь в отчаянии жаловался ему: «Разве стоит писать, если на всю жизнь останешься «нашим молодым» и «подающим надежды», — он отвечал спокойно и серьезно: — Не всем же, батенька, писать, как Толстой.

Внимательность его бывала иногда прямо трогательной. Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Ауткой, на окраине города, наняв ком-

натушку в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой обстановке трудно писать,— и вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я вверх,— говорил он со своей очаровательной улыбкой.— И обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне, или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре».

Читал он удивительно много и всегда все помнил, и никого ни с кем не смешивал. Если авторы спрашивали его мнения, он всегда хвалил, и хвалил не для того, чтобы отвязаться, а потому что знал, как жестоко подрезает слабые крылья резкая, хотя бы и справедливая, критика и какую бодрость и надежду вливает иногда незначительная похвала. «Читал ваш рассказ. Чудесно написано»,— говорил он в таких случаях грубоватым и задушевым голосом. Впрочем, при некотором доверии и более близком знакомстве, и в особенности по убедительной просьбе автора, он высказывался, хотя и с осторожными оговорками, но определеннее, пространнее и прямее. У меня хранятся два его письма, написанные одному и тому же беллетристу, по поводу одной и той же повести. Вот выдержка из первого:

«Дорогой Н., повесть получил и прочел, большое вам спасибо. Повесть хороша, прочел я ее в один раз, как и предыдущую, и получил одинаковое удовольствие...»

Но так как автор не удовольствовался одной похвалой, то вскоре он получил от А. П. другое письмо:

«Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет, и если можно не соглашаться, то лишь с особенностями ее, некоторыми. Например, героев своих, актеров, вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет сто всеми писавшими о них,— ничего нового. Во-вторых, в первой главе вы заняты описанием наружностей — опять-таки по старинке, описанием, без которого можно обойтись. Пять определенно изображенных наружностей утомляют внимание и в конце концов теряют свою ценность. Бритые актеры похожи друг на друга, как ксендзы, и остаются похожими, как бы старательно вы ни изображали их. В-третьих, грубоватый тон,

излишества в изображении пьяных. Вот и все, что я могу вам сказать в ответ на ваш вопрос о недостатках; больше уже ничего придумать не могу».

К тем писателям, с которыми у него возникала хоть какая-нибудь духовная связь, он всегда относился бережно и внимательно. Никогда он не упускал случая сообщить известие, которое, он знал, будет приятно или полезно.

«Дорогой Н.,— писал он одному знакомому,— сим извещаю вас, что вашу повесть читал Л. Н. Толстой и что она ему *очень* понравилась. Будьте добры, пошлите ему вашу книжку по адресу: Коренз, Таврич. губ., и в заглавии подчеркните рассказы, которые вы находите лучшими; чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а я уж передам ему».

К пишущему эти строки он также проявил однажды милую любезность, сообщив письмом, что в «Словаре русского языка», издаваемом Академией наук, в шестом выпуске второго тома, который (то есть выпуск) я сегодня получил, показались, наконец, и Вы. Так, на странице такой-то и т. д.».

Все это, конечно, мелочи, но в них сквозит так много участия и заботливости, что теперь, когда нет уже больше этого изумительного художника и прекрасного человека, его письма приобретают значение какой-то далекой, невозвратимой ласки.

— Пишите, пишите как можно больше,— говорил он начинающим беллетристам.— Не беда, если у вас не совсем выходит. Потом будет выходить лучше. А главное — не тратьте понапрасну молодости и упругости: теперь вам только и работать. Смотрите: вот вы пишете чудесно, а лексикон у вас маленький. Нужно набираться слов и оборотов, а для этого необходимо писать каждый день.

И он сам неустанно работал над собой, обогащая свой прелестный, разнообразный язык отовсюду: из разговоров, из словарей, из каталогов, из ученых сочинений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден.

— Слушайте: ездите почаще в третьем классе,— советовал он.— Я жалею, что болезнь мешает мне теперь ездить в третьем классе. Там иногда услышишь замечательно интересные вещи.

Удивлялся он также тем писателям, которые по целым годам не видят ничего, кроме соседнего брандмауэра из окон своих петербургских кабинетов. И часто он говорил с оттенком нетерпения:

— Не понимаю, отчего вы — молодой, здоровый и свободный — не поедете, например, в Австралию (Австралия была почему-то его излюбленной частью света) или в Сибирь? Как только мне станет получше, я непременно опять поеду в Сибирь. Я там был, когда ездил на Сахалин. Вы и представить себе не можете, батенька, какая это чудесная страна. Совсем особое государство. Знаете, я убежден, что Сибирь когда-нибудь совершенно отделится от России, вот так же, как Америка отделилась от метрополии. Поезжайте же, поезжайте туда непременно...

— Отчего вы не напишете пьесу? — спрашивал он иногда. — Да напишите же, в самом деле. Каждый писатель должен написать по крайней мере четыре пьесы.

Но тут же он соглашался, что драматический род сочинений теряет с каждым днем интерес в наше время. «Драма должна или выродиться совсем, или принять совсем новые, невиданные формы», — говорил он. — Мы себе и представить не можем, чем будет театр через сто лет».

Бывали у А. П. иногда маленькие противоречия, которые в нем казались особенно привлекательными и в то же время имели глубокий внутренний смысл. Так было однажды с вопросом о записных книжках. Чехов только что с увлечением убеждал нас не обращаться к их помощи, полагаясь во всем на память и на воображение. «Крупное само останется, — доказывал он, — а мелочи вы всегда изобретете или отыщете». Но вот, спустя час, кто-то из присутствующих, прослуживший случайно год на сцене, стал рассказывать о своих театральных впечатлениях и между прочим упомянул о таком случае. Идет дневная репетиция в садовом театре маленького провинциального городка. Первый любовник, в шляпе и в клетчатых панталонах, руки в карманах, расхаживает по сцене, рисуясь перед случайной публикой, забредшей в зрительную залу. Энженю-комик, его «театральная» жена, тоже находившаяся на сцене, обращается к нему: «Саша, как это ты вчера напевал из «Паяцев»? Насвищи, пожалуйста». Первый любовник поворачивается к ней, медленно меряет ее с ног до головы уничтожающим взором и говорит жир-

ным актерским голосом: «Что-о? Свистать на сцене? А в церкви ты будешь свистать? Так знай же, что сцена — тот же храм!»

После этого рассказа А. П. сбросил пенсне, откинулся на спинку кресла и захохотал своим громким, ясным смехом. И тотчас же полез в боковой ящик стола за записной книжкой. «Постойте, постойте, как вы это рассказывали? Сцена — это храм?..» И записал весь анекдот.

В сущности даже и противоречия во всем этом не было, и сам А. П. потом объяснил это. «Не надо записывать сравнений, метких черточек, подробностей, картин природы — это должно появиться само собой, когда будет нужно. Но голый факт, редкое имя, техническое название надо занести в книжку — иначе забудется, рассеется».

Нередко вспоминал Чехов те тяжелые минуты, которые ему доставляли редакции серьезных журналов до той поры, пока с легкой руки «Северного вестника» он не завоевал их окончательно.

— В одном отношении вы все должны быть мне благодарны, — говорил он молодым писателям. — Это я открыл путь для авторов мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. «Что? Это называется — произведением? Да ведь это короче воробыиного носа. Нет, нам таких *штучек* не надо». А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что, так ли со мной обращались! Имя мое сделали нарицательным. Так и острили, бывало: «Эх вы, Че-хо-вы!» Должно быть, это было смешно».

Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. «Все нынче стали чудесно писать, плохим писателей вовсе нет, — говорил он решительным тоном. — И оттого-то теперь все труднее становится выбиться из неизвестности. И, знаете, кто сделал такой переворот? — Мопассан. Он, как художник слова, поставил такие огромные требования, что писать по старинке делалось уже больше невозможным. Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, ну хоть Писемского, Григоровича или Островского, нет, вы попробуйте только, и увидите, какое это все старье и общие места. Зато возьмите, с другой стороны, наших декаден-

тов. Это они лишь притворяются больными и безумными,— они все здоровые мужики. Но писать — мастера».

В то же время он требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных колленцев. «Зачем это писать,— недоумевал он,— что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки: психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще,— все равно, какое придет в голову,— и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире — это манерно».

Еще учил он, чтобы писатель оставался равнодушным к радостям и огорчениям своих героев. «В одной хорошей повести,— рассказывал он,— я прочел описание приморского ресторана в большом городе. И сразу видно, что автору в диковинку и эта музыка, и электрический свет, и розы в петлицах, и что он сам любитесь на них. Так — нехорошо. Нужно стоять вне этих вещей, и хотя знать их хорошо, до мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз. И выйдет верно».

VIII

Сын Альфонса Додэ в своих воспоминаниях об отце упоминает о том, что этот талантливый французский писатель полушутя называл себя «продавцом счастья». К нему постоянно обращались люди разных положений за советом и за помощью, приходили со своими огорчениями и заботами, и он, уже прикованный к креслу неизлечимой, мучительной болезнью, находил в себе достаточно мужества, терпения и любви к человеку, чтобы войти душой в чужое горе, утешить, успокоить и ободрить.

Чехов, конечно, по своей необычайной скромности и по отвращению к фразе, никогда не сказал бы о себе ничего подобного, но как часто приходилось ему выслушивать тяжелые исповеди, помогать словом и делом, протя-

гивать падающему свою нежную и твердую руку. В своей удивительной объективности стоя выше частных горестей и радостей, он все знал и видел. Но ничто личное не мешало его проникновению. Он мог быть добрым и щедрым не любя, ласковым и участливым — без привязанности, благодетелем — не рассчитывая на благодарность. И в этих чертах, которые всегда оставались неясными для его окружающих, кроется, может быть, главная разгадка его личности.

Пользуясь позволением одного моего друга, я приведу короткий отрывок из чеховского письма. Дело в том, что этот человек переживал большую тревогу во время первой беременности горячо любимой жены и, по правде сказать, порядочно докучал А. П. своей болью. И вот Чехов однажды написал ему:

«Скажите вашей жене, чтобы не беспокоилась, все обойдется благополучно. Роды будут продолжаться часов двадцать, а потом наступит блаженнейшее состояние, когда она будет улыбаться, а вам будет хотеться плакать от умиления. Двадцать часов — это обыкновенный тахитизм для первых родов».

Какое тонкое внимание к чужой тревоге слышится в этих немногих, простых строчках. Но еще характернее то, что, когда впоследствии, уже сделавшись счастливым отцом, этот мой приятель спросил, вспомнив о письме, откуда Чехов так хорошо знает эти чувства, А. П. ответил спокойно, даже равнодушно:

— Да ведь, когда я жил в деревне, мне же постоянно приходилось принимать у баб. *Все равно — и там такая же радость.*

Если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы прекрасным врачом. Доктора, приглашавшие его изредка на консультации, отзывались о нем, как о чрезвычайно вдумчивом наблюдателе и находчивом, проницательном диагносте. Да и не было бы ничего удивительного в том, если бы его диагноз оказался совершеннее и глубже диагноза, поставленного какой-нибудь модной знаменитостью. Он видел и слышал в человеке — в его лице, голосе и походке — то, что было скрыто от других, что не поддавалось, ускользало от глаза среднего наблюдателя.

Сам он предпочитал советовать, в тех редких случаях,

когда к нему обращались, средства испытанные, простые, по преимуществу домашние. Между прочим, чрезвычайно удачно лечил он детей.

Верил он в медицину твердо и крепко, и ничто не могло пошатнуть этой веры. Помню я, как однажды он рассердился, когда кто-то начал свысока третировать медицину по роману Золя «Доктор Паскаль».

— Золя ваш ничего не понимает и все выдумывает у себя в кабинете,— сказал он, волнуясь и покашливая.— Пусть бы он поехал и посмотрел, как работают наши земские врачи и что они делают для народа.

И кто же не знает, какими симпатичными чертами, с какой любовью сквозь внешнюю жестокость и как часто описывал он этих чудесных тружеников, этих неизвестных и незаметных героев, сознательно осуждающих свои имена на забвение? Описывал, даже не щадя их.

IX

Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Даже в самые его похороны судьба внесла, по какой-то роковой последовательности, много чисто чеховских черт.

Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье. «Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу с компрессом...» «Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше...» «Здоровье мое неважно... пишу понемногу...»

Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только, бывало, и узнаешь что-нибудь от Арсения. «Сегодня утром очень плохо было — кровь шла»,— скажет он шопотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе:

— А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку все слышно.

Знал ли он размеры и значение своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигавшейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти:

— Видите ли: пока у человека хороши легкие — все хорошо.

Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят, последние его слова были: «ich sterbe!»¹ И последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной, чудовищной японской войны...

Точно сон, припоминаются его похороны. Холодный, серенький Петербург, путаница с телеграммами, маленькая кучка народа на вокзале, «вагон для устриц», станционное начальство, никогда не слыхавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз... Потом, как контраст, Москва, стихийное горе, тысячи точно осиротевших людей, заплаканные лица. И, наконец, могила на Новодевичьем кладбище, вся заваленная цветами, рядом со скромной могилой «вдовы казака Ольги Кукаретниковой».

Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение.

Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом:

— Вот, горе-то у нас какое... Нет Антоши...

О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними. Нет! Утешения здесь были бы бессильны. Разве может истощиться, успокоиться горе тех людей, души ко-

¹ Я умираю (нем.).

торых так близко прикасались к великой душе избранника?

Но пусть облегчит их неутолимую тоску сознание, что их горе — и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о бессмертии этого прекрасного, чистого имени. В самом деле: пройдут годы и столетия, и время сотрет даже самую память о тысячах тысяч живущих ныне людей. Но далекие грядущие потомки, о счастье которых с такой очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с признательностью и с тихой печалью о его судьбе.

СОБЫТИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ

Ночь 15 ноября. Не буду говорить о подробностях, предшествовавших тому костру из человеческого мяса, которым адмирал Чухнин увековечил свое имя во всемирной истории. Они известны из газет. Вкратце: матросский митинг, выстрелы в Писаревского и одного пехотного офицера, отложение экипажей от армии, присяга и измена брестцев,— Шмидт подымает на «Очакове» сигнал: «Командую Черноморским флотом», великолепно-безукоризненное поведение матросов по отношению к жителям Севастополя и, наконец, первые предательские выстрелы с батарей в баржу, подходившую к «Очакову» с провиантом. Но должен оговориться. Длинная, по-жандармски бессмысленная провокаторская статья о финале этой беспримерной трагедии, помещенная в «Крымском вестнике», набиралась и печаталась под взведенными курками ружей. Я не смею судить редактора г. Спиро за то, что в нем нехватило мужества предпочесть смерть насилию над словом. Для героизма есть тоже свои ступени. Но лучше бы он попросил авторов, адъютантов из штаба Чухнина, подписаться под этой статьей. Путь верный: подпись льстит авторскому самолюбию.

Мы в Балаклаве услышали первые звуки канонады часа в три-четыре пополудни. Сначала думали, что это салюты в честь монарха или кого-то из его августейшей семьи. Но выстрелов было слишком много, более сорока. К тому же вскоре показались первые извозчики из Сева-

стополя с колясками, наполненными людьми, одуревшими от ужаса. Говорили смутно и бестолково, что на «Очакове» пожар, что несколько судов потоплено, что из морских казарм стреляют из пулеметов.

Мы вдвоем поехали в Севастополь на обратном извозчике. Это был единственный извозчик, согласившийся вернуться в город, объятый пламенем революции. Надо прибавить, однако, что там у него осталась семья.

Вскоре стемнело. Нам навстречу беспрерывно ехали коляски, дроги, телеги. Чувствовалась уже за пятнадцать верст паника. На экипажах навалена всяческая рухлядь, собранная кое-как впопыхах. В этом было много жуткого. Точно кошмарный обрывок из картины переселения народов, гонимых страхом смерти. Сцеплялись колеса с колесами, люди ругались с озлоблением, со стучащими зубами. Ни у кого не было огней. Наступила ночь. Справа от нас над горизонтом по черному небу двигались беспрерывно прямые белые лучи прожекторов, точно световые щупальцы.

Мы окликали, спрашивали. Ни один из беглецов не отзывался. Извозчики отвечали бессмысленно и неопределенно:

— А там пальба идет.

Или:

— Там все друг друга постреляли.

А один сказал с злобещей насмешкой:

— Поезжайте, поезжайте. Сами увидите.

Дорога к Севастополю идет в гору. Когда мы поднялись на нее, то увидели дым от огромного пожара. Весь город был залит электрическим светом прожекторов, и в этом мертвом, голубоватом свете клубы дыма казались белыми, круглыми и неподвижными. Город точно вымер. Встречались только отряды солдат.

Когда при въезде против казарм поили лошадей, то узнали, что действительно горит «Очаков». Отправились на Приморский бульвар, расположенный вдоль бухты. Против ожидания, туда пускали свободно, чуть ли не предупредительно. Адмирал Чухнин хотел показать всему городу пример жестокой расправы с бунтовщиками. Это тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноке.

товский полк. В них не было никакой воинственности. Кто-то из нас сказал корявому солдатику:

— Ведь это, голубчик, люди горят!

Но он глядел на огонь и лепетал трясущимися губами:

— Господи боже мой, господи боже мой.

И было в них во всех заметно темное, животное, испуганное влечение прижаться к кому-нибудь сильному, знающему, кто помог бы им разобраться в этом ужасе и крови.

И вот и к ним, и к нам подходит офицер, большой, упитанный, жирный человек. В его тоне молодцеватость, но и что-то заискивающее. Это все происходит среди тревожной ночи, освещенной электрическим светом прожекторов и пламенем умирающего корабля.

— Это еще что-о, братцы! А вот когда дойдет до носа — там у них крыт-камера, это где порох сложен, — вот тогда здорово бабахнет...

Но в ответ — ни обычной шутки, ни подобострастного слова. Солдаты повернулись к нему спной.

А гигантский трехтрубный крейсер горит. И опять этот страшный, безвестный, далекий крик:

— Бра-а-тцы!..

И потом вдруг что-то ужасное, нелепое, что не выразишь на человеческом языке, крик внезапной боли, вопль живого горящего тела, короткий, пронзительный, сразу оборвавшийся крик. Это все оттуда. Тогда некоторые из нас кинулись на Графскую пристань к лодкам. И вот теперь-то я перехожу к героической жестокости адмирала Чухнина.

На Графской пристани, где обыкновенно сосредоточены несколько сотен частных и общественных яликов, стояли матросы, сборная команда с «Ростислава», «Трех святителей», «XII Апостолов» — надежный сброд. На просьбу дать ялики для спасения людей, которым грозили огонь и вода, они отвечали гнусными ругательствами; начали стрелять. Им заранее приказано было прекратить всякую попытку к спасению бунтовщиков. Что бы ни писал потом адмирал Чухнин, падкий на литературу, — эта бессмысленная жестокость остается фактом, подтвердить который не откажутся, вероятно, сотни свидетелей.

А крейсер беззвучно горел, бросая кровавые пятна на черную воду. Больше криков уже не было, хотя мы еще видели людей на носу и на башне. Тут в толпе многое

узналось. О том, что в начале пожара предлагали «Очакову» шлюпки, но что матросы отказались. О том, что по катеру с ранеными, отвалившему от «Очакова», стреляли картечью. Что бросавшихся вплавь расстреливали пулеметами. Что людей, карабкавшихся на берег, солдаты приканчивали штыками. Последнему я не верю: солдаты были слишком потрясены, чтобы сделать и эту подлость.

Опять лопается броневая обшивка. Больше не слышно криков. Душит бессильная злоба; сознание беспомощности, неудовлетворенная, невозможная месть. Мы уезжаем. Крейсер горит до утра.

По официальным сведениям — две или три жертвы. Хорошо пишет литературный адмирал Чухнин.

О травле против жидов, социал-демократов, которая поднялась назавтра и которая — это надо сказать без обиняков — исходит от победоносного блестящего русского офицерства, исходит вплоть до призыва к погрому, — скажу в следующем письме...

Настроение солдат подавленное. Хотелось бы думать — покаянное.

ИСКУССТВО

У одного гениального скульптора спросили:

— Как согласовать искусство с революцией?

Он отдернул занавеску и сказал:

— Смотрите.

И показал им мраморную фигуру, которая представляла раба, разрывающего оковы страшным усилием мышц всего тела.

И один из глядевших сказал:

— Как это прекрасно!

Другой сказал:

— Как это правдиво!

Но третий воскликнул:

— О, я теперь понимаю радость борьбы!

ПАМЯТИ Н. Г. МИХАЙЛОВСКОГО (ГАРИНА)

(Читано на вечере, посвященном памяти Н. Г. Михайловского)

Вопреки обыкновению всех воспоминателей я не могу похвастаться ни близкой дружбой с покойным Николаем Георгиевичем, ни долголетним знакомством с ним, ни знанием интимных сторон его жизни. Но мне хочется уловить и передать в немногих словах те живые черты, которые остались в моей памяти от нескольких встреч с этим человеком необычайно широкой души, красивого, свободного таланта и редкого изящества.

Странно-многозначительны, почти фатальны по сопоставлению, были — моя первая встреча с ним и последняя.

Познакомился я с Н. Г. Михайловским в расцвете его кипучей деятельности, в дни счастливых, удачных начинаний и грандиозных планов, в пору особенного блеска и плодovitости его таланта. Это было в Ялте, весной, на даче С. Я. Елпатьевского, на большой белой террасе, которая точно плавала над красивым гористым южным городом, над темными, узкими кипарисами и над веселым голубым морем. Был сияющий, радостный, великолепный день. Издалека из городского сада доносились бодрые звуки медного оркестра. Легкие турецкие кочермы и фелюги лениво покачивались, точно нежась в малахитовой воде бухты. Сладко благоухали тяжелые синие гроздья цветущей глицинии. И во многолюдном обществе, собравшемся за завтраком на белой террасе в этот веселый

полдень, было какое-то праздничное веселье, сверкал молодой, яркий смех, кипела беспричинная, горячая радость жизни.

Тут присутствовало несколько писателей, два художника начинающая художница, очень известная певица, два марксиста — оба, точно по форме в пенсне, в синих блузах, подпоясанных кожаным кушаком, и в широкополых войлочных шляпах — местный помещик-винодел с женою, оба красивые молодые, несколько инженеров-практикантов и еще кто-то из совсем зеленой, смешливой, непоседливой молодежи.

И я отлично помню, как вошел Николай Георгиевич. У него была стройная, худощавая фигура, решительно-небрежные, быстрые, точные и красивые движения и замечательное лицо, из тех лиц, которые никогда потом не забываются. Всего пленительнее был в этом лице контраст между преждевременной сединой густых волнистых волос и совсем юношеским блеском живых, смелых, прекрасных, слегка насмешливых глаз, — голубых, с большими черными зрачками. Голова благородной формы сидела изящно и легко на тонкой шее, а лоб — наполовину белый, наполовину коричневый от весеннего загара — обращал внимание своими чистыми, умными линиями.

Он вошел и уже через пять минут овладел разговором и сделался центром общества. Но видно было, что он сам не прилагал к этому никаких усилий. Таково было обаяние его личности, прелесть его улыбки, его живой, непринужденной, увлекательной речи.

В эту пору Николай Георгиевич был занят изысканием для постройки электрической железной дороги через весь Крымский полуостров от Севастополя до Симферополя через Ялту. Этот огромный план давно уже привлекал внимание инженеров, но никогда не выходил из области мечтаний. Михайловский первый вдохнул в него живую душу и по чести может быть назван его отцом и инициатором. Он нередко говорил своим знакомым, полушутя-полусерьезно, о том, что постройка этой дороги будет для него лучшим посмертным памятником и что два лишь дела он хотел бы видеть при своей жизни оконченными: это — электрический путь по Крыму и повесть «Инженеры». Но — увы! — первое начинание было прекращено внезапной паникой японской войны, а второе — смертью.

Каким он был инженером-строителем, я не знаю. Но специалисты уверяют, что лучшего изыскателя и инициатора — более находчивого, изобретательного и остроумного — трудно себе представить. Его деловые проекты и предложения всегда отличались пламенной, сказочной фантазией, которую одинаково трудно было как исчерпать, так и привести в исполнение. Он мечтал украсить путь своей железной дороги гротами, замками, башнями, постройками в мавританском стиле, арками и водопадами, хотел извлечь электрическую энергию из исторической Черной речки и действительно думал создать беспримерный волшебный памятник из простого коммерческого предприятия.

Таким он был во все свои дни. Веселый размах, пылкая, нетерпеливая мысль, сказочное, блестящее творчество. Этот человек провел яркую, пеструю, огромную жизнь. Он — то бывал миллионером, то сидел без копейки денег, в долгах. Он исколесил всю Россию, участвовал в сотнях предприятий, богател, разорялся и повсюду оставлял золотые следы: следы своей необузданной, кипящей мысли и своих денег, которые лились у него между пальцами.

По какому-то особенному свойству души он не умел отказывать ни в одной просьбе, и этим широко пользовались все, кому действительно была нужда и кому просто было не лень. И эта черта в нем происходила не так от беспорядочной широты натуры, как от сердечной, теплой, истинной доброты. Он умер совершенным бедняком, но для всех, близко его знавших, не тайна, что незадолго до смерти он сам, по личному почину, предложил и отдал около десяти тысяч на одно идейное дело.

Но часто, очень часто среди этих жизненных перемен он мечтал со вздохом о том, какое было бы для него счастье, если бы он мог навсегда развязаться со всеми делами, проектами и постройками и отдаться целиком единственному любимому делу — литературе. Ее одну он любил всей своей душой, любил с трогательной нежностью, скромно и почтительно. Два месяца спустя после нашего знакомства я провел несколько вечеров у него в Кастрополе, где был сосредоточен его инженерный штаб, и мы неоднократно говорили с ним на литературные темы. Я должен сказать, что ни у одного из писателей я не

встречал такого бескорыстия, такого отсутствия зависти и сомнения, такого благожелательного, родственного отношения к собратьям по искусству.

Мне ярко памятливы эти дни в Кастрополе на берегу моря. К обеду и ужину все инженеры и студенты вместе с Н. Г-чем и его семьей сходились к общему столу в длинную аллею, сплетенную из виноградных лоз. Отношения у Н. Г-ча ко всем товарищам, начиная с главного помощника и кончая последним чертежником или конторщиком, были одинаковы просты, дружественны и приятны, с легким оттенком добродушной шутки. Помню одну характерную мелочь. Среди младших товарищей Михайловского была одна барышня с дипломом инженера. Она только что приехала из Парижа, окончив *Ecole des Ponts et Chaussées*¹. И была, кажется, первой женщиной в России, исполнявшей инженерные работы. Она была очень мила, застенчива, трудолюбива, носила широкие шаровары, но работа в горах, на солнечном припеке, давалась ей с трудом. Надо сказать — дело прошлое — инженеры порядочно-таки травили как ее, так и вообще высший женский труд — и травили не всегда добродушно. И я часто бывал свидетелем, как Н. Г-ч умел мягко, но настойчиво прекращать их шутки, когда замечал, что они причиняют боль этой барышне.

По вечерам мы долго, большим обществом, сидели у него на балконе, не зажигая огня, в темных сумерках, когда кричали цикады, благоухала белая акация и блестяли при луне листья магнолий. И вот тут-то иногда Н. Г. импровизировал свои прелестные детские сказки. Он говорил их тихим голосом, медленно, с оттенком недоумения, как рассказывают обыкновенно сказки детям. И мне не забыть никогда этих очаровательных минут, когда я присутствовал при том, как рождается мысль и как облекается она в нежные, изящные формы.

Повторяю, я мало знал покойного писателя. К тому немногому, что я сказал, я могу прибавить, что Н. Г. бесконечно любил детей. Несмотря на то, что у него было одиннадцать своих ребятишек, он с настоящей, истинно-отеческой лаской и вниманием относился и к трем своим приемным детям. Он любил цветы, музыку, красоту слова,

¹ Школу дорожных инженеров (франц.).

красоту природы и женскую нежную красоту. У него — современного литератора — была душа эллина. Лишь что-нибудь исключительно пошлое, вульгарное, мещанское могло внести в его всегдашнюю добродушную легкую насмешку злобу и презрение.

Таков он был в то лето, перед войною. Затем я видел его мельком раза три-четыре: на железной дороге, в гостях, где-то на литературных собраниях, но ни разу больше мне не удавалось разговаривать с ним. Но последняя наша встреча потрясла меня своей неожиданностью.

Это было зимою. Я присутствовал на вечере, в обществе писателей и художников, в помещении издательства «Шиповник». Говорили, что и Гарин должен прийти немного позднее; но раньше он предполагал зайти на несколько минут в редакцию какой-то газеты, помещавшейся в том же доме, этажом выше. И вот вдруг приходит сверху растерянный слуга и говорит, что Михайловский умер скоропостижно в редакции. Я пошел туда. Он лежал на диване, лицом вверх, с закрытыми тяжелыми, темными веками. Лицо его точно постарело без этих живых, молодых глаз, но было таинственно-прекрасно и улыбалось вечной улыбкой знания.

Пожилая дама сидела у него в ногах и без слов, неподвижно и молча глядела ему в лицо, точно разговаривая с ним мысленно. Я пожал его руку. Она была холодна и тверда. И — помню — сознавая его смерть умом, я никак не мог понять сердцем, почему холод и оцепенение смерти овладели именно этим живым, энергичным телом, этой пылкой творческой мыслью, этой изящной, избранной душой.

О ТОМ, КАК Я ВИДЕЛ ТОЛСТОГО НА ПАРОХОДЕ «СВ. НИКОЛАЙ»

*(Читано 12 октября 1908 г. на вечере имени Толстого,
в Тенишевском зале)*

Не так давно я имел счастье говорить с человеком, который в раннем детстве видел Пушкина. У него в памяти не осталось ничего, кроме того, что это был блондин, маленького роста, некрасивый, вертлявый и очень смущенный тем вниманием, которое ему оказывало общество. Уверяю вас, что на этого человека я глядел, как на чудо. Пройдет лет пятьдесят — шестьдесят, и на тех людей, которые видели Толстого при его жизни (да продлит бог его дни!), будут также глядеть, как на чудо.

И поэтому я считаю не лишним рассказать о том, как весной тысяча девятьсот пятого года я видел Толстого.

Сергей Яковлевич Елпатьевский предупредил меня, что завтра утром Толстой уезжает, из Ялты. Ясно помню чудесное утро, веселый ветер, море, — беспокойное, сверкающее, — и пароход «Святой Николай», куда я забрался за час до приезда Льва Николаевича. Он приехал в двухконном экипаже с поднятым верхом. Коляска остановилась. И вот из коляски показалась старческая нога в высоком болотном сапоге, ища подножки, потом медленно, по-старчески, вышел он. На нем было коротковатое драповое пальто, высокие сапоги, подержанная шляпа котелком. И этот костюм, вместе с седыми иззелена волосами и длинной струящейся бородой, производил смешное и трогательное

впечатление. Он был похож на старого еврея, из тех, **которые так часто** встречаются на юго-западе России.

Меня ему представили. Я не могу сказать, какого цвета у него глаза, потому что я был очень растерян в эту минуту, да и потому, что цвету глаз я не придаю почти никакого значения. Помню пожатие его большой, холодной, негнушейся старческой руки. Помню поразившую меня неожиданность. вместо громадного маститого старца, вроде микель-анджеловского Моисея, я увидел среднего роста старика, осторожного и точного в движениях. Помню его утомленный, старческий, тонкий голос. И вообще он производил впечатление очень старого и больного человека. Но я уже видел, как эти выцветшие от времени, спокойные глаза с маленькими острыми зрачками бессознательно, по привычке, вбирали в себя и ловкую беготню матросов, и подъем лебедки, и толпу на пристани, и небо, и солнце, и море, и, кажется, души всех нас, бывших в это время на пароходе.

Здесь был очень интересный момент: доктора Волкова, приехавшего вместе с Толстым, приняли благодаря его косматой и плоской прическе за Максима Горького, и вся пароходная толпа хлынула за ним. В это время Толстой, как будто даже обрадовавшись минутной свободе, прошел на нос корабля, туда, где ютятся переселенцы, армяне, татары, беременные женщины, рабочие, потертые дьяконы, и я видел чудесное зрелище: перед ним с почтением расступались люди, не имевшие о нем никакого представления. Он шел, как истинный царь, который знает, что ему нельзя не дать дороги. В эту минуту я вспомнил отрывок церковной песни: «Се бо идет царь славы». И не мог я также не припомнить милого рассказа моей матери, старинной, убежденной москвички, о том, как Толстой идет где-то по одному из московских переулков, зимним погожим вечером, и как все идущие навстречу снимают перед ним шляпы и шапки, в знак добровольного преклонения. И я понял с изумительной наглядностью, что единственная форма власти, допустимая для человека, — это власть творческого гения, добровольно принятая, сладкая, волшебная власть.

Потом прошло еще пять минут. Приехали новые знакомые Льва Николаевича, и я увидел нового Толстого, — Толстого, который чуть-чуть кокетничал. Ему вдруг сде-

лалось тридцать лет: твердый голос, ясный взгляд, светские манеры. С большим вкусом и очень выдержанно рассказывал он следующий анекдот:

— Вы знаете, я на-днях был болен. Приехала какая-то депутация, кажется из Тамбовской губернии, но я не мог их принять у себя в комнате, они представлялись мне, проходя пред окном... и вот... Может, вы помните у меня, в «Плодах просвещения», толстую барыню? Может быть, читали? Так вот она подходит и говорит: «Многоуважаемый Лев Николаевич, позвольте принести вам благодарность за те бессмертные произведения, которыми вы порадовали русскую литературу...» Я уже вижу по ее глазам, что она ничего не читала моего. Я спрашиваю: «Что же вам особенно понравилось?» Молчит. Кто-то ей шепчет сзади: «Война и мир», «Детство и отрочество»... Она краснеет, растерянно бегаёт глазами и, наконец, лепечет в совершенном смущении: «Ах, да... Детство отрока... Военный мир... и другие...»

В это время пришли какие-то англичане, и вот я опять увидел нового Толстого, выдержанного, корректного европейского аристократа, очень спокойного, щеголявшего безукоризненным английским произношением.

Вот впечатление, которое вынес я от этого человека в течение десяти — пятнадцати минут. Мне кажется, что, если бы я следил за ним в продолжение нескольких лет, он так же был бы неуловим.

Но я понял в эти несколько минут, что одна из самых радостных и светлых мыслей — это жить в то время, когда живет этот удивительный человек. Что высоко и ценно чувствовать и себя также человеком. Что можно гордиться тем, что мы мыслим и чувствуем с ним на одном и том же прекрасном русском языке. Что человек, создавший прелестную девушку Наташу, и курчавого Ваську Денисова, и старого мерина Холстомера, и суку Милку, и Фру-Фру, и холодно-дерзкого Долохова, и «круглого» Платона Каратаева, воскресивший нам вновь Наполеона, с его подрагивающей ляжкой, и масонов, и солдат, и казаков вместе с очаровательным дядей Ерошкой, от которого так уютно пахло немножко кровью, немножко табаком и чихирем, — что этот многообразный человек, таинственною властью заставляющий нас и плакать, и радоваться, и умиляться, — есть истинный, радостно признанный властитель. И что

власть его — подобная творческой власти бога — останется навеки, останется даже тогда, когда ни нас, ни наших детей, ни внуков не будет на свете.

Вот приблизительно и все, что я успел продумать и перечувствовать между вторым и третьим звонком, пока отчалил от ялтинской пристани тяжелый, неуклюжий грузовой пароход «Св. Николай».

Вспоминаю еще одну маленькую, смешную и трогательную подробность.

Когда я сбегал со схода, мне встретился капитан парохода, совсем незнакомый мне человек.

Я спросил:

— А вы знаете, кого вы везете?

И вот я увидел, как сразу просияло его лицо в крепкой радостной улыбке, и, быстро пожав мою руку (так как ему было некогда), он крикнул:

— Конечно, Толстого!

И это имя было как будто какое-то магическое объединяющее слово, одинаково понятное на всех долготах и широтах земного шара.

Конечно, Льва Толстого!

От всей полноты любящей и благодарной души желаю ему многих лет здоровой, прекрасной, жизни. Пусть, как добрый хозяин, взрастивший роскошный сад на пользу и радость всему человечеству, будет он долго-долго на своем царственном закате созерцать золотые плоды — труды рук своих.

РЕДИАРД КИПЛИНГ

Страна, делающая лучшую в мире сталь, варящая лучший во всем свете эль, изготавливающая лучшие бифштексы, выводящая лучших лошадей, создавшая священную неприкосновенность семейного очага, изобретшая почти все виды спорта; страна, национальный гимн которой кончается прекрасными словами, заставляющими нас, русских, плакать от бессильного волнения,—

Никогда, никогда, никогда
Англичанин не будет рабом,—

только такая страна, страна мудрого и бессердечного эгоизма, железной англо-саксонской энергии, презрительной государственной обособленности и беспримерно жестокой колониальной политики, страна, гордо пишущая местонахождение «Я» с большой буквы, но ревниво охраняющая каждую мелочь старины, начиная с официального целования руки у короля и кончая веткой остролистника на рождественском столе,— только такая страна могла породить свою теперешнюю национальную славу — Редиарда Киплинга.

Трое английских писателей — Киплинг, Уэльс и Конан-Дойль — завоевали в настоящее время всемирное внимание. В их труде с особенной яркостью сказывается та добросовестная техника, та терпеливая, выработанная веками культуры выдумка, об отсутствии которой у русских писателей меланхолически вздыхал Тургенев.

Но бесконечно увлекательный, умный, изобретательный Уэльс все-таки имел предшественников в лице многих авторов фантастически-научных путешествий и приключений. Но Конан-Дойль, заполнивший весь земной шар детективными рассказами, все-таки умещается вместе со своим Шерлоком Холмсом, как в футляр, в небольшое гениальное произведение Э. По — «Преступление в улице Морг».

Киплинг же совершенно самостоятелен. Он оригинален, как никто другой, в современной литературе. Могущество средств, которыми он обладает в своем творчестве, прямо неисчерпаемо. Волшебная увлекательность фабулы, необычайная правдоподобность рассказа, поразительная наблюдательность, остроумие, блеск диалога, сцены гордого и простого героизма, точный стиль, или, вернее, десятки точных стилей, экзотичность тем, бездна знаний и опыта и многое, многое другое составляют художественные данные Киплинга, которыми он властвует с неслыханной силой над умом и воображением читателя.

И тем не менее на прекрасных произведениях Киплинга нет двух самых верных отпечатков гения — *вечности* и *всечеловечества*. В его рассказах — особенно если прочитаешь все, без перерыва, залпом — чувствуется не гений, родина которого мир, а Киплинг-англичанин, *только* англичанин, и притом англичанин наших дней. И как бы ни был читатель очарован этим волшебником, он видит из-за его строчек настоящего культурного сына жестокой, алчной, купеческой, современной Англии, джингоиста, беспощадно травившего буров ради возвеличения британского престижа во всех странах и морях, «над которыми никогда не заходит солнце»; поэта, вдохновлявшего английских наемных солдат на грабеж, кровопролитие и насилие своими патристическими песнями. Кровь так и хлещет во всех произведениях Киплинга, но что значат несколько тысяч человеческих жизней, если ими покупается величие и мощь гордой Англии? И — повторяю — только узость идеалов Киплинга, стесненных слепым национализмом, мешает признать его гениальным писателем.

Читая его, невольно вспоминаешь и другого английского писателя — Диккенса, этого «самого христианского из всех писателей», как выразился о нем Достоевский,

Диккенса, умевшего видеть совсем с другой точки зрения добрую, старую, веселую Англию. Нигде не будут чужими и навсегда останутся памятными и близкими, как ушедшие из жизни добрые, верные друзья, его бесчисленные персонажи, очерченные с беззлобным, простосердечным, теплым юмором: м-р Пикквик в золотых очках, оба Уэллера, капитан Куттль с железным крючком, тетушка Копперфильда и ее старый, добродушный друг, маленькая Доррит, м-р Микобер, славные моряки, честные купцы, преданные веселые слуги, проказливые студенты. Даже отрицательные типы Диккенса, вроде Урии Гипа, черствого Домби, плутоватого м-ра Джингля в зеленом фраке, жестокого Мордстона, разных старых каторжников, воров и мошенников, являются нам смягченными благодаря горю, раскаянию или примиряющей смерти. И как мила и добродушна эта домашняя, уютная, патриархальная Англия Диккенса, с ее семейными праздниками, почтовыми дорогами, гостеприимными трактирами, с архаическими судами и конторами, с прелестными старыми обычаями и крепким, соленым, как морской ветер, добротным юмором.

Но Киплинга не волнуют и не умиляют эти тихие, бытовые, семейные картины. По натуре он завоеватель, хищник и рабовладелец, самый яркий представитель той Англии, которая железными руками опоясала весь земной шар и давит его во имя своей славы, богатства и могущества. Большинство его рассказов переносит нас в Индию, где с наибольшей силой и жестокостью сказывается неутолимая английская алчность. Киплинг смело и ревниво верит в высшую культурную миссию своей родины и закрывает глаза на ее несправедливости. Посмотрите на офицеров и на чиновников в этих рассказах. Все они — люди долга, самоотверженные служаки, глубокие патриоты. Они мокнут в болотах, болеют лихорадкой, изнывают в нестерпимом зное, падают от изнеможения над работой или сходят с ума. В маленьком железнодорожном чиновнике, в офицере, в лесничем, в продовольственном комиссаре Киплинг искусной рукой открывает черты такого скромного самопожертвования и такого бескорыстного героизма, — и все это во благо и процветание далекой отчизны, — что сердце английского читателя не может не сжаться от радостной гордости и умиления.

Другая среда, не менее любовно описываемая Кипплингом,— это английские солдаты в Индии. Надо ли говорить о том, что Томми Аткинс выходит из-под пера великого мастера в самых задушевных, привлекательных красках? Он, правда, грубоват и немного ворчун, и непрочь выпить лишнее, но зато обожает своего начальника-офицера, как существо высшей, полубожеской расы, всегда готов положить жизнь за товарища, рад войне, точно празднику, и с гордым достоинством носит звание слуги «Вдовы», как он с интимною почтительностью называет свою королеву. Об одном только не упоминает Кипплинг при всем своем пристрастии к доброму, славному Томми — это о жестокости его к побежденным и о его истеричности.

Затем остается еще третий элемент в индийских рассказах Кипплинга: местное население. Но и оно служит в его чудесных руках все той же узкой и великой цели — прославлению и возвеличению английской завоевательной миссии. Цветные слуги, готовые на смерть за своих обожаемых сагибов, искусные шпионы из индусов, с детства приучаемые к своей позорной службе, туземные полки, свирепствующие в избииении строптивых сородичей,— вот что вызывает сочувствие и благословение Кипплинга. Но всякий бунтовщик, дерзающий восставать против попечительной и разумной английской власти, презрительно рисуется автором как разбойник, вероломный трус и мошенник.

Таким-то образом в Кипплинге англичанин заслоняет художника и человека. Но это и все, что ему можно поставить в упрек и что — повторяю — кидается в глаза лишь при слишком пристальном и усердном изучении этого автора. Но, независимо от своего патристического пристрастия, Кипплинг развертывает перед нами всю сказочную, феерическую Индию, ослепляя нас яркими красками, подавляя и ошеломляя каким-то чудовищным водопадом из людей, стран, событий, костюмов, обычаев, преданий, войны, любви, племенной мести, безумия, бреда, величия и падения. Он ведет нас через всю Индию, показывая нам то жизнь офицеров и солдат в казармах и в горных лагерях, то ужасы голодного года, то афридия, рыщущего по всей стране из города в город за врагом, которого он должен непременно задушить одними голыми руками, без оружия, то индийскую гетеру, «представитель-

ницу самой древней профессии», то погонщика слонов, то охоту на тигра, то магометанский Байрам и резню мусульман с индусами в стенах старого города, то страшный кошмар переутомленного чиновника, то разлив Ганга, стремящийся разрушить мост, то древних богов Индии, держащих совет на острове, то уголок гаремной жизни, то маяк, то владетельного раджу, по-европейски образованного и по-азиатски жестокого, то беспечную, полную крови и приключений жизнь трех английских солдат: Лиройда, Мультиани и Ортериса, к которым автор так часто возвращается во многих рассказах.

И как нам ни странно, как от нас ни далека эта прямая, фантастическая пестрая жизнь — Кипплингу невольно веришь во всем, что он рассказывает. Эта *правдоподобность*, достоверность рассказа и составляет ту тайну очарования, которая приковывает к книгам Кипплинга несокрушимыми волнующими узами. Для этого у Кипплинга, при всей необычности, исключительности фабулы, есть много приемов, из которых многие вряд ли поддаются учету. У него, например, есть особая, своеобразная манера вводить читателя в среду и интересы своих героев. Для этого он начинает повествование так просто, так небрежно и даже иногда так сухо, как будто вы давным-давно знаете и этих людей и эти причудливые условия жизни, как будто сегодня Кипплинг продолжает вам рассказывать о том, что вы сами видели и слышали вчера. Благодаря такому «вводу» вы долго испытываете какое-то недоумение, почти непонимание, заставляющее вас беспокойно напрягать память и часто возвращаться назад, к уже прочитанным строчкам. Но маленькими, беглыми, точно случайными штрихами автор, незаметно для вас самих, все яснее и яснее очерчивает местность, среду, взаимные отношения людей и фигуры самих людей, и когда вы, наконец, против воли совершенно ориентировались, то вы уже целиком захвачены рассказом, вы свой всем его героям, вы его не читаете, а живете в нем.

Кроме того, Кипплинг увлекает и заставляет верить себе благодаря еще одной стороне своего таланта. Он обладает самыми колоссальными и разнообразными знаниями. Ему знакомы мельчайшие бытовые черты из жизни офицеров, чиновников, солдат, докторов, землемеров, моряков; он знает самые сложные подробности сотен профес-

сий и ремесл; ему известны все тонкости любого спорта; он поражает своими научными и техническими познаниями. Но он никогда не утомляет своим огромным багажом. Он лишь пользуется им в такой мере и так искусно, что вы готовы поверить, что именно сам Киплинг ловил треску вместе с рыбаками на севере Атлантического океана, и нес службу на маяке, и метался в жестокой индийской лихорадке, и участвовал в кровавых карательных экспедициях, и строил мосты, и вел, как машинист, железнодорожные поезда, и т. д. и т. д. А в этом доверии заключается одна из тайн поразительного обаяния его рассказов и его большой и заслуженной славы.

ЗАМЕТКА О ДЖЕКЕ ЛОНДОНЕ

Как это ни странно, но в Америке, в стране штампа, деловых людей и бездарностей, появился новый писатель — Джек Лондон. Судя по его биографии, довольно несвязно переданной переводчицей, он сам был рабочим в приполярном Клондайке, стало быть рыл землю, добывал золото и дружил или ссорился с вымирающими индейскими племенами.

И этим биографическим чертам невольно веришь, когда читаешь рассказы талантливого писателя. В них чувствуется живая, настоящая кровь, громадный личный опыт, следы перенесенных в действительности страданий, трудов и наблюдений. Потому-то экзотические повести Лондона, облеченные веянием искренности и естественного правдоподобия, производят такое чарующее, неотразимое впечатление. Этот американец гораздо выше Брет-Гарта; он стоит на одном уровне с Кипплингом — этим удивительным бытописателем знойной Индии. Есть между ними, не касаясь тона, стиля и манеры изложения, и еще разница: Д. Лондон гораздо проще, и эта разница в его пользу.

Покамест у нас есть только два тома его рассказов: «Белое безмолвие» и «Закон жизни».

«Белое безмолвие» — это трудно сказать — что: повесть или поэма из жизни золотоискателей в Клондайке, где совершаются переезды в тысячу верст на собаках и на оленях, при морозе в шестьдесят градусов, где человеческая жизнь почти ни во что не считается, где даже случайно сказанное слово держится крепко, как закон.

Один из самых очаровательных его рассказов заключается в простой, несложной и очень изящной фабуле: два золотоискателя — англичанин и ирландец — поссорились из-за пустяков. Решили стреляться. Но старый, опытный человек, на руках которого, вероятно, запеклось много человеческой крови, не позволяет товарищам делать этого, И он прибегает к очень простому и остроумному решению. Он говорит:

— Стреляйтесь, но кто из вас останется живым, того я застрелю.

А слово этого человека было известно во всей области на протяжении десятков тысяч верст и даже среди индейских племен. К счастью, импровизированная дуэль разошлась.

Но когда товарищ этого арбитра спросил его на ухо: «А в самом деле, застрелил бы ты его?» — тот ответил: «Право, я сам не знаю».

Я выбрал наудачу первый попавшийся рассказ Джека Лондона. Но все они в том же тоне и в веселом, беззастенчивом содержании.

Приведу вкратце содержание и другого рассказа из первого тома — «Белое безмолвие», по заглавию которого назван и весь том. Два золотоискателя и жена одного из них, метиска-полуиндианка, совершают героически тяжелый путь на собаках через весь материк. До ближайшего жилья им осталось несколько сотен верст. Припасы на исходе, да и те расхищают собаки, до такой степени озлобленные голодом и непосильным трудом, что их приходится подчинять себе, как диких зверей. Вокруг путников снег и тишина — «белое безмолвие». И вот одного из товарищей — женатого — постигает роковое несчастье. На него падает столетняя сосна и придавливает к земле, раздробив ему позвоночник. Напрасно он упраскивает своих спутников оставить его на произвол судьбы, потому что припасы идут к концу. Они остаются при нем целые сутки, до его последнего вздоха. Самая смерть его проста, трогательна и, несмотря на страшные мучения, героически спокойна. Для того чтобы волки не сожрали трупа, его товарищ прибегает к старому, но необычному для нас способу похорон. Он связывает две верхушки деревьев и прикрепляет к ним труп своего друга. Затем он и женщина продолжают путь.

«Закон жизни» — это история вымирания индейских племен под натиском американской, или, все равно, как ее там назвать, европейской культуры.

Вся душа и все сердце Лондона на стороне этих вымирающих дикарей — гостеприимных, кротких, воинственных, терпеливо переносящих всякую боль, верных в дружбе, но не стесняющихся съесть труп своего отца.

Но спокойный ум европейца невольно заставляет его симпатизировать завоевателям этой удивительной и совсем своеобразной страны.

Тут-то Лондон начинает двоиться: в нем чувствуется фальшь, исходящая не из сердца, а от европейского услужливого ума.

И тем не менее в этом томе есть прекрасные, мужественно-жестокие, удивительные рассказы.

«Закон жизни», несомненно, лучшая вещь. И как она проста по содержанию. Индейское племя уходит на новые места. Остается один лишь дряхлый старик. Его не берут с собою, он будет помехой для охотников и лишним ртом в племени. И вот он остается один среди снежной пустыни. У него немного пищи и костер, который вот-вот погаснет, а кругом уже собираются волки. Но у старика нет ни страха, ни злобы, ни сожаления. Это закон жизни, — говорит он. Так же и он сам, будучи когда-то вождем, поступал с больными и стариками. Закон жизни! Медленно, шаг за шагом, перебирает он всю свою жизнь... Наконец костер тухнет...

Таков в большинстве рассказов этот оригинальный и чрезвычайно талантливый писатель, завоевывающий себе мировую известность. В России он мало знаком, потому что его мало или лениво переводят. Главные его достоинства: простота, ясность, дикая, своеобразная поэзия, мужественная красота изложения и какая-то особенная, собственная, увлекательность сюжета.

ОТРЫВКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Кажется, это было в 1900 году. В Крыму, в Ялте, тогда уже обосновался Антон Павлович Чехов, и к нему, точно к магниту, тянуло других, более молодых писателей. Чаше других здесь бывали: Горький, Бунин, Федоров, доктор-писатель Елпатьевский и я.

Иногда мы ездили верхом в лес, в ущелье Уч-Кош.

Горький никогда не принимал участия в этих прогулках. Он если не всегда, то очень часто чувствовал себя нездоровым, да, вероятно, и стеснялся, не считая себя хорошим наездником.

Все начинающие писатели, в том числе и я, были тогда особенно заняты фигурой и произведениями А. П. Чехова, и молодой Горький мало кого интересовал. Лично я задумался над талантом Горького, когда прочел его рассказ «Челкаш» — о контрабандистах в Одесском порту. Меня поразили яркость красок писателя и точность переживаний самого Челкаша и гребца в шлюпке — труса Гаврилы. С удивительной наблюдательностью были нарисованы грузчики, контрабандисты, воры и босяки. Я два раза перечитал этот рассказ и подумал: «Из Максима Горького выйдет толк, а может быть, и что-нибудь очень большое».

Много позже, в Петербурге, когда Максим Горький уже пользовался большой известностью, ко мне пришел писатель Бунин и сказал, что со мной хочет поближе познакомиться Алексей Максимович, который в то время основывал большое книгоиздательство «Знание».

Я отправился к Горькому на Знаменскую улицу. На этот раз он показался мне и физически и духовно неожиданно выросшим и крепким.

Скоро в издательстве «Знание» вышла моя первая большая повесть, скорее роман — «Поединок».

Я принес первые главы рукописи, и Горький попросил меня прочитать вслух несколько страниц. Когда я читал разговор подпоручика Ромашова с жалким солдатом Хлебниковым, Алексей Максимович растрогался, и было странно видеть этого большого, взрослого человека с влажными глазами.

Последний раз я видел А. М. Горького в Петрограде, в самый разгар революции. Он был главным редактором издательства «Всемирная литература», созданного по его инициативе. Я часто ездил из Гатчины к нему и писал для него статьи. В то время Горький готовил для издания на русском языке полное собрание сочинений А. Дюма (отца). Зная, как я люблю этого писателя, Алексей Максимович поручил мне написать предисловие к этому изданию. Когда он прочел мою рукопись, то ласково поглядел на меня и сказал:

— Ну, конечно... Я знал, кому нужно поручить эту работу.

Не могу забыть еще одного, как будто мелкого, но характерного эпизода. Ко мне из цирка Чинизелли пришли артисты и просили похлопотать за голодающих лошадей и других животных. С помощью А. М. Горького мне удалось очень быстро достать все необходимое для цирка.

Вся жизнь А. М. Горького, его творчество, память о нем заставляют меня еще и еще раз с болью вспоминать о пребывании моем в эмиграции, когда я сам себя лишил возможности деятельно участвовать в работе по возрождению моей родины. Должен только сказать, что я давно уже рвался в Советскую Россию, так как, находясь среди эмигрантов, не испытывал других чувств, кроме тоски и тягостной оторванности.

Советское правительство дало мне возможность снова очутиться на родной земле, в новой для меня Москве, наполненной прекрасным жаром строительства.

Обо всем этом мне захотелось сказать, когда я стал вспоминать о моих встречах с А. М. Горьким, человеком, безгранично любившим Россию.

Теперь, в день годовщины смерти Алексея Максимовича Горького, я низко склоняю голову перед всем, что он сделал для своей советской страны и для своего народа.

МОСКВА РОДНАЯ¹

Что больше всего понравилось мне в СССР? За годы, что я пробыл вдали от родины, здесь возникло много дворцов, заводов и городов. Всего этого не было, когда я уезжал из России. Но самое удивительное из того, что возникло за это время, и самое лучшее, что я увидел на родине,— это люди, теперешняя молодежь и дети.

Москва очень похорошела. К ней не применим печальный жизненный закон,— она делается старше по возрасту, но моложе и красивее по внешнему виду. Мне это особенно приятно: я провел в Москве свое детство и юные годы.

Необыкновенно комфортабельно метро, которое, конечно, не идет даже в сравнение с каким-либо другим метро в Европе. Впечатление такое, что находишься в хрустальном дворце, озаренном солнцем, а не глубоко под землей. Таких широких проспектов, как в Москве, нет и за границей. В общем родная Москва встретила меня на редкость приветливо и тепло.

Но, конечно, главной «достопримечательностью» Москвы является сам москвич.

Насколько я успел заметить, большинству советских людей присуще уважение к старости. Я плохо вижу, и поэтому часто, когда мне надо было переходить шумную

¹ Из стенографической записи беседы приехавшего из Парижа в Москву А. И. Куприна с корреспондентом газеты «Комсомольская правда».

улицу, я останавливался в нерешительности на тротуаре. Это замечали прохожие. Юноша или девушка предлагали свою помощь и, поддерживая под руку, помогали мне с женой перейти «опасное место».

Во время прогулок по Москве меня очень трогали также приветствия. Идет навстречу незнакомый человек, коротко бросает: «Привет Куприну!» — и спешит дальше. Кто он? Откуда меня знает? Повидимому, видел фотографию, помещенную в газетах в день моего приезда, и считает долгом поздороваться со старым писателем, вернувшимся с чужбины. Это брошенное на ходу «Привет Куприну» звучало замечательно просто и искренно.

Со мной иногда заговаривали на улице. Однажды к нам подошла просто одетая женщина и сказала, подав руку: «Я — домработница такая-то. Вы — писатель Куприн? Будем знакомы».

В Александровском сквере, где мы с женой присели отдохнуть на лавочке, нас окружили юноши и девушки. Отрекомендовавшись моими читателями, они завязали разговор. А я-то думал, что молодежь СССР меня совсем не знает. Я взволновался тогда почти до слез. Потом ко мне как-то подошла группа красноармейцев. Старший вежливо приложил руку к козырьку и осторожно осведомился: не ошибается он, — точно ли я Куприн? Когда я ответил утвердительно, красноармейцы забросали меня вопросами: хорошо ли я устроен, доволен ли я приемом в Москве? Я сказал им, как нас хорошо устроили, и красноармейцы тогда удовлетворенно и с гордостью заключили: «Ну, вот видите, какая у нас страна!»

Я побывал в кино в «Метрополе». Шла цветная картина «Груня Корнакова». Каюсь, я следил за экраном только краем глаза. Мое внимание было занято публикой. Можно сказать, что в картине «Груня Корнакова» мне больше всего понравилось, как ее воспринимает зритель. Сколько простого, непосредственного веселья, сколько темперамента! Как бурно и ярко отзывались зрители — в большинстве молодежь — на те события, которые проходили перед ними! Какими рукоплесканиями награждались режиссер и актеры!

Этим летом на даче в Голицыне у меня перебивало в гостях много советских юношей и девушек. Это дети моих родственников и знакомых, выросшие, возмужавшие

за те годы, что меня здесь не было. Меня поразили в них бодрость и безоблачность духа. Это прирожденные оптимисты. Мне кажется даже, что у них по сравнению с юношами дореволюционной эпохи стала совсем иная, более свободная и уверенная, походка. Видимо, это результат регулярных занятий спортом.

Меня поразил также высокий уровень образованности всей советской молодежи. Кого ни спроси — все учатся, конспектируют, делают выписки, получают отметки.

А как любят в СССР Пушкина! Его читают и перечитывают. Он стал подлинно народным поэтом. Вот забавная и вместе с тем трогательная деталь. В Голицыне у одной знакомой нам колхозницы родился сын. Она назвала его Александром. Мы спросили ее, почему она выбрала это имя. Она ответила, что назвала его так в честь Пушкина. Имя ее мужа — Сергей, и сын, таким образом, как и Пушкин, будет называться Александром Сергеевичем.

Сами по себе интересные обстоятельства, при которых Александр Сергеевич появился на свет. В Голицыне строился родильный дом, который должен был быть закончен к пятнадцатому августа. Александр Сергеевич, однако, пожелал родиться четырнадцатого августа. Родственники повезли будущую мать на станцию, чтобы отправить в ближайшую больницу, но попали к поезду, который не останавливается в Голицыне. Тогда начальник станции, зная, что женщине необходима срочная врачебная помощь, специально ради нее остановил поезд, и ее во-время доставили в больницу. Разве могла крестьянка дореволюционной России мечтать о том, чтобы для нее и для ее будущего ребенка останавливали поезд?

Меня бесконечно радуют советские дети. Я восхищен тем, что страна уделяет им столько внимания и что советское правительство так оберегает беременность. Это очень мудро. О детях важно заботиться, потому что в них будущее страны. Внимание к женщине и к ее ребенку дает ей моральную силу воспитывать достойных граждан СССР.

Голицыно, где мы проводили лето, встретило нас разноголосым ребячьим хором. В этом живописнейшем подмосковном поселке расположилось несколько десятков детских садов. Я очень люблю детей и был чрезвычайно рад такому приятному соседству. По утрам, выходя на

террасу, я сообщал жене, что «галчата» уже проснулись. Потом из нашего садика я видел, как они чинно, парами проходят мимо, все пузатенькие, краснощекие, улыбающиеся.

Бывало, что привезенная из Парижа кошка Ю-ю (названная в честь кота — героя одного из моих рассказов) с разбега вспрыгивала ко мне на плечо, и это всегда вызывало бурный восторг детишек. Они подбегали к изгороди, и мы с Ю-ю, таким образом, служили невольной причиной нарушения дисциплины. Вечером, в восемь часов, в Голицыне наступала тишина: детей укладывали спать, и сразу становилось скучно.

Кстати, какое прекрасное сочетание понятий — детский сад. Именно сад! Сад, где расцветают юные души. За границей дети совсем не такие, как здесь. Они слишком рано делаются взрослыми.

В прошлое вместе с городовым и исправником ушли и классные наставники, которые были чем-то вроде школьного жандарма. Сейчас странно даже вспомнить о розгах. Чувство собственного достоинства воспитывается в советском человеке с детства. Те, кто читал мою повесть «Кадеты», помнят, наверно, героя этой повести — Буланина и то, как мучительно тяжело переживал он это незаслуженное, варварски дикое наказание, назначенное ему за пустячную шалость. Буланин — это я сам, и воспоминание о розгах в кадетском корпусе осталось у меня на всю жизнь...

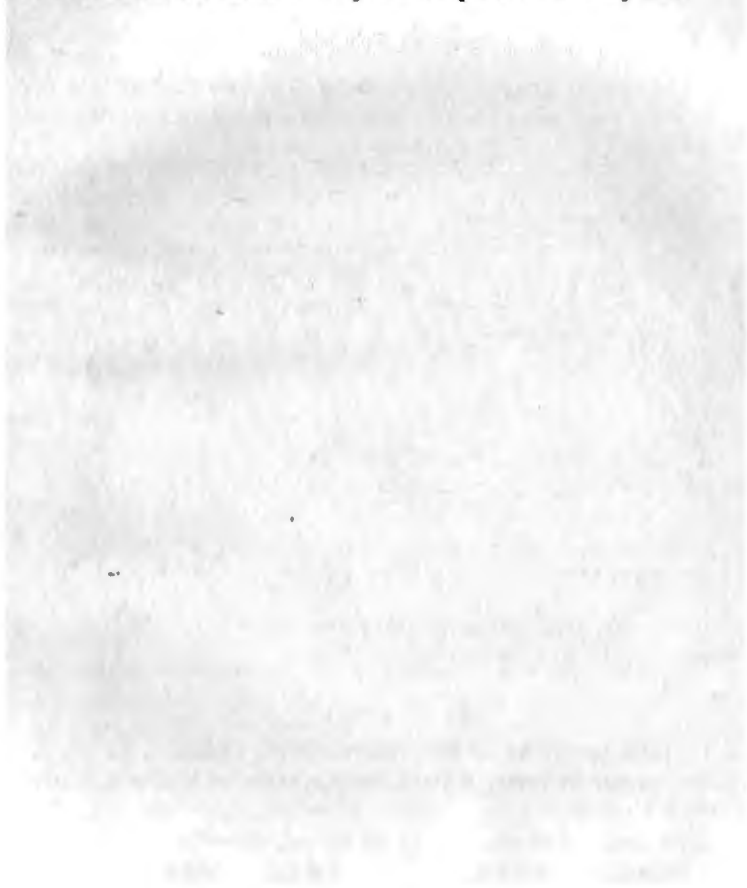
Мне очень хочется писать для чудесной советской молодежи и пленительной советской детворы. Не знаю только, позволит ли мне здоровье в скором времени взяться за перо. Пока думаю о переиздании старых вещей и об издании произведений, написанных на чужбине. Мечтаю выпустить сборник своих рассказов для детей.

Многое хочется увидеть, о многом хочется поговорить. После переезда в Москву я предполагаю побывать в музеях, посмотреть в театрах и кино «Господа офицеры» (пьесу, переделанную из моего «Поединка»), «Тихий Дон», «Любовь Яровую», «Анну Каренину», «Петра I» Обязательно съезжу в цирк, любителем которого остаюсь попрежнему.

Мне пишут сейчас люди, которых я совершенно не знал раньше; пишут они с такой сердечностью и теплотой, точно

мы давнишние друзья, дружба которых была прервана, но сейчас возобновилась. Некоторые из них — мои старые читатели. Другие — читатели молодые, о существовании которых я и не подозревал. Всех их радует то, что я, наконец, вернулся в СССР. Душа отогревается от ласки этих знакомых друзей.

Даже цветы на родине пахнут по-иному. Их аромат более сильный, более пряный, чем аромат цветов за границей. Говорят, что у нас почва жирнее и плодороднее. Может быть. Во всяком случае на родине все лучше!



ПРИМЕЧАНИЯ

ЛИСТРИГОНЫ

Над очерками «Листригоны» Куприн работал с 1907 по 1911 год. Близкое общение писателя с рыбаками в Одессе и в Крыму дало ему богатый фактический материал для очерков.

В 1907 году в газете «Одесские новости» (№ 7213, 22 апреля) был напечатан первый очерк «Господня рыба», с подзаголовком «Апокрифическое сказание». Впоследствии, в цикле «Листригоны», он стал пятым.

В 1908 году в газете «Межа» (№ 2, 27 октября) появились еще два очерка «Тишина» и «Макрель», под общим заголовком «Балаклава». Они же были перепечатаны в «Новом журнале для всех» (1908, № 1, ноябрь) под названием «Листригоны» с добавлением очерков «Воровство» и «Белуга». Затем в февральском номере того же журнала за 1909 год появился очерк «Бора».

В декабре 1909 года Куприн сообщил Ф. Д. Батюшкову: «Окончил последний очерк «Листригонов» — «Водолазы» (*ИРЛИ*). Он опубликован также в «Новом журнале для всех» (1910, № 15, январь). Но в 1911 году Куприн написал очерк «Бешеное вино», который и явился последним в цикле («Новый журнал для всех», 1911, № 29, март).

Полностью «Листригоны» вошли в пятый том полного собрания сочинений А. И. Куприна в издании Маркса.

СУЛАМИФЬ *

Впервые напечатано в сборнике «Земля», 1908, вып. I.

Работу над повестью Куприн начал в сентябре 1907 года. В конце сентября он сообщил Батюшкову: «Я закончил работу собирання

* отмечены произведения, тексты которых и примечания к ним подготовлены И. В. Мыльцовой.

материалов для «Суламифь»... Теперь я сажусь (сейчас) за писание...» (ИРЛИ). В октябре уже было написано «более 2-х листов» (письмо Куприна Батюшкову 8 октября. ИРЛИ). К концу года повесть была закончена.

Л Е Н О Ч К А

Впервые напечатано в газете «Одесские новости», 1910, № 8094, 18 апреля.

П О П Р Ы Г У Н Ъ Я - С Т Р Е К О З А

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1910, № 298, 25 декабря.

Г Р А Н А Т О В Ы Й Б Р А С Л Е Т *

Впервые напечатано в сборнике «Земля», 1911, кн. 6.

О замысле рассказа Куприн сообщал Батюшкову из Одессы в октябре 1910 года: «Это — помнишь? — печальная история маленького телеграфного чиновника П. П. Жолтикова, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен в жену Любимова (Д. Н. — теперь губернатор в Вильно). Пока только придумал эпиграф...» (ИРЛИ). Куприн с большим волнением создавал «эту очень милую», как он говорил, для него вещь. «Не знаю, что выйдет, но когда я о ней думаю, — плачу. Недавно рассказывал одной хорошей актрисе — плачу. Скажу одно, что ничего более целомудренного я еще не писал» (письмо к Батюшкову, декабрь 1910. ИРЛИ).

Т Е Л Е Г Р А Ф И С Т *

Впервые напечатано во «Всеобщем журнале», 1911, № 12.

П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К И

Впервые напечатано в газете «Речь», 1912, № 83, 25 марта.

Ч Е Р Н А Я М О Л Н И Я

Впервые напечатано в сборнике Куприна «Новые рассказы», вышедшем приложением к журналу «Пробуждение» (1913).

16 ноября 1912 года Куприн писал Батюшкову из Гельсингфорса: «Кончил небольшой рассказец «Черная молния», но озаглавил его

«Вечерок», ибо утонул в предисловии, где описываю балок у д-ра Рябкова» (*ИРЛИ*). Место действия рассказа — город Устюжна Новгородской области, где у врача Рябкова Куприн встречал новый — 1907 — год (переписка с Батюшковым. — *ИРЛИ*). Уже при первой публикации рассказ был озаглавлен «Черная молния». Включая рассказ в десятый том собрания сочинений в издании «Московского книгоиздательства», 1913, Куприн заново написал концовку, начиная со слов: «Турченко несколько минут молчал», кончая: «Извините, мой друг, за многословие».

АНАФЕМА

Впервые напечатано в журнале «Аргус», 1913, № 2, февраль.

Из-за рассказа «Анафема» этот номер журнала был запрещен Петербургским окружным судом и сожжен. В мае 1913 года Куприн сделал попытку напечатать «Анафему» в десятом томе собрания сочинений в издании «Московского книгоиздательства», для чего переработал рассказ, причем еще более усилил звучащие в нем ноты протеста против травли Л. Н. Толстого царским правительством и церковниками. В первой редакции рассказ кончался тем, что протодьякон, провозгласивши Толстому не «анафема», а «многогая лета», — ослеп. «С ним случилось то, что нередко случается с протодьяконами и певцами — мгновенная слепота от чрезмерного напряжения голосовых связок».

И, спотыкаясь, беспомощный, точно уменьшившийся в росте наполовину, он, ощупывая дрожащими ногами ступени, спустился вниз».

Московская цензура, не зная о запрещении рассказа в Петербурге, разрешила выпуск тома с рассказом «Анафема», но московский градоначальник приказал «всем приставам и начальникам жандармерии» конфисковать «везде, где будут обнаружены» его экземпляры. В 1920 году рассказ был напечатан в книге Куприна «Звезда Соломона», с примечанием автора: «Рассказ «Анафема» появился в X томе сочинений автора незадолго перед революцией и был причиной того, что этот том был немедленно запрещен и в порядке конфискации изъят из всех книжных магазинов. В следующих изданиях X тома печаталось на одной странице лишь заглавие, а под ним до низа линии из точек. Таким образом, печатаемый в настоящем издании, этот рассказ появляется как бы впервые». Текст 1920 года соответствует конфискованному изданию 1913 года: при перепечатке рассказа Купринным сделаны лишь небольшие стилистические исправления.

ЗАПЕЧАТАННЫЕ МЛАДЕНЦЫ

Напечатано в одиннадцатом томе собрания сочинений А. И. Куприна в издании «Московского книгоиздательства», 1915.

СВЯТАЯ ЛОЖЬ

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1914, № 80, 6 апреля.

Материалом для рассказа послужили воспоминания Куприна о московском вдовьем доме на Кудринской, в котором он жил (1874—1877) вместе с матерью до поступления в сиротское училище.

ФИАЛКИ

Написано в 1915 году. Напечатано в девятом томе полного собрания сочинений А. И. Куприна в издании А. Ф. Маркса, 1915.

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

Написано в 1915 году. Напечатано в девятом томе собрания сочинений А. И. Куприна в издании «Московского книгоиздательства», 1917.

Рассказ написан со слов Ф. И. Шаляпина, сообщившего Куприну этот эпизод.

ПАПАША

Впервые напечатано в газете «Утро России», 1916, № 90, 30 марта.

ГРУНЯ

Впервые напечатано в журнале «Огонек», 1916, № 26, июнь.

ИНТЕРВЬЮ

Напечатано в девятом томе собрания сочинений А. И. Куприна в издании «Московского книгоиздательства», 1917.

КАНТАЛУПЫ

Напечатано в девятом томе собрания сочинений А. И. Куприна в издании «Московского книгоиздательства», 1917.

СКВОРЦЫ

Впервые напечатано в альманахе «Творчество», 1917, № 2

БЕГЛЕЦЫ

Впервые напечатано в журнале «Пробуждение», 1917, январь.

Рассказ автобиографичен. В сиротском училище — Разумовском пансионе, — жизнь которого изображена в рассказе, Куприн находился с 1877 по 1880 год.

Стр. 306. *...ходила по способу перипатетиков.* — Peripatetikus — прогуливающийся (греч.). По преданию, Аристотель (384—322 до н. э.) преподавал своим ученикам философию во время прогулок.

САШКА И ЯШКА

Первая публикация не известна. О работе над этим рассказом Куприн упоминает в переписке с редакциями в октябре 1917 года (ИРЛИ).

ГУСЕНИЦА

Впервые напечатано в журнале «Огонек», 1918, № 2, март.

ЦАРСКИЙ ПИСАРЬ

Написано в 1919 году. Напечатано в журнале «Звезда», 1940, № 7, июль.

ЛИМОННАЯ КОРКА

Написано в 1920 году. Напечатано в журнале «Ленинград», 1940, № 13-14, июль.

ОДНОРУКИЙ КОМЕНДАНТ

Написано в 1920-х годах. Напечатано в «Избранных произведениях» Куприна, Лениздат, 1947.

Ю - Ю

Написано в 1920-х годах. Напечатано в журнале «Костер», 1938, № 4, апрель, с фотографией Куприна и Ю-ю.

ЗОЛОТОЙ ПЕТУХ

Написано в 1920-х годах. Напечатано в журнале «Резец», 1939, № 17-18, сентябрь.

ПУНЦОВАЯ КРОВЬ

Написано в декабре 1925 года. Напечатано в «Избранных произведениях» Куприна, Леннздат, 1947.

ОЛЬГА СУР

Написано в марте 1929 года. В советских изданиях печатается впервые.

Ольга Сур — лицо не вымышленное, она выступала в составе артистов цирка Сура в 90-х годах прошлого века в Киеве.

ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА

Написано в апреле 1929 года. Напечатано в «Избранных произведениях» Куприна, Гослитиздат, 1947.

ПОТЕРЯННОЕ СЕРДЦЕ

Написано в феврале 1931 года. Напечатано в «Избранных произведениях» Куприна, Леннздат, 1947.

ЮНКЕРА

Печатаемые главы романа «Юнкера» написаны в 1928—1932 годах.

В третьем Александровском военном училище Куприн учился в 1888—1890 годах. О первом годе учения рассказывается в главе «Танталовы муки», следующие главы относятся ко времени учения юнкера Куприна на втором (старшем) курсе училища.

Этот автобиографический роман Куприн задумал еще в 1911 году. В апреле 1916 года в «Вечерних известиях» (№ 973) сообщалось, что он работает над ним, однако ни одна из глав романа до 30-х годов окончательно не была написана. Главы: «Танталовы муки», «Дрозд», «Фотоген Павлыч», «Письмо любовное» напечатаны в «Избранных произведениях» А. И. Куприна, Гослитиздат, 1947. Главы: «Вальс», «Ссора», «Rendez-vous», «Чистые пруды» в советских изданиях печатаются впервые.

ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНИЯ И СТАТЬИ ПАМЯТИ ЧЕХОВА*

Впервые напечатано в сборнике «Знание» за 1904, кн. 3.

В воспоминаниях (см. стр. 523—524, 528) процитированы письма А. П. Чехова к Куприну от 22 января и от 1 ноября 1902 года (см. примечания к т. 2 наст. издания).

СОБЫТИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ *

Впервые напечатано в петербургской газете «Наша жизнь», 1905, № 348, 1 (14) декабря, в отделе корреспонденций из провинции под названием «События в Севастополе», с подзаголовком «Ночь 15 ноября». За опубликование статьи Куприн в 24 часа был выслан из Севастопольского градоначальства и привлечен к уголовной ответственности за корреспонденцию, которая якобы «от начала до конца направлена к несправедливому опорочению должностного лица» («Резец», 1939, № 15-16). В мае 1906 года статья переиздана в «Историко-революционном календаре» издательства «Шиповник». На эту книгу был наложен арест. Ни в одно собрание сочинений Куприна статья не вошла. После Великой Октябрьской социалистической революции была перепечатана в журнале «Резец», 1939, № 15-16.

ИСКУССТВО *

Впервые напечатано в газете «Свобода и жизнь», 1906, № 15, ноябрь.

Газета «Свобода и жизнь» в № 9 за 1906 год предложила современным русским деятелям искусства высказаться на ее страницах по вопросу «революция и искусство». Аллегория «Искусство» и является откликом Куприна на это предложение. В первопечатном тексте не было заглавия, и он начинался: «Я отвечу притчей». При переиздании в 1912 году писатель опустил эту строку и дал название «Искусство».

ПАМЯТИ Н. Г. МИХАЙЛОВСКОГО (ГАРИНА) *

Впервые напечатано в журнале «Современный мир», 1908, № 3.

О ТОМ, КАК Я ВИДЕЛ ТОЛСТОГО НА ПАРОХОДЕ «СВ. НИКОЛАЯ» *

Впервые напечатано в журнале «Современный мир», 1908, № 11.

РЭДНАРД КИПЛИНГ *

Впервые напечатано в журнале «Современный мир», 1908, № 12.

ЗАМЕТКА О ДЖЕКЕ ЛОНДОНЕ *

Впервые напечатано в журнале «Синий журнал», 1911, № 22.

ОТРЫВКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Впервые напечатано в газете «Известия», 1937, № 142, 18 июня.

МОСКВА РОДНАЯ

Впервые напечатано в газете «Комсомольская правда», 1937, № 235, 11 октября.

СОДЕРЖАНИЕ

Листригоны	3
<u>Суламифь</u>	48
Леночка	102
Попрыгунья-стрекоза	114
<u>Гранатовый браслет</u>	120
Телеграфист	168
Путешественники	174
Черная молния	182
Анафема	209
Запечатанные младенцы	218
Святая ложь	226
Фиалки	238
Гоголь-моголь	245
Папаша	251
Груня	257
Интервью	269
Каиталупы	275
<u>Скворцы</u>	285
Беглецы	292
<u>Сашка и Яшка</u>	314
Гусеница	323
Царский писарь	331
Лимонная корка	346
<u>Однорукий комедант</u>	354
<u>Ю-ю</u>	373
Золотой петух	385
Пунцовая кровь	389
<u>Ольга Сур</u>	414

Легче воздуха	419
Потерянное сердце	425
Юнкера	437
Танталовы муки	437
Дрозд	442
Фотоген Павлыч	451
Вальс	458
Ссора	463
Письмо любовное	472
Rendez-vous	480
Чистые пруды	489

Очерки, воспоминания и статьи

Памяти Чехова	504
События в Севастополе	535
Искусство	540
Памяти Н. Г. Михайловского (Гарина)	541
О том, как я видел Толстого на пароходе «Св. Николай»	546
Редьярд Киплинг	550
Заметка о Джеке Лондоне	556
Отрывки воспоминаний	559
Москва родная	561
Примечания	566

Редактор В. Титова
Художник Н. Мухин
Технический редактор М. Позднякова
Корректор В. Знаменская

*

Подписано к печати с матриц 19/X 1954 г. А 06355.
Бумага $84 \times 108^{1/32}$ — 36 печ. л. = 29,52 усл. печ. л.
28,43 уч.-изд. л. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Заказ № 3585.
Цена 10 руб.

Гослитиздат.
Москва, Ново-Бисманная, 19.

*

Набрано и сматрицировано в Первой Образцовой типографии
имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Министерства культуры СССР.
Москва, Валуевская, 28.
Отпечатано 3-й типографией «Красный пролетарий» Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР, Москва, Краснопролетарская, 16.

